

25

Американская
поэзия
в русских переводах

2



American Verse
in Russian
Translation
XIX-XX centuries

Moscow
Raduga Publishers
1983

Американская
поэзия
в русских
переводах
XIX-XX века

Москва
«Радуга»
1983

Составление, предисловие и комментарии

С. Б. ДЖИМБИНОВА

Справки об авторах и переводчиках

О. А. АЛЯКРИНСКОГО

Художник В. В. ЕРЕМИН

Редактор С. Б. БЕЛОВ

**Американская поэзия в русских переводах.
XIX—XX вв.** Сост. С. Б. Джимбинов. На англ. яз.
с параллельным русск. текстом. М.: Радуга.— 1983 — 672 с.

В антологии представлены лучшие образцы творчества американских поэтов XIX—XX вв. и их переводы на русский язык. Книга дает наглядное представление о том, как развивалась русская и советская школа стихотворного перевода и как воспринималась в нашей стране американская поэзия.

Издание сопровождается вступительной статьей, комментариями, справками об авторах и переводчиках и адресовано широким кругам любителей поэзии.

© Составление, предисловие, комментарии, справки об авторах и переводчиках, переводы, отмеченные в содержании*, издательство «Радуга», 1983.

А $\frac{60602-060}{031(01)-83}$ 845-82

4703000000

<i>С. Б. Джимбинов. Американские поэты и русские переводчики</i>	21
EDGAR ALLAN POE	
ЭДГАР АЛЛАН ПО	
The Raven	44
Ворон. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	45
Ворон. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	507
Ulalume	52
Улялюм. <i>Перевод В. Топорова</i>	53
Улялюм. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	510
Юлалюм. <i>Перевод В. Брюсова</i>	513
The Bells	58
Колокольчики и колокола. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	59
Звон. <i>Перевод В. Брюсова</i>	516
Eldorado	64
Эльдорадо. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	65
Эль-Дорадо. <i>Перевод В. Брюсова</i>	519
* Эльдорадо. <i>Перевод В. Рогова</i>	520
Annabel Lee	66
Аннабель-Ли. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	67
Аннабель Ли. <i>Перевод В. Брюсова</i>	521
Эннабел Ли. <i>Перевод В. Рогова</i>	522
WILLIAM CULLEN BRYANT	
УИЛЬЯМ КАЛЛЕН БРАЙАНТ	
Thanatopsis	70
Танатопсис. <i>Перевод А. Плещеева</i>	71
To a Waterfowl	74
К перелетной птице. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	75

HENRY WADSWORTH LONGFELLOW
ГЕНРИ УОДСВОРТ ЛОНГФЕЛЛО

The Song of Hiawatha. Introduction. The Peace-Pipe	78
Песнь о Гайавате. Вступление. Трубка Мира. <i>Перевод И. Бунина</i>	79
Песнь о Гайавате. Вступление (<i>отрывок</i>). <i>Перевод Д. Михаловского</i>	524
A Psalm of Life	94
Псалом жизни. <i>Перевод И. Бунина</i>	95
Excelsior!	96
Excelsior! <i>Перевод В. Левика</i>	97
Excelsior! <i>Перевод М. Михайлова</i>	526
The Slave's Dream	100
Сон невольника. <i>Перевод М. Михайлова</i>	101
"The day is done..."	102
«Дня нет уж...». <i>Перевод И. Анненского</i>	103
«День кончен...». <i>Перевод М. Зенкевича</i>	527
The Arrow and the Song	106
Стрела и песня. <i>Перевод Д. Михаловского</i>	107
Paul Revere's Ride	106
Скачка Поля Ревира. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	107
Mezzo Sammin	114
Mezzo Sammin. <i>Перевод В. Левика</i>	115

RALPH WALDO EMERSON
РАЛЬФ УОЛДО ЭМЕРСОН

The Snowstorm	116
Снежная буря. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	117
Brahma	118
Брама. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	119

JOHN GREENLEAF WHITTIER
ДЖОН ГРИНЛИФ УИТТЪЕР

Barbara Frietchie	120
Барбара Фритчи. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	121

WALT WHITMAN
УОЛТ УИТМЕН

Song of Myself	126
Песня о себе. <i>Перевод К. Чуковского</i>	127
“On the beach at night alone...”	148
«Ночью у моря один...». <i>Перевод А. Сергеева</i>	149
«Ночью один на побережьи...». <i>Перевод К. Бальмонта</i>	529
“I dream’d in a dream...”	148
«Приснился мне город...» <i>Перевод К. Чуковского</i>	149
«Мне снилось во сне...» <i>Перевод К. Бальмонта</i>	529
“I hear America singing...”	150
«Слышу, поет Америка...». <i>Перевод И. Кашкина</i>	151
“Beat! beat! drums!...”	150
«Бей! бей! барабан!...». <i>Перевод К. Чуковского</i>	151
«Бейте, бейте, барабаны!...». <i>Перевод И. Тургенева</i>	530
“O Captain! my Captain!...”	152
«О капитан! Мой капитан!...». <i>Перевод М. Зенкевича</i>	153
“When I heard the learn’d astronomer...”	154
«Когда я слушал ученого астронома...». <i>Перевод К. Чуковского</i>	155
“When I read the book...”	156
«Читая книгу...». <i>Перевод К. Чуковского</i>	157

EMILY DICKINSON
ЭМИЛИ ДИКИНСОН

“To venerate the simple days...”	158
«Чтоб свято чтить обычные дни...». <i>Перевод В. Марковой</i>	159
“If I shouldn’t be alive...”	158
«Если меня не застанет...». <i>Перевод В. Марковой</i>	159
“I’m Nobody! Who are you?...”	160
«Я — Никто. А ты — ты кто?...». <i>Перевод В. Марковой</i>	161

“The Soul selects her own Society...”	160
«Душа изберет сама свое общество...». <i>Перевод В. Марковой</i>	161
“This is my letter to the World...”	160
«Это — письмо мое Миру...». <i>Перевод В. Марковой</i>	161
“This was a Poet...”	162
«Он был Поэт...». <i>Перевод В. Марковой</i>	163
“I died for Beauty—but was scarce...”	162
«Я принял смерть — чтоб жила Красота...». <i>Перевод В. Марковой</i>	163
«Я умерла за красоту...». <i>Перевод М. Зенкевича</i>	532
“I envy Seas, whereon He rides...”	164
«Завидую волнам — несущим тебя...». <i>Перевод В. Марковой</i>	165
“I would not paint—a picture...”	166
«Мне — написать картину?...». <i>Перевод В. Марковой</i>	167
“Life, and Death, and Giants...”	168
«Жизнь — и Смерть — Гиганты...». <i>Перевод В. Марковой</i>	169
“Publication—is the Auction...”	168
«Публикация постыдна...». <i>Перевод В. Марковой</i>	169
“Because I could not stop for Death...”	170
«Раз к Смерти я не шла — она...». <i>Перевод И. Лухачева</i>	171
“Alter! When the Hills do...”	170
«Измениться! Сначала — Холмы...» <i>Перевод В. Марковой</i>	171
“Drama’s Vitalizest Expression is the Common Day...”	172
«Правдивейшая из Трагедий...». <i>Перевод В. Марковой</i>	173
“The Robin is the One...”	172
«Малиновка моя!...». <i>Перевод В. Марковой</i>	173
“If I can stop one Heart from breaking...”	174
«Если сердцу — хоть одному...». <i>Перевод В. Марковой</i>	175

“I never saw a Moor...”	174
«Я не видела Вересковых полян...». <i>Перевод В. Марковой</i>	175
“The Sky is low—the Clouds are mean...”	176
«Небо низменно—Туча жадна...». <i>Перевод В. Марковой</i>	177
«Нависло небо, клочья туч...». <i>Перевод И. Кашкина</i>	532
“Tell all the Truth but tell it slant...”	176
«Всю правду скажи—но скажи ее вкось...». <i>Перевод В. Марковой</i>	177
“We never know how high we are...”	176
«Мы не знаем—как высоки...». <i>Перевод В. Марковой</i>	177
«Не знаем, как велики мы...». <i>Перевод М. Зенкевича</i>	533
“There is no Frigate like a Book...”	178
«Нет лучше Фрегата—чем Книга...». <i>Перевод В. Марковой</i>	179
“My life closed twice before its close...”	178
«Дважды жизнь моя кончилась—раньше конца...». <i>Перевод В. Марковой</i>	179
“To make a prairie it takes a clover...”	178
«Из чего можно сделать прерию?...». <i>Перевод В. Марковой</i> ...	179

EDWIN ARLINGTON ROBINSON ЭДВИН АРЛИНГТОН РОБИНСОН

Cliff Klingenhagen	180
Клифф Клингенхаген. <i>Перевод А. Сергеева</i>	181
Luke Havergal	180
Люк Хэвергол. <i>Перевод А. Сергеева</i>	181
Miniver Cheevy	182
Минивер Чиви. <i>Перевод А. Сергеева</i>	183
Минивер Чиви. <i>Перевод И. Кашкина</i>	534

Richard Cory	184
Ричард Кори. <i>Перевод А. Сергеева</i>	185
Ричард Кори. <i>Перевод И. Кашкина</i>	535
Eros Turannos	186
Eros Turannos. <i>Перевод А. Сергеева</i>	187
Mr. Flood's Party	190
Вечеринка мистера Флада. <i>Перевод А. Сергеева</i>	191
Вечеринка мистера Флада. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	536

VACHEL LINDSAY
ВЭЧЕЛ ЛИНДСЕЙ

Abraham Lincoln Walks at Midnight	194
Авраам Линкольн бродит в полночь. <i>Перевод И. Кашкина</i>	195

EDGAR LEE MASTERS
ЭДГАР ЛИ МАСТЕРС

The Hill	198
Холм. <i>Перевод И. Кашкина</i>	199
Lucinda Matlock	200
Люсинда Мэтлок. <i>Перевод Э. Ананиашвили</i>	201
Anne Rutledge	202
Энн Ратледж. <i>Перевод Э. Ананиашвили</i>	203
Editor Whedon	202
Редактор Уэдон. <i>Перевод И. Кашкина</i>	203

CARL SANDBURG
КАРЛ СЭНДБЕРГ

Chicago	206
Чикаго. <i>Перевод И. Кашкина</i>	207
Limited	208
Люкс. <i>Перевод И. Кашкина</i>	209

Prayers of Steel	208
Молитва стали. <i>Перевод И. Кашкина</i>	209
Grass	210
Трава. <i>Перевод И. Кашкина</i>	211
Threes	210
Три слова. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	211
Jazz Fantasia	212
Джаз-фантазия. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	213
Anecdote of Hemlock for Two Athenians	214
Анекдот о цикуте для двух афинян. <i>Перевод А. Сергеева</i>	215

ROBERT FROST
РОБЕРТ ФРОСТ

The Pasture	216
Пастбище. <i>Перевод И. Кашкина</i>	217
Mending Wall	216
Починка стены. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	217
The Death of the Hired Man	218
Смерть батрака. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	219
After Apple-Picking	230
После сбора яблок. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	231
Birches	232
Березы. <i>Перевод А. Сергеева</i>	233
Fire and Ice	236
Огонь и лед. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	237
Stopping by Woods on a Snowy Evening	236
Глядя на лес снежным вечером. <i>Перевод И. Кашкина</i>	237
Come In	238
Войди! <i>Перевод И. Кашкина</i>	239
Directive	238
Указание. <i>Перевод А. Сергеева</i>	239

WILLIAM CARLOS WILLIAMS
УИЛЬЯМ КАРЛОС УИЛЬЯМС

Apology	244
АПОЛОГИЯ. <i>Перевод В. Британишского</i>	245
Spring and All	244
Весна и все остальное. <i>Перевод В. Британишского</i>	245
Proletarian Portrait	246
Пролетарский портрет. <i>Перевод В. Британишского</i>	247

ROBINSON JEFFERS
РОБИНСОН ДЖЕФФЕРС

Divinely Superfluous Beauty	250
Божественный избыток красоты. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	251
To the Rock That will Be a Cornerstone of the House	250
Утесу, который станет краеугольным камнем дома. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	251
Continent's End	252
На краю континента. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	253
Cassandra	254
Кассандра. <i>Перевод А. Сергеева</i>	255
The World's Wonders	256
Чудеса мира. <i>Перевод А. Сергеева</i>	257
The Great Wound	258
Глубокая рана. <i>Перевод А. Сергеева</i>	259
My Burial Place	260
Выбираю себе могилу. <i>Перевод А. Сергеева</i>	261

HART CRANE
ХАРТ КРЕЙН

Chaplinesque	262
Чаплинская. <i>Перевод В. Топорова</i>	263
At Melville's Tomb	264
* На могиле Мелвилла. <i>Перевод В. Топорова</i>	265

Проем: to Brooklyn Bridge	264
Бруклинскому мосту. <i>Перевод В. Топорова</i>	265

WALLACE STEVENS
УОЛЛЕС СТИВЕНС

Thirteen Ways of Looking at a Blackbird	268
Тринадцать способов видеть черного дрозда. <i>Перевод В. Британишского</i>	269
The Idea of Order at Key West	272
Идея порядка в Ки-Уэст. <i>Перевод В. Британишского</i>	273
Of Modern Poetry	276
О современной поэзии. <i>Перевод В. Британишского</i>	277
The Poems of Our Climate	278
* Стихотворения нашего климата. <i>Перевод В. Британишского</i>	279
The Planet on the Table	280
Планета на столе. <i>Перевод В. Британишского</i>	281

THOMAS STEARNS ELIOT
ТОМАС СТЕРНЗ ЭЛИОТ

The Love Song of J. Alfred Prufrock	282
Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока. <i>Перевод А. Сергеева</i>	283
Whispers of Immortality	290
Шепотки бессмертия. <i>Перевод А. Сергеева</i>	291
The Hollow Men	292
Полые люди. <i>Перевод А. Сергеева</i>	293
Journey of the Magi	298
Паломничество волхвов. <i>Перевод А. Сергеева</i>	299

EDNA ST VINCENT MILLAY
ЭДНА СЕНТ-ВИНСЕНТ МИЛЛЕЙ

"Love is not all..."	302
«Любовь еще не все...». <i>Перевод М. Алигер</i>	303

“I too beneath your moon, almighty Sex...”	302
«Под лунным светом Всемогущей Плоти...». <i>Перевод</i> <i>М. Алигер</i>	303
“I must not die of pity; I must live...”	304
«Не умирать от жалости, а жить...». <i>Перевод М. Алигер</i>	305

MARIANNE MOORE
МАРИАННА МУР

Poetry	306
* Пoesия. <i>Перевод А. Парина</i>	307
Spenser's Ireland	308
* Ирландия Спенсера. <i>Перевод А. Парина</i>	309
What are Years?	312
* Что есть годы. <i>Перевод П. Грушко</i>	313

EDWARD ESTLIN CUMMINGS
ЭДВАРД ЭСТЛИН КАММИНГС

“anyone lived in a pretty how town...”	314
«кто-то жил в славном считай городке...». <i>Перевод</i> <i>В. Британишского</i>	315
“plato told...”	316
«платон говорил...». <i>Перевод В. Британишского</i>	317
“pity this busy monster, manunkind...”	318
«не сострадай больному бизнесмонстру...». <i>Перевод</i> <i>В. Британишского</i>	319
“rain or hail...”	320
«дождь ли град...». <i>Перевод В. Британишского</i>	321

ARCHIBALD MACLEISH
АРЧИБАЛЬД МАКЛИШ

You, Andrew Marvell	322
Вам, Эндрию Марвелл. <i>Перевод И. Кашкина</i>	323
Empire Builders	324
Строители империи. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	325

JOHN CROWE RANSOM
ДЖОН КРОУ РЭНСОМ

Blue Girls	330
Голубые девушки. <i>Перевод П. Грушко</i>	331
The Equilibrists	330
Канатоходцы. <i>Перевод П. Грушко</i>	331

ALLEN TATE
АЛЛЕН ТЕЙТ

The Mediterranean	336
Средиземноморье. <i>Перевод П. Грушко</i>	337
Ode to the Confederate Dead	338
* Ода павшим конфедератам. <i>Перевод В. Топорова</i>	339
Last Days of Alice	344
Последние дни Алисы. <i>Перевод П. Грушко</i>	345

ROBERT PENN WARREN
РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

The Child Next Door	348
Соседский ребенок. <i>Перевод О. Чухонцева</i>	349
Multiplication Table	350
Таблица умножения. <i>Перевод П. Грушко</i>	351
The World is a Parable	352
Мир — это притча. <i>Перевод О. Чухонцева</i>	353
Original Sin: a Short Story	352
Первородный грех в кратком пересказе. <i>Перевод П. Грушко</i>	353

WALTER LOWENFELS
УОЛТЕР ЛОУЭНФЕЛС

“When the space-trackers in Texas...”	358
«Когда на станции слежения в Техасе...». <i>Перевод А. Сергеева</i>	359

I Belong	358
Причастность. <i>Перевод В. Рогова</i>	359
Message from Bert Brecht	360
Урок Брехта. <i>Перевод В. Рогова</i>	361

LANGSTON HUGHES
ЛЕНГСТОН ХЬЮЗ

Brass Spittoons	362
Медные плевательницы. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	363
Porter	364
Портье. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	365
Life is Fine	364
Жизнь прекрасна. <i>Перевод В. Британишского</i>	365

OGDEN NASH
ОГДЕН НЭШ

Portrait of the Artist as a Prematurely Old Man	368
Портрет художника в преждевременной старости. <i>Перевод И. Комаровой</i>	369
Nature Knows Best	370
Природе виднее. <i>Перевод И. Комаровой</i>	371
Don't Grin, or You'll Have to Bear it	372
Не ухмыляйся — себе дороже! <i>Перевод И. Комаровой</i>	373
Inter-Office Memorandum	374
Меморандум для внутреннего пользования. <i>Перевод И. Комаровой</i>	375

WYSTAN HUGH AUDEN
УИСТАН ХЬЮ ОДЕН

"O where are you going..."	378
* «Куда ты...». <i>Перевод В. Топорова</i>	379
Who's Who	378
* Кто есть кто. <i>Перевод П. Грушко</i>	379

Musée des Beaux Arts	380
В музее изобразительных искусств. <i>Перевод П. Грушко</i>	381
Lullaby	382
* Колыбельная. <i>Перевод П. Грушко</i>	383
In Memory of W.B. Yeats	384
Памяти У.Б.Йейтса. <i>Перевод А. Эппеля</i>	385
The Unknown Citizen	390
Неизвестный гражданин. <i>Перевод П. Грушко</i>	391
September 1, 1939	392
1 сентября 1939 года. <i>Перевод А. Сергеева</i>	393
In Praise of Limestone	396
Хвала известняку. <i>Перевод А. Сергеева</i>	397
The Shield of Achilles	402
* Щит Ахилла. <i>Перевод В. Топорова</i>	403
Щит Ахилла. <i>Перевод П. Грушко</i>	538

JOHN BERRYMAN
ДЖОН БЕРРИМЕН

1 September 1939	408
1 сентября 1939 года. <i>Перевод В. Британишского</i>	409
Sonnet 17	410
Сонет 17. <i>Перевод В. Британишского</i>	411
Dream Song 125	410
Песня-фантазия 125. <i>Перевод В. Британишского</i>	411
Dream Song 203	412
Песня-фантазия 203. <i>Перевод В. Британишского</i>	413

RANDALL JARRELL
РЭНДАЛЛ ДЖАРРЕЛЛ

Losses	414
Потери. <i>Перевод А. Сергеева</i>	415
The Death of the Ball Turret Gunner	416
Смерть стрелка-радиста. <i>Перевод Р. Сефа</i>	417

The Orient Express	416
Восточный экспресс. <i>Перевод Р. Сефа</i>	417

ROBERT LOWELL

РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ

The Quaker Graveyard in Nantucket	420
Квакерское кладбище в Нантакете. <i>Перевод А. Парина</i>	421
Skunk Hour	428
Час скунса. <i>Перевод В. Британишского</i>	429
July in Washington	432
Июль в Вашингтоне. <i>Перевод А. Сергеева</i>	433
Июль в Вашингтоне. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	541
The Lesson	432
Уроки. <i>Перевод А. Вознесенского</i>	433
For the Union Dead	434
Павшим за Союз. <i>Перевод В. Топорова</i>	435
Павшим за Союз. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	542

THEODORE ROETHKE

ТЕОДОР РЕТКЕ

Dolor	440
Печаль. <i>Перевод Р. Сефа</i>	441
My Papa's Waltz	440
Вальс моего папы. <i>Перевод Ю. Морцу</i>	441
The Small	442
Мельчайшее. <i>Перевод Ю. Морцу</i>	443
The Waking	444
Пробуждение. <i>Перевод Р. Сефа</i>	445

GWENDOLYN BROOKS

ГВЕНДОЛИН БРУКС

The Chicago <i>Defender</i> Sends a Man to Little Rock	446
«Чикаго дифендер» посылает своего человека в Литл-Рок. <i>Перевод В. Британишского</i>	447

The Bean Eaters	450
Едоки бобов. <i>Перевод В. Британишского</i>	451

RICHARD WILBUR

РИЧАРД УИЛБЕР

An Event	452
Событие. <i>Перевод А. Сергеева</i>	453
Lamarck Elaborated	454
Развивая Ламарка. <i>Перевод А. Сергеева</i>	455
A Baroque Wall-Fountain in the Villa Sciarra	454
Барочный фонтан на вилле Шарра. <i>Перевод П. Грушко</i>	455
Advice to a Prophet	458
Совет пророку. <i>Перевод П. Грушко</i>	459

ALLEN GINSBERG

АЛЛЕН ГИНСБЕРГ

A Supermarket in California	462
Супермаркет в Калифорнии. <i>Перевод А. Сергеева</i>	463
Sunflower Sutra	464
Сутра подсолнуха. <i>Перевод А. Сергеева</i>	465

SYLVIA PLATH

СИЛЬВИЯ ПЛАТ

Morning Song	470
Утренняя песня. <i>Перевод А. Сергеева</i>	471
Tulips	470
Тюльпаны. <i>Перевод А. Сергеева</i>	471
Lady Lazarus	474
* Восстающая из мертвых. <i>Перевод В. Топорова</i>	475
Poppies in October	480
* Маки в октябре. <i>Перевод А. Парина</i>	481

DENISE LEVERTOV
ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ

Merritt Parkway	484
Меррит-аллея. <i>Перевод А. Сергеева</i>	485
A Solitude	486
Одиночество. <i>Перевод А. Сергеева</i>	487
City Psalm	490
* Городской псалом. <i>Перевод П. Грушко</i>	491
What Were They Like?	492
* Какими они были. <i>Перевод П. Грушко</i>	493
The Rainwalkers	494
Под дождем. <i>Перевод А. Сергеева</i>	495

JAMES DICKEY
ДЖЕЙМС ДИККИ

Bums, on Waking	496
Пробуждение пьянчуг. <i>Перевод Е. Евтушенко</i>	497
The Heaven of Animals	500
Рай зверей. <i>Перевод Е. Евтушенко</i>	501

ПРИЛОЖЕНИЕ	505
------------------	-----

КОММЕНТАРИИ

Справки об авторах и переводчиках. <i>О. Алякринский</i>	547
Комментарии. <i>С. Джимбинов</i>	578

АМЕРИКАНСКИЕ ПОЭТЫ И РУССКИЕ ПЕРЕВОДЧИКИ

Первым американским поэтом была женщина, и это, наверное, не случайно: мужчинам в то время было не до лирики, их требовали к себе более насущные заботы. Первая книга американских стихов была издана в 1650 году в Лондоне и называлась во вкусе того времени (в Европе расцвет барокко) многословно и витиевато: «Десятая муза, объявившаяся недавно в Америке, или Несколько стихотворений, сочиненных с большим разнообразием остроумия и учености». Книга вышла без имени автора, было сказано лишь, что стихи сочинила «благородная дама из тех мест».

Благородную даму, жену губернатора Массачусетской колонии, звали Анна Брэдстрит (1612—1672). Как посреди всех семейных забот она, мать восьмерых детей, нашла время и спокойствие души, чтобы писать стихи, сказать трудно. Уже в наши дни, в 1956 году, американский поэт Джон Берримен опубликовал поэму «Дань миссис Брэдстрит», где попытался понять, что могла чувствовать первая американская поэтесса на не обжитой еще земле. Ведь всего только три десятилетия прошло с тех пор, как в 1620 году первый корабль с английскими поселенцами (знаменитый «Мэйфлауэр») пристал к берегам Северной Америки, чтобы основать на них Новую Англию.

Казалось бы, известные строгостью своих нравов английские кальвинисты (пуритане), составившие ядро будущей

От автора. Данное предисловие уже в силу своего объема не может дать сколько-нибудь полной истории американской поэзии. Такой истории пока еще нет на русском языке. Мы хотели бы только напомнить читателю некоторые узловые моменты развития поэзии в США и охарактеризовать наиболее значительных ее представителей. В заключительной части предлагается краткая история русских переводов американской поэзии. Дополнительная информация об американских поэтах и их русских переводчиках содержится в комментариях и справках об авторах и переводчиках.

нации, не особенно были склонны к изъяснению своих чувств стихами. Однако первым американским, так сказать, «бестселлером» стала как раз стихотворная книга—поэма пастора Майкла Уиглсворта «День Страшного суда». Рассказывают, что каждый двадцатый житель Новой Англии купил эту книгу.

Уже в первых строках поэмы Уиглсворт объяснял, почему он решил обратиться к стихотворной форме: «Стих может настичь того, кто убежал от проповеди». И далее изображается тихая летняя ночь, когда люди, погрязшие во всех мыслимых грехах, мирно спали, не чувствуя никакой беды. Но вот раздался трубный глас Страшного суда. И Господь, больше похожий на ветхозаветного Иегову, чем на милосердного Христа, начинает судить и карать грешников. «Христа не тронут ваши слезы,—говорит поэт.—Отправляйтесь в ад, там вы сможете рыдать и выть вечно».

То, что такое мрачное произведение имело невероятный успех в Новой Англии и вплоть до начала XIX века заучивалось наизусть в школах, многое говорит о мироощущении первых поселенцев.

По разным причинам стремились люди на этот неосвоенный континент. Были дельцы и приобретатели. Были подлинные религиозные фанатики, вошедшие в конфликт с недостаточно строгой, по их мнению, церковью у себя на родине. Здесь, на новом месте, они хотели создать царство праведности и справедливости. Нельзя забывать еще об одной волне—о безземельных крестьянах и ремесленниках Европы, ехавших за океан, чтобы создать там антифеодальное, бессловное (по существу, буржуазное) общество и соответствующие ему формы демократии.

Разность потенциалов между этими важнейшими группами населения и дала ток американской культуре, в том числе и американской поэзии. Читая обличительные стихи нашего современника Роберта Лоуэлла, слышишь порой грозные интонации Уиглсворта, хотя автор «Дня Страшного суда» был весьма посредственным стихотворцем, а Лоуэлл—один из самых искушенных мастеров американской поэзии.

Самый талантливый американский поэт XVII века—бесспорно, Эдвард Тейлор (ок. 1645—1729). Как и Уиглсворт, он был священником. Тейлора-поэта Америка узнала только

спустя два века после его смерти. Сам Тейлор был против публикации своих стихов, и, кто знает, может быть, они и канули бы в вечность, если бы наследники не сохранили его рукописи, которые правнук Тейлора Эзра Стайлз отдал на хранение в библиотеку Йельского университета. Стихи были обнаружены в 1937 году. Выход отдельной книгой «Поэтических произведений Тейлора» в 1939 году произвел фурор. Оказалось, что в «дикой» Америке XVII века был свой «метафизический поэт», «американский Джон Донн», виртуозно владевший искусством сложно развернутых сравнений, «сопряжения далековатых идей». Да, многое в поэтическом творчестве Тейлора от английского барокко, но все же это были стихи американца, пуританина, с его напряженной нравственной проблематикой. От Тейлора тянутся нити в XIX век — к Торо и Эмерсону, к Эмили Дикинсон.

Филип Френо (1752—1832), ставший потом известным поэтом, писал в 1776 году, вскоре после получения страной независимости: «Политическая и литературная независимость нации — совершенно разные вещи. Первую мы получили за семь лет, второй же, может быть, не удастся окончательно добиться даже за семь столетий». Френо был настроен пессимистично, но проблему сформулировал точно: освободиться от влияния культурных традиций Старого Света — в первую очередь английских — было нелегко. Американская литература получила в готовом виде язык, на котором еще совсем недавно писал Шекспир. Это был и великий дар, и великая опасность, — опасность несамостоятельности, вторичности.

Готовый язык указывал и готовый путь для мыслей и чувств, рождал привычные, готовые ассоциации. Язык этот еще не выражал мировоззрение нового народа на новом месте. Да и как он мог его выражать, когда самого народа, самой американской нации еще не было. Были просто колонисты — поселенцы из разных стран, пользовавшиеся для удобства взаимопонимания английским языком.

Американская литература XVII—XVIII веков питалась в основном английскими традициями и образцами. Между тем у американских пионеров был свой, неповторимо американский,

фольклор, свои легенды и предания. Был фольклор местных жителей—индейцев. И то, и другое было открыто американскими писателями и поэтами гораздо позже—в XIX веке, в эпоху романтизма, когда и состоялось, по сути дела, культурное «открытие Америки».

Один из первых американских поэтов-романтиков Уильям Каллен Брайант стал автором стихотворения, ставшего впоследствии знаменитым и в Англии, неизменно входившего в разнообразные хрестоматии и антологии американской поэзии. Оно называлось греческим словом «Танатопсис», то есть «Картина смерти», и в духе модной некогда в Англии «кладбищенской школы» (Т. Грей, Э. Юнг, Р. Блер) представляло собой опыт поэтического осмысления—и преодоления—смерти.

Сейчас читать это длинное риторическое рассуждение нелегко, но в свое время оно поразило читателей именно совершенством формы—своим прямо-таки вордсвортовским стихом. «Никто по эту сторону Атлантического океана не способен написать такие стихи»,—сказал один из редакторов журнала «Норт америкен ревью» Ричард Дана Старший. Но когда его все же уверили, что это не розыгрыш и не плагиат, он напечатал «Танатопсис» в своем журнале. Это было в 1817 году, а написано стихотворение на шесть лет раньше, когда автору не исполнилось еще и семнадцати лет. Характерно, что «Танатопсис» попал в редакцию, а потом и в печать случайно и без ведома автора. Отец Брайанта показал стихотворение знакомому журналисту, а тот уж Дане. Да и в последующей жизни Брайанта главное место занимали все же не стихи (хотя писал и публиковал он много), а его журналистская деятельность. Почти пятьдесят лет он редактировал нью-йоркскую газету «Ивнинг пост», принимал самое активное участие в жизни города и страны. Это очень характерно для американских поэтов прошлого века: почти все они что-то редактируют, иногда по несколько газет и журналов сразу, пишут публицистические и философские трактаты, занимаются общественной деятельностью. В этом смысле американские романтики тесно связаны с веком Просвещения.

Брайант был убежден, что Америке нужна национальная поэзия, отличная от английской. Вот характерный эпизод.

Когда его брат под влиянием оды «К жаворонку» Шелли написал свое собственное стихотворение о жаворонке, Брайант сказал ему: «Ты видел когда-нибудь жаворонка? Жаворонки — английская птица, и американец, который никогда не был в Европе, не имеет права восторгаться этой птицей». Но призывы оставались призывами. Ратуя за «американские темы» для американских поэтов, сам Брайант в своей поэтической практике так и не сумел освободиться от воздействия столь ценного им Вордсворта.

В 1855 году почти одновременно появились две поэтические книги, различавшиеся во всем, кроме того, что им суждено было на долгое время стать самыми читаемыми книгами американских поэтов в нашей стране. Речь идет о «Листьях травы» Уитмена и поэме Лонгфелло «Песнь о Гайавате».

Легко запоминавшиеся, очень музыкальные и благородные по содержанию стихи Лонгфелло были у всех на устах. Не меньше, чем Америка, чтит Лонгфелло Англия, сделав его почетным доктором и Оксфордского, и Кембриджского университетов, а после смерти поставив его бюст в Вестминстерском аббатстве. Со временем, однако, слава Лонгфелло пошла на убыль: он стал казаться сентиментальным и банальным. «Песнь о Гайавате» объявляли списанной с «Калевалы», а такие стихи, как «Псалом жизни» и «Excelsior!», к концу столетия стали испытанной мишенью для пародий. Лонгфелло ругали за то, за что сравнительно недавно хвалили: за послушное следование европейским традициям, за вторичность и литературность. В поисках горечи, сложности, дисгармонии как наиболее созвучных эпохе читатели XX века перестали замечать богатство человеческого содержания его поэзии и незаурядное поэтическое мастерство. Думается, следующие поколения писателей еще откроют для себя стихи Лонгфелло.

К Эдгару По современная ему критика была, пожалуй, не менее сурова, чем критика XX века — к Лонгфелло. Но его случай — совсем иной. Жизнь и литературная судьба Э. По как бы подтверждают поговорку о том, что нет пророка в своем отечестве.

В самом деле, Эдгара По поняли и оценили не в Америке, а во Франции, а потом в России. Для американской культуры XIX века он явно оказался чужим. Между тем во Франции два крупнейших поэта Ш. Бодлер и С. Малларме высоко ценили творчество По, переводили его сочинения (Малларме, например, перевел все без исключения стихи По, правда прозой). В XX веке эту традицию продолжил Поль Валери, который написал статью-исследование о книге По «Эврика». Все трое — Бодлер, Малларме и Валери — говорили о По как о своем учителе, и можно без преувеличения сказать, что французский поэтический символизм многим обязан творчеству американского поэта.

Э. По открыл для Европы и для Америки суггестивные и эмоциональные возможности поэтического слова. Конечно, и до него многие европейские поэты-романтики смотрели на поэзию как на магию и заклинание, но Э. По был одним из первых, кто поверил эту магическую гармонию алгеброй точного рационального расчета. Достаточно прочесть в статье «Философия творчества», как тщательно отбирал По из всех мыслимых слов одно, единственно нужное ему «Nevermore», чтобы почувствовать — такого точного, почти инженерного расчета при создании стихов раньше не было. Можно назвать его романтиком-рационалистом: в сочетании несочетаемого его неповторимое своеобразие.

Американские поэты — Т. С. Элиот, Э. Паунд, У. Стивенс — не принадлежали к числу восторженных почитателей По, но с гордостью называли среди своих учителей французских символистов, тех же Бодлера, Малларме, Лафорга, то есть... французских учеников По. Бодлер, кстати сказать, назовет его одним из первых бунтарей против общественного ханжества и лицемерия.

Эдгара По современная ему Америка не замечала. Эмили Дикинсон она не знала. Поэтесса, написавшая более полутора тысяч стихотворений, осталась неизвестной современникам (при жизни было напечатано всего семь ее стихотворений — без подписи). Э. Дикинсон родилась, прожила всю жизнь и умерла в одном и том же родительском доме маленького городка Амхерст в Новой Англии. Одной неразделенной любви хватило ей на всю жизнь и всю поэзию. Собственно о любви ею

написано немного, но переживание этого чувства стало для Дикинсон мощным побуждением к творчеству, удивившему читателей XX века оригинальностью поэтического языка.

Думая о Э. Дикинсон, вспоминаешь известную картину Э. Уайеса «Мир Кристины». Правда, на ней изображена парализованная девушка, которая, кроме родного дома да поля вокруг, ничего не знала. Но смысл картины во многом тот же, что всей жизни Дикинсон: не в разнообразии внешней жизни мера содержательности человеческого существования.

Сложно и опасно сравнивать поэтов между собой, и все же при взгляде на печатную страницу со стихами Дикинсон возникает ассоциация с Мариной Цветаевой: та же прерывистость дыхания, выраженная бесчисленными тире, которые заменяли обеим поэтессам и запятые, и двоеточия, и точки. Главное же, пожалуй, что сближает Цветаеву и Дикинсон,— это интенсивность переживания, поистине десятикратное чувство жизни, бытия.

Бесспорно—и уникально—поэтическое дарование Эмили Дикинсон, но почему же при жизни не узнала она счастья общения с читателем, не услышала отклика на свое слово? Пуританская скрытность, страх перед чужим жестоким словом, которое могло обидеть и ранить надолго? Убежденность, что, говоря ее же стихами, «публикация постыдна»? Молчаливый бунт против практицизма и делячества?

Так или иначе, Америка по-настоящему узнала своего большого поэта только в XX веке (заметим, что полное собрание стихов Дикинсон в редакции, соответствующей оригиналу, появилось лишь в 1955 году).

Первое издание «Листьев травы» Уолта Уитмена, совпавшее по времени выхода с «Песней о Гайавате», не в пример поэме Лонгфелло долго дождалось читательского признания (из писателей его сразу оценил лишь Эмерсон). В «эпоху Лонгфелло» Уитмен удивлял и смущал. Простого взгляда на страницу стихов Уитмена достаточно, чтобы заметить новизну его формы: ничего похожего на традиционную строфику четверостиший и восьмистиший, строка такая длинная, что для нее не хватает всей ширины страницы, ее приходится переносить. Этот раскованный свободный стих был следствием

столь же свободного, раскованного содержания, лишенного и намека на традиционность и литературность: «Камерадо, это не книга. Кто прикасается к ней, прикасается к человеку».

В отличие от Лонгфелло и Эмерсона Уитмен общался не столько с литераторами, сколько с весьма далекими от изящной словесности людьми: плотниками и каменщиками, лесорубами и матросами. Это помогло ему открыть новый поэтический континент, имя которому — Демократия — та, что издавна жила в народном сознании как мечта о равенстве и справедливости, оставаясь, как с горечью отмечал поздний Уитмен, всего лишь мечтой в условиях современной ему Америки. С Уитменом в американскую поэзию пришла удивительная исповедальность, откровенность, стремление преодолеть разрыв между реальностью и ее отражением в литературе:

Первый встречный, если ты, проходя мимо, захочешь заговорить со мной, почему бы тебе не заговорить со мною?

Почему бы и мне не начать разговора с тобой?

(Пер. К. Чуковского)

Поэзия Уитмена перевернула существовавшие ранее представления о «поэтичном» и «непоэтичном», прозвучавшее в ней желание «все принять, никого не отвергнуть, никому не отдать предпочтения» было не чем иным, как демократией, ставшей поэзией. Открытия и искания Уитмена оказались важными и нужными американской поэзии XX века. От стихотворения Уитмена «О капитан! Мой капитан» тянутся нити к Э. Маркхему, К. Сэндбергу, Вэчелу Линдсею. Без верлибра Уитмена не было бы, наверное, верлибра Сэндберга, Уильямса, Мастерса — или он был бы совсем другим.

Эдвин Арлингтон Робинсон свои первые книги выпустил в 90-е годы XIX столетия. Его ранние стихи обычно называются именами собственными: «Ричард Кори», «Минивер Чиви», «Люк Хэвергол» — и в совокупности образуют портретную галерею жителей вымышленного городка, который он назвал Тильбюри-таун. Большею частью это неудачники и чудаки, не приспособленные к практической жизни с ее жесткой конку-

ренцией. Робинсон смотрел на жизнь как на театр, сцену, где каждый обречен играть роль или носить определенную маску. Иногда, как это случилось с Ричардом Кори, маска внезапно спадает — и тогда последствия оказываются трагичными. Иногда герой сам иронизирует над собой и своей ролью, как герой стихотворения «Вечеринка мистера Флада» — никакой вечеринки нет, а есть одинокий, никому не нужный мистер Флад, который пьет и разговаривает сам с собой. Робинсон пользуется традиционной строфикой и размерами, но по характеру поэтического мировосприятия он предвещает XX век американской поэзии с его вниманием к частной жизни американцев, их драмам и потрясениям, прорывающимся сквозь внешнее благополучие.

10-е годы получили у историков литературы США название «поэтического Ренессанса». Обычно его началом считается 1912 год, когда в Чикаго был основан журнал «Поэтри», в котором печатались такие поэты, как В. Линдсей и Э. Ли Мастерс, К. Сэндберг и Р. Фрост. О причинах этого явления в свое время хорошо сказал И. Кашкин: «Накопилось так много поэтического материала, требовавшего новых форм выражения, что достаточно было чисто внешних толчков, чтобы привести в движение или обнаружить очень крупные поэтические силы»¹. Одним из таких внешних толчков было появление «малых» некоммерческих журналов, куда устремились вчера еще безвестные авторы. Разумеется, дело не только в одном журнале «Поэтри», хотя в нем действительно получили возможность публиковаться одаренные и многообещающие авторы. Новое мироощущение требовало новых поэтических форм. Их искали самыми разными способами — то опираясь на традиции, то от них отрекаясь.

Еще за три года до открытия «Поэтри», весной 1909 года в одном из ресторанов лондонского Сохо был создан клуб поэтов, среди которых были и американцы — Эзра Паунд, Хильда Дулиттл, Эми Лоуэлл.

Позже участники клуба стали называться имажистами (от слова «image» — «образ»). Поэтика имажистов была направле-

¹ М. Зенкевич, И. Кашкин. Поэты Америки. XX век. М, ГИХЛ, 1939, с. 10—11.

на против романтизма с его многословием, туманностью и высокопарностью, к которым он пришел к концу XIX — началу XX века. Заметим, что творчество американских поэтов-романтиков той поры — Э. Стедмена, Т. Олдрича и др. — носило печать двойного заимствования — они подражали английским викторианцам, в первую очередь Теннисону и Браунингу, которые в свою очередь находились в кругу тем и образов своих предшественников — романтиков.

Непосредственная поэтическая деятельность имажистов (Паунд откололся от течения еще в 1911 году) не принесла больших творческих удач, однако их общие теоретические установки оказались подхваченными и развитыми такими крупными и друг на друга мало похожими американскими поэтами, как Карл Сэндберг и Марианна Мур, Уоллес Стивенс и Уильям Карлос Уильямс.

Вот одно из самых известных стихотворений Уильямса 20-х годов — «Красная тачка», состоящее всего из одной фразы:

so much depends
upon
a red wheel
barrow
glazed with rain
water
beside the white
chickens.

Или, в подстрочном переводе: «столь многое зависит от красной тачки, покрытой глазурью дождевой воды, рядом с белыми цыплятами».

Стихотворение состоит всего только из четырнадцати самых простых слов, нет в нем ни стихотворного размера, ни рифм, ни одного сравнения, даже метафора настолько ослаблена, что почти не воспринимается как метафора («глазурь дождевой воды»). Воспитанные на Китсе и Шелли, читатели недоумевали, что с этим делать, как понимать. В шутку или всерьез — как произведение поэзии. И если это действительно стихотворение, то неужели оно только приглашает взглянуть на красную тачку, омытую дождем, на копошащихся рядом с ней маленьких белых цыплят, взглянуть и согласиться, что это

все хорошо смотрится и радует глаз? А что, собственно, «зависит» от тачки и цыплят («столь многое зависит»)? Да ничего, кроме разве настроения человека, который увидел их словно впервые, а увидав, как бы омыл зрелищем душу.

Увидеть вещь или явление по-новому, словно впервые, забыв все привычные связи и ассоциации, было для Уильямса совсем не пустяком. Новая американская поэзия (и Уильямс в том числе) требовала — и добивалась — совершенно иной настройки аппарата читательского восприятия. Нужно было отучить читателя мыслить в привычных литературных формах. Нужно было заново учиться смотреть и ощущать.

Одной из самых ярких фигур «поэтического Ренессанса» по праву считается Эдгар Ли Мастерс. Однажды кто-то из друзей дал Мастерсу почитать «Греческую антологию», где среди прочего была большая подборка античных стихотворных надгробных надписей. Мастерс вспомнил городок Льюистон, штат Иллинойс, где прошло его детство, и подумал: а что если сделать книгу надгробных надписей американского провинциального кладбища, пусть умершие сами расскажут о себе и своей жизни. Так — через смерть — можно будет изобразить жизнь целого города. Пусть город будет называться Спун-Ривер. И вот в 1915 году вышла книга под названием «Антология Спун-Ривер». За прологом («Холм») следовало почти две с половиной сотни написанных верлибром стихотворных автоэпитафий. Большой частью эпитафии носили сатирический и разоблачительный характер, но в некоторых — «Люсинда Мэтлок», «Энн Ратледж» — Мастерс поднимается до высокого пафоса. Через четыре года после «Антологии Спун-Ривер» увидела свет книга рассказов Шервуда Андерсона «Уайнсбург, Огайо», своего рода прозаический аналог «Антологии» Мастерса. И опять вымышленный городок и его обитатели: спившиеся неудачники, чудаки, фантазеры — жертвы всеобщей погони за успехом и культа «деловых людей». Да, новая американская поэзия упорно не интересовалась благополучными и процветающими, игнорировала воспеваемых идеологами «американизма» суперменов, а если и обращала на них внимание, то как Элиот, давший откровенно фарсовый портрет «владыки жизни» гориллоподобного Суини.

Калвин Кулидж, президент США в период с 1923 по 1929 год, произнес как-то фразу, ставшую крылатой: «The business of the United States is business» («Дело Соединенных Штатов — заниматься делом»). Формула Кулиджа оставляла мало места для искусства вообще и для поэзии в частности. Афоризм этот, впрочем, не был откровением и лишь напоминал то, что в общем-то было известно давно. Сетования американских художников на враждебность американского уклада с его практицизмом и утилитарностью искусству еще со времен Купера были чем-то вполне привычным. Не случайно американские писатели так тянулись в Европу; Генри Джеймс, а впоследствии Томас Стернз Элиот и Эзра Паунд стали эмигрантами и не захотели вернуться на родину.

Впервые пределы Америки Элиот покинул еще в 1910 году, когда ему было уже 22 года, то есть вполне сложившимся человеком. Вся жизнь Элиота, вся его поэтическая и литературно-критическая деятельность — это тоска по прочным и глубоким культурным традициям. Это чисто американская тоска, которой не могло быть ни у Валери, ни у Рильке, ни у Йейтса: не тоскуют по тому, чем обладают, что носят в себе.

Когда в финале «Бесплодной земли» божественный голос, голос грома, произносит слова, которые должны указать путь спасения человечеству, на каком языке говорит гром? «Бесплодной земле» был предпослан греко-латинский эпитаф, но свои знаменитые три слова — «давай», «сочувствуй», «управляй» — гром произносит на санскрите, цитируя из «Упанишад». Удивившие современников многоязычные мозаики в главных произведениях Элиота («Бесплодная земля») и Паунда («Cantos») отразили судорожные поиски их авторами тех самых «корней для подлинной культуры», которых, по признанию многих американских писателей и критиков, всегда так не хватало Америке.

Имя Элиота окружено особым уважением в англоязычной литературной критике, наверное, отчасти и потому, что он считается одним из первооткрывателей секрета, как превращать в поэзию столь непоэтическую, плохо поддающуюся «поэтизации» действительность XX века. В своей статье «Метафизические поэты» (1921) Элиот так изложил свое

понимание задач и содержания современной поэзии: «Вовсе не обязательно, чтобы поэты интересовались философией или еще каким-либо предметом. Мы можем только сказать, что, по всей вероятности, поэты нашей цивилизации, в той форме, в которой она существует сейчас, должны быть трудными. Наша цивилизация включает в себя разнородные и сложные элементы, и эта разнородность и сложность, отражаясь в утонченном восприятии, должна порождать разнородные и сложные результаты. Поэт должен становиться все более всеобъемлющим, более аллегоричным, более непрямым, чтобы силой заставить язык... выразить то, что хочет поэт»¹. Творческие принципы Элиота оказали большое воздействие на ход поэтического процесса в Америке. Ученость, мифологизм, ощущение катастрофичности современной западной цивилизации, отличавшие поэзию Элиота,— все это было унаследовано и по-своему переосмыслено такими мастерами поэтического слова, как Лоуэлл, Ретке, Берримен. Не менее влиятельными и плодотворными были, однако, заветы американской школы реализма, основы которой закладывались Робинсоном и Мастерсом, Фростом и Сэндбергом.

Урбанистическая Америка XX века должна была обрести певца своей индустриальной мощи и тех, кому этой мощью она была обязана,— рабочих. И она обрела такого певца в лице одного из наиболее верных последователей Уитмена — Карла Сэндберга. «Большим индустриальным поэтом Америки» назвал его Маяковский. Наиболее ярко радикальные настроения Сэндберга проявились в 30-годы, когда вышла его стихотворная книга «Народ, да!»

«Народ — это миф, абстракция».

Но какой миф вы поставите на место народа?

Какой абстракцией вы замените эту абстракцию?

(Пер. А. Сергеева)

Крупнейшим представителем реализма в американской поэзии XX века был и остается Роберт Фрост. Он шел не от французских символистов и не от Уитмена, а от непопулярной

¹ T.S. Eliot. *Selected Essays*. Lnd., 1942, p. 88.

тогда романтической традиции Лонгфелло и Уиттьера. Первая его книга, вышедшая в 1914 году, когда неудачливому фермеру было 39 лет, называлась цитатой из Лонгфелло — «Воля мальчика» («Воля мальчика — воля ветра», — говорится в стихотворении Лонгфелло «Моя утраченная юность»). Фрост знал латинский язык и классическую римскую поэзию не хуже Паунда, но в отличие от Паунда никогда не позволил бы себе написать «Дань Сексту Проперцию», предпочитая писать «Починку стены» и «Смерть батрака». Однако уроки Горация и Овидия, уроки соразмерности, гармонии, безукоризненного вкуса присутствуют в каждом стихотворении Фроста. Отличительная черта его лирики — сдержанность и своеобразная эпичность. Поэт избегает прямого «излияния чувств», он общается с читателями через повествование, через персонажей, через порой едва заметный, но все же сюжет. Картинки-повествования Фроста часто заканчиваются моральной сентенцией (часть пуританского наследия), за внешней простотой которой — сложность и глубина.

Тайна глубины «архаичного и старомодного» (как его нередко определяли критики) Фроста — в близости к земле, к труду на земле. В этом смысле он продолжатель одной из давних традиций американской поэзии. Уже в стихах Тейлора поражало обилие «трудовых» сравнений. Уитмен описал десятки профессий и ремесел (многие из которых сам освоил). Его ученик и последователь Сэндберг создал «Молитву стали». Но все-таки главным поэтом труда в американской поэзии остается Фрост. «После сбора яблок», «Починка стены», «Пастбище», «Двое бродяг в распутицу», «Закон» — во всех этих стихотворениях сложные нравственные, духовные, психологические проблемы решаются через тему трудовой деятельности человека.

Фрост особенно ярко выражает еще одну отличительную черту американской поэзии (и прежде всего, конечно, поэзии Новой Англии) — ее эпичность, повествовательность и тем самым некую нелиричность. Поясним, что мы имеем в виду. Американским поэтам, похоже, не свойственно просто изливать свою душу на бумаге. Трудно представить, чтобы поэт из Новой Англии написал что-то вроде «И скучно, и грустно, и некому руку подать...». Исключений немного. Может быть, это

традиция пуританской сдержанности, даже скрытности? Во всяком случае, такой поэт может говорить о чем угодно, но только через персонажа, через маску — сборник стихов Паунда так и называется *Personae*, — то есть в переводе с латинского «маски». Персонаж, в свою очередь, вызывает повествовательный элемент или хотя бы отдельные картинки. Вот откуда эта обширная портретная галерея в американской поэзии — вспомним имена Робинсона и Мастерса.

Одна из главных особенностей американской поэзии — необыкновенное разнообразие составляющих ее личностей. Уоллес Стивенс, Марианна Мур, Э. Э. Каммингс, Харт Крейн, Огден Нэш, наконец, Роберт Фрост — что у них общего друг с другом или с другими поэтами Америки? Отчасти это можно объяснить пестротой и многокрасочностью национального состава США. Даже знаменитый «плавильный котел» американской жизни не выплавил все шведское из Карла Сэндберга, все голландское и немецкое из Уоллеса Стивенса, испанское из У. К. Уильямса, итальянское из Дж. Чиарди... Но главная причина, может быть, в том особом американском индивидуализме, который заставлял еще первых поселенцев селиться так далеко друг от друга и закреплен по сей день наличием пятидесяти штатов с разным законодательством.

В первые годы после второй мировой войны и вплоть до середины 50-х годов в американской поэзии царил аккуратный академизм. Усилиями ряда поэтов (Уилбер, Ретке, Берримен, Немеров, Снодграсс) была создана так называемая «университетская поэзия», которую вполне можно было бы назвать «неометафизической». Ее представители пользовались сложной техникой поэтического письма, изощренной образностью, восходившими в конечном итоге к художественным принципам таких поэтов английского XVII века, как Донн, Марвелл, Крэшо, а в XX веке нашедшими свое теоретическое оправдание у Элиота. Утонченность мысли, культ сложной формы приводили порой к тому, что образ мира получался затемненным, живой социальной действительности не находилось места на страницах сборников «университетских поэтов».

В эту весьма уважаемую и даже чопорную атмосферу в середине 50-х годов ворвались битники, громко заявившие о своем неприятии идеалов «общества процветания». Хотя

вопрос о художественной долговечности написанного битниками остается открытым, невозможно отрицать, что творчество Гинсберга, Корсо, Ферлингетти вернуло американской поэзии социальную остроту и злободневность. В частности, в том, что Роберт Лоуэлл, один из лидеров послевоенной поэзии США, от умозрительно-отвлеченного «Замка лорда Уири» (1946) перешел к остросоциальной поэзии 60-х годов (сборник «Павшим за Союз»), есть немалая заслуга поэтической активности битников. Это признавал и сам Лоуэлл, в целом далеко не сочувствовавший этому движению.

60-е годы в США отмечены небывалым подъемом поэзии протеста. Поводом и питающей почвой стала прежде всего восьмилетняя война во Вьетнаме (1965—1973). Уже в 1967 году вышел том стихов американских поэтов самых различных ориентаций и направлений под названием «Где Вьетнам?» Его составил ветеран социалистической поэзии США Уолтер Лоуэнфелс. Другим мощным импульсом поэзии протеста послужила принявшая в эти годы небывалый размах борьба американского—прежде всего негритянского—населения за гражданские права.

Есть у Роберта Фроста стихотворение, которое называется «Ручей, текущий на запад». Фермер рассказывает жене об одном ручье, не похожем на все остальные:

С чего это он вздумал течь на запад,
Здесь все ручьи стремятся на восток,
Там—океан. Должно быть, наш так верит
В себя, что и перечить не боится,
Совсем как я тебе или как ты мне,
Поскольку мы с тобой... мы... ну такие.

(Пер. А. Сергеева)

Этот непокорный ручей—емкий символ того лучшего, что есть в американской поэзии—недоверие к официальным ценностям и идеалам, неустанные поиски новых способов поэтического освоения действительности—путей, не всегда, может быть, ведущих к творческим победам, но всегда прокладываемых в искреннем стремлении к художественной правде.

В 1820 году в журнале «Эдинбургское обозрение» появилась статья английского публициста Сиднея Смита, где содержалась весьма ироническая оценка достижений американской культуры. «Во всех четырех частях света,—спрашивал обозреватель,—кто сейчас читает американскую книгу? Или идет в театр на американскую пьесу? Или смотрит на американскую картину или статую?» Между тем как раз в это время американские книги стали читаться за рубежом—в том числе и в России.

Первая книга американского писателя появилась на русском языке еще в 1784 году. Это была брошюра Бенджамина Франклина «Путь к богатству», озаглавленная переводчиком «Учение добродушного Рихарда».

Романы Купера и новеллы Ирвинга переводились в России с середины 20-х годов прошлого столетия. Пушкин читал и делал выписки из другой американской книги—«Записок Джона Теннера» (статья Пушкина «Джон Теннер» по объему самая большая из его работ о зарубежных писателях).

Первые русские переводы из американских поэтов появились позже—в 1860 году. На страницах газеты «Наше время» поэт Дмитрий Ознобишин поместил свой перевод стихотворения Лонгфелло «Псалом жизни». Это стихотворение настолько пришлось по душе русским читателям и переводчикам, что за период с 1860 по 1917 год появилось пятнадцать его различных переводов.

Интересна история русских переводов стихотворения «Сон невольника». 19 февраля 1861 года в России был издан манифест об отмене крепостного права, и сразу же, в ближайших февральских и мартовских номерах, три русских журнала самой различной политической ориентации напечатали в трех разных переводах «Сон невольника» Лонгфелло. Некрасовский «Современник» дал весь цикл «Стихов о рабстве» в переводе М. Михайлова, правда под смягченным для цензуры названием «Песни о неграх». Журнал «Время», руководимый братьями М. М. и Ф. М. Достоевскими, дал «Сон невольника» в переводе В. Костомарова. Журнал «Век» опубликовал то же стихотворение в переводе Д. Михаловского. Так, написанное двадцатью годами ранее стихотворение американского поэта стало для России насущным, важным, нужным. Оно читалось с

эстрады, перепечатывалось в многочисленных сборниках (это стихотворение переводили также А. Майков, Д. Садовников и другие).

Конечно, не могла остаться незамеченной русскими переводчиками и «Песнь о Гайавате». Действительно, уже в 1866 году в том же «Современнике» известный переводчик того времени Д. Михаловский поместил перевод 1-й песни поэмы Лонгфелло. А еще через два года, в 1868 году, «Отечественные записки» дали в ряде номеров перевод основных песен поэмы, выполненный тем же Д. Михаловским. В 1875 году этот перевод с некоторыми дополнениями и исправлениями появился в замечательной антологии Н. Гербеля «Английские поэты в биографиях и образах». Эта антология сыграла большую роль в знакомстве русского читателя с англоязычной поэзией, но из американских поэтов в нее вошли только два — У. К. Брайант, представленный всего одним стихотворением — «Танатопсис» в переводе А. Плещеева, и, конечно, Г. Лонгфелло, который был представлен на редкость широко: пятнадцать стихотворений, большой отрывок из поэмы «Эвангелина» в переводе П. Вейнберга и двенадцать (из двадцати двух) глав «Песни о Гайавате» в переводе Д. Михаловского. Сейчас перевод Михаловского забыт, вытеснен классическим переводом И. Бунина, между тем справедливость требует отметить работу первого переводчика «Гайаваты».

Ване Бунину не было и десяти лет, когда домашний учитель Н. Ромашков познакомил его с недавно вышедшей антологией Н. Гербеля. Позже писатель будет вспоминать: «Первыми моими книгами для чтения были «Английские поэты» изд. Гербеля и «Одиссея» Гомера».

Неудивительно, что со временем юноше Бунину захотелось заново, по-своему, перевести с детства знакомую по переводу Д. Михаловского поэму Лонгфелло. Изучив с помощью самоучителя английский язык, Бунин с жаром принялся за работу, и в 1896 году перевод 26-летнего сотрудника «Орловских ведомостей» вышел в Орле отдельной книгой в качестве приложения к названной газете. Перевод Бунина и по сей день остается непревзойденным по легкости стиха и естественности интонации. Он может показаться счастливой случайной-

стью только тому, кто не знаком со стоящей за ним тридцатилетней традицией любви русских читателей и переводчиков к поэзии Лонгфелло.

Иначе сложилась «русская судьба» поэзии Эдгара По. В антологии Н. Гербеля 1875 года он вовсе не представлен. К этому времени не было еще ни одного перевода его стихов. Только в марте 1878 года в «Вестнике Европы» появился наконец «Ворон» в переводе поэта и критика С. Андреевского. Самое удивительное заключалось в том, что Андреевский решил перевести «Ворона» не размером подлинника (восьмистопный хорей), а наиболее традиционным русским размером — четырехстопным ямбом. Получилось вот что:

Когда в угрюмый час ночной,
Однажды, бледный и больной,
Над грудой книг работал я,
Ко мне, в минуту забытья,
Невнятный стук дошел извне,
Как будто кто стучал ко мне...

Читая сегодня «Ворона» в переводе, скажем, М. Зенкевича, трудно вообразить, в каком виде предстало это стихотворение когда-то перед первыми его русскими читателями. «Ворон» в России переводился много — по количеству переводов он уступает лишь немногим стихотворениям Лонгфелло: за последние сто лет появилось пятнадцать поэтических и один прозаический перевод этого стихотворения!

Главная заслуга в переводе Э. По, бесспорно, принадлежит двум русским поэтам — К. Бальмонту и В. Брюсову. Думается, поэтический стиль самого К. Бальмонта отчасти сложился под влиянием поэзии Э. По.

В переводе Бальмонта вышло «Собрание сочинений» Э. По в шести томах. На протяжении 1901—1913 годов оно трижды переиздавалось в издательстве «Скорпион»; в третьем, самом полном, было двадцать восемь стихотворений. Это около половины всего поэтического наследия Э. По.

Валерий Брюсов напечатал свой первый поэтический перевод из Э. По («Ворон») еще в 1905 году, однако отдельной книгой переводы Брюсова вышли только незадолго до его

смерти в 1924 году («Полное собрание поэм и стихотворений»). Эдгар По до недавнего времени оставался единственным американским поэтом, полностью переведенным на русский язык. Лишь в 1982 году состоялся выход полного собрания стихов Уитмена.

Сравнивая сегодня работу над поэзией Э. По двух известных русских поэтов, отдаешь предпочтение все-таки переводам К. Бальмонта. Эти переводы и сегодня живут и дышат, в то время как переводы Брюсова, при всей их филологической скрупулезности, читаются тяжело. Это именно труд филолога, а не поэта (удачнее других все же его перевод «Ворона»).

В советское время наиболее полное издание стихов По вышло в издательстве «Художественная литература» в 1976 году в серии «Сокровища лирической поэзии».

Несколько короче история русского Уитмена. Первые переводы его стихов появились в России только в 1899 году, то есть спустя семь лет после смерти поэта. Их автором был писатель и поэт-демократ В. Г. Богораз (Тан). Но теперь мы знаем, что еще в 1872 году, при жизни Уитмена, великий русский писатель И. С. Тургенев перевел его стихотворение «Бейте, бейте, барабаны!..». Своему другу П. В. Анненкову Тургенев писал о стихах американского поэта (письмо от 12 ноября 1872 года): «Ничего более поразительного себе представить нельзя». К сожалению, перевод Тургенева тогда затерялся и был опубликован только почти столетие спустя, в 1966 году.

С 1905 года началась работа над переводами Уитмена К. И. Чуковского. В американской поэзии Чуковский был явно однолюбом (правда, объективности ради нужно отметить, что в 1906—1907 годах в журнале «Нива» появился его перевод двух стихотворений Г. Лонгфелло и одного стихотворения Р. У. Эмерсона, но к этим своим работам К. Чуковский никогда больше не возвращался).

Первая книга стихов Уитмена в переводе К. Чуковского вышла еще в 1907 году. Вслед за ней, в 1911 году, выпустил целую книгу переводов из Уитмена и К. Бальмонт («Побеги травы», М., «Скорпион»). Но музыкальность Бальмонта, столь полезная при переводе Э. По, оказалась скорее помехой при переводе верлибров Уитмена. Несмотря на отдельные удачи,

русского Уитмена Бальмонт дать не смог. Зато переводы К. Чуковского выдержали бесчисленное количество изданий. Переводчик не раз переделывал и совершенствовал их. Благодаря этим переводам стихи Уитмена стали широко известны и любимы в нашей стране.

Наконец, Э. Дикинсон. Несколько ее стихотворений были переведены М. Зенкевичем и И. Кашкиным еще в 40-х годах, но подлинное знакомство советского читателя с поэтессой состоялось только недавно, в 1976 году, когда «Библиотека всемирной литературы» в одном томе с Лонгфелло и Уитменом дала и ее стихи. Почти все они были переведены В. Марковой, ранее известной любителям поэзии своими переводами из японских поэтов. В 1981 году стихи Э. Дикинсон в переводе В. Марковой вышли отдельной книгой в издательстве «Художественная литература». По сравнению с подборкой в «Библиотеке всемирной литературы» было добавлено еще около ста стихотворений. Можно смело сказать, что В. Маркова открыла русскому читателю поэзию Э. Дикинсон.

Что касается русских переводов американских поэтов XX века, то первым следует назвать имя Михаила Александровича Зенкевича. Никто не сделал так много для знакомства русского читателя с американской поэзией. Начиная с замечательной антологии «Поэты Америки. XX век» (М., ГИХЛ, 1939), составленной и переведенной им вместе с другим ветераном советского перевода Иваном Александровичем Кашкиным, Зенкевич переводил почти всех крупных поэтов Америки от Филипа Френо до Роберта Лоуэлла.

И. А. Кашкин был не только переводчиком, но и замечательным историком американской поэзии. Его работы о Э. Дикинсон, Р. Фросте, К. Сэндберге вошли в посмертную книгу статей «Для читателя-современника»¹. Из переводов Кашкина следует особо выделить подготовленную им книгу стихов К. Сэндберга², а также переводы из У. Уитмена, Э. Ли Мастерса, Л. Хьюза. Отдельной книгой переводы Кашкина вышли в 1960 году³.

¹ И. Кашкин. Для читателя-современника. М., «Советский писатель», 1968.

² К. Сэндберг. Стихи разных лет. М., ИЛ., 1959.

³ И. Кашкин. Слышу, поэт Америка. Поэты США. М., ИЛ., 1960.

Конец 60-х — начало 70-х годов — новый этап освоения американской поэзии русской советской переводческой школой. Если антология М. Зенкевича и И. Кашкина «Поэты Америки. XX век» познакомила советского читателя с творчеством поэтов первой трети нашего столетия, то поэзия 30-х — 60-х годов была представлена в антологии «Современная американская поэзия»¹. Чуть раньше в переводе Андрея Сергеева вышли стихотворные сборники Э. А. Робинсона² и Т. С. Элиота³. Наконец, совсем недавно увидела свет книга, ставшая своеобразным подведением итогов двадцатилетней истории русских переводов американской поэзии⁴. В этом томе, вышедшем в серии «Библиотека литературы США», американская поэзия впервые предстала на всем своем историческом протяжении, открыв советскому читателю ранее не переводившихся Анну Брэдстрит, Эдварда Тейлора, Эзру Паунда, Харта Крейна, Роберта Пенна Уоррена. Необходимо отметить большой труд историка американской поэзии Алексея Зверева, составившего эту уникальную антологию и написавшего к ней вступительную статью и комментарий.

Время рождает новые яркие имена и среди американских поэтов, и среди их русских переводчиков. Освоение американского поэтического континента продолжается.

Станислав Джимбинов

¹ Современная американская поэзия. Сост. А. Зверев и И. Левидова. М., «Прогресс», 1975.

² Э. А. Робинсон. Тильбюри-таун. Стихотворения и поэмы. М., «Художественная литература», 1971.

³ Т. С. Элиот. Бесплодная земля. М., «Прогресс», 1971.

⁴ Поэзия США. Сост. А. Зверев. М., «Художественная литература», 1982.

*Американская поэзия
в русских переводах*



*American Verse
in Russian Translation*

THE RAVEN

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore—
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
“’Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door—
Only this and nothing more.”

Ah, distinctly I remember, it was in the bleak December,
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.
Eagerly I wished the morrow;—vainly I had sought to borrow
From my books surcease of sorrow—sorrow for the lost Lenore—
For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore—
Nameless here for evermore.

And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain
Thrilled me—filled me with fantastic terrors never felt before;
So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating,
“’Tis some visitor entreating entrance at my chamber door—
Some late visitor entreating entrance at my chamber door;—
This it is and nothing more.”

Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer,
“Sir,” said I, “or Madam, truly your forgiveness I implore;
But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,
And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,
That I scarce was sure I heard you”—here I opened wide
the door:—

Darkness there and nothing more.

ВОРОН

Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий,
Задремал я над страницей фолианта одного,
И очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал,
Будто глухо так затукал в двери дома моего.
«Гость,— сказал я,— там стучится в двери дома моего,
Гость— и больше ничего».

Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный,
И от каждой вспышки красной тень скользила на ковер.
Ждал я дня из мрачной дали, тщетно ждал, чтоб книги дали
Облегченье от печали по утраченной Линор,
По святой, что там, в Эдеме ангелы зовут Линор,—
Безыменной здесь с тех пор.

Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах
Полонил, наполнил смутным ужасом меня всего,
И, чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил устало:
«Это гость лишь запоздалый у порога моего,
Гость какой-то запоздалый у порога моего,
Гость— и больше ничего».

И, оправясь от испуга, гостя встретил я, как друга.
«Извините, сэры иль леди,— я приветствовал его,—
Задремал я здесь от скуки, и так тихи были звуки,
Так неслышны ваши стуки в двери дома моего,
Что я вас едва услышал»,— дверь открыл я: никого,
Тьма— и больше ничего.

Deep into that darkness peering, long I stood there wondering,
fearing,
Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before;
But the silence was unbroken, and the stillness gave no token,
And the only word there spoken was the whispered word, "Lenore?"
This I whispered, and an echo murmured back the word, "Lenore!"
Merely this and nothing more.

Back into the chamber turning, all my soul within me burning,
Soon again I heard a tapping somewhat louder than before.
"Surely," said I, "surely that is something at my window lattice;
Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore—
Let my heart be still a moment, and this mystery explore;—
'Tis the wind and nothing more!"

Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,
In there stepped a stately Raven of the saintly days of yore;
Not the least obeisance made he; not a minute stopped or
stayed he;
But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door—
Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door—
Perched, and sat, and nothing more.

Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,
By the grave and stern decorum of the countenance it wore,
"Though the crest be shorn and shaven, thou," I said, "art sure
no craven,
Ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore—
Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!"
Quoth the Raven, "Nevermore."

Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,
Though its answer little meaning—little relevancy bore;
For we cannot help agreeing that no living human being
Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door—
Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door,
With such name as "Nevermore."

Тьмой полночной окруженный, так стоял я, погруженный
В грезы, что еще не снились никому до этих пор;
Тщетно ждал я так, однако тьма мне не давала знака,
Слово лишь одно из мрака донеслось ко мне: «Линор!»
Это я шепнул, и эхо прошептало мне: «Линор!»
 Прошептало, как укор.

В скорби жгучей о потере я захлопнул плотно двери
И услышал стук такой же, но отчетливей того.
«Это тот же стук недавний,— я сказал,— в окно за ставней,
Ветер воет неспроста в ней у окошка моего,
Это ветер стукнул ставней у окошка моего,—
 Ветер— больше ничего».

Только приоткрыл я ставни— вышел Ворон стародавний,
Шумно оправляя траур оперенья своего;
Без поклона, важно, гордо, выступил он чинно, твердо;
С видом леди или лорда у порога моего,
Над дверьми на бюст Паллады у порога моего
 Сел— и больше ничего.

И, очнувшись от печали, улыбнулся я вначале,
Видя важность черной птицы, чопорный ее задор,
Я сказал: «Твой вид задорен, твой хохол облезлый черен,
О зловещий древний Ворон, там, где мрак Плутон простер,
Как ты гордо назывался там, где мрак Плутон простер?»
 Каркнул Ворон: «Nevermore».

Выкрик птицы неуклюжей на меня повеял стужей,
Хоть ответ ее без смысла, невпопад, был явный вздор;
Ведь должны все согласиться, вряд ли может так случиться,
Чтобы в полночь села птица, вылетевши из-за штор,
Вдруг на бюст над дверью села, вылетевши из-за штор,
 Птица с кличкой «Nevermore».

But the Raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only
That one word, as if his soul in that one word he did outpour.
Nothing further then he uttered—not a feather then he
fluttered—
Till I scarcely more than muttered, “Other friends have flown
before—
On the morrow he will leave me, as my Hopes have flown before.”
Then the bird said, “Nevermore.”

Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,
“Doubtless,” said I, “what it utters is its only stock and store,
Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster
Followed fast and followed faster till his songs one burden bore—
Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore
Of ‘Never—nevermore.’”

But the Raven still beguiling my sad fancy into smiling,
Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust
and door;
Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking
Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore—
What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore
Meant in croaking “Nevermore.”

This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing
To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom’s core;
This and more I sat divining, with my head at ease reclining
On the cushion’s velvet lining that the lamp-light gloated o’er,
But whose velvet violet lining with the lamp-light gloating o’er,
She shall press, ah, nevermore!

Then, methought, the air grew denser, perfumed from an
unseen censer
Swung by Seraphim whose foot-falls tinkled on the tufted floor.
“Wretch,” I cried, “thy God hath lent thee—by these angels he
hath sent thee
Respite—respite and nepenthe from thy memories of Lenore!
Quaff, oh, quaff this kind nepenthe, and forget this lost Lenore!”
Quoth the Raven, “Nevermore.”

Ворон же сидел на бюсте, словно этим словом грусти
Душу всю свою излил он навсегда в ночной простор.
Он сидел, свой клюв сомкнувши, ни пером не шелохнувши,
И шепнул я вдруг вздохнувши: «Как друзья с недавних пор,
Завтра он меня покинет, как надежды с этих пор».

Каркнул Ворон: «Nevermore!»

При ответе столь удачном вздрогнул я в затишьи мрачном,
И сказал я: «Несомненно, затвердил он с давних пор,
Перенял он это слово от хозяина такого,
Кто под гнетом рока злого слышал, словно приговор,
Похоронный звон надежды и свой смертный приговор
Слышал в этом «nevermore».

И с улыбкой, как вначале, я, очнувшись от печали,
Кресло к Ворону подвинул, глядя на него в упор,
Сел на бархате лиловом в размышлении суровом,
Что хотел сказать тем словом Ворон, вещей с давних пор,
Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещей с давних пор,
Хриплым карком: «Nevermore».

Так, в полудремоте краткой, размышляя над загадкой,
Чувствуя, как Ворон в сердце мне вонзал горящий взор,
Тусклой люстрой освещенный, головою утомленной
Я хотел склониться, сонный, на подушку на узор,
Ах, она здесь не склонится на подушку на узор
Никогда, о, nevermore!

Мне казалось, что незримо заструились клубы дыма
И ступили серафимы в фимиаме на ковер.
Я воскликнул: «О несчастный, это Бог от муки страстной
Шлет непентес—исцеленье от любви твоей к Линор!
Пей непентес, пей забвенья и забудь свою Линор!»

Каркнул Ворон: «Nevermore!»

“Prophet!” said I, “thing of evil!—prophet still, if bird or devil!—
Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,
Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted—
On this home by Horror haunted—tell me truly, I implore—
Is there—is there balm in Gilead?—tell me—tell me, I implore!”
Quoth the Raven, “Nevermore.”

“Prophet!” said I, “thing of evil!—prophet still, if bird or devil!
By that Heaven that bends above us—by that God we both adore—
Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,
It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore—
Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore.”
Quoth the Raven, “Nevermore.”

“Be that word our sign of parting, bird or fiend!” I shrieked,
upstarting—
“Get thee back into the tempest and the Night’s Plutonian shore!
Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!
Leave my loneliness unbroken!—quit the bust above my door!
Take thy beak from out my heart, and take thy form from off
my door!”
Quoth the Raven, “Nevermore.”

And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
And his eyes have all the seeming of a demon’s that is dreaming,
And the lamp-light o’er him streaming throws his shadow on
the floor;
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted—nevermore!

Я воскликнул: «Ворон вещей! Птица ты иль дух зловещий!
Дьявол ли тебя направил, буря ль из подземных нор
Занесла тебя под крышу, где я древний Ужас слышу,
Мне скажи, дано ль мне свыше там, у Галаадских гор,
Обрести бальзам от муки, там, у Галаадских гор?»

Каркнул Ворон: «Nevermore!»

Я воскликнул: «Ворон вещей! Птица ты иль дух зловещий!
Если только бог над нами свод небесный распростер,
Мне скажи: душа, что бремя скорби здесь несет со всеми,
Там обнимет ли, в Эдеме, лучезарную Линор —
Ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Линор?»

Каркнул Ворон: «Nevermore!»

«Это знак, чтоб ты оставил дом мой, птица или дьявол! —
Я, вскочив, воскликнул: — С бурей уносишь в ночной простор,
Не оставив здесь, однако, черного пера, как знака
Лжи, что ты принес из мрака! С бюста траурный убор
Скинь и клюв твой вынь из сердца! Прочь лети в ночной
простор!»

Каркнул Ворон: «Nevermore!»

И сидит, сидит над дверью Ворон, оправляя перья,
С бюста бледного Паллады не слетает с этих пор;
Он глядит в недвижимом взлете, словно демон тьмы в дремоте,
И под люстрой, в позолоте, на полу, он тень простер,
И душой из этой тени не взлечу я с этих пор.

Никогда, о, nevermore!

Перевод М. Зенкевича

ULALUME—A BALLAD

The skies they were ashen and sober;
The leaves they were crisped and sere—
The leaves they were withering and sere:
It was night, in the lonesome October
Of my most immemorial year:
It was hard by the dim lake of Auber,
In the misty mid region of Weir—
It was down by the dank tarn of Auber,
In the ghoul-haunted woodland of Weir.

Here once, through an alley Titanic,
Of cypress, I roamed with my Soul—
Of cypress, with Psyche, my Soul.
These were days when my heart was volcanic
As the scoriac rivers that roll—
As the lavas that restlessly roll
Their sulphurous currents down Yaanek
In the ultimate climes of the Pole—
That groan as they roll down Mount Yaanek
In the realms of the Boreal Pole.

Our talk had been serious and sober,
But our thoughts they were palsied and sere—
Our memories were treacherous and sere;
For we knew not the month was October,
And we marked not the night of the year—
(Ah, night of all nights in the year!)
We noted not the dim lake of Auber
(Though once we had journeyed down here)—
Remembered not the dank tarn of Auber,
Nor the ghoul-haunted woodland of Weir.

And now, as the night was senescent
And star-dials pointed to morn—
As the star-dials hinted of morn—
At the end of our path a liquescent
And nebulous lustre was born,

УЛЯЛЮМ

Небеса были пепельно-пенны,
Листья были осенние стылы,
Листья были усталые стылы,
И октябрь в этот год отреченный
Наступил бесконечно унылый.
Было смутно; темны и смятенны
Стали чащи, озера, могилы.—
Путь в Уировой чаще священной
Вел к Оберовым духам могилы.

Мрачно брел я в тени великанов —
Кипарисов с душою моею.
Мрачно брел я с Психеей моею,
Были дни, когда Горе, нагрыв,
Залило меня лавой своею,
Ледовитою лавой своею.
Были взрывы промерзших вулканов,
Было пламя в глубинах морей —
Нарастающий грохот вулканов,
Пробужденье промерзших морей.

Пепел слов угасал постепенно,
Мысли были осенние стылы,
Наша память усталая стыла.
Мы забыли, что год — отреченный,
Мы забыли, что месяц — унылый
(Что за ночь — Ночь Ночей! — наступила,
Мы забыли, — темны и смятенны
Стали чащи, озера, могилы),
Мы забыли о чаще священной,
Не заметили духов могилы.

И когда эта ночь понемногу
Пригасила огни в небесах, —
Огоньки и огни в небесах, —
Озарил странным светом дорогу
Серп о двух исполинских рогах.

Out of which a miraculous crescent
Arose with a duplicate horn—
Astarte's bediamonded crescent
Distinct with its duplicate horn.

And I said—"She is warmer than Dian;
She rolls through an ether of sighs—
She revels in a region of sighs.
She has seen that the tears are not dry on
These cheeks, where the worm never dies,
And has come past the stars of the Lion,
To point us the path to the skies—
To the Lethean peace of the skies—
Come up, in despite of the Lion,
To shine on us with her bright eyes—
Come up through the lair of the Lion
With love in her luminous eyes."

But Psyche, uplifting her finger,
Said: "Sadly this star I mistrust—
Her pallor I strangely mistrust:
Ah, hasten!—ah, let us not linger!
Ah, fly!—let us fly!—for we must."
In terror she spoke, letting sink her
Wings till they trailed in the dust—
In agony sobbed, letting sink her
Plumes till they trailed in the dust—
Till they sorrowfully trailed in the dust.

I replied: "This is nothing but dreaming:
Let us on by this tremulous light!
Let us bathe in this crystalline light!
Its Sibyllic splendor is beaming
With Hope and in Beauty to-night:—
See!—it flickers up the sky through the night!
Ah, we safely may trust to its gleaming,
And be sure it will lead us aright—
We surely may trust to a gleaming,
That cannot but guide us aright,
Since it flickers up to Heaven through the night."

Серп навис в темном небе двурого,—
Дивный призрак, развеявший страх,—
Серп Астарты, сияя двурого,
Прогоняя сомненья и страх.

И сказал я: «Светлей, чем Селена,
Милосердной Астарта встает,
В царстве вздохов Астарта цветет
И слезам, как Сезам сокровенный,
Отворяет врата,— не сотрет
Их и червь.— О, Астарта, блаженно
Не на землю меня поведет —
Сквозь созвездие Льва поведет,
В те пределы, где пепельно-пенна,
Лета — вечным забвеньем — течет,
Сквозь созвездие Льва вдохновенно,
Милосердно меня поведет!»

Но перстом погрозила Психея:
«Я не верю огню в небесах!
Нет, не верю огню в небесах!
Он все ближе. Беги же скорее!»
Одолели сомненья и страх.
Побледнела душа, и за нею
Крылья скорбно поникли во прах,
Ужаснулась, и крылья за нею
Безнадежно упали во прах,—
Тихо-тихо упали во прах.

Я ответил: «Тревога напрасна!
В небесах — ослепительный свет!
Окунемся в спасительный свет!
Прорицанье Сивиллы пристрасно,
И прекрасен Астарты рассвет!
Полный новой Надежды рассвет!
Он сверкает раздольно и властно,
Он не призрак летучий, о нет!
Он дарует раздольно и властно
Свет Надежды. Не бойся! О нет,
Это благословенный рассвет!»

Thus I pacified Psyche and kissed her,
And tempted her out of her gloom;
And conquered her scruples and gloom;
And we passed to the end of the vista,
But were stopped by the door of a tomb—
By the door of a legended tomb;
And I said—“What is written, sweet sister,
On the door of this legended tomb?”
She replied: “Ulalume—Ulalume!—
'T is the vault of thy lost Ulalume!”

Then my heart it grew ashen and sober
As the leaves that were crisped and sere—
As the leaves that were withering and sere;
And I cried: “It was surely October
On this very night of last year
That I journeyed—I journeyed down here!
That I brought a dread burden down here—
On this night of all nights in the year,
Ah, what demon hath tempted me here?
Well I know, now, this dim lake of Auber—
This misty mid region of Weir—
Well I know, now, this dank tarn of Auber,
This ghoul-haunted woodland of Weir.”

Said we, then—the two, then: “Ah, can it
Have been that the woodlandish ghouls—
The pitiful, the merciful ghouls—
To bar up our way and to ban it
From the secret that lies in these wolds—
From the thing that lies hidden in these wolds—
Have drawn up the spectre of a planet
From the limbo of lunary souls—
This sinfully scintillant planet
From the Hell of the planetary souls?”

Так сказал я, проникнуть не смея
В невеселую даль ее дум
И догадок, догадок и дум.
Но тропа прервалась и, темнея,
Склеп возник. Я и вещей мой ум,
Я (не веря) и вещей мой ум —
Мы воскликнули разом: «Психея!
Кто тут спит?!» — Я и вещей мой ум...
«Улялюм, — подсказала Психея, —
Улялюм! Ты забыл Улялюм!»

Сердце в пепел упало и пену
И, как листья, устало застыло,
Как осенние листья, застыло.
Год назад год пошел отреченный!
В октябре бесконечно уныло
Я стоял здесь у края могилы!
Я кричал здесь у края могилы!
Ночь Ночей над землей наступила —
Ах! зачем — и забыв — не забыл я:
Тою ночью темны, вдохновенны
Стали чащи, озера, могилы
И звучали над чащей священной
Завывания духов могилы!

Мы, стеная, — она, я — вскричали:
«Ах, возможно ль, что духи могил —
Милосердные духи могил —
Отвлеченьем от нашей печали
И несчастья, что склеп затаил, —
Страшной тайны, что склеп затаил, —
К нам на небо Астарту призвали
Из созвездия адских светил —
Из греховной, губительной дали,
С небосвода подземных светил?»

THE BELLS

I

Hear the sledges with the bells—
 Silver bells!
What a world a merriment their melody foretells!
 How they tinkle, tinkle, tinkle,
 In the icy air of night!
While the stars that oversprinkle
All the heavens, seem to twinkle
 With a crystalline delight;
 Keeping time, time, time,
 In a sort of Runic rhyme,
To the tintinnabulation that so musically wells
 From the bells, bells, bells, bells,
 Bells, bells, bells—
From the jingling and the tinkling of the bells.

II

Hear the mellow wedding bells,
 Golden bells!
What a world of happiness their harmony foretells!
 Through the balmy air of night
 How they ring out their delight!
 From the molten-golden notes,
 And all in tune,
 What a liquid ditty floats
To the turtle-dove that listens, while she gloats
 On the moon!
 Oh, from out the sounding cells,
What a gush of euphony voluminously wells!
 How it swells!
 How it dwells
On the future!—how it tells

КОЛОКОЛЬЧИКИ И КОЛОКОЛА

I

Слышишь, сани мчатся в ряд,
Мчатся в ряд!
Колокольчики звенят,
Серебристым легким звоном слух наш сладостно томят,
Этим пеньем и гуденьем о забвеньи говорят.
О, как звонко, звонко, звонко,
Точно звучный смех ребенка,
В ясном воздухе ночном
Говорят они о том,
Что за днями заблужденья
Наступает возрожденье,
Что волшебно наслажденье — наслажденье нежным сном.
Сани мчатся, мчатся в ряд,
Колокольчики звенят,
Звезды слушают, как сани, убегая, говорят,
И, внимая им, горят,
И мечтая, и блистая, в небе духами парят;
И изменчивым сияньем
Молчаливым обаяньем,
Вместе с звоном, вместе с пеньем, о забвеньи говорят.

II

Слышишь к свадьбе звон святой,
Золотой!
Сколько нежного блаженства в этой песне молодой!
Сквозь спокойный воздух ночи
Словно смотрят чьи-то очи
И блестят,
Из волны певучих звуков на луну они глядят.
Из призывных дивных келий,

Of the rapture that impels
To the swinging and the ringing
Of the bells, bells, bells—
Of the bells, bells, bells, bells,
Bells, bells, bells—
To the rhyming and the chiming of the bells!

III

Hear the loud alarum bells—
Brazen bells!
What a tale of terror, now, their turbulency tells!
In the startled ear of night
How they scream out their affright!
Too much horrified to speak,
They can only shriek, shriek,
Out of tune,
In a clamorous appealing to the mercy of the fire,
In a mad expostulation with the deaf and frantic fire,
Leaping higher, higher, higher,
With a desperate desire,
And a resolute endeavor
Now—now to sit, or never,
By the side of the pale-faced moon.
Oh, the bells, bells, bells!
What a tale their terror tells
Of despair!
How they clang, and clash, and roar!
What a horror they outpour
In the bosom of the palpitating air!
Yet the ear, it fully knows,
By the twanging.
And the clanging,
How the danger ebbs and flows;
Yet the ear distinctly tells,
In the jangling,
And the wrangling.
How the danger sinks and swells,
By the sinking or the swelling in the anger of the bells—

Полны сказочных веселий,
Нарастая, упадая, брызги светлые летят.
Вновь потухнут, вновь блестят,
И роняют светлый взгляд
На грядущее, где дремлет безмятежность нежных снов,
Возвещаемых согласьем золотых колоколов!

III

Слышишь, воющий набат,
Точно стонет медный ад!
Эти звуки, в дикой муке, сказку ужасов твердят.
Точно молят им помочь,
Крик кидают прямо в ночь,
Прямо в уши темной ночи
Каждый звук,
То длиннее, то короче,
Выкликает свой испуг,—
И испуг их так велик,
Так безумен каждый крик,
Что разорванные звоны, неспособные звучать,
Могут только биться, виться, и кричать, кричать, кричать!
Только плакать о пощаде,
И к пылающей громаде
Вопли скорби обращать!
А меж тем огонь безумный,
И глухой и многошумный,
Все горит,
То из окон, то по крыше,
Мчится выше, выше, выше,
И как будто говорит:
Я хочу
Выше мчаться, разгораться, встречу лунному лучу,
Иль умру, иль тотчас-тотчас вплоть до месяца взлечу!
О, набат, набат, набат,

Of the bells,—
 Of the bells, bells, bells, bells,
 Bells, bells, bells—
 In the clamor and the clangor of the bells!

IV

Hear the tolling of the bells—
 Iron bells!
 What a world of solemn thought their monody compels!
 In the silence of the night,
 How we shiver with affright
 At the melancholy menace of their tone!
 For every sound that floats
 From the rust within their throats
 Is a groan.
 And the people—ah, the people—
 They that dwell up in the steeple,
 All alone,
 And who tolling, tolling, tolling,
 In that muffled monotone,
 Feel a glory in so rolling
 On the human heart a stone—
 They are neither man nor woman—
 They are neither brute nor human—
 They are Ghouls:—
 And their king it is who tolls:—
 And he rolls, rolls, rolls,
 Rolls
 A pæan from the bells!
 And his merry bosom swells
 With the pæan of the bells!
 And he dances, and he yells;
 Keeping time, time, time,
 In a sort of Runic rhyme,
 To the pæan of the bells—
 Of the bells:—
 Keeping time, time, time,
 In a sort of Runic rhyme,

Если б ты вернул назад
Этот ужас, это пламя, эту искру, этот взгляд,
Этот первый взгляд огня,
О котором ты вещаешь, с плачем, с воплем, и звеня!
А теперь нам нет спасенья,
Всюду пламя и кипенье,
Всюду страх и возмущенье!
Твой призыв,
Диких звуков несогласность
Возвещает нам опасность,
То растет беда глухая, то спадает, как прилив!
Слух наш чутко ловит волны в перемене звуковой,
Вновь спадает, вновь рыдает медно-стонущий прибой!

IV

Похоронный слышен звон,
Долгий звон!
Горькой скорби слышны звуки, горькой жизни кончен сон.
Звук железный возвещает о печали похорон!
И невольно мы дрожим,
От забав своих спешим
И рыдаем, вспоминаем, что и мы глаза смежим.
Неизменно-монотонный,
Этот возглас отдаленный,
Похоронный тяжкий звон,
Точно стон,
Скорбный, гневный,
И плачевный,
Вырастает в долгий гул,
Возвещает, что страдалец непробудным сном уснул.
В колокольных кельях ржавых,
Он для правых и неправых
Грозно вторит об одном:
Что на сердце будет камень, что глаза сомкнутся сном.

To the throbbing of the bells—
Of the bells, bells, bells—
To the sobbing of the bells;
Keeping time, time, time,
As he knells, knells, knells,
In a happy Runic rhyme,
To the rolling of the bells—
Of the bells, bells, bells:—
To the tolling of the bells—
Of the bells, bells, bells, bells,
Bells, bells, bells—
To the moaning and the groaning of the bells.

ELDORADO

Gaily bedight,
A gallant knight,
In sunshine and in shadow,
Had journeyed long,
Singing a song,
In search of Eldorado.

But he grew old—
This knight so bold—
And o'er his heart a shadow
Fell as he found
No spot of ground
That looked like Eldorado.

And, as his strength
Failed him at length,
He met a pilgrim shadow—
“Shadow,” said he,
“Where can it be—
This land of Eldorado?”

Факел траурный горит,
С колокольни кто-то крикнул, кто-то громко говорит,
Кто-то черный там стоит,
И хохочет, и гремит,
И гудит, гудит, гудит,
К колокольне припадает,
Гулкий колокол качает,
Гулкий колокол рыдает,
Стонет в воздухе немом
И протяжно возвещает о покое гробовом.

Перевод К. Бальмонта

ЭЛЬДОРАДО

Между гор и долин
Едет рыцарь один,
Никого ему в мире не надо.
Он все едет вперед,
Он все песню поет,
Он замыслил найти Эльдорадо.

Но в скитаньях — один
Дожил он до седин,
И погасла бывшая отрада.
Ездил рыцарь везде,
Но не встретил нигде,
Не нашел он нигде Эльдорадо.

И когда он устал,
Пред скитальцем предстал
Странный призрак — и шепчет: «Что надо?»
Тотчас рыцарь ему:
«Расскажи, не пойму,
Укажи, где страна Эльдорадо?»

“Over the Mountains
Of the Moon,
Down the Valley of the Shadow,
Ride, boldly ride,”
The shade replied,—
“If you seek for Eldorado!”

ANNABEL LEE

It was many and many a year ago,
In a kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
By the name of Annabel Lee;
And this maiden she lived with no other thought
That to love and be loved by me.

She was a child and I was a child,
In this kingdom by the sea,
But we loved with a love that was more than love—
I and my Annabel Lee;
With a love that the winged seraphs of Heaven
Coveted her and me.

And this was the reason that, long ago,
In this kingdom by the sea,
A wind blew out of a cloud by night
Chilling my Annabel Lee;
So that her highborn kinsmen came
And bore her away from me,
To shut her up in a sepulchre
In this kingdom by the sea.

The angels, not half so happy in Heaven,
Went envying her and me:—
Yes!—that was the reason (as all men know,
In this kingdom by the sea)

И ответила Тень:
«Где рождается день,
Лунных Гор где чуть зрима громада.
Через ад, через рай,
Все вперед поезжай,
Если хочешь найти Эльдорадо!»

Перевод К. Бальмонта

АННАБЕЛЬ-ЛИ

Это было давно, это было давно,
В королевстве приморской земли:
Там жила и цвела та, что звалась всегда,
Называлась Аннабель-Ли,
Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
Только этим мы жить и могли.

И, любовью дыша, были оба детьми
В королевстве приморской земли.
Но любили мы больше, чем любят в любви,—
Я и нежная Аннабель-Ли,
И, взирая на нас, серафимы небес
Той любви нам простить не могли.

Оттого и случилось когда-то давно,
В королевстве приморской земли,—
С неба ветер повеял холодный из туч,
Он повеял на Аннабель-Ли;
И родные толпой многознатной сошлись
И ее от меня унесли,
Чтоб навеки ее положить в саркофаг,
В королевстве приморской земли.

Половины такого блаженства узнать
Серафимы в раю не могли,—
Оттого и случилось (как ведомо всем
В королевстве приморской земли),—

That the wind came out of the cloud chilling
And killing my Annabel Lee.

But our love it was stronger by far than the love
Of those who were older than we—
Of many far wiser than we—
And neither the angels in Heaven above
Nor the demons down under the sea,
Can ever dissever my soul from the soul
Of the beautiful Annabel Lee:—

For the moon never beams without bringing me dreams
Of the beautiful Annabel Lee;
And the stars never rise but I see the bright eyes
Of the beautiful Annabel Lee;
And so, all the night-tide, I lie down by the side
Of my darling, my darling, my life and my bride,
In her sepulchre there by the sea—
In her tomb by the side of the sea.

Ветер ночью повеял холодный из туч
И убил мою Аннабель-Ли.

Но, любя, мы любили сильнее и полней
Тех, что старости бремя несли,—
Тех, что мудростью нас превзошли,—
И ни ангелы неба, ни демоны тьмы,
Разлучить никогда не могли,
Не могли разлучить мою душу с душой
Обольстительной Аннабель-Ли.

И всегда луч луны навевает мне сны
О пленительной Аннабель-Ли:
И зажжется ль звезда, вижу очи всегда
Обольстительной Аннабель-Ли;
И в мерцаньи ночей я все с ней, я все с ней,
С незабвенной — с невестой — с любовью моей —
Рядом с ней распростерт я вдали,
В саркофаге приморской земли.

Перевод К. Бальмонта

THANATOPSIS

To him who in the love of Nature holds
Communion with her visible forms, she speaks
A various language; for his gayer hours
She has a voice of gladness, and a smile
And eloquence of beauty, and she glides
Into his dark musings with a mild
And healing sympathy, that steals away
Their sharpness, ere he is aware. When thoughts
Of the last bitter hour come like a blight
Over thy spirit, and sad images
Of the stern agony, and shroud, and pall,
And breathless darkness, and the narrow house,
Make thee to shudder, and grow sick at heart;—
Go forth, under the open sky, and list
To Nature's teachings, while from all around—
Earth and her waters, and the depths of air—
Comes a still voice—Yet a few days, and thee
The all-beholding sun shall see no more
In all his course; nor yet in the cold ground,
Where thy pale form was laid, with many tears,
Nor in the embrace of ocean shall exist
Thy image. Earth, that nourished thee, shall claim
Thy growth, to be resolved to earth again,
And, lost each human trace, surrendering up
Thine individual being, shalt thou go
To mix for ever with the elements,
To be a brother to the insensible rock
And to the sluggish clod which the rude swain
Turns with his share, and treads upon. The oak
Shall send his roots abroad, and pierce thy mould.
Yet not to thine eternal resting-place

ТАНАТОПСИС

С тем, кто понять умел язык природы,
И в чьей груди таится к ней любовь,
Ведет она всегда живые речи.
Коль весел он — на радости его
Найдется в ней сочувственная радость.
В часы тоски, тяжелых скорбных дум,
Она своей улыбкой тихо гонит
Печали мрак с поникшего чела.
Когда твой дух мучительно гнетет
О смерти мысль, когда перед тобой
Предстанут вдруг ужасные картины —
Прощанья с тем, что в жизни ты любил,
Ночь без конца и узкое жилище
Под каменной, холодную плитой,
И грудь твоя болезненно сожмется
И пробежит по членам дрожь: иди,
Иди тогда под небо голубое,
Прислушайся к немолчным голосам
Из недр земли, из волн шумящих моря,
Из глубины таинственных лесов
Услышишь ты: «близка, близка пора!»
И для тебя померкнет луч денницы...
Не сохранят ни влажная земля,
Которая оплаканных приемлет,
Ни океан безбрежный — образ твой...
Земля тебя питала. Ныне хочет
Она, чтоб к ней опять ты возвратился
И чтоб твое землею стало тело.
Так, прежнего лишившись бытия
И всякий след его утратив, должен

Shalt thou retire alone, nor couldst thou wish
Couch more magnificent. Thou shalt lie down
With patriarchs of the infant world—with kings,
The powerful of the earth—the wise, the good,
Fair forms, and hoary seers of ages past,
All in one mighty sepulchre. The hills
Rock-ribbed and ancient as the sun,—the vales
Stretching in pensive quietness between;
The venerable woods—rivers that move
In majesty, and the complaining brooks
That make the meadows green; and poured around all,
Old Ocean's gray and melancholy waste,—
Are but the solemn decorations all
Of the great tomb of man. The golden sun,
The planets, all the infinite host of heaven,
Are shining on the sad abodes of death,
Through the still lapse of ages. All that tread
The globe are but a handful to the tribes
That slumber in its bosom.—Take the wings
Of morning, pierce the Barcan wilderness,
Or lose thyself in the continuous woods
Where rolls the Oregon, and hears no sound,
Save his own dashings—yet the dead are there:
And millions in those solitudes, since first
The flight of years began, have laid them down
In their last sleep—the dead reign there alone.
So shalt thou rest, and what if thou withdraw
In silence from the living, and no friend
Take note of thy departure? All that breathe
Will share the destiny. The gay will laugh
When thou art gone, the solemn brood of care
Plod on, and each one as before will chase
His favorite phantom; yet all these shall leave
Their mirth and their employments, and shall come
And make their bed with thee. As the long train
Of ages glide away, the sons of men,
The youth in life's green spring, and he who goes
In the full strength of years, matron and maid,
The speechless babe, and the gray-haired man—

На веки ты с стихиями смешаться.
И будешь ты скалы кремнистой братом
И глыбы той, которую весной
Плуг бороздит. Столетний дуб прорежет
Твой прах насквозь могучими корнями.
Не одинок сойдешь ты в ту страну:
Ты опочишь там на блаженном ложе,
Где обрели себе успокоенье
Веков давно минувших патриархи,
И мудрые и сильные земли,
И добрые и праведные мужи.
Взгляни кругом: верхи скалистых гор,
Что древностью сравняться могут с солнцем,
Долин, лугов пестреющий наряд
И ручейка прозрачные извивы,
Безмолвное святилище лесов,
Где Орегон лишь вечный шум свой слышит.
Мильоны там легли со дня создания!
В пустынях тех царят они одни!
Там будешь ты покоиться... Пускай
Людьми конец твой будет не замечен
И не почитит тебя слезою друг;
Но все они твою судьбу разделят.
Кто весел, тот тебя проводит шуткой,
Кто удручен заботой тяжелой, мимо
Пройдет угрюм. За призраками оба
Всю жизнь они гоняются; когда же
Придет пора — покинут смех и труд,
И близ тебя усталые склонятся...
Что год, то будешь новых ты
Пришельцев зреть: с тобой соединятся
И юноша, и полной силы муж,
И красотой блистающая дева,
Едва на свет рожденное дитя,
И женщина, и старец среброкудрый...
Все, все сойдут к тебе сыны земли,
Одно, во след другому, поколения,
За стеблем стебель, сраженные косой!
Живи же так, чтобы в урочный час,

Shall one by one be gathered to thy side
By those who in their turn shall follow them.

So live, that when thy summons come to join
The innumerable caravan that moves
To that mysterious realm, where each shall take
His chamber in the silent halls of death,
Thou go not, like the quarry-slave at night,
Scourged to his dungeon, but, sustained and soothed
By an unfaltering trust, approach thy grave,
Like one who wraps the drapery of his couch
About him, and lies down to pleasant dreams.

TO A WATERFOWL

Whither, midst falling dew,
While glow the heavens with the last steps of day,
Far, through their rosy depths, dost thou pursue
Thy solitary way?

Vainly the fowler's eye
Might mark thy distant flight to do thee wrong,
As, darkly seen against the crimson sky,
The figure floats along.

Seek'st thou the plashy brink
Of weedy lake, or marge of river wide,
Or where the rocking billows rise and sink
On the chafed ocean side?

There is a Power whose care
Teaches thy way along that pathless coast—
The desert and illimitable air—
Lone wandering, but not lost.

All day thy wings have fanned,
At that far height, the cold, thin atmosphere,

Когда примкнешь ты к длинным караванам,
Идущим в мир теней, в тот мир, где всем
Готов приют, в жилище тихом смерти,
Не походил ты на раба — в тюрьму
Влекомого всесильным властелином;
Чтоб просветлен был дух твой примиреньем,
Чтоб к гробу ты приблизился, как тот,
Завесу кто, над ложем опустивши,
Идет ко сну, исполнен ясных грез...

Перевод А. Плещеева

К ПЕРЕЛЕТНОЙ ПТИЦЕ

Куда путем крылатым
В росистой мгле сквозь розовую тишь
По небу, озаренному закатом,
Далеко ты летишь?

Напрасно взгляд упорный
Охотника, нацелившись с земли,
Следит, как по багрянцу точкой черной
Мелькаешь ты вдали.

Где ищешь ты приюта —
У озера, иль речки голубой,
Иль у гранитных скал, где бьется люто
Бушующий прибой?

Неведомая сила
Не сбиться с одинокого пути
В пустыне беспредельной научила
Тебя, чтобы спасти.

Весь день холодный воздух
Взбивали крылья мощные твои,

Yet stoop not, weary, to the welcome land,
Though the dark night is near.

And soon that toil shall end;
Soon shalt thou find a summer home, and rest,
And scream among thy fellows; reeds shall bend,
Soon, o'er thy sheltered nest.

Thou'rt gone, the abyss of heaven
Hath swallowed up thy form; yet, on my heart
Deeply hath sunk the lesson thou hast given,
And shall not soon depart.

He who, from zone to zone,
Guides through the boundless sky thy certain flight,
In the long way that I must tread alone,
Will lead my steps aright.

И не спустилась ты при первых звездах
На отдых в забытьи.

Закат исходит кровью,
Но к дальней цели ты летишь спеша,
Чтоб там найти надежное гнездовье
В затишье камыша.

Проглоченная бездной,
Исчезла ты, но все ж на долгий срок
Успела дать душе моей полезный
И памятный урок.

Тот, кто пред тьмой направит
К пристанищу чрез бездну твой полет,—
Меня в пути суровом не оставит
И к цели приведет.

Перевод М. Зенкевича

THE SONG OF HIAWATHA

INTRODUCTION

Should you ask me, whence these stories,
Whence these legends and traditions,
With the odors of the forest,
With the dew and damp of meadows,
With the curling smoke of wigwams,
With the rushing of great rivers,
With their frequent repetitions,
And their wild reverberations,
As of thunder in the mountains?

I should answer, I should tell you,
“From the forests and the prairies,
From the great lakes of the Northland,
From the land of the Ojibways,
From the land of the Dacotahs,
From the mountains, moors, and fen-lands,
Where the heron, the Shuh-shuh-gah,
Feeds among the reeds and rushes,
I repeat them as I heard them
From the lips of Nawadaha,
The musician, the sweet singer.”

Should you ask where Nawadaha
Found these songs, so wild and wayward,
Found these legends and traditions,
I should answer, I should tell you,
“In the birds’-nests of the forest,
In the lodges of the beaver,
In the hoof-prints of the bison,
In the eyrie of the eagle!

ПЕСНЬ О ГАЙАВАТЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом, диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома? —
Я скажу вам, я отвечу:

«От лесов, равнин пустынных,
От озер Страны Полночной,
Из страны Оджибуэв,
Из страны Дакотов диких,
С гор и тундр, с болотных топей,
Где среди осоки бродит
Цапля сизая, Шух-шух-га.
Повторяю эти сказки,
Эти старые преданья
По напевам сладкозвучным
Музыканта Навадаги».

Если спросите, где слышал,
Где нашел их Навадага, —
Я скажу вам, я отвечу:
«В гнездах певчих птиц, по рощам,
На прудах, в норах бобровых,
На лугах, в следах бизонов,
На скалах, в орлиных гнездах.

“All the wild-fowl sang them to him,
In the moorlands and the fen-lands,
In the melancholy marshes;
Chetowaik, the plover, sang them,
Mahng, the loon, the wild-goose, Wawa,
The blue heron, the Shuh-shuh-gah,
And the grouse, the Mushkodasa!”

If still further you should ask me,
Saying, “Who was Nawadaha?
Tell us of this Nawadaha,”
I should answer your inquiries
Straightway in such words as follow.

“In the Vale of Tawasentha,
In the green and silent valley,
By the pleasant water-courses,
Dwelt the singer Nawadaha.
Round about the Indian village
Spread the meadows and the corn-fields,
And beyond them stood the forest,
Stood the groves of singing pine-trees,
Green in Summer, white in Winter,
Ever sighing, ever singing.

“And the pleasant water-courses,
You could trace them through the valley,
By the rushing in the Spring-time,
By the alders in the Summer,
By the white fog in the Autumn,
By the black line in the Winter;
And beside them dwelt the singer,
In the Vale of Tawasentha,
In the green and silent valley.

“There he sang of Hiawatha,
Sang the Song of Hiawatha,
Sang his wondrous birth and being,
How he prayed and how he fasted,
How he lived, and toiled, and suffered,

Эти песни раздавались
На болотах и на топях,
В тундрах севера печальных:
Читовэйк, зук, там пел их,
Манг, нырок, гусь дикий, Вава,
Цапля сизая, Шух-шух-га,
И глухарка, Мушкодаза».

Если б дальше вы спросили:
«Кто же этот Навадага?
Расскажи про Навадагу»,—
Я тотчас бы вам ответил
На вопрос такую речью:

«Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых,
У излучистых потоков,
Жил когда-то Навадага.
Вкруг индейского селенья
Расстилались нивы, доли,
А вдали стояли сосны,
Бор стоял, зеленый — летом,
Белый — в зимние морозы,
Полный вздохов, полный песен.

Те веселые потоки
Были видны на долине
По разливам их — весною,
По ольхам серебристым — летом,
По туману — в день осенний,
По руслу — зимой холодной.
Возле них жил Навадага
Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых.

Там он пел о Гайавате,
Пел мне Песнь о Гайавате,—
О его рожденье дивном
О его великой жизни:

That the tribes of men might prosper,
That he might advance his people!"

Ye who love the haunts of Nature,
Love the sunshine of the meadow,
Love the shadow of the forest,
Love the wind among the branches,
And the rain-shower and the snow-storm,
And the rushing of great rivers
Through their palisades of pine-trees,
And the thunder in the mountains,
Whose innumerable echoes
Flap like eagles in their eyries;—
Listen to these wild traditions,
To this Song of Hiawatha!

Ye who love a nation's legends,
Love the ballads of a people,
That like voices from afar off
Call to us to pause and listen,
Speak in tones so plain and childlike,
Scarcely can the ear distinguish
Whether they are sung or spoken;—
Listen to this Indian Legend,
To this Song of Hiawatha!

Ye whose hearts are fresh and simple,
Who have faith in God and Nature,
Who believe, that in all ages
Every human heart is human,
That in even savage bosoms
There are longings, yearnings, strivings
For the good they comprehend not,
That the feeble hands and helpless,
Groping blindly in the darkness,
Touch God's right hand in that darkness
And are lifted up and strengthened;—
Listen to this simple story,
To this Song of Hiawatha!

Как постился и молился,
Как трудился Гайавата,
Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб он шел к добру и правде».

Вы, кто любите природу —
Сумрак леса, шепот листьев,
В блеске солнечном долины,
Бурный ливень и метели,
И стремительные реки
В неприступных дебрях бора,
И в горах раскаты грома,
Что как хлопанье орлиных
Тяжких крыльев раздаются,—
Вам принес я эти саги,
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, кто любите легенды
И народные баллады,
Этот голос дней минувших,
Голос прошлого, манящий
К молчаливому раздумью,
Говорящий так по-детски,
Что едва уловит ухо,
Песня это или сказка,—
Вам из диких стран принес я
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, в чьем юном, чистом сердце
Сохранилась вера в бога,
В искру божью в человеке;
Вы, кто помните, что вечно
Человеческое сердце
Знало горести, сомненья
И порывы к светлой правде,
Что в глубоком мраке жизни
Нас ведет и укрепляет
Провидение незримо,—
Вам бесхитростно пою я
Эту Песнь о Гайавате!

Ye, who sometimes, in your rambles
Through the green lanes of the country,
Where the tangled barberry-bushes
Hang their tufts of crimson berries
Over stone walls gray with mosses,
Pause by some neglected graveyard,
For a while to muse, and ponder
On a half-effaced inscription,
Written with little skill of song-craft,—
Homely phrases, but each letter
Full of hope and yet of heart-break,
Full of all the tender pathos
Of the Here and the Hereafter;—
Stay and read this rude inscription,
Read this Song of Hiawatha!

THE PEACE-PIPE

I

On the Mountains of the Prairie,
On the great Red Pipe-stone Quarry,
Gitche Manito, the mighty,
He the Master of Life, descending,
On the red crags of the quarry
Stood erect, and called the nations,
Called the tribes of men together.

From his footprints flowed a river,
Leaped into the light of morning,
O'er the precipice plunging downward
Gleamed like Ishkoodah, the comet.
And the Spirit, stooping earthward,
With his finger on the meadow
Traced a winding pathway for it,
Saying to it, "Run in this way!"

From the red stone of the quarry
With his hand he broke a fragment,
Moulded it into a pipe-head,

Вы, которые, блуждая
По околицам зеленым,
Где, склонившись на ограду,
Поседевшую от моха,
Барбарис висит, краснея,
Забываетесь порою
На заброшенном погосте
И читаете в раздумье
На могильном камне надпись,
Неумелую, простую,
Но исполненную скорби,
И любви, и чистой веры,—
Прочитайте эти руны,
Эту Песнь о Гайавате!

ТРУБКА МИРА

На горах Большой Равнины,
На вершине Красных Камней,
Там стоял Владыка Жизни,
Гитчи Манито могучий,
И с вершины Красных Камней
Созывал к себе народы,
Созывал людей отвсюду.

От следов его струилась,
Трепетала в блеске утра
Речка, в пропасти срываясь,
Ишкудой, огнем, сверкая.
И перстом Владыка Жизни
Начертал ей по долине
Путь излучистый, сказавши:
«Вот твой путь отныне будет!».

От утеса взявши камень,
Он слепил из камня трубку
И на ней фигуры сделал.

Shaped and fashioned it with figures;
From the margin of the river
Took a long reed for a pipe-stem,
With its dark green leaves upon it;
Filled the pipe with bark of willow,
With the bark of the red willow;
Breathed upon the neighboring forest,
Made its great boughs chafe together,
Till in flame they burst and kindled;
And erect upon the mountains,
Gitche Manito, the mighty,
Smoked the calumet, the Peace-Pipe,
As a signal to the nations.

And the smoke rose slowly, slowly,
Through the tranquil air of morning,—
First a single line of darkness,
Then a denser, bluer vapor,
Then a snow-white cloud unfolding,
Like the tree-tops of the forest,
Ever rising, rising, rising,
Till it touched the top of heaven,
Till it broke against the heaven,
And rolled outward all around it.

From the Vale of Tawasentha,
From the Valley of Wyoming,
From the groves of Tuscaloosa,
From the far-off Rocky Mountains,
From the Northern lakes and rivers,
All the tribes beheld the signal,
Saw the distant smoke ascending,
The Pukwana of the Peace-Pipe.

And the Prophets of the nations
Said: "Behold it, the Pukwana!
By this signal from afar off,
Bending like a wand of willow,

Над рекою, у побережья,
На чубук тростинку вырвал,
Всю в зеленых, длинных листьях;
Трубку он набил корою,
Красной ивовой корою,
И дохнул на лес соседний,

От дыханья ветви шумно
Закачались и, столкнувшись,
Ярким пламенем зажглися;
И, на горных высях стоя,
Закурил Владыка Жизни
Трубку Мира, созывая
Все народы к совещанью.

Дым струился тихо, тихо
В блеске солнечного утра:
Прежде — темною полоской,
После — гуще, синим паром,
Забелел в лугах клубами,
Как зимой вершины леса,
Плыл все выше, выше, выше,—
Наконец коснулся неба
И волнами в сводах неба
Раскатился над землею.

Из долины Тавазэнта,
Из долины Вайоминга,
Из лесистой Госкалузы,
От Скалистых Гор далеких,
От озер Страны Полночной
Все народы увидали
Отдаленный дым Покваны,
Дым призывный Трубки Мира.

И пророки всех народов
Говорили: «То Поквана!
Этим дымом отдаленным,
Что сгибается, как ива,

Waving like a hand that beckons,
Gitche Manito, the mighty,
Calls the tribes of men together,
Calls the warriors to his council!"

Down the rivers, o'er the prairies,
Came the warriors of the nations,
Came the Delawares and Mohawks,
Came the Choctaws and Comanches,
Came the Shoshonies and Blackfeet,
Came the Pawnees and Omahas,
Came the Mandans and Dacotahs,
Came the Hurons and Ojibways,
All the warriors drawn together
By the signal of the Peace-Pipe,
To the Mountains of the Prairie,
To the great Red Pipe-stone Quarry.

And they stood there on the meadow,
With their weapons and their war-gear,
Painted like the leaves of Autumn,
Painted like the sky of morning,
Wildly glaring at each other;
In their faces stern defiance,
In their hearts the feuds of ages,
The hereditary hatred,
The ancestral thirst of vengeance.

Gitche Manito, the mighty,
The creator of the nations,
Looked upon them with compassion,
With paternal love and pity;
Looked upon their wrath and wrangling
But as quarrels among children,
But as feuds and fights of children!

Over them he stretched his right hand,
To subdue their stubborn natures,
To allay their thirst and fever,

Как рука, кивает, манит,
Гитчи Манито могучий
Племена людей сзывает,
На совет зовет народы».

Вдоль потоков, по равнинам,
Шли вожди от всех народов,
Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мэндэны,
Делавэры и Могоки,
Черноногие и Поны,
Оджибвеи и Дакоты —
Шли к горам Большой Равнины,
Пред лицо Владыки Жизни.

И в доспехах, в ярких красках,—
Словно осенью деревья,
Словно небо на рассвете,—
Собрались они в долине,
Дико глядя друг на друга.
В их очах — смертельный вызов,
В их сердцах — вражда глухая,
Вековая жажда мщенья —
Роковой завет от предков.

Гитчи Манито всемогущий,
Сотворивший все народы,
Поглядел на них с участием,
С отчей жалостью, с любовью,—
Поглядел на гнев их лютой,
Как на злобу малолетних,
Как на ссору в детских играх.

Он простер к ним сень десницы,
Чтоб смягчить их нрав упорный,
Чтоб смирить их пыл безумный
Мановением десницы.

By the shadow of his right hand;
Spake to them with voice majestic
As the sound of far-off waters,
Falling into deep abysses,
Warning, chiding, spake in this wise:—

“Oh my children! my poor children!
Listen to the words of wisdom,
Listen to the words of warning,
From the lips of the Great Spirit,
From the Master of Life, who made you!

“I have given you lands to hunt in,
I have given you streams to fish in,
I have given you bear and bison,
I have given you roe and reindeer,
I have given you brant and beaver,
Filled the marshes full of wild-fowl,
Filled the rivers full of fishes;
Why then are you not contented?
Why then will you hunt each other?

“I am weary of your quarrels,
Weary of your wars and bloodshed,
Weary of your prayers for vengeance,
Of your wranglings and dissensions;
All your strength is in your union,
All your danger is in discord;
Therefore be at peace henceforward,
And as brothers live together.

“I will send a Prophet to you,
A Deliverer of the nations,
Who shall guide you and shall teach you,
Who shall toil and suffer with you.
If you listen to his counsels,
You will multiply and prosper;
If his warnings pass unheeded,
You will fade away and perish!

И величественный голос,
Голос, шуму вод подобный,
Шуму дальних водопадов,
Прозвучал ко всем народам,
Говоря: «О дети, дети!
Слову мудрости внимайте,
Слову кроткого совета
От того, кто всех вас создал!

Дал я земли для охоты,
Дал для рыбной ловли воды,
Дал медведя и бизона,
Дал оленя и косулю,
Дал бобра вам и казарку;
Я наполнил реки рыбой,
А болота — дикой птицей:
Что ж ходить вас заставляет
На охоту друг за другом?

Я устал от ваших распрей,
Я устал от ваших споров,
От борьбы кровопролитной,
От молитв о кровной мести.
Ваша сила — лишь в согласье,
А бессилие — в разладе.
Примиритесь, о дети!
Будьте братьями друг другу!

И придет Пророк на землю
И укажет путь к спасенью;
Он наставником вам будет,
Будет жить, трудиться с вами.
Всем его советам мудрым
Вы должны внимать покорно —
И умножатся все роды,
И настанут годы счастья.
Если ж будете вы глухи, —
Вы погибнете в раздорах!

“Bathe now in the stream before you,
Wash the war-paint from your faces,
Wash the blood-stains from your fingers,
Bury your war-clubs and your weapons,
Break the red stone from this quarry,
Mould and make it into Peace-Pipes,
Take the reeds that grow beside you,
Deck them with your brightest feathers,
Smoke the calumet together,
And as brothers live henceforward!”

Then upon the ground the warriors
Threw their cloaks and shirts of deer-skin,
Threw their weapons and their war-gear,
Leaped into the rushing river,
Washed the war-paint from the faces.
Clear above them flowed the water,
Clear and limpid from the footprints
Of the Master of Life descending;
Dark below them flowed the water,
Soiled and stained with streaks of crimson,
As if blood were mingled with it!

From the river came the warriors,
Clean and washed from all their war-paint;
On the banks their clubs they buried,
Buried all their warlike weapons.
Gitche Manito, the mighty,
The Great Spirit, the creator,
Smiled upon his helpless children!

And in silence all the warriors
Broke the red stone of the quarry,
Smoothed and formed it into Peace-Pipes
Broke the long reeds by the river,
Decked them with their brightest feathers,
And departed each one homeward,
While the Master of Life, ascending,

Погрузитесь в эту реку,
Смойте краски боевые,
Смойте с пальцев пятна крови;
Закопайте в землю луки,
Трубки сделайте из камня,
Тростников для них нарвите,
Ярко перьями украсьте,
Закурите Трубку Мира
И живите впредь как братья!»

Так сказал Владыка Жизни.
И все воины на землю
Тотчас кинули доспехи,
Сняли все свои одежды,
Смело бросились в реку,
Смыли краски боевые.
Светлой, чистой волною
Выше их вода лилася —
От следов Владыки Жизни.
Мутной, красною волною
Ниже их вода лилася,
Словно смешанная с кровью.

Смывши краски боевые,
Вышли воины на берег,
В землю палицы зарыли,
Погребли в земле доспехи,
Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
Встретил воинов улыбкой.

И в молчанье все народы
Трубки сделали из камня,
Тростников для них нарвали,
Чубуки убрали в перья
И пустились в путь обратный —
В ту минуту, как завеса

Through the opening of cloud-curtains,
Through the doorways of the heaven,
Vanished from before their faces,
In the smoke that rolled around him,
The Pukwana of the Peace-Pipe!

A PSALM OF LIFE

*What the Heart of the Young Man Said
to the Psalmist*

Tell me not, in mournful numbers,
Life is but an empty dream!—
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem.

Life is real! Life is earnest!
And the grave is not its goal;
Dust thou art, to dust returnest,
Was not spoken of the soul.

Not enjoyment, and not sorrow,
Is our destined end or way;
But to act, that each to-morrow
Find us farther than to-day.

Art is long, and Time is fleeting,
And our hearts, though stout and brave,
Still, like muffled drums, are beating
Funeral marches to the grave.

In the world's broad field of battle,
In the bivouac of Life,
Be not like dumb, driven cattle!
Be a hero in the strife!

Trust no Future, howe'er pleasant!
Let the dead Past bury its dead!

Облаков заколебалась
И в дверях отверстых неба
Гитчи Манито сокрылся,
Окружен клубами дыма
От Покваны, Трубки Мира.

Перевод И. Бунина

ПСАЛОМ ЖИЗНИ

Не тверди в строфах унылых:
«Жизнь есть сон пустой!» В ком спит
Дух живой, тот духом умер:
В жизни высший смысл сокрыт.

Жизнь не грезы. Жизнь есть подвиг!
И умрет не дух, а плоть.
«Прах еси и в прах вернешься»,—
Не о духе рек господь.

Не печаль и не блаженство
Жизни цель: она зовет
Нас к труду, в котором бодро
Мы должны идти вперед.

Путь далек, а время мчится,—
Не теряй в нем ничего.
Помни, что биенье сердца—
Погребальный марш его.

На житейском бранном поле,
На биваке жизни будь—
Не рабом будь, а героем,
Закалившим в битвах грудь.

Не оплакивай Былого,
О Грядущем не мечтай,

Act,—act in the living Present!
Heart within, and God o'erhead!

Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Footprints on the sands of time;

Footprints, that perhaps another,
Sailing o'er life's solemn main,
A forlorn and shipwrecked brother,
Seeing, shall take heart again,

Let us, then, be up and doing,
With a heart for any fate,
Still achieving, still pursuing,
Learn to labor and to wait.

EXCELSIOR!

The shades of night were falling fast,
As through an Alpine village passed
A youth, who bore, mid snow and ice,
A banner with the strange device,
Excelsior!

His brow was sad; his eye beneath
Flashed like a falchion from its sheath,
And like a silver clarion rung
The accents of that unknown tongue,
Excelsior!

In happy homes he saw the light
Of household fires gleam warm and bright;
Above, the spectral glaciers shone,
And from his lips escaped a groan,
Excelsior!

Действуй только в Настоящем
И ему лишь доверяй!

Жизнь великих призывает
Нас к великому идти,
Чтоб в песках времен остался
След и нашего пути,—

След, что выведет, быть может,
На дорогу и других—
Заблудившихся, усталых—
И пробудет совесть в них.

Встань же смело на работу,
Отдавай все силы ей
И учись в труде упорном
Ждать прихода лучших дней!

Перевод И. Бунина

EXCELSIOR!

Тропой альпийской в снег и мрак
Шел юноша, державший стяг.
И стяг в ночи сиял, как днем,
И странный был девиз на нем:
Excelsior!

Был грустен взор его и строг,
Глаза сверкали, как клинок,
И, как серебряный гобой,
Звучал язык для всех чужой:
Excelsior!

Горели в окнах огоньки,
К уюту звали очаги,
Но льды под небом видел он,
И вновь звучало, словно стон:
Excelsior!

“Try not the Pass!” the old man said;
“Dark lowers the tempest overhead,
The roaring torrent is deep and wide!”
And loud that clarion voice replied,
 Excelsior!

“O stay,” the maiden said, “and rest
Thy weary head upon this breast!”
A tear stood in his bright blue eye,
But still he answered, with a sigh,
 Excelsior!

“Beware the pine-tree’s withered branch!
Beware the awful avalanche!”
This was the peasant’s last Goodnight.
A voice replied, far up the height,
 Excelsior!

At break of day, as heavenward
The pious monks of Saint Bernard
Uttered the oft-repeated prayer,
A voice cried through the startled air,
 Excelsior!

A traveler, by the faithful hound,
Half-buried in the snow was found,
Still grasping in his hand of ice
That banner with the strange device,
 Excelsior!

There in the twilight cold and gray,
Lifeless, but beautiful, he lay,
And from the sky, serene and far,
A voice fell, like a falling star,
 Excelsior!

«Куда? — в селе сказал старик.—
Там вихрь и стужа, там ледник,
Пред ним, широк, бежит поток».
Но был ответ, как звонкий рог:
Excelsior!

Сказала девушка: «Приди!
Усни, припав, к моей груди!»
В глазах был синий, влажный свет,
Но вздохом прозвучал ответ:
Excelsior!

«Не подходи к сухой сосне!
Страшись лавины в вышине!» —
Прощаясь, крикнул селянин.
Но был ответ ему один:
Excelsior!

На Сен-Бернардский перевал
Он в час заутрени попал,
И хор монахов смолк на миг,
Когда в их гимн ворвался крик:
Excelsior!

Но труп, навеки вмерзший в лед,
Нашла собака через год.
Рука сжимала стяг, застыв,
И тот же был на нем призыв:
Excelsior!

Меж ледяных бездушных скал
Прекрасный, мертвый он лежал,
А с неба, в мир камней и льда
Неслось, как падает звезда:
Excelsior!

THE SLAVE'S DREAM

Beside the ungathered rice he lay,
His sickle in his hand;
His breast was bare, his matted hair
Was buried in the sand.
Again, in the mist and shadow of sleep,
He saw his Native Land.

Wide through the landscape of his dreams
The lordly Niger flowed;
Beneath the palm-trees on the plain
Once more a king he strode;
And heard the tinkling caravans
Descend the mountain-road.

He saw once more his dark-eyed queen
Among her children stand;
They clasped his neck, they kissed his cheeks,
They held him by the hand!—
A tear burst from the sleeper's lids,
And fell into the sand.

And then at furious speed he rode
Along the Niger's bank;
His bridle-reins were golden chains,
And, with a martial clank,
At each leap he could feel his scabbard of steel
Smiting his stallion's flank.

Before him, like a blood-red flag,
The bright flamingoes flew;
From morn till night he followed their flight,
O'er plains where the tamarind grew,
Till he saw the roofs of Caffre huts,
And the ocean rose to view.

СОН НЕВОЛЬНИКА

Истомленный, на рисовой ниве он спал.
Грудь открытую жег ему зной;
Серп остался в руке,— и в горячем песке
Он курчавой тонул головой.
Под туманом и тенью глубокого сна
Снова видел он край свой родной.

Тихо царственный Нигер катился пред ним,
Уходя в безграничный простор.
Он царем был опять, и на пальмах родных
Отдыхал средь полей его взор.
И, звеня и гремя, опускалися в дол
Караваны с сияющих гор.

И опять черноокой царице своей
С нежной лаской глядел он в глаза,
И детей обнимал — и опять услышал
И родных и друзей голоса.
Тихо дрогнули сонные веки его,—
И с лица покати́лась слеза.

И на борзом коне вдоль реки он скакал
По знакомым, родным берегам...
В серебре повода,— золотая узда...
Громкий топот звучал по полям
Средь глухой тишины,— и стучали ножны
Длинной сабли коню по бокам.

Впереди, словно красный кровавый платок,
Яркокрылый фламинго летел;
Вслед за ним он до ночи скакал по лугам,
Где кругом тамаринд зеленел.
Показались хижины кафров,— и вот
Океан перед ним засинел.

At night he heard the lion roar,
And the hyena scream;
And the river-horse, as he crushed the reeds
Beside some hidden stream;
And it passed, like a glorious roll of drums.
Through the triumph of his dream.

The forests, with their myriad tongues,
Shouted of liberty;
And the Blast of the Desert cried aloud,
With a voice so wild and free,
That he started in his sleep and smiled
At their tempestuous glee.

He did not feel the driver's whip,
Nor the burning heat of day;
For Death had illumined the Land of Sleep,
And his lifeless body lay
A worn-out fetter, that the soul
Had broken and thrown away!

* * *

The day is done, and the darkness
Falls from the wings of Night,
As a feather is wafted downward
From an eagle in his flight.

I see the lights of the village
Gleam through the rain and the mist,
And a feeling of sadness comes o'er me
That my soul cannot resist:

A feeling of sadness and longing,
That is not akin to pain.
And resembles sorrow only
As the mist resembles the rain.

Ночью слышал он рев и рыкание льва,
И гиены пронзительный вой;
Слышал он, как в пустынной реке бегемот
Мял тростник своей тяжелой стопой...
И над сонным пронесся торжественный гул,
Словно радостный клик боевой.

Мириадой немолчных своих языков
О свободе гласили леса;
Кlichem воли в дыханье пустыни неслись
И земли и небес голоса...
И улыбка и трепет прошли по лицу,
И смежились крепче глаза.

Он не чувствовал зноя; не слышал, как бич
Провизжал у него над спиной...
Царство сна озарила сиянием смерть,
И на ниве остался — немой
И безжизненный труп: перетертая цепь,
Сокрушенная вольной душой.

Перевод М. Михайлова

* * *

Дня нет уж... За крыльями Ночи
Прозрачная стелется мгла,
Как легкие перья кружатся
Воздушной стезею орла.

Сквозь сети дождя и тумана
По окнам дрожат огоньки,
И сердце не может бороться
С волной набежавшей тоски,

С волною тоски и желанья,
Пусть даже она — не печаль,
Но дальше, чем дождь от тумана,
Тоска от печали едва ль.

Come, read to me some poem,
Some simple and heartfelt lay,
That shall soothe this restless feeling,
And banish the thoughts of day.

Not from the grand old masters,
Not from the bards sublime,
Whose distant footsteps echo
Through the corridors of Time.

For, like strains of martial music,
Their mighty thoughts suggest
Life's endless toil and endeavor;
And to-night I long for rest.

Read from some humbler poet,
Whose songs gushed from his heart,
As showers from the clouds of summer,
Or tears from the eyelids start;

Who, through long days of labor,
And nights devoid of ease,
Still heard in his soul the music
Of wonderful melodies.

Such songs have power to quiet
The restless pulse of care,
And come like the benediction
That follows after prayer.

Then read from the treasured volume
The poem of thy choice,
And lend to the rhyme of the poet
The beauty of thy voice.

And the night shall be filled with music,
And the cares that infest the day
Shall fold their tents, like the Arabs,
And as silently steal away.

Стихов бы теперь понаивней,
Помягче, поглубже огня,
Чтоб эту тоску убаюкать
И думы ушедшего дня,

Не тех грандиозных поэтов,
Носителей громких имен,
Чьи стоны звучат еще эхом
В немых коридорах Времен.

Подобные трубным призывам,
Как парус седой кораблю,
Они наполняют нас бурей,—
А я о покое молю.

Мне надо, чтоб дума поэта
В стихи безудержно лилась,
Как ливни весенние хлынув,
Иль жаркие слезы из глаз,

Поэт же и днем за работой,
И ночью в тревожной тиши,
Всем сердцем бы музыку слушал
Из чутких потемок души...

Биенье тревожное жизни
Смиряется песнью такой,
И сердцу она, как молитва,
Несет благодатный покой.

Но только стихи, дорогая,
Тебе выбирать и читать:
Лишь музыка голоса может
Гармонию строф передать.

Ночь будет певучей и нежной,
А думы, темнившие день,
Бесшумно шатры свои сложат
И в поле растают, как тень.

THE ARROW AND THE SONG

I shot an arrow into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For, so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.

I breathed a song into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For who has sight so keen and strong,
That it can follow the flight of song?

Long, long afterward, in an oak
I found the arrow, still unbroke;
And the song, from beginning to end,
I found again in the heart of a friend.

PAUL REVERE'S RIDE

Listen, my children, and you shall hear
Of the midnight ride of Paul Revere,
On the eighteenth of April, in Seventy-five;
Hardly a man is now alive
Who remembers that famous day and year.

He said to his friend, "If the British march
By land or sea from the town to-night,
Hang a lantern aloft in the belfry arch
Of the North Church tower as a signal light,—
One, if by land, and two, if by sea;
And I on the opposite shore will be,
Ready to ride and spread the alarm
Through every Middlesex village and farm,
For the country folk to be up and to arm."

СТРЕЛА И ПЕСНЯ

Стрелу из лука я пустил
Не знал я, где она упала;
Напрасно взор за ней следил,
Она мелькнула и пропала.

На ветер песню бросил я:
Звук замер где-то в отдаленьи...
Куда упала песнь моя
Не мог сказать я в то мгновенье.

Немного лет спустя, потом
Стрела нашлась, в сосне у луга,
Свою же песню целиком
Нашел я в теплом сердце друга.

Перевод Д. Михаловского

СКАЧКА ПОЛЯ РЕВИРА

Запомните, дети,— слышал весь мир,
Как в полночь глухую скакал Поль Ревир...
То было в семьдесят пятом году,
Восемнадцатого апреля,— день тот
И сейчас предо мною так ясно встает.

Он другу сказал: «Я сигнала жду.
Коль ночью из города наступать
Начнут британцы, ты дай мне знать,
На Северной церкви зажги звезду,—
Одну, если сушей, а морем — две.
Я буду с конем бродить в траве
На том берегу, и, увидев сигнал,
Коня бы я в бешеной скачке погнал,
Чтоб всюду с оружием народ вставал!

Then he said, "Good night!" and with muffled oar
Silently rowed to the Charlestown shore,
Just as the moon rose over the bay,
Where swinging wide at her moorings lay
The Somerset, British man-of-war;
A phantom ship, with each mast and spar
Across the moon like a prison bar,
And a huge black hulk, that was magnified
By its own reflection in the tide.
Meanwhile, his friend, through alley and street,
Wanders and watches with eager ears,
Till in the silence around him he hears
The muster of men at the barrack door,
The sound of arms, and the tramp of feet,
And the measured tread of the grenadiers,
Marching down to their boats on the shore.

Then he climbed the tower of the Old North Church,
By the wooden stairs, with stealthy tread,
To the belfry-chamber overhead,
And startled the pigeons from their perch
On the sombre rafters, that round him made
Masses and moving shapes of shade,—
By the trembling ladder, steep and tall,
To the highest window in the wall,
Where he paused to listen and look down
A moment on the roofs of the town,
And the moonlight flowing over all.
Beneath, in the churchyard, lay the dead,
In their night-encampment on the hill,
Wrapped in silence so deep and still
That he could hear, like a sentinel's tread,
The watchful night-wind, as it went
Creeping along from tent to tent,
And seeming to whisper, "All is well!"
A moment only he feels the spell
Of the place and the hour, and the secret dread
Of the lonely belfry and the dead;
For suddenly all his thoughts are bent

Спокойной ночи!» И вот в челноке
К Чарлстону он поплыл по реке.
Всходила луна, и призрачный свет
Залив серебрил, где стоял «Сомерсет»,
Британский военный корабль, как фантом.
Скрещение мачт и рей среди тьмы
Казалось железной решеткой тюрьмы,
А черный корпус, расплывшись пятном,
Дрожал, отраженный в заливе морском.

Бродил по улицам верный друг,
Прислушиваясь ко всему вокруг.
В ночной тишине он услышал вдруг
У ворот казарм подозрительный стук,
Оружия звон и размеренный шаг.
То шли гренадеры, спеша сквозь мрак
К судам, где британский реял флаг.
На башню церкви, темневшей среди звезд,
Рассыпанных в черной глуби небес,
По лесенке он осторожно полез,
Распугивая голубей с их гнезд
На пыльных балках темных стропил.
И рой теней его обступил.
Он слышал ступенек скрип и треск,
Голубиных крыльев тревожный всплеск,
Прислушался — всюду ночная тишь,
И лишь по скатам соседних крыш
Струился холодный лунный блеск.

Внизу, словно лагерь — привал мертвецов,
Стояли шатрами холмы могил,
Где каждый мертвец, как солдат, почил,
Улегшись навеки в глубокий ров.
А ветер, заняв караульный пост,
Дозором обходит ночной погост
И шепчет всем спящим: «Тревоги нет!»
На миг, словно в белый саван одет,
И он почувствовал чары луны
И мертвой кладбищенской тишины.

On a shadowy something far away,
Where the river widens to meet the bay,—
A line of black that bends and floats
On the rising tide, like a bridge of boats.

Meanwhile, impatient to mount and ride,
Booted and spurred, with a heavy stride
On the opposite shore walked Paul Revere.
Now he patted his horse's side,
Now gazed at the landscape far and near,
Then, impetuous, stamped the earth,
And turned and tightened his saddle-girth;
But mostly he watched with eager search
The belfry-tower of the Old North Church,
As it rose above the graves on the hill,
Lonely and spectral and sombre and still.
And lo! as he looks, on the belfry's height
A glimmer, and then a gleam of light!
He springs to the saddle, the bridle he turns,
But lingers and gazes, till full on his sight
A second lamp in the belfry burns!

A hurry of hoofs in a village street,
A shape in the moonlight, a bulk in the dark,
And beneath, from the pebbles, in passing, a spark
Struck out by a steed flying fearless and fleet:
That was all! And yet, through the gloom and the light,
The fate of a nation was riding that night;
And the spark struck out by that steed, in his flight,
Kindled the land into flame with its heat.

He has left the village and mounted the steep,
And beneath him, tranquil and broad and deep,
Is the Mystic, meeting the ocean tides;
And under the alders, that skirt its edge,
Now soft on the sand, now loud on the ledge,
Is heard the tramp of his steed as he rides.

Когда же очнулся, взглянул туда,
Где узким потоком речная вода
Втекала в широкий морской залив,
Уже поднимал океанский прилив
Готовые с якоря сняться суда.

Условного знака на том берегу
Все ждет Поль Ревир на росистом лугу.
В ботфортах, шпорами тихо звеня,
Пройдется, погладит по шее коня,
Потом в нетерпении топнет ногой
И пристально смотрит на берег другой.
Подтянет подпругу, поправит седло.
Уже от месяца стало светло,
А башня Северной церкви во тьме
Над кладбищем мрачно стоит на холме.
Все ждет он и смотрит. Уж время прошло,
Вдруг видит — звездой огонек замигал,
То дан с колокольни желанный сигнал!
В седло он вскочил, сжал повод в ладонь.
Под ним захрапел в нетерпенье конь.
Второй сигнал! Он коня погнал!

Еще деревушка спокойно спит,
Но в лунном свете промчалась тень,
Да искру метнул дорожный кремь
У скачущей лошади из-под копыт,
И все! Но в безудержной скачке его
Решалась судьба народа всего.
Та искра, что высек подковою конь,
Повсюду зажгла восстанья огонь.

Вот он на холме, и Мистик-река,
Встречая прилив, блестит, широка.
Он слышит, как ветер в ушах свистит,
Как мягко бьют под ольхой по песку
И звонко о камень гремят на скаку
Удары быстрые конских копыт.

It was twelve by the village clock,
When he crossed the bridge into Medford town.
He heard the crowing of the cock,
And the barking of the farmer's dog,
And felt the damp of the river fog,
That rises after the sun goes down.

It was one by the village clock,
When he galloped into Lexington.
He saw the gilded weathercock
Swim in the moonlight as he passed,
And the meeting-house windows, blank and bare,
Gaze at him with a spectral glare,
As if they already stood aghast
At the bloody work they would look upon.

It was two by the village clock,
When he came to the bridge in Concord town.
He heard the bleating of the flock,
And the twitter of birds among the trees,
And felt the breath of the morning breeze
Blowing over the meadows brown.
And one was safe and asleep in his bed
Who at the bridge would be first to fall,
Who that day would be lying dead,
Pierced by a British musket-ball.

You know the rest. In the books you have read,
How the British Regulars fired and fled,—
How the farmers gave them ball for ball,
From behind each fence and farm-yard wall,
Chasing the red-coats down the lane,
Then crossing the fields to emerge again
Under the trees at the turn of the road,
And only pausing to fire and load.

So through the night rode Paul Revere;
And so through the night went his cry of alarm
To every Middlesex village and farm,—

На башне пробило двенадцать часов,
Когда проскакал он Медфордский мост.
Он слышал первый крик петухов
И яростный лай цепных собак.
С реки повеял холодный мрак,
И саван туманный одел погост.

На башне гулко пробило час,
Когда прискакал Поль Ревир в Лексингтон,
И флюгер дремал, позолотой лучась,
Когда по улице мчался он.
Окошки Дома Собраний, пусты,
Мерцали мертвенно из темноты,
Как будто той крови страшась, что тут
На площади утром пред ними прольют.

Пробило два, когда, наконец,
У Конкорда он проскакал через мост.
Он слышал на фермах бляянье овец
И щебет проснувшихся птиц средь ветвей.
Заря над лугами блеснула светлей,
Померкло мерцанье последних звезд.
Храбрец не один еще мирно спал,
Кто в этот памятный день на мосту
От пули мушкетов британских пал
В бою за свободу на славном посту.

Остальное по книгам известно вам:
Как пришлось британцам бежать по полям,
Как фермеры гнали наемных солдат,
Сражая их пулями из засад,
И били без промаха в красный мундир,
Стреляли метко со всех сторон,
Врагу нанося тяжелый урон,
На ходу забивая в дуло заряд.

Так в полночь глухую скакал Поль Ревир.
Его тревожный призывный крик
До каждой деревни и фермы достиг,

A cry of defiance and not of fear,
A voice in the darkness, a knock at the door,
And a word that shall echo forevermore!
Form borne on the night-wind of the Past,
Through all our history, to the last,
In the hour of darkness and peril and need,
The people will waken and listen to hear
The hurrying hoof-beats of that steed,
And the midnight message of Paul Revere.

MEZZO CAMMIN

Half of my life is gone, and I have left
The years slipped from me and have not fulfilled
The aspiration of my youth, to build
Some tower of song with lofty parapet.

Not indolence, nor pleasure, nor the fret
Of restless passions that would not be stilled,
But sorrow and a care that almost killed,
Kept me from what I may accomplish yet;

Though half-way up the hill; I see the Past
Lying beneath me with its sounds and sights,—
A city in the twilight dim and vast,

With smoking roofs, soft bells, and gleaming lights,—
And hear above me on the autumnal blast
The cataract of Death far thundering from the heights.

Нарушив дремотный покой и мир.
Вдруг голос из тьмы, в дверь удар кулака
И слово, что эхом несется в века.
То слово из Прошлого ветер ночной
Разносит всегда над нашей страной,
И в час тревоги, нарушившей мир,
Народ весь, поднявшись, слышит сквозь тьму,
Как в полночь с призывом несется к нему
На скачущей лошади Поль Ревир.

Перевод М. Зенкевича

MEZZO SAMMIN

Прошло полжизни; стерся даже след
Минувших дней. Где юный жар стремленья
Из рифм, из песен, полных вдохновенья,
Дворец воздвигнуть для грядущих лет?

Виной не праздность, не любовь, о нет!
Не беспокойной страсти наслажденья,
Но горести едва ль не от рожденья,
Чреда забот убийственных и бед.

И с полгоры я вижу под собою
Все прошлое, весь этот темный ад,—
В дымах, в огнях мой город, скрытый мглою,

Где стоны, плач и никаких отрад
И на ветру осеннем, надо мною
С вершин гремящий Смерти водопад.

Перевод В. Левика

THE SNOWSTORM

Announced by all the trumpets of the sky,
Arrives the snow, and, driving o'er the fields,
Seems nowhere to alight: the whited air
Hides hills and woods, the river, and the heaven,
And veils the farm-house at the garden's end.
The sled and traveler stopped, the courier's feet
Delayed, all friends shut out, the housemates sit
Around the radiant fireplace, enclosed
In a tumultuous privacy of storm.

Come see the north wind's masonry.
Out of an unseen quarry evermore
Furnished with tile, the fierce artificer
Curves his white bastions with projected roof
Round every windward stake, or tree, or door.
Speeding, the myriad-handed, his wild work
So fanciful, so savage, nought cares he
For number or proportion. Mockingly,
On coop or kennel he hangs Parian wreaths;
A swan-like form invests the hidden thorn;
Fills up the farmer's lane from wall to wall,
Maugre the farmer's sighs; and at the gate
A tapering turret overtops the work.
And when his hours are numbered, and the world
Is all his own, retiring, as he were not,
Leaves, when the sun appears, astonished Art
To mimic in slow structures, stone by stone,
Built in an age, the mad wind's night-work,
The frolic architecture of the snow.

СНЕЖНАЯ БУРЯ

Предвозвещенный трубным ревом неба,
Приходит снег и, словно не снижаясь,
Летает над землей, и белый воздух
Скрывает даль, реку, леса, холмы,
Завесил домик фермера за садом.
Пути нет в поле, нарочный задержан,
Разлучены друзья, лишь домочадцы
Сидят перед огнем, заключены
В уединенье буйством снежной бури.

Пойдем посмотрим, что построил ветер.
Добывши мрамор из каменоломен
Невидимых, неистовый искусник,
Воздвиг он сотни белых бастионов
Вокруг столбов, деревьев, у дверей.
Так быстро мириадам рук рабочих
Волшебные постройки он воздвиг,
О цифрах и расчетах не заботясь;
Отделал белым мрамором курятник,
И в лебедя преобразил терновник,
И фермеру назло между двух стен
Проход замуровал, а у ворот
Вознес на вышке стрельчатую башню.
Потом, игрой пресытись, он исчезнет,
Как будто не был, и под ярким солнцем
Оставит изумленному искусству
Для подражанья в камне на века
Ночное зодчество своих безумств,
Причудливую лепку снежной бури.

Перевод М. Зенкевича

BRAHMA

If the red slayer think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.

Far or forgot to me is near;
Shadow and sunlight are the same;
The vanished gods to me appear;
And one to me are shame and fame.

They reckon ill who leave me out;
When me they fly, I am the wings;
I am the doubter and the doubt,
And I the hymn the Brahmin sings.

The strong gods pine for my abode,
And pine in vain the sacred Seven;
But thou, meek lover of the good!
Find me, and turn thy back on heaven.

БРАМА

Убийца мнит, что убивает,
Убитый мнит, что пал в крови,—
Ни тот и ни другой не знает,
Куда ведут пути мои.

Забвенье, даль— мои дороги,
Мне безразличны тьма и свет;
Во мне— отверженные боги,
Величий и падений след.

Кто прочь стремится в самомненье,
Тому я сам даю полет;
Я искуститель и сомненье,
Тот гимн, что мне брамин поет.

Ко мне стремятся боги тщетно,
Священных Семь,— но в тишине
Добро творящий незаметно
Придет и без небес ко мне!

Перевод М. Зенкевича

BARBARA FRIETCHIE

Up from the meadows rich with corn,
Clear in the cool September morn,

The clustered spires of Frederick stand
Green-walled by the hills of Maryland.

Round about them orchards sweep,
Apple and peach tree fruited deep,

Fair as the garden of the Lord
To the eyes of the famished rebel horde,

On that pleasant morn of the early fall
When Lee marched over the mountain-wall;

Over the mountains winding down,
Horse and foot, into Frederick town.

Forty flags with their silver stars,
Forty flags with their crimson bars,

Flapped in the morning wind: the sun
Of noon looked down, and saw not one.

Up rose old Barbara Frietchie then,
Bowed with her fourscore years and ten;

Bravest of all in Frederick town,
She took up the flag the men hauled down;

In her attic window the staff she set,
To show that one heart was loyal yet.

БАРБАРА ФРИТЧИ

Утром сентябрьским над жнивом полей
Фредерик-город блестел светлей

Шпилями крыш, и зеленый вал
Холмов Мэриленда его окружал.

Фермеров вознаграждали сады
Золотом яблок за все их труды.

Но привлекали, как рай, их сады
Взгляды голодной мятежной орды.

Полднем осенним чрез город прошли
Отряды южан с генералом Ли.

Пешие, конные шли войска
По улицам тихого городка.

Немало флагов утром взвилось,
Серебряных звезд и красных полос,

Но в полдень, как в город ворвался враг,
Спущен повсюду был звездный флаг.

Барбара Фритчи врагам в ответ,
Старуха почти девяноста лет,

Отважилась дряхлой рукой опять —
Мужчинами спущенный — флаг поднять.

И взвился флаг с чердака из окна,
Ему до конца она будет верна!

Up the street came the rebel tread,
Stonewall Jackson riding ahead.

Under his slouched hat left and right
He glanced; the old flag met his sight.

“Halt”—the dust-brown ranks stood fast.
“Fire!”—out blazed the rifle-blast.

It shivered the window, pane and sash;
It rent the banner with seam and gash.

Quick, as it fell, from the broken staff
Dame Barbara snatched the silken scarf.

She leaned far out on the window-sill,
And shook it forth with a royal will.

“Shoot, if you must, this old gray head,
But spare your country’s flag,” she said.

A shade of sadness, a blush of shame,
Over the face of the leader came;

The nobler nature within him stirred
To life at that woman’s deed and word:

“Who touches a hair of yon gray head
Dies like a dog! March on!” he said.

All day long through Frederick street
Sounded the tread of marching feet:

All day long that free flag tost
Over the heads of the rebel host.

Ever its torn folds rose and fell
On the loyal winds that loved it well;

Отряд свой по улице мимо вел
Верхом на мустанге Джексон Стонволл.

Надвинув шляпу, смотрел он вокруг,
И флаг северян он увидел вдруг.

«Стой!» — и встал смуглолицый отряд.
«Огонь!» — и грянул ружейный раскат.

Звякнуло в раме оконной стекло,
Флаг изрешеченный с дровка снесло,

Но грохот ружейный еще не смолк,
Когда подхватила Барбара шелк.

На улицу высунувшись из окна,
Простреленным флагом взмахнула она:

«Стреляйте в седины моей головы,
Но флага отчизны не трогайте вы!»

И тень раскаянья, краска стыда
По лицу командира скользнула тогда.

На мгновенье задумался он, молчалив,
И победил благородный порыв.

«Кто тронет ее, как собака умрет!» —
Он крикнул, промчавшись галопом вперед.

И целый день проходили войска
По улицам тихого городка,

Но флаг развевавшийся взять на прицел
Никто из мятежников больше не смел.

Не рвал его шелка внезапный шквал,
Но ласковый ветер его развевал.

And through the hill-gaps sunset light
Shone over it with a warm good-night.

Barbara Frietchie's work is o'er,
And the Rebel rides on his raids no more.

Honor to her! and let a tear
Fall, for her sake, on Stonewall's bier.

Over Barbara Frietchie's grave,
Flag of Freedom and Union, wave!

Peace and order and beauty draw
Round thy symbol of light and law;

And ever the stars above look down
On thy stars below in Frederick town!

И солнце между холмами, из туч,
Ему посылало прощальный луч.

Барбары Фритчи на свете нет,
И прахом развеян мятежников след.

Честь ей и слава! О ней мы поем.
Стойволла помянем не лихом — добром!

Над прахом Барбары Фритчи родным
Союзное знамя с почетом склоним!

Принес и порядок, и мир, и закон
Тот флаг, что был ею к окну прикреплен.

Пусть звезды неба смотрят сквозь мрак.
Как веет над городом звездный флаг.

Перевод М. Зенкевича

SONG OF MYSELF

1

I celebrate myself, and sing myself,
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.

I loafe and invite my soul,
I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass.

My tongue, every atom of my blood, form'd from this soil, this air,
Born here of parents born here from parents the same, and
their parents the same,
I, now thirty-seven years old in perfect health begin,
Hoping to cease not till death.

Creeds and schools in abeyance,
Retiring back a while sufficed at what they are, but never
forgotten,
I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard,
Nature without check with original energy.

2

Houses and rooms are full of perfumes, the shelves are crowded
with perfumes,
I breathe the fragrance myself and know it and like it,
The distillation would intoxicate me also, but I shall not let it.

The atmosphere is not a perfume, it has no taste of the
distillation, it is odorless,
It is for my mouth forever, I am in love with it,
I will go to the bank by the wood and become undisguised and
naked,

ПЕСНЯ О СЕБЕ

1

Я славаю себя и воспеваю себя,
И что я принимаю, то примете вы,
Ибо каждый атом, принадлежащий мне, принадлежит и вам.

Я, праздный бродяга, зову мою душу,
Я слоняюсь без всякого дела и, лениво нагнувшись,
разглядываю летнюю травинку.

Мой язык, каждый атом моей крови созданы из этой почвы, из
этого воздуха;
Рожденный здесь от родителей, рожденных здесь от родите-
лей, тоже рожденных здесь,
Я теперь, тридцати семи лет, в полном здоровье, начинаю
эту песню
И надеюсь не кончить до смерти.

Догматы и школы пускай подождут,
Пусть отступят немного назад, они хороши там, где есть,
мы не забудем и их,
Я принимаю природу такую, какова она есть, я позволяю ей во
всякое время, всегда
Говорить невозбранно с первобытною силой.

2

Пахнут духами дома и квартиры, на полках так много духов,
Я и сам дышу их ароматом, я знаю его и люблю,
Этот раствор опьянил бы меня, но я не хочу опьяняться.

Воздух не духи, его не изготовили химики, он без запаха,
Я глотал бы его вечно, я влюблен в него,
Я пойду на лесистый берег, сброшу одежды и стану голым,

I am mad for it to be in contact with me.
The smoke of my own breath
Echoes, ripples, buzz'd whispers, love-root, silk-thread, crotch
and vine,
My respiration and inspiration, the beating of my heart, the passing
of blood and air through my lungs,
The sniff of green leaves and dry leaves, and of the shore and
dark-color'd sea-rocks, and of hay in the barn,
The sound of the belch'd words of my voice loos'd to the eddies of
the wind,
A few light kisses, a few embraces, a reaching around of arms,
The play of shine and shade on the trees as the supple boughs
wag,
The delight alone or in the rush of the streets, or along the fields
and hill-sides,
The feeling of health, the full-noon trill, the song of me rising
from bed and meeting the sun.

Have you reckon'd a thousand acres much? have you reckon'd the
earth much?
Have you practis'd so long to learn to read?
Have you felt so proud to get at the meaning of poems?

Stop this day and night with me and you shall possess the origin
of all poems,
You shall possess the good of the earth and sun, (there are
millions of suns left,)
You shall no longer take things at second or third hand, nor look
through the eyes of the dead, nor feed on the spectres
in books,
You shall not look through my eyes either, nor take things
from me,
You shall listen to all sides and filter them from your self.

3

I have heard what the talkers were talking, the talk of
the beginning and the end,
But I do not talk of the beginning or the end.

Я схожу с ума от желания, чтобы воздух прикасался ко мне.
Пар моего дыхания,
Эхо, всплески, жужжащие шепоты, любовный корень, шелковинка,
стволы-раскоряки, обвитые лозой,
Мои вдохи и выдохи, биение сердца, прохождение крови и воздуха
через мои легкие,
Запах свежей листвы и сухой листвы, запах морского берега и темных
морских утесов, запах сена в амбаре,
Мой голос, извергающий слова, которые я бросаю навстречу ветрам,
Легкие поцелуи, объятия, касания рук,
Игра света и тени в деревьях, когда колышутся гибкие ветки,
Радость—оттого, что я один, или оттого, что я в уличной сутолоке,
или оттого, что я брожу по холмам и полям,
Ощущение здоровья, трели в полуденный час, та песня, что поется во мне,
когда, встав поутру, я встречаю солнце.

Ты думал, что тысяча акров—это много? Ты думал, что земля—это много?
Ты так долго учился читать?
Ты с гордостью думал, что тебе удалось добраться до смысла поэм?

Побудь этот день и эту ночь со мною, и у тебя будет источник всех поэм,
Все блага земли и солнца станут твоими (миллионы солнц в запасе у нас),
Ты уже не будешь брать все явления мира из вторых или третьих рук,
Ты перестанешь смотреть глазами давно умерших или питаться книжными призраками,
И моими глазами ты не станешь смотреть, ты не возьмешь у меня ничего,
Ты выслушаешь и тех и других и профильтруешь все через себя.

3

Я слышал, о чем говорили говоруны, их толки о начале и конце,
Я же не говорю ни о начале, ни о конце.

There was never any more inception than there is now,
Nor any more youth or age than there is now,
And will never be any more perfection than there is now,
Nor any more heaven or hell than there is now.

Urge and urge and urge,
Always the procreant urge of the world.

Out of the dimness opposite equals advance, always substance
and increase, always sex,
Always a knit of identity, always distinction, always a breed
of life.

To elaborate is no avail, learn'd and unlearn'd feel that it is so.

Sure as the most certain sure, plumb in the uprights, well
entretied, braced in the beams,
Stout as a horse, affectionate, haughty, electrical,
I and this mystery here we stand.

Clear and sweet is my soul, and clear and sweet is all that is
not my soul.

Lack one lacks both, and the unseen is proved by the seen,
Till that becomes unseen and receives proof in its turn.

Showing the best and dividing it from the worst age vexes age,
Knowing the perfect fitness and equanimity of things, while
they discuss I am silent, and go bathe and admire myself.

Welcome is every organ and attribute of me, and of any man
hearty and clean,
Not an inch nor a particle of an inch is vile, and none shall be less
familiar than the rest.

I am satisfied—I see, dance, laugh, sing;
As the hugging and loving bed-fellow sleeps at my side through
the night, and withdraws at the peep of the day with
stealthy tread,

Никогда еще не было таких зачатий, как теперь,
Ни такой юности, ни такой старости, как теперь,

Никогда не будет таких совершенств, как теперь,
Ни такого рая, ни такого ада, как теперь.

Еще, и еще, и еще,
Это вечное стремление вселенной рождать и рождать,
Вечно плодородное движение мира.

Из мрака выходят двое, они так несхожи, но равны: вечно
материя, вечно рост, вечно пол,
Вечно ткань из различий и тождеств, вечно зарождение
жизни.

Незачем вдаваться в подробности, и ученые и неучи чувствуют,
что все это так.

Прочно, и твердо, и прямо, скованные мощными скрепами,
Крепкие, как кони, пылкие, могучие, гордые,
Тут мы стоим с этой тайной вдвоем.

Благостна и безмятежна моя душа, благостно и безмятежно
все, что не моя душа.

У кого нет одного, у того нет другого, невидимое утверждается
видимым,

Покуда оно тоже не станет невидимым и не получит утверждения
в свой черед.

Гоняясь за лучшим, отделяя лучшее от худшего, век досаждают
веку,—

Я же знаю, что все вещи в ладу и согласии.

Покуда люди спорят, я молчу, иду купаться и восхищаться
собою.

Да здравствует каждый орган моего тела и каждый орган
любого человека, сильного и чистого!

Нет ни одного вершка постыдного, низменного, ни одной доли
вершка, ни одна доля вершка да не будет менее мила, чем
другая.

Я доволен—я смотрю, пляшу, смеюсь, пою;

Когда любовница ласкает меня, и спит рядом со мною всю
ночь, и уходит на рассвете укладкой,

Leaving me baskets cover'd with white towels swelling the house
with their plenty,
Shall I postpone my acceptance and realization and scream at my
eyes,
That they turn from gazing after and down the road,
And forthwith cipher and show me to a cent,
Exactly the value of one and exactly the value of two, and which
is ahead?

4

Trippers and askers surround me,
People I meet, the effect upon me of my early life or the ward and
city I live in, or the nation,
The latest dates, discoveries, inventions, societies, authors old and
new,
My dinner, dress, associates, looks, compliments, dues,
The real or fancied indifference of some man or woman I love,
The sickness of one of my folks or of myself, or ill-doing or loss or
lack of money, or depressions or exaltations,
Battles, the horrors of fratricidal war, the fever of doubtful news,
the fitful events;
These come to me days and nights and go from me again,
But they are not the Me myself.

Apart from the pulling and hauling stands what I am,
Stands amused, complacent, compassionating, idle, unitary,
Looks down, is erect, or bends an arm on an impalpable certain
rest,
Looking with side-curved head curious what will come next,
Both in and out of the game and watching and wondering at it.

Backward I see in my own days where I sweated through fog with
linguists and contenders,
I have no mockings or arguments, I witness and wait.

И оставляет мне корзины, покрытые белой тканью, полные до краев,—
Разве я отвергну ее дар, разве я стану укорять мои глаза
За то, что, глянув на дорогу вослед моей милой,
Они сейчас же высчитывают до последнего цента точную цену
одного и точную цену двоих?

4

Странники и вопрошатели окружают меня,
Люди, которых встречаю, влияние на меня моей юности, или
двора, или города, в котором я живу, или народа,
Новейшие открытия, изобретения, общества, старые и новые
писатели,
Мой обед, мое платье, мои близкие, взгляды, комплименты,
обязанности,
Подлинное или воображаемое равнодушие ко мне мужчины
или женщины, которых люблю,
Болезнь кого-нибудь из близких или моя болезнь, проступки,
или потеря денег, или нехватка денег, или уныние, или
восторг,
Битвы, ужасы братоубийственной войны, горячка недоверен-
ных известий, спазмы событий—
Все это приходит ко мне днем и ночью, и уходит от меня
опять,
Но все это не Я.

Вдали от этой суеты и маеты стоит то, что есть Я.
Стоит, никогда не скучая, благодушное, участливое, праздное,
целостное,
Стоит и смотрит вниз, стоит прямо или опирается согнутой в
локте рукой на некоторую незримую опору,
Смотрит, наклонив голову набок, любопытствуя, что будет
дальше.
Оно и участвует в игре, и не участвует, следит за нею и
удивляется ей.

Я смотрю назад, на мои минувшие дни, когда я пререкался в
тумане с разными лингвистами и спорщиками,
У меня нет ни насмешек, ни доводов, я наблюдаю и жду.

5

I believe in you my soul, the other I am must not abase itself
to you,
And you must not be abased to the other.
Loafe with me on the grass, loose the stop from your throat,
Not words, not music or rhyme I want, not custom or lecture, not
even the best,
Only the lull I like, the hum of your valvèd voice.

I mind how once we lay such a transparent summer morning,
How you settled your head athwart my hips and gently turn'd over
upon me,
And parted the shirt from my bosom-bone, and plunged your
tongue to my bare-stript heart,
And reach'd till you felt my beard, and reach'd till you held
my feet.
Swiftly arose and spread around me the peace and knowledge that
pass all the argument of the earth,
And I know that the hand of God is the promise of my own,
And I know that the spirit of God is the brother of my own,
And that all the men ever born are also my brothers, and the
women my sisters and lovers,
And that a kelson of the creation is love,
And limitless are leaves stiff or drooping in the fields,
And brown ants in the little wells beneath them,
And mossy scabs of the worm fence, heap'd stones, elder, mullein
and poke-weed.

6

A child said *What is the grass?* fetching it to me with full
hands;
How could I answer the child? I do not know what it is any more
than he.
I guess it must be the flag of my disposition, out of hopeful
green stuff woven.

5

Я верю в тебя, моя душа, но другое мое Я не должно перед тобой унижаться.

И ты не должна унижаться перед ним.

Новаяляйся со мной на траве, вынь пробку у себя из горла,

Ни слов, ни музыки, ни песен, ни лекций мне не надо, даже самых лучших,

Убаюкай меня колыбельной, рокотом твоего многозвучного голоса.

Я помню, как однажды мы лежали вдвоем в такое прозрачное летнее утро,

Ты положила голову мне на бедро, и нежно повернулась ко мне,

И распахнула рубаху у меня на груди, и вонзила язык в мое голое сердце,

И дотянулась до моей бороды, и дотянулась до моих ног.

Тотчас возникли и простерлись вокруг меня покой и мудрость, которые выше нашего земного рассудка,

И я знаю, что божья рука есть обещанье моей,

И я знаю, что божий дух есть брат моего,

И что все мужчины, когда бы они ни родились, тоже мои братья и женщины — мои сестры и любовницы,

И что основа всего сущего — любовь,

И что бесчисленные листья — и молодые, и старые,

И бурые муравьи в своих маленьких шахтах под ними,

И мшистые лишай на плетне, и груды камней, и бузина, и коровяк и лаконоска.

6

Ребенок сказал: «*Что такое трава?*» — и принес мне полные горсти травы,

Что мог я ответить ребенку? Я знаю не больше его, что такое трава.

Может быть, это флаг моих чувств, сотканный из зеленой материи — цвета надежды.

Or I guess it is the handkerchief of the Lord,
A scented gift and remembrancer designedly dropt,
Bearing the owner's name someway in the corners, that we may
see and remark, and say *Whose?*
Or I guess the grass is itself a child, the produced babe
of the vegetation.

Or I guess it is a uniform hieroglyphic,
And it means, Sprouting alike in broad zones and narrow zones,
Growing among black folks as among white,
Kanuck, Tuckahoe, Congressman, Cuff, I give them the same, I
receive them the same.

And now it seems to me the beautiful uncut hair of graves.

Tenderly will I use you curling grass,
It may be you transpire from the breasts of young men,
It may be if I had known them I would have loved them,
It may be you are from old people, or from offspring taken
soon out of their mothers' laps,
And here you are the mothers' laps.

This grass is very dark to be from the white heads of old
mothers,
Darker than the colorless beards of old men,
Dark to come from under the faint red roofs of mouths.

O I perceive after all so many uttering tongues,
And I perceive they do not come from the roofs of mouths for
nothing.

I wish I could translate the hints about the dead young men
and women,
And the hints about old men and mothers, and the offspring
taken soon out of their laps.

What do you think has become of the young and old men?
And what do you think has become of the women and children?

Или, может быть, это платочек от бога,
Надушенный, нарочно брошенный нам на память, в подарок,
Где-нибудь в уголке есть и метка, чтобы, увидя, мы могли
сказать *чей?*

Или, может быть, трава и сама есть ребенок, возвращенный
младенец зелени.

А может быть, это иероглиф, вечно один и тот же,
И, может быть, он означает: «Произрастая везде, где придется,
Среди чернокожих и белых людей,
И канука, и тоахо, и конгрессмена, и негра я принимаю
одинаково, всем им даю одно».

А теперь она кажется мне прекрасными нестриженными
волосами могил.

Кудрявые травы, я буду ласково гладить вас,
Может быть, вы растете из груди каких-нибудь юношей,
Может быть, если бы я знал их, я любил бы их,
Может быть, вы растете из старцев или из младенцев, только
что оторванных от материнского чрева,
Может быть, вы и есть материнское лоно.

Эта трава так темна, она не могла взрасти из седых
материнских голов,
Она темнее, чем бесцветные бороды старцев,
Она темна и не могла возникнуть из бледно-розовых уст.

О, я вдруг увидал: это все языки, и эта трава говорит,
Значит, не зря вырастает она из человеческих уст.

Я хотел бы передать ее невнятную речь об умерших
юношах и девушках,
А также о стариках, и старухах, и о младенцах, только
что оторванных от матерей.

Что, по-вашему, случилось со стариками и юношами?
И во что обратились теперь дети и женщины?

They are alive and well somewhere,
The smallest sprout shows there is really no death,
And if ever there was it led forward life, and does not wait
at the end to arrest it,
And ceas'd the moment life appear'd.

All goes onward and outward, nothing collapses,
And to die is different from what any one supposed, and luckier.

7

Has any one supposed it lucky to be born?
I hasten to inform him or her it is just as lucky to die, and I
know it.

I pass death with the dying and birth with the new-wash'd babe,
and am not contain'd between my hat and boots,
And peruse manifold objects, no two alike and every one good,
The earth good and the stars good, and their adjuncts all good.

I am not an earth nor an adjunct of an earth,
I am the mate and companion of people, all just as immortal
and fathomless as myself,
(They do not know how immortal, but I know.)

Every kind for itself and its own, for me mine male and
female,
For me those that have been boys and that love women,
For me the man that is proud and feels how it stings to be
slighted,
For me the sweet-heart and the old maid, for me mothers
and the mothers of mothers,
For me lips that have smiled, eyes that have shed tears,
For me children and the begetters of children.

Они живы, и им хорошо,
И малейший росток есть свидетельство, что смерти на деле нет,
А если она и была, она вела за собою жизнь, она не
подстерегает жизнь, чтобы ее прекратить.
Она гибнет сама, едва лишь появится жизнь.

Все идет вперед и вперед, ничто не погибает.
Умереть— это вовсе не то, что ты думал, но лучше.

7

Думал ли кто, что родиться на свет— это счастье?
Спешу сообщить ему или ей, что умереть— это такое же
счастье, и я это знаю.

Я умираю вместе с умирающими и рождаюсь вместе с только
что обмытым младенцем, я весь не вмещаюсь между
башмаками и шляпой.

Я гляжу на разные предметы: ни один не похож на другой,
каждый хорош,

Земля хороша, и звезды хороши, и все их спутники хороши.

Я не земля и не спутник земли,
Я товарищ и собрат людей, таких же бессмертных и бездонных,
как я

(Они не знают, как они бессмертны, но я знаю).

Все существует для себя и своих, для меня мое, мужское и
женское,

Для меня те, что были мальчишками, и те, что любят женщин,
Для меня самолюбивый мужчина, который знает, как жалят
обиды,

Для меня невеста и старая дева, для меня матери и матери
матерей,

Для меня губы, которые улыбались, глаза, проливавшие слезы,
Для меня дети и те, что рожают детей.

Undrape! you are not guilty to me, nor stale nor discarded,
I see through the broadcloth and gingham whether or no,
And am around, tenacious, acquisitive, tireless, and cannot be
shaken away.

13

The negro holds firmly the reins of his four horses, the block
swags underneath on its tied-over chain,
The negro that drives the long dray of the stone-yard, steady and
tall he stands pois'd on one leg on the string-piece,
His blue shirt exposes his ample neck and breast and loosens
over his hip-band,
His glance is calm and commanding, he tosses the slouch of his hat
away from his forehead,
The sun falls on his crispy hair and mustache, falls on the black
of his polish'd and perfect limbs.

I behold the picturesque giant and love him, and I do not stop
there,
I go with the team also.
In me the caresser of life wherever moving, backward as well as
forward sluing,
To niches aside and junior bending, not a person or object missing,
Absorbing all to myself and for this song.

Oxen that rattle the yoke and chain or halt in the leafy shade,
what is that you express in your eyes?
It seems to me more than all the print I have read in my life.

My tread scares the wood-drake and wood-duck on my distant
and day-long ramble,
They rise together, they slowly circle around.

I believe in those wing'd purposes,
And acknowledge red, yellow, white, playing within me,

Скиньте покровы! предо мною вы ни в чем не виновны, для
меня вы не отжившие и не отверженные,
Я вижу сквозь тонкое сукно и сквозь гингэм,
Я возле вас, упорный, жадный, неутомимый, вам от меня
не избавиться.

13

Пегр крепкой рукою держит вожжи четверки коней, камень,
прикрученный цепью, качается у него под повозкой,
Из каменоломни он едет, прямой и высокий, он стоит на
повозке, упершись ногой в передок,
Его синяя рубаша открывает широкую шею и грудь, свободно
спускаясь на бедра,
У него спокойный, повелительный взгляд, он заламывает
шляпу набекрень,
Солнце падает на его усы и курчавые волосы, падает на
его лоснящееся, черное, великолепное тело.

Я гляжу на этого картинного гиганта, я влюблен в него и не
могу удержаться на месте,
Я бегу с его четверкой наравне.
Во мне ласкатель жизни, бегущей куда бы то ни было,
несущейся вперед или назад.
Я заглядываю в каждую нишу и наклоняюсь над мельчай-
шими тварями, не пропуская ни предметов, ни людей.
Я впитываю все для себя и для этой песни.

Быки, когда вы громыхаете ярмом и цепями или стоите под
тенью листвы, что выражается в ваших глазах?
Мне кажется, больше, чем то, что за всю мою жизнь мне
довелось прочитать.

Проходя, я спугнул дикую утку и дикого селезня во время
моей далекой и долгой прогулки,
Обе птицы взлетают вместе и медленно кружат надо мной.

Я верю в эти крылатые замыслы,
Я признаю красное, желтое, белое, что играет во мне,

And consider green and violet and the tufted crown intentional,
And do not call the tortoise unworthy because she is not somebody
else,
And the jay in the woods never studied the gamut, yet trills pretty
well to me,
And the look of the bay mare shames silliness out of me.

17

There are really the thoughts of all men in all ages and lands, they
are not original with me,
If they are not yours as much as mine they are nothing, or
next to nothing
If they are not the riddle and the untying of the riddle they
are nothing,
If they are not just as close as they are distant they are nothing.

This is the grass that grows wherever the land is and the water is,
This the common air that bathes the globe.

44

It is time to explain myself—let us stand up.

What is known I strip away,
I launch all men and women forward with me into the Unknown.

The clock indicates the moment—but what does eternity indicate?

We have thus far exhausted trillions of winters and summers,
There are trillions ahead, and trillions ahead of them.

Births have brought us richness and variety,
And other births will bring us richness and variety.

I do not call one greater and one smaller,
That which fills its period and place is equal to any.

Were mankind murderous or jealous upon you, my brother, my s
I am sorry for you, they are not murderous or jealous upon me,
All has been gentle with me, I keep no account with lamentation,
(What have I to do with lamentation?)

По-моему, зеленое и лиловое тоже далеко неспроста, и эта
корона из перьев,
Я не зову черепаху негодной за то, что она черепаха,
И сойка в лесах никогда не учила гаммы, все же трели ее звучат
для меня хорошо,
И взгляд гнедой кобылы выгоняет из меня всю мою
постыдную глупость.

17

Это поистине мысли всех людей, во все времена, во всех
странах, они родились не только во мне,
Если они не твои, а только мои, они ничто или почти ничто,
Если они не загадка и не разгадка загадки, они ничто,
Если они не столь же близки мне, сколь далеки от меня,
они ничто.
Это трава, что повсюду растет, где есть земля и вода,
Это воздух, для всех одинаковый, омывающий шар земной.

44

Встанем—пора мне открыться!
Все, что изведано, я отвергаю.
Риньтесь, мужчины и женщины, вместе со мною в Неведомое.

Часы отмечают минуты, но где же часы для вечности?

Триллионы весен и зим мы уже давно истожили,
Но в запасе у нас есть еще триллионы и еще и еще триллионы.

Те, кто прежде рождался, принесли нам столько богатств,
И те, кто родятся потом, принесут нам новые богатства.

Все вещи равны между собой: ни одна не больше и не меньше!
То, что заняло свое место и время, таково же, как и все остальное

Люди были жестоки к тебе или завистливы, мой брат, моя сестра?
Я очень жалею тебя, но я не встречал среди людей ни врагов,
ни завистников,

Все вокруг были добры ко мне, мне не на что жаловаться.
(В самом деле, на что же мне жаловаться?)

I am an acme of things accomplish'd, and I an encloser of things
to be.

My feet strike an apex of the apices of the stairs,
On every step bunches of ages, and larger bunches between
the steps,
All below duly travel'd, and still I mount and mount.

Rise after rise bow the phantoms behind me,
Afar down I see the huge first Nothing, I know I was even there,
I waited unseen and always, and slept through the lethargic
mist,
And took my time, and took no hurt from the fetid carbon.

Long I was hugg'd close—long and long.

Immense have been the preparations for me,
Faithful and friendly the arms that have help'd me.

Cycles ferried my cradle, rowing and rowing like cheerful
boatmen,
For room to me stars kept aside in their own rings,
They sent influences to look-after what was to hold me.

Before I was born out of my mother generations guided me,
My embryo has never been torpid, nothing could overlay it.

For it the nebula cohered to an orb,
The long slow strata piled to rest it on,
Vast vegetables gave it sustenance,
Monstrous sauroids transported it in their mouths and deposited
it with care.

All forces have been steadily employ'd to complete and
delight me,
Now on this sport I stand with my robust soul.

Я вершина всего, что уже свершено, я начало будущих времен.

Я дошел до верхних ступеней,
На каждой ступени века, и между ступенями тоже века,
Пройдя все, не пропустив ни одной, я карабкаюсь выше и выше.

Выше и выше иду, и призраки остаются у меня за спиной,
Внизу, в глубине, я вижу изначальное огромное Ничто,
я знаю, что был и там,
Невидимый, я долго там таился и спал в летаргической мгле,
И ждал, чтоб наступил мой черед, и не сгинул от углеродного
срада.

Долго пребывал я под спудом — долго-предолго.

Долго трудилась вселенная, чтобы создать меня.
Ласковы и преданны были те руки, которые направляли меня.

Вихри миров, кружась, носили мою колыбель, они гребли и
гребли, как лихие гребцы.
Сами звезды уступали мне место, вращаясь в своих кругах,
Они посылали свои лучи для присмотра за тем, что должно
было делаться со мною.

Покуда я не вышел из матери, поколения направляли мой путь.
Мой зародыш в веках не ленился, ничто не могло задержать
его.

Для него сгустились в планету мировые туманности,
Дивные пласты наслоялись, чтобы стать для него опорой,
Гиганты растения давали ему себя в пищу,
И чудища-ящеры лелеяли его в своей пасти и бережно
несли его дальше.

Все мировые силы трудились надо мною от века, чтобы
создать и радовать меня,
И вот я стою на этом месте, и со мною моя крепкая душа.

48

I have said that the soul is not more than the body,
And I have said that the body is not more than soul,
And nothing, not God, is greater to one than one's self is,
And whoever walks a furlong without sympathy walks to his own
funeral drest in his shroud,
And I or you pocketless of a dime may purchase the pick
of the earth,

And to glance with an eye or show a bean in its pod confounds
the learning of all times,
And there is no trade or employment but the young man
following it may become a hero,
And there is no object so soft but it makes a hub for the wheel'd
universe,
And I say to any man or woman, Let your soul stand cool and
composed before a million universes.

And I say to mankind, Be not curious about God,
For I who am curious about each am not curious about God,
(No array of terms can say how much I am at peace about God
and about Death).

I hear and behold God in every object, yet understand God not in
the least,
Nor do I understand who there can be more wonderful than
myself.

Why should I wish to see God better than this day?
I see something of God each hour of the twenty-four, and each
moment then,
In the faces of men and women I see God, and in my own face in
the glass,
I find letters from God dropt in the street, and every one is sign'd
by God's name,
And I leave them where they are, for I know that wheresoe'er I
go,
Others will punctually come for ever and ever.

48

Я сказал, что душа не больше, чем тело,
И я сказал, что тело не больше, чем душа,
И никто, даже бог, не выше, чем каждый из нас для себя,
И тот, кто идет без любви хоть минуту, на похороны свои он
идет, завернутый в собственный саван,
И я или ты, без полушки в кармане, можем купить все лучшие
блага земли,

И глазом увидеть стручок гороха—это превосходит всю
мудрость веков,
И в каждом деле, в каждой работе юноше открыты пути
для геройства,
И каждая пылинка ничтожная может стать центром вселенной,
И мужчине и женщине я говорю: да будет ваша душа
безмятежна перед миллионом вселенных.

И я говорю всем людям: не пытайте о боге,
Даже мне, кому все любопытно, не любопытен бог.
(Не сказать никакими словами, как мало тревожит меня
мысль о боге и смерти.)

В каждой вещи я вижу бога, но совсем не понимаю его,
Не могу я также поверить, что есть кто-нибудь чудеснее меня.

К чему мне мечтать о том, чтобы увидеть бога яснее, чем этот
день?

В сутках такого нет часа, в каждом часе нет такой секунды,
когда бы не видел я бога,

На лицах мужчин и женщин я вижу бога и в зеркале у
меня на лице,

Я нахожу письма от бога на улице, и в каждом есть его подпись,
Но пусть они останутся, где они были, ибо я знаю, что,
куда ни пойду,

Мне будут доставлять аккуратно такие же во веки веков.

* * *

On the beach at night alone,
As the old mother sways her to and fro singing her husky song,
As I watch the bright stars shining, I think a thought of the clef of
the universes and of the future.

A vast similitude interlocks all,
All spheres, grown, ungrown, small, large, suns, moons,
planets,
All distances of place however wide,
All distances of time, all inanimate forms,
All souls, all living bodies though they be ever so different, or in
different worlds,
All gaseous, watery, vegetable, mineral processes, the fishes, the
brutes,
All nations, colors, barbarisms, civilizations, languages,
All identities that have existed or may exist on this globe, or any
globe,
All lives and deaths, all of the past, present, future,
This vast similitude spans them, and always has spann'd,
And shall forever span them and compactly hold and enclose
them.

* * *

I dream'd in a dream I saw a city invincible to the attacks of the
whole of the rest of the earth,
I dream'd that was the new city of Friends,
Nothing was greater there than the quality of robust love, it led
the rest,
It was seen every hour in the actions of the men of that city,
And in all their looks and words.

* * *

Ночью у моря один.

Вода, словно старая мать, с силой песней баюкает землю,
А я взираю на яркие звезды и думаю думу о тайном ключе
всех вселенных и будущего.

Бесконечная общность объемлет все,—

Все сферы, зрелые и незрелые, малые и большие, все солнца,
луны и планеты,

Все расстоянья в пространстве, всю их безмерность,

Все расстоянья во времени, все неодушевленное,

Все души, все живые тела самых разных форм, в самых разных
мирах,

Все газы, все жидкости, все растения и минералы, всех рыб
и скотов,

Все народы, цвета, виды варварства, цивилизации, языки,

Все личности, которые существовали или могли бы существо-
вать на этой планете или на всякой другой,

Все жизни и смерти, все в прошлом, все в настоящем и
будущем—

Все обняла бесконечная эта общность, как обнимала всегда

И как будет всегда обнимать, и объединять, и заключать в себе.

Перевод А. Сергеева

* * *

Приснился мне город, который нельзя одолеть, хотя бы
напали на него все страны вселенной,

Мне мнилось, что это был город Друзей, какого еще никогда
не бывало.

И превыше всего в этом городе крепкая ценилась любовь,

И каждый час она сказывалась в каждом поступке жителей
этого города,

В каждом их слове и взгляде.

Перевод К. Чуковского

* * *

I hear America singing, the varied carols I hear,
Those of mechanics, each one singing his as it should be blithe
and strong,
The carpenter singing his as he measures his plank or beam,
The mason singing his as he makes ready for work, or leaves of
work,
The boatman singing what belongs to him in his boat, the
deckhand singing on the steamboat deck,
The shoemaker singing as he sits on his bench, the hatter singing
as he stands,
The wood-cutter's song, the plowboy's on his way in the morning,
or at noon intermission or at sundown,
The delicious singing of the mother, or of the young wife at work,
or of the girl sewing or washing,
Each singing what belongs to him or her and to none else,
The day what belongs to the day—at night the party of young
fellows, robust, friendly,
Singing with open mouths their strong melodious songs.

* * *

Beat! beat! drums!—blow! bugles! blow!
Through the windows—through the doors—burst like a ruthless
force,
Into the solemn church, and scatter the congregation,
Into the school where the scholar is studying;
Leave not the bridegroom quiet—no happiness must he have now
with his bride,
Nor the peaceful farmer any peace, ploughing his field or
gathering his grain,
So fierce you whirr and pound you drums—so shrill you bugles
blow.

* * *

Слышу, поет Америка, разные песни я слышу:
Поют рабочие, каждый свою песню, сильную и зазывную.
Плотник—свою, измеряя брус или балку,
Каменщик—свою, готовя утром рабочее место или покидая
его ввечеру,
Лодочник—свою, звучащую с его лодки, матросы свою—с
палубы кораблей,
Сапожник поет, сидя на кожаном табурете, шляпник—стоя
перед шляпной болванкой,
Поет лесоруб, поет пахарь, направляясь чем свет на поля,
или в полдень, или кончив работу,
А чудесная песня матери, или молодой жены, или девушки
за шитьем или стиркой,—
Каждый поет свое, присущее только ему,
Днем—дневные песни звучат, а вечером голоса молодых,
крепких парней,
Распевающих хором свои звонкие, бодрые песни.

Перевод И. Кашкина

* * *

Бей! бей! барабан!—труби! труба! труби!
В двери, в окна ворвитесь, как лихая ватага бойцов.
В церковь—гоните молящихся!
В школу—долгой школяров, нечего им корпеть над
учебниками,
Прочь от жены, новобрачный, не время тебе тешиться
с женой,
И пусть пахарь забудет о мирном труде, не время пахать
и собирать урожай,
Так бешено бьет барабан, так громко кричит труба!

Beat! beat! drums!—blow! bugles! blow!
Over the traffic of cities—over the rumble of wheels in the streets;
Are beds prepared for sleepers at night in the houses? no sleepers
must sleep in those beds,
No bargainers' bargains by day—no brokers or speculators—
would they continue?
Would the talkers be talking? would the singer attempt to sing?
Would the lawyer rise in the court to state his case before the
judge?
Then rattle quicker, heavier drums—you bugles wilder blow.

Beat! beat! drums!—blow! bugles! blow!
Make no parley—stop for no expostulation,
Mind not the timid—mind not the weeper or prayer,
Mind not the old man beseeching the young man,
Let not the child's voice be heard, nor the mother's entreaties,
Make even the trestles to shake the dead where they lie awaiting
the hearses,
So strong you thump O terrible drums—so loud you bugles blow.

* * *

O Captain! my Captain! our fearful trip is done,
The ship has weather'd every rack, the prize we sought is won,
The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring;
But O heart! heart! heart!
O the bleeding drops of red,
Where on the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.

Бей! бей! барабан! — труби! труба! труби!
Над грохотом города, над громыханьем колес.
Кто там готовит постели для идущих ко сну? не спать никому
в тех постелях,
Не торговать, торгоши, долой маклеров и барышников, не пора
ли им наконец перестать?
Как? болтуны продолжают свою болтовню, и певец собирается
петь?
И встает адвокат на суде, чтобы изложить свое дело?
Греми же, барабанная дробь, кричи, надрывайся, труба!

Бей! бей! барабан! — труби! труба! труби!
Не вступать в переговоры, не слушать увещеваний,
Пронеситесь мимо трусов, пусть себе дрожат и хнычут,
Пронеситесь мимо старца, что умоляет молодого,
Заглушите крик младенца и заклинанья матерей,
И встряхните даже мертвых, что лежат сейчас на койках,
ожидая похорон!
Так гремишь ты, беспощадный грозный барабан! так трубишь
ты, громогласная труба!

Перевод К. Чуковского

* * *

О капитан! Мой капитан! Рейс трудный завершен,
Все бури выдержал корабль, увенчан славой он.
Уж близок порт, я слышу звон, народ глядит, ликуя,
Как неуклонно наш корабль взрезает килем струи.
Но сердце! Сердце! Сердце!
Как кровь течет ручьем
На палубе, где капитан
Уснул последним сном!

O Captain! my Captain! rise up and hear the bells;
Rise up—for you the flag is flung—for you the bugle trills,
For you bouquets and ribbon'd wreaths—for you the shores
a-crowding,
For you they call, the swaying mass, their eager faces turning;
Here Captain! dear father!
This arm beneath your head!
It is some dream that on the deck,
You've fallen cold and dead.

My Captain does not answer, his lips are pale and still,
My father does not feel my arm, he has no pulse nor will,
The ship is anchor'd safe and sound, its voyage closed and done,
From fearful trip the victor ship comes in with object won;
Exult O shores, and ring O bells!
But I with mournful tread,
Walk the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.

* * *

When I heard the learn'd astronomer,
When the proofs, the figures, were ranged in columns
before me,
When I was shown the charts and diagrams, to add, divide,
and measure them,
When I sitting heard the astronomer where he lectured with much
applause in the lecture-room,
How soon unaccountable I became tired and sick,
Till rising and gliding out I wander'd off by myself,
In the mystical moist night-air, and from time to time,
Look'd up in perfect silence at the stars.

О капитан! Мой капитан! Встань и прими парад,
Тебе салютом вьется флаг и трубачи гремят;
Тебе букеты и венки, к тебе народ теснится,
К тебе везде обращены восторженные лица.

Очнись, отец! Моя рука
Лежит на лбу твоём,
А ты на палубе уснул
Как будто мертвым сном.

Не отвечает капитан и, побледнев, застыл,
Не чувствует моей руки, угаснул в сердце пыл.
Уже бросают якоря, и рейс наш завершен,
В надежной гавани корабль, приплыл с победой он.

Ликуй, народ, на берегу!
Останусь я вдвоем
На палубе, где капитан
Уснул последним сном.

Перевод М. Зенкевича

* * *

Когда я слушал ученого астронома
И он выводил предо мною целые столбцы мудрых цифр
И показывал небесные карты, диаграммы для измерения
звезд,
Я сидел в аудитории и слушал его, и все рукоплескали ему,
Но скоро—я и сам не пойму отчего—мне стало так нудно и
скучно,
И как я был счастлив, когда выскользнул прочь и в полном
молчании зашагал одинокий
Среди влажной таинственной ночи
И взглядывал порою на звезды.

Перевод К. Чуковского

* * *

When I read the book, the biography famous,
And is this then (said I) what the author calls a man's life?
And so will some one when I am dead and gone write my life?
(As if any man really knew aught of my life,
Why even I myself I often think know little or nothing of my real
 life,
Only a few hints, a few diffused faint clews and indirections
I seek for my own use to trace out here.)

* * *

Читая книгу, биографию прославленную,
И это (говорю я) зовется у автора человеческой жизнью?
Так, когда я умру, кто-нибудь и мою опишет жизнь?
(Будто кто по-настоящему знает что-нибудь о жизни моей.
Нет, зачастую я думаю, я и сам ничего не знаю о своей
подлинной жизни,
Несколько слабых намеков, несколько сбивчивых, разрознен-
ных, еле заметных штрихов,
Которые я пытаюсь найти для себя самого, чтобы вычертить
здесь.)

Перевод К. Чуковского

* * *

To venerate the simple days
Which lead the seasons by,
Needs but to remember
That from you or I,
They may take the trifle
Termed mortality!

To invest existence with a stately air
Needs but to remember
That the acorn there
Is the egg of forests
For the upper air!

* * *

If I shouldn't be alive
When the Robins come,
Give the one in Red Cravat,
A Memorial crumb.

If I couldn't thank you,
Being fast asleep,
You will know I'm trying
With my Granite lip!

* * *

Чтоб свято чтить обычные дни —
Надо лишь помнить:
От вас — от меня —
Могут взять они — малость —
Дар бытия.

Чтоб жизнь наделить величием —
Надо лишь помнить —
Что желудь здесь —
Зародыш лесов
В верховьях небес.

Перевод В. Марковой

* * *

Если меня не застанет
Мой красногрудый гость —
Насыпьте на подоконник
Поминальных крошек горсть.

Если я не скажу спасибо —
Из глубокой темноты —
Знайτε — что силюсь вымолвить
Губами гранитной плиты.

Перевод В. Марковой

* * *

I'm Nobody! Who are you?
Are you—Nobody—too?
Then there's a pair of us!
Don't tell! They'd banish us—you know!

How dreary—to be—Somebody!
How public—like a Frog—
To tell your name—the livelong June—
To an admiring Bog!

* * *

The Soul selects her own Society—
Then—shuts the Door—
To her divine Majority—
Present no more—

Unmoved—she notes the Chariots—pausing—
At her low Gate—
Unmoved—an Emperor be kneeling
Upon her Mat—

I've known her—from an ample nation—
Choose One—
Then—close the Valves of her attention—
Like Stone—

* * *

This is my letter to the World
That never wrote to Me—
The simple News that Nature told—
With tender Majesty

* * *

Я — Никто. А ты — ты кто?
Может быть — тоже — Никто?
Тогда нас двое. Молчок!
Чего доброго — выдворят нас за порог.

Как уныло — быть кем-нибудь —
И — весь июнь напролет —
Лягушкой имя свое выкликать —
К восторгу местных болот.

Перевод В. Марковой

* * *

Душа изберет сама свое Общество —
И замкнет Затвор.
В ее божественное Содружество —
Не войти с этих пор.

Напрасно — будут ждать колесницы —
У тесных ворот.
Напрасно — на голых досках — колени
Преклонит король.

Порою она всей пространной нации —
Одного предпочтет —
И закроет — все клапаны внимания —
Словно гранит.

Перевод В. Марковой

* * *

Это — письмо мое Миру —
Ему — от кого ни письма.
Это вести простые — с такой добротой —
Подказала Природа сама.

Her Message is committed
To Hands I cannot see—
For love of Her—Sweet—countrymen—
Judge tenderly—of Me

* * *

This was a Poet—It is That
Distills amazing sense
From ordinary Meanings—
And Attar so immense

From the familiar species
That perished by the Door—
We wonder it was not Ourselves
Arrested it—before—

Of Pictures, the Discloser—
The Poet—it is He—
Entitles Us—by Contrast—
To ceaseless Poverty—

Of Portion—so unconscious—
The Robbing—could not harm—
Himself—to Him—a Fortune—
Exterior—to Time—

* * *

I died for Beauty—but was scarce
Adjusted in the Tomb
When One who died for Truth, was lain
In an adjoining Room—

Рукам — невидимым — отдаю
Реестр ее каждого дня.
Из любви к ней — Милые земляки —
Судите нежно меня!

Перевод В. Марковой

* * *

Он был Поэт —
Гигантский смысл
Умел он отжимать
Из будничных понятий —
Редчайший аромат

Из самых ординарных трав,
Замусоривших двор —
Но до чего же слепы
Мы были до сих пор!

Картин Первоискатель —
Зоркости урок —
Поэт нас — по контрасту —
На нищету обрек.

Казне — столь невесомой —
Какой грозит урон?
Он — сам — свое богатство —
За чертой времен.

Перевод В. Марковой

* * *

Я принял смерть — чтоб жила Красота —
Но едва я был погребен —
Как в соседнем покое лег Воин другой —
Во имя Истины умер он.

He questioned softly "Why I failed"?
"For Beauty", I replied—
"And I—for Truth—Themselves are One—
We Bretheren, are", He said—

And so, as Kinsmen, met a Night—
We talked between the Rooms—
Until the Moss had reached our lips—
And covered up—our names—

* * *

I envy Seas, whereon He rides—
I envy Spokes of Wheels
Of Chariots, that Him convey—
I envy Crooked Hills

That gaze upon His journey—
How easy All can see
What is forbidden utterly
As Heaven—unto me!

I envy Nests of Sparrows—
That dot His distant Eaves—
The wealthy Fly, upon His Pane—
The happy—happy Leaves—

That just abroad His Window
Have Summer's leave to play—
The Ear Rings of Pizarro
Could not obtain for me—

I envy Light—that wakes Him—
And Bells—that boldly ring
To tell Him it is Noon, abroad—
Myself—be Noon to Him—

«За что,— спросил он,— ты отдал жизнь?»
«За торжество Красоты».
«Но Красота и Правда — одно.
Мы братья — я и ты».

И мы — как родные — встретили ночь —
Шептались — не зная сна —
Покуда мох не дополз до губ
И наши не стер имена.

Перевод В. Марковой

* * *

Завидую волнам — несущим тебя —
Завидую спицам колес.
Кривым холмам на твоём пути
Завидую до слез.

Всем встречным дозволено — только не мне —
Взглянуть на тебя невзначай.
Так запрещен ты для меня — так далек —
Словно господний рай.

Завидую гнездам ласточек —
Пунктиром вдоль застрех —
Богатой мухе в доме твоём —
Вольна на тебя смотреть.

Завидую листьям — счастливицам —
Играют — к окну припав.
За все алмазы Писарро
Мне не купить этих прав.

Как смеет утро будить тебя?
Колокольный дерзкий трезвон —
Тебе — возвещать Полдень?
Я сама — твой Свет и Огонь.

Yet interdict—my Blossom—
And abrogate—my Bee—
Lest Noon in Everlasting Night—
Drop Gabriel—and Me—

* * *

I would not paint—a picture—
I'd rather be the One
It's bright impossibility
To dwell—delicious—on—
And wonder how the fingers feel
Whose rare—celestial—stir—
Evokes so sweet a Torment—
Such sumptuous—Despair—

I would not talk, like Cornets—
I'd rather be the One
Raised softly to the Ceilings—
And out, and easy on—
Through Villages of Ether—
Myself endued Balloon
By but a lip of Metal—
The pier to my Pontoon—

Nor would I be a Poet—
It's finer—own the Ear—
Enamored—impotent—content—
The License to revere,
A privilege so awful
What would the Dower be,
Had I the Art to stun myself
With Bolts of Melody!

Но я на цветок наложу интердикт —
Пчелу от него отженя —
Чтоб Полдень не бросил в вечную тьму
Архангела — и меня.

Перевод В. Марковой

* * *

Мне — написать картину?
Нет — радостней побыть
С прекрасной невозможностью —
Как гость чужой судьбы.
Что пальцы чувствовать должны —
Когда они родят
Такую радугу скорбей —
Такой цветущий ад?

Мне — говорить — как флейты?
Нет — покоряясь им —
Подняться тихо к потолку —
Лететь — как легкий дым —
Селеньями эфира —
Все дальше — в высоту
Короткий стерженек — мой пирс
К плавучему мосту.

Мне — сделаться Поэтом?
Нет — изошрить мой слух.
Влюблен — бессилён — счастлив —
Не ищет он заслуг —
Но издали боготворит
Безмерно грозный дар!
Меня бы сжег Мелодий
Молнийный удар.

Перевод В. Марковой

* * *

Life, and Death, and Giants—
Such as These—are still—
Minor—Apparatus—Hopper of the Mill—
Beetle at the Candle—
Or a Fife's Fame—
Maintain—by Accident that they proclaim—

* * *

Publication—is the Auction
Of the Mind of Man—
Poverty—be justifying
For so foul a thing

Possibly—but We—would rather
From Our Garret go
White—Unto the White Creator—
Than invest—Our Snow—

Thought belong to Him who gave it—
Then—to Him Who bear
It's Corporeal illustration—Sell
The Royal Air—

In the Parcel—Be the Merchant
Of the Heavenly Grace—
But reduce no Human Spirit
To Disgrace of Price—

* * *

Жизнь — и Смерть — Гиганты —
Их не слышно — молчат.
А механизмы поменьше —
Всяк на свой лад —
Коник на мельнице —
Жук возле свечи —
Свистулька славы
Свидетельствуют — что Случай правит.

Перевод В. Марковой.

* * *

Публикация постыдна.
Разум — с молотка!
Скажут — бедность приневолит —
Голода аркан.

Что ж — допустим. Но уйти
С чердака честней —
Белым — к белому творцу —
Чем продать свой снег.

Мысль принадлежит по праву
Лишь тому — кто мог
Дать ее небесной сути
Телесный аналог.

Милостью торгуй господней —
Ссуда — под процент —
Но не смей унижить Гений
Ярлыком цены.

Перевод В. Марковой

* * *

Because I could not stop for Death—
He kindly stopped for me—
The Carriage held but just Ourselves—
And Immortality.

We slowly drove—He knew no haste
And I had put away
My labor and my leisure too,
For His Civility—

We passed the School, where Children strove
At Recess—in the Ring—
We passed the Fields of Gazing Grain—
We passed the Setting Sun—

Or rather—He passed Us—
The Dews drew quivering and chill—
For only Gossamer, my Gown—
My Tippet—only Tulle—

We paused before a House that seemed
A Swelling of the Ground—
The Roof was scarcely visible—
The Cornice—in the Ground—

Since then—'tis Centuries—and yet
Feels shorter than the Day
I first surmised the Horses Heads
Were toward Eternity—

* * *

Alter! When the Hills do—
Falter! When the Sun
Question if His Glory
Be the Perfect One—

* * *

Раз к Смерти я не шла — она
Ко мне явилась в дом —
В ее коляску сели мы
С Бессмертием втроем.

Мы тихо ехали — Ей путь
Не к спеху был, а я
Равно свой труд и свой досуг
Ей в жертву принесла —

Мы миновали Школьный Двор —
Играющих Ребят —
На нас Глядевшие Поля —
Проехали Закат —

Или, вернее, Солнца Шар
В пути оставил Нас —
Как зябко сделалось мне вдруг —
Одетой в легкий Газ! —

И к Дому подкатили мы —
Подобию Холма —
Свес его был зарыт в Земле —
Крыша едва видна —

С тех пор Столетия прошли —
Но этот миг длинней,
Открывший, что в Века глядит
Упряжка Лошадей.

Перевод И. Лихачева

* * *

Измениться! Сначала — Холмы.
Усомниться! Солнце скорей
Под сомнение поставит — само —
Совершенство Славы своей.

Surfeit! When the Daffodil
Doth of the Dew—
Even as Herself—Sir—
I will—of You—

* * *

Drama's Vitallest Expression is the Common Day
That arise and set about Us—
Other Tragedy

Perish in the Recitation—
This—the best enact
When the Audience is scattered
And the Boxes shut—

“Hamlet” to Himself were Hamlet—
Had not Shakespeare wrote—
Though the “Romeo” left no Record
Of his Juliet,

It were infinite enacted
In the Human Heart—
Only Theatre recorded
Owner cannot shut—

* * *

The Robin is the One
That interrupt the Morn
With hurried—few—express Reports
When March is scarcely on—

Пресытиться! Раньше
Росой — Нарцисс.
Пресытиться — Вами?
Никогда — клянусь!

Перевод В. Марковой

* * *

Правдивейшая из Трагедий —
Самый обычный День.
Сказав заученные слова —
С подмостков сойдет лицедей.

Но лучше играть в одиночестве
Драму свою — и пусть
Сначала занавес упадет —
Пусть будет партер пуст.

Гамлет — все Гамлет — сам для себя —
Спор его — тот же спор.
Когда говорит Ромео с Джульеттой —
Не суфлирует Шекспир.

Человеческое сердце —
Сцена для вечной игры —
И только этот Театр
Владелец не вправе закрыть.

Перевод В. Марковой

* * *

Малиновка моя!
Набор ее вестей
Прерывист — краток — тороплив —
Лишь март прогонит снег.

The Robin is the One
That overflow the Noon
With her cherubic quantity—
An April but begun—

The Robin is the One
That speechless from her Nest
Submit that Home—and Certainty
And Sanctity, are best

* * *

If I can stop one Heart from breaking
I shall not live in vain
If I can ease one Life the Aching
Or cool one Pain

Or help one fainting Robin
Unto his Nest again
I shall not live in Vain.

* * *

I never saw a Moor—
I never saw the Sea—
Yet know I how the Heather looks
And what a Billow be.

I never spoke with God
Nor visited in Heaven—
Yet certain am I of the spot
As if the Checks were given—

Малиновка моя!
Трель ангельских щедрот
Затопит полдень с головой—
Едва апрель придет.

Малиновки моей
Молчание — пойми:
Нет лучше верного гнезда—
Святости семьи.

Перевод В. Марковой

* * *

Если сердцу — хоть одному —
Не позволю разбиться —
Я не напрасно жила!
Если ношу на плечи приму —
Чтобы кто-нибудь мог распрямиться —
Боль — хоть одну — уйму —
Одной обмирающей птице
Верну частицу тепла —
Я не напрасно жила!

Перевод В. Марковой

* * *

Я не видела Вересковых полян —
Я на море не была —
Но знаю — как Вереск цветет —
Как волна прибоя бела.

Я не гостила на небе —
С богом я не вела бесед —
Но знаю — есть такая Страна —
Словно выдан в кассе билет.

Перевод В. Марковой

* * *

The Sky is low—the Clouds are mean.
A Travelling Flake of Snow
Across a Barn or through a Rut
Debates if it will go—

A Narrow Wind complains all Day
How some one treated him
Nature, like Us is sometimes caught
Without her Diadem.

* * *

Tell all the Truth but tell it slant—
Success in Circuit lies
Too bright for our infirm Delight
The Truth's superb surprise
As Lightning to the Children eased
With explanation kind
The Truth must dazzle gradually
Or every man be blind—

* * *

We never know how high we are
Till we are asked to rise
And then if we are true to plan
Our statures touch the skies—

The Heroism we recite
Would be a normal thing
Did not ourselves the Cubits warp
For fear to be a King—

* * *

Небо неизменно — Туча жадна —
Мерзлые Хлопья — на марше —
Через сарай — поперек колеи —
Спорят — куда же дальше.

Мелочный Ветер — в обиде на всех —
Плачется — нелюдимый.
Природу — как нас — можно застать
Без праздничной Диадемы.

Перевод В. Марковой

* * *

Всю правду скажи — но скажи ее — вкось.
На подступах сделай круг.
Слишком жгуч внезапной Истины луч.
Восход в ней слишком крут.

Как детей примиряет с молнией
Объяснений долгая цепь —
Так Правда должна поражать не вдруг —
Или каждый — будет слеп!

Перевод В. Марковой

* * *

Мы не знаем — как высоки —
Пока не встаем во весь рост —
Тогда — если мы верны чертежу —
Головой достаем до звезд.

Обиходным бы стал Героизм —
О котором Саги поем —
Но мы сами ужимаем размер
Из страха стать Королем.

Перевод В. Марковой

* * *

There is no Frigate like a Book
To take us Lands away
Nor any Coursers like a Page
Of prancing Poetry—
This Travel may the poorest take
Without offence of Toll—
How frugal is the Chariot
That bears the Human soul.

* * *

My life closed twice before its close;
It yet remains to see
If Immortality unveil
A third event to me,

So huge, so hopeless to conceive
As these that twice befell.
Parting is all we know of heaven,
And all we need of hell.

* * *

To make a prairie it takes a clover and one bee,
One clover, and a bee,
And revery.
The revery alone will do,
If bees are few.

* * *

Нет лучше Фрегата — чем Книга —
Домчит до любых берегов.
Нет лучше Коня — чем страница
Гарцующих стихов.

Ни дозоров в пути — ни поборов —
Не свяжет цепью недуг.
На какой простой колеснице
Летит человеческий Дух!

Перевод В. Марковой

* * *

Дважды жизнь моя кончилась — раньше конца —
Остается теперь открыть —
Вместит ли Вечность сама
Третье такое событие —

Огромное — не представить себе —
В бездне теряется взгляд.
Разлука — все — чем богато небо —
И все — что придумал ад.

Перевод В. Марковой

* * *

Из чего можно сделать прерию?
Из пчелы и цветка клевера —
Одной пчелы — одного цветка —
Да мечты — задача легка.
А если пчелы не отыщешь ты —
Довольно одной мечты.

Перевод В. Марковой

CLIFF KLINGENHAGEN

Cliff Klingenhagen had me in to dine
With him one day; and after soup and meat,
And all the other things there were to eat,
Cliff took two glasses and filled one with wine
And one with wormwood. Then, without a sign
For me to choose at all, he took the draught
Of bitterness himself, and lightly quaffed
It off, and said the other one was mine.

And when I asked him what the deuce he meant
By doing that, he only looked at me
And smiled, and said it was a way of his.
And though I knew the fellow, I have spent
Long time a-wondering when I shall be
As happy as Cliff Klingenhagen is.

LUKE HAVERGAL

Go to the western gate, Luke Havergal.
There where the vines cling crimson on the wall,
And in the twilight wait for what will come.
The leaves will whisper there of her, and some,
Like flying words, will strike you as they fall;
But go, and if you listen, she will call.
Go to the western gate, Luke Havergal—
Luke Havergal.

No, there is not a dawn in eastern skies
To rift the fiery night that's in your eyes;

КЛИФФ КЛИНГЕНХАГЕН

Державшийся всегда особняком
Клифф Клингенхаген как-то пригласил
Меня к себе и щедро угостил;
Мы славно отобедали вдвоем.
Потом он взял стаканы и вином
Один из них наполнил, а в другой
Налил полынной горечи настой
И осушил полынь одним глотком.

Он протянул мне сладкое вино,
И я вскричал: — Что значит этот бред?
И услышал уклончивый ответ:
— Да так уж у меня заведено.—
И, судьбы наши взвесив и сравнив,
Я понял вдруг, как счастлив этот Клифф.

Перевод А. Сергеева

ЛЮК ХЭВЕРГОЛ

У Западных ворот, Люк Хэвергол,
Где стену плющ пылающий оплел,
Замри и жди, и в сумерках листва
Начнет ронять летучие слова
О той, с которой рок тебя развел;
Она зовет, чтоб место ты нашел
У Западных ворот, Люк Хэвергол,
Люк Хэвергол.

Восток лучи небес не озарят,
И не заблещет твой полночный взгляд,

But there, where western glooms are gathering,
The dark will end the dark, if anything:
God slays himself with every leaf that flies,
And hell is more than half of paradise.
No; there is not a dawn in eastern skies—
In eastern skies.

Out of a grave I come to tell you this,
Out of a grave I come to quench the kiss
That flames upon your forehead with a glow
That blinds you to the way that you must go.
Yes, there is yet one way to where she is,
Bitter, but one that faith may never miss.
Out of a grave I come to tell you this—
To tell you this.

There is the western gate, Luke Havergal,
There are the crimson leaves upon the wall.
Go, for the winds are tearing them away,—
Nor think to riddle the dead words they say,
Nor any more to feel them as they fall;
But go, and if you trust her she will call.
There is the western gate, Luke Havergal—
Luke Havergal.

MINIVER CHEEVY

Miniver Cheevy, child of scorn,
Grew lean while he assailed the seasons;
He wept that he was ever born,
And he had reasons.

Miniver loved the days of old
When swords were bright and steeds were prancing;
The vision of a warrior bold
Would set him dancing.

Но Запад нам сулит исход иной—
Там до рассвета тьма покончит с тьмой:
Бог мертв, и листья по ветру летят,
И в райских кущах воцарился ад.
Восток лучи небес не озарят,
Не озарят.

Из гроба я шепчу в последний раз,
Чтоб поцелуй на лбу твоём погас,—
Он так горит, что не даёт взглянуть
На твой горчайший, неизбежный путь,
Где вера обручит навеки вас.
Где ждёт она тебя в урочный час.
Из гроба я шепчу в последний раз,
В последний раз.

У Западных ворот, Люк Хэвергол,
Где стену плещ пылающий оплел,
Замри и слушай, как шуршит листва,
Но не старайся уловить слова
О той, с которой рок тебя развел;
Лишь верь, что место ты себе нашёл
У Западных ворот, Люк Хэвергол,
Люк Хэвергол.

Перевод А. Сергеева

МИНИВЕР ЧИВИ

Минивер Чиви свой удел
Клял и поры своей стыдился,
Худел, мрачнел и сожалел,
Что он родился.

Минивер, предан старине,
Пожалуй, если увидал бы
Рыцаря в латах на коне,
То заплясал бы.

Miniver sighed for what was not,
 And dreamed, and rested from his labors;
He dreamed of Thebes and Camelot,
 And Priam's neighbors.

Miniver mourned the ripe renown
 That made so many a name so fragrant;
He mourned Romance, now on the town,
 And Art, a vagrant.

Miniver loved the Medici,
 Albeit he had never seen one;
He would have sinned incessantly
 Could he have been one.

Miniver cursed the commonplace
 And eyed a khaki suit with loathing;
He missed the mediaeval grace
 Of iron clothing.

Miniver scorned the gold he sought,
 But sore annoyed was he without it;
Miniver thought, and thought, and thought,
 And thought about it.

Miniver Cheevy, born too late,
 Scratched his head and kept on thinking;
Miniver coughed, and called it fate,
 And kept on drinking.

RICHARD CORY

Whenever Richard Cory went down town,
We people on the pavement looked at him:
He was a gentleman from sole to crown,
Clean favored, and imperially slim.

Минивер всех людских забот
Бежал и знал свое упрямо:
Афины, Фивы, Камелот,
Друзья Приама.

Минивер плакал, что с бывлой
Славой ослабли нынче узы.—
Бредет Романтика с сумой,
И чахнут Музы.

Минивер в Медичи влюблен
Заочно был, прельстясь их званьем.
Как жаждал приобщиться он
К их злодеяньям!

Минивер будничность бранил,
Узрев солдата в форме новой,
И вспоминал про блеск брони
Средневековой.

Минивер золото презрел,
Но забывал свое презренье,
Когда терпел, терпел, терпел,
Терпел лишенья.

Минивер Чиви опоздал
Родиться и чесал в затылке,
Кряхтел, вздыхал и припадал
В слезах к бутылке.

Перевод А. Сергеева

РИЧАРД КОРИ

Когда он выходил за свой порог,
Мы, жители окраины, глядели
На джентльмена с головы до ног,
Гуляющего в царственном безделье.

And he was always quietly arrayed,
And he was always human when he talked;
But still he fluttered pulses when he said,
"Good-morning," and he glittered when he walked.

And he was rich—yes, richer than a king—
And admirably schooled in every grace:
In fine, we thought that he was everything
To make us wish that we were in his place.

So on we worked, and waited for the light,
And went without the meat, and cursed the bread;
And Richard Cory, one calm summer night,
Went home and put a bullet through his head.

EROS TURANNOS

She fears him, and will always ask
 What fated her to choose him;
She meets in his engaging mask
 All reasons to refuse him;
But what she meets and what she fears
Are less than are the downward years,
Drawn slowly to the foamless weirs
 Of age, were she to lose him.

Between a blurred sagacity
 That once had power to sound him,
And Love, that will not let him be
 The Judas that she found him,
Her pride assuages her almost,
As if it were alone the cost.—
He sees that he will not be lost,
 And waits and looks around him.

При этом он был скромен и умен
И счастлив оказать несчастным милость.
Он первый всем отвешивал поклон,
Он шел, и все вокруг него светилося.

Он был богат — богаче королей,—
Он был прекрасен,— и сказать по чести,
Всяк полагал, что нет судьбы светлей,
И жаждал быть на дивном этом месте.

Мы трепетали, думая о нем,
И кляли черствый хлеб, и спину гнули,
А Ричард Кори тихим летним днем,
Придя домой, отправил в сердце пулю.

• *Перевод А. Сергеева*

EROS TURANNOS

До сей поры ее страшит
Былое ослепленье;
Один его любезный вид
Внушает отвращенье;
Но что такое вид и страх,
Когда в клонящихся годах
Ей в одиночестве, впотьмах
Влачиться по теченью?

Хотя она давно умом
Проникла в суть Иуды,
Любви упрямой нипочем
Соседей пересуды,
А гордость — не одна она
Союзу их подчинена...
А он томится у окна,
Он и его причуды.

A sense of ocean and old trees
 Envelops and allures him;
Tradition, touching all he sees,
 Beguiles and reassures him;
And all her doubts of what he says
Are dimmed with what she knows of days—
Till even prejudice delays
 And fades, and she secures him.

The falling leaf inaugurates
 The reign of her confusion;
The pounding wave reverberates
 The dirge of her illusion;
And home, where passion lived and died,
Becomes a place where she can hide,
While all the town and harbor side
 Vibrate with her seclusion.

We tell you, tapping on our brows,
 The story as it should be,—
As if the story of a house
 Were told, or ever could be;
We'll have no kindly veil between
Her visions and those we have seen,—
As if we guessed what hers have been,
 Or what they are or would be.

Meanwhile we do no harm; for they
 That with a god have striven,
Not hearing much of what we say,
 Take what the gold has given;
Though like waves breaking it may be,
Or like a changed familiar tree,
Or like a stairway to the sea
 Where down the blind are driven.

Его влекут в морской простор
Невидимые нити,
Цветистый осени убор
Лишь прибавляет прити;
И пусть он ей все время врет —
Так недвусмыслён жизни ход,
Что вдруг она к нему прильнет
С мольбою о защите.

С кружащейся в глазах листвою
Вселяется смятенье;
Прибой гудит за упокой
Пустого обольщенья;
И дом с любовью неживой
Стал ей спасительной норой;
А городок звенит струной
Прямого осужденья.

Мы скажем вам, стуча по лбу,
Все то, что есть на деле,
Как будто чью-нибудь судьбу
Хоть раз понять сумели,
Как будто дар нам вещей дан
И на ее самообман
Ее глазами сквозь дурман
Мы много раз смотрели.

И вот — мы к ним не пристаем;
Уж коль они такие,
Пускай колеблются вдвоем
По прихоти стихии;
Они же, говоря всерьез,—
Чета безлиственных берез
Или к пучине под откос
Бредущие слепые.

MR FLOOD'S PARTY

Old Eben Flood, climbing alone one night
Over the hill between the town below
And the forsaken upland hermitage
That held as much as he should ever know
On earth again of home, paused warily.
The road was his with not a native near;
And Eben, having leisure, said aloud,
For no man else in Tilbury Town to hear:

“Well, Mr. Flood, we have the harvest moon
Again, and we may not have many more;
The bird is on the wing, the poet says,
And you and I have said it here before.
Drink to the bird.” He raised up to the light
The jug that he had gone so far to fill,
And answered huskily: “Well, Mr. Flood,
Since you propose it, I believe I will.”

Alone, as if enduring to the end
A valiant armor of scarred hopes outworn,
He stood there in the middle of the road
Like Roland's ghost winding a silent horn.
Below him, in the town among the trees,
Where friends of other days had honored him,
A phantom salutation of the dead
Rang thinly till old Eben's eyes were dim.

Then, as a mother lays her sleeping child
Down tenderly, fearing it may awake,
He set the jug down slowly at his feet
With trembling care, knowing that most things break;
And only when assured that on firm earth
It stood, as the uncertain lives of men
Assuredly did not, he paced away,
And with his hand extended paused again:

ВЕЧЕРИНКА МИСТЕРА ФЛАДА

Однажды ночью старый Ибен Флад
На полдороге между городком
И той забытой будкой на горе,
В которой был его последний дом,
Остановился, ибо не спешил,
И, сам себе ответив на вопрос,
Что любопытных нет ни впереди,
Ни сзади, церемонно произнес:

— Ах, мистер Флад; опять на убыль год
Идет среди желтеющих дубрав;
«Пернатые в пути,— сказал поэт,—
Так выпьем за пернатых!» — И, подняв
Наполненную в лавочке бутылъ,
Он сам себе под круглою луной
С поклоном отвечал: — Ах, мистер Флад,
Ну, разве за пернатых по одной.—

В бесстрашных латах раненых надежд
Среди дороги горд и одинок,
Он возвышался, как роландов дух,
Вотще трубящий в молчаливый рог.
А снизу из темнеющих домов
Приветный, еле различимый хор
Былых друзей, ушедших навсегда,
Касался слуха и туманил взор.

Как мать свое уснувшее дитя,
С великим тщаньем, чтоб не разбудить,
Он опустил бутылъ, держа в уме,
Что в жизни многое легко разбить;
Но, убедившись, что бутылъ стоит
Потверже, чем иные на ногах,
Он отошел на несколько шагов
И гостя встретил словно бы в дверях:

“Well, Mr. Flood, we have not met like this
In a long time; and many a change has come
To both of us, I fear, since last it was
We had a drop together. Welcome home!”
Convivially returning with himself,
Again he raised the jug up to the light;
And with an acquiescent quaver said:
“Well, Mr. Flood, if you insist, I might.

“Only a very little, Mr. Flood—
For auld lang syne. No more, sir; that will do.”
So, for the time, apparently it did,
And Eben evidently thought so too;
For soon amid the silver loneliness
Of night he lifted up his voice and sang,
Secure, with only two moons listening,
Until the whole harmonious landscape rang—

“For auld lang syne.” The weary throat gave out,
The last word wavered, and the song was done.
He raised again the jug regretfully
And shook his head, and was again alone.
There was not much that was ahead of him,
And there was nothing in the town below—
Where strangers would have shut the many doors
That many friends had opened long ago.

— Ах, мистер Флад, пожалуйста ко мне,
Прошу! Давненько я не видел вас.
Который год уж минул с той поры,
Когда мы выпили в последний раз.—
Он указал рукою на бутылъ
И дружески привел себя назад
И, соглашаясь, сипло прошептал:
— Ну как не выпить с вами, мистер Флад?

Благодарю. Ни капли больше, сэр.
Итак, «мы пьем за старые года».—
Ни капли больше пить его ему
Уговорить не стоило труда,
Поскольку, обнаружив над собой
Две полные луны, он вдруг запел,
И весь ночной серебряный пейзаж
Ему в ответ созвучно зазвенел:

— «За старые года...» — Но, захрипев,
Он оборвал торжественный зачин
И сокрушенно осмотрел бутылъ,
Вздыхнул и оказался вновь один.
Не много проку двигаться вперед,
И повернуть назад уже нельзя —
Чужие люди жили в тех домах,
Где отжили старинные друзья.

Перевод А. Сергеева

ABRAHAM LINCOLN WALKS AT MIDNIGHT

(In Springfield, Illinois)

It is portentous, and a thing of state
That here at midnight, in our little town
A mourning figure walks, and will not rest,
Near the old court-house pacing up and down,

Or by his homestead, or in shadowed yards
He lingers where his children used to play,
Or through the market, on the well-worn stones
He stalks until the dawn-stars burn away.

A bronzed, lank man! His suit of ancient black,
A famous high top-hat and plain worn shawl
Make him the quaint great figure that men love,
The prairie-lawyer, master of us all.

He cannot sleep upon his hillside now.
He is among us:—as in times before!
And we who toss and lie awake for long,
Breathe deep, and start, to see him pass the door.

His head is bowed. He thinks of men and kings.
Yea, when the sick world cries, how can he sleep?
Too many peasants fight, they know not why;
Too many homesteads in black terror weep.

The sins of all the war-lords burn his heart.
He sees the dreadnaughts scouring every main.
He carries on his shawl-wrapped shoulders now
The bitterness, the folly and the pain.

АВРААМ ЛИНКОЛЬН БРОДИТ В ПОЛНОЧЬ

(Спрингфилд, штат Иллинойс)

Как знаменательно для нас для всех,
Что, думая о нас, как и тогда,
Средь ночи в нашем тихом городке
Вновь горестно он бродит у суда.

И дом он снова навещает свой
(Здесь не слышать, как прежде, детворы),
Чуть свет обходит рынок наш пустой,
Заглядывает в темные дворы.

На острых скулах бронзовый загар,
Его цилиндр всегдашний, старый плед.
И вытертый сюртук все так же стар.
Взгляд, нам знакомый с давних, давних лет.

Не спится Линкольну там, на холме.
Он среди нас — и прежде и теперь!
Не спится в этот ранний час и мне
И, встав, гляжу, приотворивши дверь.

И сколько их, дверей, отворено!
Не может спать он, и как нам уснуть:
Ведь столько фермеров разорено,
Скорбь стольким женам разрывает грудь.

Дела агрессоров как позабыть,
Дредноуты их как нам не разглядеть?
Не может гнева своего он скрыть,
Того, что плавит его сердца медь.

He cannot rest until a spirit-dawn
Shall come;—the shining hope of Europe free:
A league of sober folk, the workers' earth,
Bringing long peace to Cornland, Alp and Sea.

It breaks his heart that kings must murder still,
That all his hours of travail here for men
Seem yet in vain. And who will bring white peace
That he may sleep upon his hill again?

Когда же умирятся города
И сменит наций непрестанный спор
Союз народов всех и власть труда,
И вечный мир равнин, морей и гор?

Но гром войны все яростней гремит
И будоражит бронзовую грудь.
Кто даст земле им возглашенный мир,
Чтоб снова на холме он мог уснуть?

Перевод И. Кашкина

THE HILL

Where are Elmer, Herman, Bert, Tom and Charley,
The weak of will, the strong of arm,
 the clown, the boozier, the fighter?
All, all are sleeping on the hill.

One passed in a fever,
One was burned in a mine,
One was killed in a brawl,
One died in a jail,
One fell from a bridge toiling for children and wife—
All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.

Where are Ella, Kate, Mag, Lizzie and Edith,
The tender heart, the simple soul, the loud,
 the proud, the happy one?—
All, all are sleeping on the hill.

One died in shameful child-birth,
One of a thwarted love,
One at the hands of a brute in a brothel,
One of a broken pride, in the search for heart's desire,
One after life in a far-away London and Paris
Was brought to her little space by Ella and
 Kate and Maggy—
All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.

Where are Uncle Isaac and Aunt Emily,
And old Towny Kincaid and Sevigny Houghton,
And Major Walker who had talked
With venerable men of the revolution?—
All, all are sleeping on the hill.

ХОЛМ

Где Элмер, Герман, Берт, Том и Чарли,
Слабый волей, крепкий в труде,
— шут, пьяница, забияка? —
Все, все спят, спят на холме.

Того доконала лихорадка,
Тот сгорел в шахте,
Того прикончили в драке,
Тот умер в оковах,
Тот сорвался с моста, работая на жену и детей.—
Все, все спят, спят, спят на холме.

Где Элла, Кейт, Мэг, Лиззи и Эдит,
Нежное сердце, простая душа, хохотушка,
гордячка, счастливица? —
Все, все спят, спят на холме.

Та умерла от тайных родов,
Та — от неразделенной любви,
Та — от руки какого-то мерзавца в борделе,
Та — от уязвленной гордости, в ожидании
желанного счастья,
Та, прожив всю жизнь в далеком Лондоне и Париже,
Была похоронена здесь Эллой и Лиззи и Мэг.—
Все, все спят, спят, спят на холме.

Где дядя Айзек и тетя Эмили,
И старый Тауни Кинкейд и Сэвинь Хоутон,
И майор Уокер, толковавший о революции
С почтенными согражданами? —
Все, все спят, спят на холме.

They brought them dead sons from the war,
And daughters whom life had crushed,
And their children, fatherless, crying—
All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.

Where is old Fiddler Jones
Who played with life all his ninety years,
Braving the sleet with bared breast,
Drinking, rioting, thinking neither of wife nor kin,
Nor gold, nor love, nor heaven?
Lo! he babbles of the fish-frys of long ago,
Of the horse-races of long ago at Clary's Grove,
Of what Abe Lincoln said
One time at Springfield.

LUCINDA MATLOCK

I went to the dances at Chandlerville,
And played snap-out at Winchester.
One time we changed partners,
Driving home in the moonlight of middle June,
And then I found Davis.
We were married and lived together for seventy years,
Enjoying, working, raising the twelve children,
Eight of whom we lost
Ere I had reached the age of sixty.
I spun, I wove, I kept the house, I nursed the sick,
I made the garden, and for holiday
Rambled over the fields where sang the larks,
And by Spoon River gathering many a shell,
And many a flower and medicinal weed—
Shouting to the wooded hills, singing to the green valleys.
At ninety-six I had lived enough, that is all,
And passed to a sweet repose.

Сюда принесли сыновей, которых убила война,
И дочерей, которых раздавила жизнь,
И сирот, оставшихся после их смерти.—
Все, все спят, спят, спят на холме.

Где старый скрипач Джонс,
Который играл с жизнью целых девяносто лет,
Бросая вызов непогоде своей распахнутой грудью,
Пьяный, буйный, забывший и жену, и родных,
И деньги, и любовь, и небо?
Слышите, он болтает о пирушках былых времен,
О скачках былых времен в Клере Гроуве,
О том, что Эби Линкольн сказал
Однажды в Спрингфилде.

Перевод И. Кашкина

ЛЮСИНДА МЭТЛОК

Я ездила на танцы в Чэндлервилл
И играла в «третий лишний» в Уинчестере.
Однажды, возвращаясь домой лунной ночью
В июне, мы обменялись партнерами,
И так я и Дэвис нашли друг друга.
Мы поженились и жили вместе семьдесят лет,
Радовались, работали, воспитывали детей —
Их было двенадцать, но восемь мы потеряли
До того, как мне исполнилось шестьдесят.
Я хлопотала по дому, ходила за больными,
Пряла, ткала, работала в саду, а по праздникам
Бродила по полям, прислушиваясь к песне
Жаворонка, или вдоль реки, собирая ракушки,
Цветы и лекарственные травы,
И окликала лесистые холмы,
И пела песни зеленым долинам.
А когда мне минуло девяносто шесть лет,
Прожив сполна свой век на этом свете,
Я познала сладостный покой.

What is this I hear of sorrow and weariness,
Anger, discontent and drooping hopes?
Degenerate sons and daughters,
Life is too strong for you—
It takes life to love Life.

ANNE RUTLEDGE

Out of me unworthy and unknown
The vibrations of deathless music:
“With malice toward none, with charity for all.”
Out of me the forgiveness of millions toward millions,
And the beneficent face of a nation
Shining with justice and truth.
I am Anne Rutledge who sleep beneath these weeds,
Beloved in life of Abraham Lincoln,
Wedded to him, not through union,
But through separation.
Bloom forever, O Republic,
From the dust of my bosom!

EDITOR WHEDON

To be able to see every side of every question;
To be on every side, to be everything, to be nothing long;
To pervert truth, to ride it for a purpose,
To use great feelings and passions of the human family
For base designs, for cunning ends,
To wear a mask like the Greek actors—
Your eight-page paper—behind which you huddle,

Что вы там говорите про горе, усталость,
Обиды, невзгоды, обманутые надежды?
О вырождающееся поколение,
Вам ли меряться силами с жизнью?
Тот, кто любит жизнь,
Всей жизнью ей платит.

Перевод Э. Ананиашвили

ЭНН РАТЛЕДЖ

Струятся волны бессмертной музыки
От меня, ничтожной и безвестной:
«Без злобы и ненависти!»,
«Ко всем — милосердь!»
Из глуби моей — прощение миллионам от миллионов,
Лицо великодушного Народа
В сиянии истины и справедливости.
Я, Энн Ратледж, спящая здесь
В земле, под буйными травами,
Была любима Авраамом Линкольном,
Но брачным союзом нашим
Стала вечная разлука.
Расти, о цветущее древо Республики,
Из моей груди, распавшейся в прах.

Перевод Э. Ананиашвили

РЕДАКТОР УЭДОН

Всегда видеть все стороны всяких вопросов;
Всегда быть на стороне всех, быть всем и ничем подолгу;
Извращать истину, оседлав ее, выгоды ради;
Играть на высоких стремлениях и на страстях человека
Для достижения низкого замысла, хитростной цели;
Подобно античным актерам, носить маску
Своей газеты в восемь страниц — скрываться за нею,

Bawling through the megaphone of big type:
"This is I, the giant."
Thereby also living the life of a sneak-thief,
Poisoned with the anonymous words
Of your clandestine soul.
To scratch dirt over scandal for money,
And exhume it to the winds for revenge,
Or to sell papers,
Crushing reputations, or bodies, if need be,
To win at any cost, save your own life.
To glory in demoniac power, ditching civilization,
As a paranoiac boy puts a log on the track
And derails the express train.
To be an editor, as I was.
Then to lie here close by the river over the place
Where the sewage flows from the village,
And the empty cans and garbage are dumped,
And abortions are hidden.

Рявкая в рупор ее заголовков:

«Вот я, Титан»,—

А на деле живя жизнью мелкого вора,

Отравленного безликим признаньем

Вашей скрытной душонки;

За деньги собирать накипь со сплетен

И пускать ее по ветру, как месть за обиду;

Публиковать документы,

Отнимающие честь, а иной раз и жизнь;

Побеждать любую ценой, лишь не ценой своей жизни;

Опьянев от дьявольской мощи, толкать культуру на свалку,

Словно безумец-дегенерат, который кладет на рельсы бревно

И пускает поезда под откос;

Быть редактором, вроде меня,—

И лежать здесь, у реки, под обрывом,

Куда стекают все нечистоты селенья,

Куда сваливают пустые жестянки, отбросы и мусор,

Где матери зарывают свой недоношенный плод.

Перевод И. Кашкина

CHICAGO

Hog Butcher for the World,
Tool Maker, Stacker of Wheat,
Player with Railroads and the Nation's Freight Handler;
Stormy, husky, brawling,
City of the Big Shoulders:

They tell me you are wicked and I believe them, for I have
seen your painted women under the gas lamps luring the
farm boys.

And they tell me you are crooked and I answer: Yes, it is
true I have seen the gunman kill and go free to kill again.
And they tell me you are brutal and my reply is: On the faces
of women and children I have seen the marks of wanton
hunger.

And having answered so I turn once more to those who sneer
at this my city, and I give them back the sneer and say
to them:

Come and show me another city with lifted head singing
so proud to be alive and coarse and strong and cunning.

Flinging magnetic curses amid the toil of piling job on job,
here is a tall bold slugger set vivid against the little
soft cities;

Fierce as a dog with tongue lapping for action, cunning as a
savage pitted against the wilderness,

Bareheaded,
Shoveling,
Wrecking,
Planning,
Building, breaking, rebuilding.

ЧИКАГО

Свинобой и мясник всего мира,
Машиностроитель, хлебный ссыпщик,
Биржевой воротила, хозяин всех перевозок,
Буйный, хриплый, горластый,
Широкоплечий — город-гигант.

Мне говорят: ты развратен,—я этому верю: под газовыми
фонарями я видел твоих накрашенных женщин,
зазывающих фермерских батраков.

Мне говорят: ты преступен,—я отвечаю: да, это правда, я
видел, как бандит убивает и спокойно уходит, чтоб вновь
убивать.

Мне говорят: ты скуп, и мой ответ: на лице твоих детей
и женщин я видел печать бесстыдного голода.

И, ответив, я обернусь еще раз к ним, высмеивающим мой
город, и верну им насмешку, и скажу им:

Укажите мне город, который так звонко поет свои песни,
гордясь жить, быть грубым, сильным, искусным.

С крепким словцом вгрызаясь в любую работу, громоздя урок
на урок,— вот он, рослый, дерзкий ленивец, такой живучий
среди изнеженных городков и предместий,

Рвущийся к делу, как пес, с разинутой пенистой пастью,
хитрый, словно дикарь, закаленный борьбою с пустыней,

Простоволосый,

Загребистый,

Грубый,—

Планирует он пустыри,

Воздвигая, круша и вновь строя.

Under the smoke, dust all over his mouth, laughing with white teeth,

Under the terrible burden of destiny laughing as a young man laughs,

Laughing even as an ignorant fighter laughs who has never lost a battle,

Bragging and laughing that under his wrist is the pulse, and under his ribs the heart of the people,

Laughing!

Laughing the stormy, husky, brawling laughter of Youth, half-naked, sweating, proud be Hog Butcher, Tool Maker, Stacker of Wheat, Player with Railroads and Freight Handler to the Nation.

LIMITED

I am riding on a limited express, one of the crack trains of the nation.

Hurling across the prairie into blue haze and dark air go fifteen all-steel coaches holding a thousand people.

(All the coaches shall be scrap and rust and all the men and women laughing in the diners and sleepers shall pass to ashes.)

I ask a man in the smoker where he is going and he answers:
"Omaha."

PRAYERS OF STEEL

Lay me on an anvil, O God.

Beat me and hammer me into a crowbar.

Let me pry loose old walls.

Let me lift and loosen old foundations.

Весь в дыму, полон рот пыли, смеясь белозубой улыбкой,
Под тяжелой ношей судьбы, смеясь смехом мужчины,
Смеясь беспечным смехом борца, не знавшего поражений,
Смеясь с похвалой, что в жилах его бьется кровь, под
ребром — бьется сердце народа.

Смеясь.

Смеясь буйным, хриплым, горластым смехом юнца, полуголый,
весь пропотевший, гордый тем, что он — свинобой, машино-
строитель, хлебный ссыпщик, биржевой воротила и хозяин
всех перевозок.

Перевод И. Кашкина

ЛЮКС

Я еду в экспрессе люкс, этой гордости нации.

Звякая буферами, несутся по прерии сквозь сизую дымку
и закатную мглу пятнадцать цельностаальных вагонов
с тысячью пассажиров

(все вагоны станут кучей ржавого лома, и все пассажиры,
смеющиеся по салон-вагонам и купе, станут прахом).

Я спрашиваю соседа по купе, куда он едет, и он отвечает:
«Омаха».

Перевод И. Кашкина

МОЛИТВА СТАЛИ

Положи меня, боже, на наковальню,
Сплющи и выкуй кирку или лом,
Дай мне расшатать старые стены,
Дай мне взрыть и сровнять их основанья.

Lay me on an anvil, O God.
Beat me and hammer me into a steel spike.
Drive me into the girders that hold a skyscraper together.
Take red-hot rivets and fasten me into the central girders.
Let me be the great nail holding a skyscraper through blue
nights into white stars.

GRASS

Pile the bodies high at Austerlitz and Waterloo.
Shovel them under and let me work—
 I am the grass; I cover all.
And pile them high at Gettysburg
And pile them high at Ypres and Verdun.
Shovel them under and let me work.
Two years, ten years, and passengers ask the conductor:
 What place is this?
 Where are we now?

 I am the grass.
 Let me work.

THREES

I was a boy when I heard three red words
a thousand Frenchmen died in the streets
for: Liberty, Equality, Fraternity—I asked
why men die for words.

I was older; men with mustaches, sideburns,
lilacs, told me the high golden words are:

Положи меня, боже, на наковальню,
Сплющи и выкуй стальную заклепку.
Скрепи мною балки в остовах небоскребов.
Раскаленным болтом загни в опорные скрепы.
Дай мне стать крепким устоем, вздымающим небоскребы
В синие ночи к белеющим звездам.

Перевод И. Кашкина

ТРАВА

Нагромоздите тела под Аустерлицем и Ватерлоо,
Сложите в могилу и дайте мне работать:
Я — трава: я покрываю все.

Нагромоздите их выше под Геттисбургом,
Нагромоздите выше под Верденом, у Ипра,
Сложите в могилу и дайте мне работать.
Два года, десять лет, и пассажиры спросят кондуктора:
«Это что за места?
Где мы теперь?»

Я — трава.
Дайте мне работать.

Перевод И. Кашкина

ТРИ СЛОВА

В детстве я слышал три красных слова;
Тысячи французов умирали на улицах
За Свободу, Равенство, Братство,—и я спросил,
Почему за слова умирают люди.

Я подрос, и почтенные люди с усами
Говорили, что три заветных слова —

Mother, Home and Heaven—other older men with
face decorations said: God, Duty, Immortality
—they sang these threes slow from deep lungs.

Years ticked off their say-so on the great clocks
of doom and damnation, soup and nuts: meteors flashed
their say-so: and out of great Russia came three
dusky syllables workmen took guns and went out to die
for: Bread, Peace, Land.

And I met a marine of the U.S.A., a leatherneck with
a girl on his knee for a memory in ports circling the
earth and he said: tell me how to say three things
and I always get by—gimme a plate of ham and eggs—
how much?—and—do you love me, kid?

JAZZ FANTASIA

Drum on your drums, batter on your banjoes, sob on the long
cool winding saxophones. Go to it, O jazzmen.

Sling your knuckles on the bottoms of the happy tin pans, let
your trombones ooze, and go husha-husha-hush with
the slippery sand-paper.

Moan like an autumn wind high in the lonesome tree-tops,
moan soft like you wanted somebody terrible, cry like
a racing car, slipping away from a motor-cycle cop,
bang-bang! you jazzmen, bang altogether drums, traps,
banjoes, horns, tin cans—make two people fight on
the top of a stairway and scratch each other's eyes
in a clinch tumbling down the stairs.

Это Мать, Семья и Небо, а другие, постарше,
С орденами на груди, говорили: Бог, Долг и Бессмертье,—
Говорили нараспев и с глубоким вздохом.

Годы отстукивали свое тик-так на больших часах
Судеб человеческих, и вдруг метеорами
Сверкнули из огромной России три
Суровых слова, и рабочие с оружием пошли умирать
За Хлеб, Мир и Землю.

А раз я видел моряка американского флота,
Портовая девчонка сидела у него на коленях,
И он говорил: «Нужно уметь сказать три слова,
Только и всего: дайте мне ветчину, и яичницу,—
Что еще?— и немножко любви,
Моя крошка!»

Перевод М. Зенкевича

ДЖАЗ-ФАНТАЗИЯ

Барабаны, гремите—бум, бум. Изнывайте жалобно, банджо.
Рыдайте извивами горл саксофоны. Играй, о джаз-банд!

Без жалости бейте суставами пальцев по жести кастрюль,
отрыгивайте тромбонами тромбы, верещите наждачной
бумагой, хуша, хуша, хуш...

Войте, как ветер осенний в вершинах деревьев, вопите, как
будто от боли в ужасе, вопите, как бешеный автомобиль,
ускользающий от полицейского мотоцикла. Играй, играй,
джаз-банд, оркестр барабанов, банджо, рожков, саксо-
фонов, кастрюль,— пусть двое пьяных, сцепившихся
на лестнице рьяно, бьют наугад, наобум и катятся вниз
по ступеням.

Can the rough stuff... now a Mississippi steamboat pushes
up the night river with a hoo-hoo-hoo-oo... and the green
lanterns calling to the high soft stars... a red moon
rides on the humps of the low river hills... go to it,
O jazzmen.

ANECDOTE OF HEMLOCK
FOR TWO ATHENIANS

The grizzled Athenian ordered to hemlock,
Ordered to a drink and lights out,
Had a friend he never refused anything.

“Let me drink too,” the friend said.
And the grizzled Athenian answered,
“I never yet refused you anything.”

“I am short of hemlock enough for two,”
The head executioner interjected,
“There must be more silver for more hemlock.”

“Somebody pay this man for the drinks of death,”
The grizzled Athenian told his friends,
Who fished out the ready cash wanted.

“Since one cannot die on free cost at Athens,
Give this man his money,” were the words
Of the man named Phocion, the grizzled Athenian.

Yes, there are men who know how to die in a grand way.
There are men who make their finish worth mentioning.

Вопите музыкой зычной... А там, на Миссисипи, ночной пароход пробирается вверх по темной реке с ревом гуу-уу-уу-у... И зелеными фонарями взывает к далеким нежным звездам...

А красный месяц скачет на черных горбах прибрежных холмов...

Играй, о джаз-банд!

Перевод М. Зенкевича

АНЕКДОТ О ЦИКУТЕ ДЛЯ ДВУХ АФИНЯН

Седовласый афинянин, приговоренный
Выпить смертельную чашу цикуты,
Не мог ни в чем отказать своему другу.

«Дай отпить и мне»,— попросил его друг,
И седовласый афинянин ответил:
«Пока я тебе ни в чем не отказывал».

«Тут на двоих цикуты не хватит,—
Вмешался в их разговор палач,—
Цикута нынче на вес серебра».

«Прошу, заплатите ему за яд»,—
Обратился к друзьям седовласый афинянин,
И те раздобыли нужную сумму.

«Раз в Афинах нельзя умереть бесплатно,
Отдайте этому человеку деньги»,—
Сказал Фокион, седовласый афинянин.

Да, бывают люди, которые умирают величественно,
Люди, о чьем конце стоит рассказывать.

Перевод А. Сергеева

THE PASTURE

I'm going out to clean the pasture spring;
I'll only stop to rake the leaves away
(And wait to watch the water clear, I may):
I sha'n't be gone long.—You come too.

I'm going out to fetch the little calf
That's standing by the mother. It's so young,
It totters when she licks it with her tongue.
I sha'n't be gone long.—You come too.

MENDING WALL

Something there is that doesn't love a wall,
That sends the frozen-ground-swell under it,
And spills the upper boulders in the sun;
And makes gaps even two can pass abreast.
The work of hunters is another thing:
I have come after them and made repair
Where they have left not one stone on a stone,
But they would have the rabbit out of hiding,
To please the yelping dogs. The gaps I mean,
No one has seen them made or heard them made,
But at spring mending-time we find them there.
I let my neighbour know beyond the hill;
And on a day we meet to walk the line
And set the wall between us once again.
We keep the wall between us as we go.
To each the boulders that have fallen to each.

ПАСТБИЩЕ

Я собрался прочистить наш родник.
Я разгребу над ним опавший лист,
Любуясь тем, как он прозрачен, чист.
Я там не задержусь.— И ты приди.

Я собрался теленка привести. |
Он к матери прижался. Так он мал,
Что от нее едва заковылял.
Я там не задержусь.— И ты приди.

Перевод И. Кашкина

ПОЧИНКА СТЕНЫ

Есть что-то, что не любит ограждений,
Что осыпью под ними землю пучит
И сверху сбрасывает валуны,
Лазейки пробивает для двоих.
А тут еще охотники вдобавок:
Ходи за ними следом и чини.
Они на камне камня не оставят,
Чтоб кролика несчастного спугнуть,
Поживу для собак. Лазейки, брешы,
Никто как будто их не пробивает,
Но мы всегда находим их весной.
Я известил соседа за холмом,
И, встретившись, пошли мы вдоль границы,
Чтоб каменной стеной замкнуться вновь,
И каждый шел по своему участку
И собственные камни подбирал—

And some are loaves and some so nearly balls
We have to use a spell to make them balance;
“Stay where you are until our backs are turned!”
We wear our fingers rough with handling them.
Oh, just another kind of out-door game,
One on a side. It comes to little more:
There where it is we do not need the wall:
He is all pine and I am apple orchard.
My apple trees will never get across
And eat the cones under his pines, I tell him.
He only says, “Good fences make good neighbours.”
Spring is the mischief in me, and I wonder
If I could put a notion in his head:
“*Why* do they make good neighbours? Isn’t it
Where there are cows? But here there are no cows.
Before I built a wall I’d ask to know
What I was walling in or walling out,
And to whom I was like to give offence.
Something there is that doesn’t love a wall,
That wants it down.” I could say “Elves” to him,
But it’s not elves exactly, and I’d rather
He said it for himself. I see him there
Bringing a stone grasped firmly by the top
In each hand, like an old-stone savage armed.
He moves in darkness as it seems to me,
Not of woods only and the shade of trees.
He will not go behind his father’s saying,
And he likes having thought of it so well
He says again, “Good fences make good neighbours.”

THE DEATH OF THE HIRED MAN

Mary sat musing on the lamp-flame at the table
Waiting for Warren. When she heard his step,
She ran on tip-toe down the darkened passage
To meet him in the doorway with the news

То каравай, а то такой кругляш,
Что мы его заклятьем прикрепляли:
«Лежи вот здесь, пока мы не ушли».
Так обдирали мы о камни пальцы,
И каждый словно тешился игрой
На стороне своей. И вдруг мы вышли
Туда, где и ограда ни к чему:
Там сосны, у меня же сад плодовый.
Ведь яблони мои не станут лазить
К нему за шишками, а он в ответ:
«Сосед хорош, когда забор хороший».
Весна меня подбила заронить
Ему в мозги понятие другое:
«Но почему забор? Быть может, там,
Где есть коровы? Здесь же нет коров.
Ведь нужно знать пред тем, как ограждаться,
Что ограждается и почему,
Кому мы причиняем неприятность.
Есть что-то, что не любит ограждений
И рушит их». Чуть не сказал я «эльфы»,
Хоть ни при чем они; я ожидал,
Что он поймет. Но, каждою рукой
По камню ухватив, вооружился
Он, как дикарь из каменного века,
И в сумрак двинулся, и мне казалось,
Мрак исходил не только от теней.
Пословицы отцов он не нарушит,
И так привязан к ней, что повторил:
«Сосед хорош, когда забор хороший».

Перевод М. Зенкевича

СМЕРТЬ БАТРАКА

При свете лампы Мэри у стола
Ждала Уоррена. Шаги услыша,
Она на цыпочках сбежала вниз,
Чтоб в темноте его у двери встретить

And put him on his guard. "Silas is back."
She pushed him outward with her through the door
And shut it after her. "Be kind," she said.
She took the market things from Warren's arms
And set them on the porch, then drew him down
To sit beside her on the wooden steps.

"When was I ever anything but kind to him?
But I'll not have the fellow back," he said.
"I told him so last haying, didn't I?"
"If he left then," I said, "that ended it."
What good is he? Who else will harbour him
At his age for the little he can do?
What help he is there's no depending on.
Off he goes always when I need him most.
"He thinks he ought to earn a little pay,
Enough at least to buy tobacco with,
So he won't have to beg and be beholden."
"All right?" I say, "I can't afford to pay
Any fixed wages, though I wish I could."
"Someone else can." "Then someone else will have to."
I shouldn't mind his bettering himself
If that was what it was. You can be certain,
When he begins like that, there's someone at him
Trying to coax him off with pocket-money,—
In haying time, when any help is scarce.
In winter he comes back to us. I'm done."

"Sh! not so loud: he'll hear you," Mary said.

"I want him to: he'll have to soon or late."

"He's worn out. He's asleep beside the stove.
When I came up from Rowe's I found him here,
Huddled against the bard-door fast asleep,
A miserable sight, and frightening, too—
You needn't smile—I didn't recognise him—
I wasn't looking for him—and he's changed.
Wait till you see."

"Where did you say he'd been?"

И новость сообщить: «Вернулся Сайлас».
Потом, его наружу потянув,
Закрыла дверь. «Будь добр»,— она сказала,
Взяла покупки у него из рук
И, на крыльцо сложив их, усадила
Его с собою рядом на ступеньки.

«А разве добрым не был я к нему?
Но не хочу, чтоб к нам он возвращался.
Иль не сказал ему я в сенокос,
Что если он уйдет, пусть не приходит?
На что он годен? Кто его возьмет?
Ведь он не молод и плохой работник.
К тому ж он не надежен и всегда
Как раз в страду горячую уходит.
Он думает, что если заработал
Немножечко, хотя бы на табак,
То больше нам ничем и не обязан.
«Отлично,— я сказал,— мне не по средствам
Помесячно работнику платить».
«Другие ж платят».— «И пускай их платят».
Не верю, чтоб исправиться он мог.
Начнет вот так, и что-то подмывает
Его уйти с карманными деньгами
В страду, когда рабочих рук нехватка.
Зимой же он приходит. Нет, довольно».

«Шш! — перебила Мэри,— он услышит».

«Ну и пускай. Он должен это слышать».

«Он так измучен и заснул у печки.
Придя от Роу, я его нашла
Почти уснувшим у дверей сарая.
Вид у него такой ужасный, жалкий.
Не смейся. Я его едва узнала:
Так изменился он, уйдя от нас.
Сам посмотри».

«Откуда он пришел?»

“He didn’t say. I dragged him to the house,
And gave him tea and tried to make him smoke.
I tried to make him talk about his travels.
Nothing would do: he just kept nodding off.”

“What did he say? Did he say anything?”

“But little.”

“Anything? Mary, confess
He said he’d come to ditch the meadow for me.”

“Warren!”

“But did he? I just want to know.”

“Of course he did. What would you have him say?
Surely you wouldn’t grudge the poor old man
Some humble way to save his self-respect.
He added, if you really care to know,
He meant to clear the upper pasture, too.
That sound like something you have heard before?
Warren, I wish you could have heard the way
He jumbled everything. I stopped to look
Two or three times—he made me feel so queer—
To see if he was talking in his sleep.
He ran on Harold Wilson—you remember—
The boy you had in haying four years since.
He’s finished school, and teaching in his college.
Silas declares you’ll have to get him back.
He says they two will make a team for work:
Between them they will lay this farm as smooth!
The way he mixed that in with other things.
He thinks young Wilson a likely lad, though daft
On education—you know how they fought
All through July under the blazing sun,
Silas up on the cart to build the load,
Harold along beside to pitch it on.”

“Yes, I took care to keep well out of earshot.”

«Он не сказал. Я в дом его втащила
И угощала чаем, табаком.
Распрашивала о его скитаньях.
Но он в ответ лишь головой кивал».

«Что ж он сказал? Сказал он что-нибудь?»

«Немного».

«Ну а что? Признайся, Мэри,
Он говорил, что окопает луг?»

«Уоррен!»

«Да? Хотел я лишь узнать».

«Конечно, говорил. Ну что ж такого?
В вину ты не поставишь старику,
Что он свое достоинство спасает.
И если хочешь знать, он говорил,
Что пастбище расчистит наверху.
И это, кажется, ты слышал раньше?
Уоррен, если бы ты только знал,
Как он все путал. У меня в глазах
Вдруг потемнело, и мне показалось,
Что разговаривает он в бреду
О Вилсоне Гарольде, что работал
У нас тому назад четыре года,—
Теперь он в колледже своем учитель,
А Сайлас к нам хотел его вернуть,
Чтоб вместе с ним приняться за работу.
Вдвоем они наладят все на ферме.
Он говорил, все спутав и смешав,
Что Вилсон славный малый, но смешон
Своей ученостью. Ты помнишь, как
Они в июле в сильный зной трудились.
Как Сайлас сено складывал вверху,
Гарольд же снизу подавал на вилах».

«Да, подгонять их мне не приходилось».

“Well, those days trouble Silas like a dream.
You wouldn’t think they would. How some things linger!
Harold’s young college boy’s assurance piqued him.
After so many years he still keeps finding
Good arguments he sees he might have used.
I sympathise. I know just how it feels
To think of the right thing to say too late.
Harold’s associated in his mind with Latin.
He asked me what I thought of Harold’s saying
He studied Latin like the violin
Because he liked it—that an argument!
He said he couldn’t make the boy believe
He could find water with a hazel prong—
Which showed how much good school had ever done him.
He wanted to go over that. But most of all
He thinks if he could have another chance
To teach him how to build a load of hay—

“I know, that’s Silas’ one accomplishment.
He bundles every forkful in its place,
And tags and numbers it for future reference,
So he can find and easily dislodge it
In the unloading. Silas does that well.
He takes it out in bunches like big birds’ nests.
You never see him standing on the hay
He’s trying to lift, straining to lift himself.”

“He thinks if he could teach him that, he’d be
Some good perhaps to someone in the world.
He hates to see a boy the fool of books.
Poor Silas, so concerned for other folk,
And nothing to look backward to with pride,
And nothing to look forward to with hope,
So now and never any different.”

Part of a moon was falling down the west,
Dragging the whole sky with it to the hills.
Its light poured softly in her lap. She saw it
And spread her apron to it. She put out her hand

«То время мучит Сайласа, как сон.
Не странно ли, как мелочи мы помним.
Гарольд его задел высокомерьем,
И Сайлас до сих пор для спора с ним
Упущенные доводы находит.
Я знаю по себе, как тяжело
Несказанный ответ потом придумать.
Запомнился ему Гарольд с латынью,
Он насмеялся над его словами,
Что будто бы латынь ему мила
Не меньше скрипки— вот какая дичь!
Гарольд не верил, что он может воду
В земле найти с орешниковой веткой.
Так, значит, и не впрок пошло ученье.
Об этом Сайлас говорил. И очень
Жалел о том, что он не может снова
Учить его, как нужно сено класть».

«Да, Сайлас этим может похвалиться.
Он каждую копну кладет особо
И примечает, чтобы после взять,
А при разгрузке их легко находит
И сбрасывает. В этом он мастак.
Он их берет, как гнезда птиц больших,
И сам как будто не стоит на сене,
А вместе с вилами взмывает вверх».

«Он и Гарольда хочет обучить,
Чтоб тот на что-нибудь да пригодился,
А то мальчишка одурел от книг.
Бедняга Сайлас о других печется,
А сам— чем в прошлом может он гордиться,
А в будущем надеяться на что?
Как и сейчас, всегда одно и то же»:

Осколок месяца скользнул на запад,
Стянув все небо за собой к холмам.
Свет пролился к ней нежно на колени.
Она простерла фартук и рукой

Among the harp-like morning-glory strings,
Taut with the dew from garden bed to eaves,
As if she played unheard some tenderness
That wrought on him beside her in the night.
“Warren,” she said, “he has come home to die;
You needn’t be afraid he’ll leave you this time.”

“Home,” he mocked gently.

“Yes, what else but home?

It all depends on what you mean by home.
Of course he’s nothing to us, any more
Than was the hound that came a stranger to us
Out of the woods, worn out upon the trail.”

“Home is the place where, when you have to go there,
They have to take you in.”

“I should have called it
Something you somehow haven’t to deserve.”

Warren leaned out and took a step or two,
Picked up a little stick, and brought it back
And broke it in his hand and tossed it by.
“Silas has better claim on us you think
Than on his brother? Thirteen little miles
As the road winds would bring him to his door.
Silas has walked that far no doubt to-day.
Why didn’t he go there? His brother’s rich,
A somebody—director in the bank.”

“He never told us that.”

“We know it though.”

“I think his brother ought to help, of course.
I’ll see to that if there is need. He ought of right
To take him in, and might be willing to—
He may be better than appearances.
But have some pity on Silas. Do you think
If he had any pride in claiming kin
Or anything he looked for from his brother,
He’d keep so still about him all this time?”

Коснулась, словно арфы, струн рассветных,
Сверкающих росой от гряд до крыши,
Как будто бы играя всю ту нежность,
Что вокруг него сгущалась рядом с ней.
«Он умирать пришел домой, Уоррен.
Не беспокойся, он не загостится».

«Домой?» — он усмехнулся.

«Да, домой.

Смотря как это слово понимать.
Конечно, он для нас не больше значит,
Чем гончая, которая пристала б
К нам из лесу, измучившись в гоньбе».

«Дом — значит место, где нас принимают,
Когда приходим мы».

«Я применила

Не так, как ты хотел бы, это слово».

Уоррен встал и, сделав два шага,
Поднял зачем-то прут и, возвратившись,
Переломил его в руках и бросил.
«Ты думаешь, что Сайласу мы ближе
Родного брата? Ведь тринадцать миль
От поворота до его дверей.
Сегодня Сайлас прошагал не меньше.
Что ж не к нему? Ведь брат его богат
И птица важная — директор банка».

«Он нам не говорил».

«Но мы ведь знаем».

«Я думаю, что брат ему поможет,
А если будет нужно, то возьмет
Его к себе и, может быть, охотно.
Возможно, он добрей, чем нам казался.
Так пожалей же Сайласа. Подумай:
Ведь если б он родней своей кичился
Иль помощи себе искал у брата,
То разве б он умалчивал о нем?»

“I wonder what’s between them.”

“I can tell you.

Silas is what he is—we wouldn’t mind him—
But just the kind that kinsfolk can’t abide.
He never did a thing so very bad.
He don’t know why he isn’t quite as good
As anybody. Worthless though he is.
He won’t be made ashamed to please his brother.”

“I can’t think Si ever hurt anyone.”

“No, but he hurt my heart the way he lay
And rolled his old head on that sharp-edged chair-back.
He wouldn’t let me put him on the lounge.
You must go in and see what you can do.
I made the bed up for him there to-night.
You’ll be surprised at him—how much he’s broken.
His working days are done; I’m sure of it.”

“I’d not be in a hurry to say that.”

“I haven’t been. Go, look, see for yourself.
But, Warren, please remember how it is:
He’s come to help you ditch the meadow.
He has a plan. You mustn’t laugh at him.
He may not speak of it, and then he may.
I’ll sit and see if that small sailing cloud
Will hit or miss the moon.”

It hit the moon.

Then there were three there, making a dim row,
The moon, the little silver cloud, and she.
Warren returned—to see, it seemed to her,
Slipped to her side, caught up her hand and waited.

“Warren?” she questioned.

“Dead,” was all he answered.

«Не знаю, что меж ними».

«А я знаю.

Таков уж Сайлас,— нам-то все равно,
Родные же таких, как он, не любят.
Дурного он не сделал ничего
И думает, что он ничем не хуже
Всех остальных. Хотя он и бедняк,
Не хочет перед братом унижаться».

«Не думаю, чтоб он кого обидел».

«Меня обидел он: мне больно видеть,
Как старой головой о стул он бьется.
На кресло перейти он не хотел.
Ступай же в дом скорей и помощи.
Постель ему я постелила на ночь.
Ты удивисься, как он надломился.
Ему уж не работать— это верно».

«Я не сказал бы так наверняка».

«Я не ошиблась. Ты увидишь сам.
Пожалуйста, не забывай, Уоррен,
Что он вернулся окопать наш луг.
Он все обдумал, ты над ним не смейся.
Возможно, он заговорит об этом.
А я на облачке том загадаю,
Коснется ль месяца иль нет».

Коснулось.

Их стало трое в тусклом хороводе:
Она, сквозное облачко и месяц.

Уоррен возвратился очень быстро.
Склонился молча и пожал ей руку.

«Что с ним, Уоррен?»

«Мертв»,— ответил он.

Перевод М. Зенкевича

AFTER APPLE-PICKING

My long two-pointed ladder's sticking through a tree
Toward heaven still,
And there's a barrel that I didn't fill
Beside it, and there may be two or three
Apples I didn't pick upon some bough.
But I am done with apple-picking now.
Essence of winter sleep is on the night,
The scent of apples: I am drowsing off.
I cannot rub the strangeness from my sight
I got from looking through a pane of glass
I skimmed this morning from the drinking trough
And held against the world of hoary grass.
It melted, and I let it fall and break.
But I was well
Upon my way to sleep before it fell,
And I could tell
What form my dreaming was about to take.
Magnified apples appear and disappear,
Stem end and blossom end,
And every fleck of russet showing clear.
My instep arch not only keeps the ache,
It keeps the pressure of a ladder-round.
I feel the ladder sway as the boughs bend.
And I keep hearing from the cellar bin
The rumbling sound
Of load on load of apples coming in.
For I have had too much
Of apple-picking: I am overtired
Of the great harvest I myself desired.
There were ten thousand thousand fruit to touch,
Cherish in hand, lift down, and not let fall.
For all
That struck the earth,
No matter if not bruised or spiked with stubble,
Went surely to the cider-apple heap
As of no worth.

ПОСЛЕ СБОРА ЯБЛОК

Всё с лесенки на небо вверх смотри —
Я выбился из сил,
Еще до верху бочку не набил,
Еще там яблока два или три
Сидят на ветке, как щегол иль зяблик,
Но я уже устал от сбора яблок.
Настоян этой ночью зимний сон,
То запах яблок: им я усыплен.
Я не могу забыть тот мир загадки,
Увиденный сквозь льдистое стекло,—
С воды его я утром взял из кадки,
В нем все лучилось, искрилось, цвело.
Оно растаяло и разломилось,
Но все ж на миг
Передо мною сон возник,
И я постиг,
Каким видением душа томилась.
Все яблоки, огромны и круглы,
Мерцали вокруг меня
Румянцем розовым из мглы,
И ныла голень и ступня
От лестничных ступенек, перекладин.
Вдруг лестницу я резко пошатнул
И услышал из погреба глубоко
Подземный гул,
Шум яблочного яркого потока.
Да, был я слишком жаден,
И оказался свыше сил
Тот урожай, что сам же я просил.
Пришлось, наверно, яблок тысяч десять,
Как драгоценные, потрогать, взвесить,
А те,
Что осыпались щедро,
С пятном, с уколами от жнива,
Забродят в бочках в темноте,
Как сусло сидра.

One can see what will trouble
This sleep of mine, whatever sleep it is.
Were he not gone,
The woodchuck could say whether it's like his
Long sleep, as I describe its coming on,
Or just some human sleep.

BIRCHES

When I see birches bend to left and right
Across the lines of straighter darker trees,
I like to think some boy's been swinging them.
But swinging doesn't bend them down to stay.
Ice-storms do that. Often you must have seen them
Loaded with ice a sunny winter morning
After a rain. They click upon themselves
As the breeze rises, and turn many-colored
As the stir cracks and crazes their enamel.
Soon the sun's warmth makes them shed crystal shells
Shattering and avalanching on the snow-crust—
Such heaps of broken glass to sweep away
You'd think the inner dome of heaven had fallen.
They are dragged to the withered bracken by the load,
And they seem not to break; though once they are bowed
So low for long, they never right themselves:
You may see their trunks arching in the woods
Years afterwards, trailing their leaves on the ground
Like girls on hands and knees that throw their hair
Before them over their heads to dry in the sun.
But I was going to say when Truth broke in
With all her matter-of-fact about the ice-storm
I should prefer to have some boy bend them
As he went out and in to fetch the cows—
Some boy too far from town to learn baseball,

И я томлюсь лениво
Какою-то истомою дремотной.
Один сурок,
Коль не уснул, узнать бы мне помог,
То спячка зимняя и сон животный,
Иль человеческий то сон.

Перевод М. Зенкевича

БЕРЕЗЫ

Когда березы клонятся к земле
Среди других деревьев, темных, стройных,
Мне кажется, что их согнул мальчишка.
Но не мальчишка горбит их стволы,
А дождь зимой. Морозным ясным утром
Их веточки, покрытые глазурью,
Звенят под ветерком, и многоцветно
На них горит потрескавшийся лед.
К полудню солнце припекает их,
И вниз летят прозрачные скорлупки,
Что, разбивая наст, нагромождают
Такие горы битого стекла,
Как будто рухнул самый свод небесный.
Стволы под ношей ледяною никнут
И клонятся к земле. А раз согнувшись,
Березы никогда не распрямятся.
И много лет спустя мы набредаем
На их горбатые стволы с листвою,
Влачащейся безвольно по земле —
Как девушки, что, стоя на коленях,
Просушивают волосы на солнце...
Но я хотел сказать, — когда вмешалась
Сухая проза о дожде зимой, —
Что лучше бы березы гнул мальчишка,
Пастух, живущий слишком далеко
От города, чтобы играть в бейсбол.
Он сам себе выдумывает игры

Whose only play was what he found himself,
Summer or winter, and could play alone.
One by one he subdued his father's trees
By riding them down over and over again
Until he took the stiffness out of them,
And not one but hung limp, not one was left
For him to conquer. He learned all there was
To learn about not launching out too soon
And so not carrying the tree away
Clear to the ground. He always kept his poise
To the top branches, climbing carefully
With the same pains you use to fill a cup
Up to the brim, and even above the brim.
Then he flung outward, feet first, with a swish,
Kicking his way down through the air to the ground.
So was I once myself a swinger of birches.
And so I dream of going back to be.
It's when I'm weary of considerations,
And life is too much like a pathless wood
Where your face burns and tickles with the cobwebs
Broken across it, and one eye is weeping
From a twig's having lashed across it open.
I'd like to get away from earth awhile
And then come back to it and begin over.
May no fate willfully misunderstand me
And half grant what I wish and snatch me away
Not to return. Earth's the right place for love:
I don't know where it's likely to go better.
I'd like to go by climbing a birch tree,
And climb black branches up a snow-white trunk
Toward heaven, till the tree could bear no more,
But dipped its top and set me down again.
That would be good both going and coming back.
One could do worse than be a swinger of birches.

И круглый год играет в них один.
Он обуздал отцовские березы,
На них раскачиваясь ежедневно,
И все они склонились перед ним.
Он овладел нелегкою наукой
На дерево взбираться до предела,
До самых верхних веток, сохраняя
Все время равновесие — вот так же
Мы наполняем кружку до краев
И даже с верхом. Он держался крепко
За тонкую макушку и, рванувшись,
Описывал со свистом полукруг
И достигал земли благополучно.
Я в детстве сам катался на березах.
И я мечтаю снова покататься.
Когда я устаю от размышлений
И жизнь мне кажется дремучим лесом,
Где я иду с горящими щеками,
А все лицо покрыто паутиной,
И плачет глаз, задетый острой веткой,—
Тогда мне хочется покинуть землю,
Чтоб, возвратившись, все начать сначала.
Пусть не поймет судьба меня превратно
И не исполнит только половину
Желания. Мне надо вновь на землю.
Земля — вот место для моей любви,—
Не знаю, где бы мне любилось лучше.
И я хочу взбираться на березу
По черным веткам белого ствола
Все выше к небу — до того предела,
Когда она меня опустит наземь.
Прекрасно уходить и возвращаться.
И вообще занятия бывают
Похуже, чем катанье на березах.

FIRE AND ICE

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I've tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

.

STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

ОГОНЬ И ЛЕД

Кто говорит, мир от огня
Погибнет, кто от льда.
А что касается меня,
Я за огонь стою всегда.
Но если дважды гибель ждет
Наш мир земной,— ну что ж,
Тогда для разрушенья лед
Хорош,
И тоже подойдет.

Перевод М. Зенкевича

ГЛЯДЯ НА ЛЕС СНЕЖНЫМ ВЕЧЕРОМ

Прервал я санок легких бег,
Любуясь, как ложится снег
На тихий лес,— и так далек
Владеющий им человек.

Мой удивляется конек:
Где увидал я огонек,
Зовущий гостя в теплый дом
В декабрьский темный вечерок;

Позвякивает бубенцом,
Переминаясь надо льдом,
И наста слышен легкий хруст,
Припорошенного снежком.

А лес манит, глубок и пуст.
Но словом данным я влеком:
Мне еще ехать далекó,
Мне еще ехать далекó.

Перевод И. Кашкина

COME IN

As I came to the edge of the woods,
Thrush music—hark!
Now if it was dusk outside,
Inside it was dark.

Too dark in the woods for a bird
By sleight of wing
To better its perch for the night,
Though it still could sing.

The last of the light of the sun
That had died in the west
Still lived for one song more
In a thrush's breast.

Far in the pillared dark
Thrush music went—
Almost like a call to come in
To the dark and lament.

But no, I was out for stars:
I would not come in.
I meant not even if asked,
And I hadn't been.

DIRECTIVE

Back out of all this now too much for us,
Back in a time made simple by the loss
Of detail, burned, dissolved, and broken off
Like graveyard marble sculpture in the weather,
There is a house that is no more a house
Upon a farm that is no more a farm

ВОЙДИ!

Подошел я к опушке лесной.
Тише, сердце, внемли!
Тут светло, а там в глубине—
Словно весь мрак земли.

Для птицы там слишком темно,
Еще рано туда ей лететь,
Примащиваясь на ночлег:
Ведь она еще может петь.

Яркий закат заронил
Песню дрозду в грудь.
Солнца хватит, чтоб спеть еще раз,
Только надо поглубже вздохнуть.

Спел и в потемки вспорхнул.
В темной тиши лесной
Слышится песнь вдалеке,
Словно призыв на покой.

Нет, не войду я туда,
Звезд подожду я тут.
Даже если б позвали меня,
А меня еще не зовут.

Перевод И. Кашкина

УКАЗАНИЕ

Прочь от невыносимых дней к былому,
Ко временам, упрощенным утратой
Подробностей, ко временам поблекшим,
Распавшимся и выветренным, словно
Скульптура над старинною могилой,
Туда, где дом, что более не дом,

And in a town that is no more a town.
The road there, if you'll let a guide direct you
Who only has at heart your getting lost,
May seem as if it should have been a quarry—
Great monolithic knees the former town
Long since gave up pretence of keeping covered.
And there's a story in a book about it:
Besides the wear of iron wagon wheels
The ledges show lines ruled southeast northwest,
The chisel work of an enormous Glacier
That braced his feet against the Arctic Pole.
You must not mind a certain coolness from him
Still said to haunt this side of Panther Mountain.
Nor need you mind the serial ordeal
Of being watched from forty cellar holes
As if by eye pairs out of forty firkins.
As for the woods' excitement over you
That sends light rustle rushes to their leaves,
Charge that to upstart inexperience.
Where were they all not twenty years ago?
They think too much of having shaded out
A few old pecker-fretted apple trees.
Make yourself up a cheering song of how
Someone's road home from work this once was,
Who may be just ahead of you on foot
Or creaking with a buggy load of grain.
The height of the adventure is the height
Of country where two village cultures faded
Into each other. Both of them are lost.
And if you're lost enough to find yourself
By now, pull in your ladder road behind you
And put a sign up CLOSED to all but me.
Then make yourself at home. The only field
Now left's no bigger than a harness gall.
First there's the children's house of make believe,

На ферме, что давным-давно не ферма,
Близ городка, которого не стало.
Отправясь в прошлое свое, уставясь
В путеводитель,— чтобы заблудиться,
Дорога в те забытые края
Скорей похожа на каменоломню—
Огромные округлые колени
Былого городка; теперь никто их
От взглядов посторонних не скрывает.
А вот что в книжке сказано об этом:
«На юго-запад с северо-востока
Фургонов протянулись колени
И борозды на камне. Здесь прошелся
Резец чудовищного ледника,
Который пятками уперся в полюс».
К тебе ледник прохладно отнесется;
По слухам, он и в наши дни шаманит
На этой стороне горы Пантеры.
Не обращай внимания на то,
Что на тебя из сорока подвалов
Назойливо глазек сорок бочек.
А что касается волненья леса,
Который зашумит в лицо листвою,
То это дерзость глупого юнца.
Где был он, скажем, двадцать лет назад?
Он много возомнил, бросая тень
На яблони, исклеванные дятлом.
Итак, начни веселенькую песню
О том, кто этою дорогой прежде
Ходил домой с работы, кто, быть может,
И в этот миг шагает впереди
Иль едет на трясущейся тележке.
Вершина путешествия— вершина
Холма, где два заросших поля, слившись,
Друг в друге потерялись безвозвратно.
И если ты настолько заблудился,
Чтобы найти себя, то за собою,
Как лестницу, дорогу подыми
И прикрепи табличку хода нет

Some shattered dishes underneath a pine,
The playthings in the playhouse of the children.
Weep for what little things could make them glad.
Then for the house that is no more a house,
But only a belilaced cellar hole,
Now slowly closing like a dent in dough.
This was no playhouse but a house in earnest.
Your destination and your destiny's
A brook that was the water of the house,
Cold as a spring as yet so near its source,
Too lofty and original to rage.
(We know the valley streams that when aroused
Will leave their tatters hung on barb and thorn.)
I have kept hidden in the instep arch
Of an old cedar at the waterside
A broken drinking goblet like the Grail
Under a spell so the wrong ones can't find it,
So can't get saved, as Saint Mark says they mustn't.
(I stole the goblet from the children's playhouse.)
Here are your waters and your watering place.
Drink and be whole again beyond confusion.

Для всех, за исключением меня.
Будь здесь как дома. Все твоё пространство,
От сорняков свободное, похоже
На садину от сбруи. Но зато здесь
Твой детский невзаправдашний домишко.
Вот черепки под елкою лежат,
Игрушки для игрушечного дома.
Оплачь же эти бедные осколки,
Так радовавшие детей, оплачь
Тот дом, который более не дом,
А лаз в подполье, что в густой сирени
Скрывается, как вмятина на тесте.
Тут был когда-то настоящий дом.
Твоя судьба и цель твоих скитаний —
Ручей, который был водопроводом,
Студеный, как родник, и столь высокий,
Что он всегда невозмутимо чист.
(Известно, разбуди ручей в долине,
И он лохмотья по кустам развесит.)
Я спрятал под стопюю кедра чашку —
Пусть, как святой Грааль, она таится
От глаз непосвященных и случайных,
Апостол Марк сказал бы: обреченных.
(Я утащил из детства эту чашку.)
Остановись. Вот твой источник. Пей
И обретай утраченную цельность.

Перевод А. Сергеева

APOLOGY

Why do I write today?

The beauty of
the terrible faces
of our nonentities
stirs me to it:

colored women
day workers—
old and experienced—
returning home at dusk
in cast off clothing
faces like
old Florentine oak.

Also

The set pieces
Of your faces stir me—
leading citizens—
but not
in the same way.

SPRING AND ALL

By the road to the contagious hospital
under the surge of the blue
mottled clouds driven from the

АПОЛОГИЯ

Почему я пишу сегодня?

Красота
этих страшных лиц
людей незначительных
побуждает меня:

негритянских женщин
поденщиков —
старых и столько переживших —
возвращающихся домой вечерами
в поношенной одежде
их лица подобны
старому флорентийскому дубу.

Также

застывшие маски
ваших лиц побуждают меня —
значительные люди —
но
совсем по-другому.

Перевод В. Британишского

ВЕСНА И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ

По дороге в инфекционную больницу
под этим океаном голубизны
пестрящим облаками гонимыми с северо-востока —

northeast—a cold wind. Beyond, the
waste of broad, muddy fields
brown with dried weeds, standing and fallen

patches of standing water
the scattering of tall trees

All along the road the reddish
purplish, forked, upstanding, twiggy
stuff of bushes and small trees
with dead brown leaves under them
leafless vines—

Lifeless in appearance, sluggish
dazed spring approaches—
They enter the new world naked,
cold, uncertain of all
save that they enter. All about them
the cold familiar wind—

Now the grass, tomorrow
the stiff curl of wildcarrot leaf
One by one objects are defined—
It quickens: clarity, outline of leaf

But now the stark dignity of
entrance—Still, the profound change
has come upon them: rooted, they
grip down and begin to awaken

PROLETARIAN PORTRAIT

A big young bareheaded woman
in an apron

Her hair slicked back standing
on the street

холодный ветер. По сторонам дороги —
бесконечные пустые поля
коричневые от сухого бурьяна. Местами

пятна стоячей воды
отдельные высокие деревья

Вдоль всей дороги розовая, красноватая
узловатая, вертикальная, ветвящаяся
живая плоть кустарников и деревьев
с мертвыми коричневыми листьями, а под ними
безлиственные побеги —

безжизненные на вид, бессильные,
ошеломленные приходом весны —
В этот новый мир они вступают нагие,
закоченевшие, не уверенные ни в чем,
кроме того, что вступают в него. Вокруг
все тот же привычный, пронизывающий ветер —

Сегодня трава, завтра
это окажется кудрями дикой моркови
один за другим они обретают определенность
Это ускоряется: форма листа, рисунок

Но пока что оцепенелая торжественность
вступления — хотя глубокая перемена
произошла уже с ними: вцепившись в землю,
пробуют шевелить корнями, начинают пробуждаться.

Перевод В. Британишского

ПРОЛЕТАРСКИЙ ПОРТРЕТ

Крупная молодая простоволосая женщина
в переднике

С гладко зачесанными волосами
стоит на улице

one stockinged foot toeing
the sidewalk

Her shoe in her hand. Looking
intently into it

She pulls out the paper insole
to find the nail

That has been hurting her

Кончик одной ноги в чулке
касается тротуара

Туфлю она держит в руке. И смотрит
внимательно внутрь

Вытаскивает бумажную стельку
хочет нащупать гвоздь

Который давно мешает ей.

Перевод В. Британишского

DIVINELY SUPERFLUOUS BEAUTY

The storm-dances of gulls, the barking game of seals,
Over and under the ocean...
Divinely superfluous beauty
Rules the games, presides over destinies, makes trees grow
And hills tower, waves fall.
The incredible beauty of joy
Stars with fire the joining of lips, O let our loves too
Be joined, there is not a maiden
Burns and thirsts for love
More than my blood for you, by the shore of seals while the wings
Weave like a web in the air
Divinely superfluous beauty.

TO THE ROCK THAT WILL BE A CORNERSTONE OF THE HOUSE

Old garden of grayish and ochre lichen,
How long a time since the brown people who have vanished from here
Built fires beside you and nestled by you
Out of the ranging sea-wind? A hundred years, two hundred,
You have been dissevered from humanity
And only known the stubble squirrels and the headland rabbits,
Or the long-fetlocked plowhorses
Breaking the hilltop in December, sea-gulls following,
Screaming in the black furrow; no one
Touched you with love, the gray hawk and the red hawk touched you
Where now my hand lies. So I have brought you
Wine and white milk and honey for the hundred years of famine
And the hundred cold ages of sea-wind.

БОЖЕСТВЕННЫЙ ИЗБЫТОК КРАСОТЫ

Танец чаек в буре, игры и рев тюленей
Над океаном и под водой...
Божественный избыток красоты
Правит игры, решает судьбы, растит деревья,
Громоздит горы, вздымает волны.
Невероятная радость.
Звезды огонь сближают, как губы. О, дай и мне
Соединиться с тобой, ведь ни одна девушка
Не пылает и не жаждет любви
Больше, чем я тебя на берегу тюленьем, где крылья
Ткут, словно ткань в воздухе,
Божественный избыток красоты.

Перевод М. Зенкевича

УТЕСУ, КОТОРЫЙ СТАНЕТ
КРАЕУГОЛЬНЫМ КАМНЕМ ДОМА

Старый сад лишайников охряно-серых,
Сколько лет прошло, как исчезнувших краснокожих племя
Жгло костры под тобой и искало
Защиты от ветра морского? Сто лет или двести
Был ты в разлуке с людьми
И знал лишь бёлок со жнива, да кроликов с мыса,
Да лошадей длиннокосмых за плугом
На холме в декабре и чаек, спующих
Крикливо над черною бороздой; никто
Не касался тебя любовно, лишь серый ястреб и бурый
садились туда,
Где возложены руки мои. Вот принес я тебе
Вино, молоко и мед за столетье голода
И морского холодного ветра.

I did not dream the taste of wine could bind with granite,
Nor honey and milk please you; but sweetly
They mingle down the storm-worn cracks among the mosses,
Interpenetrating the silent
Wing-prints of ancient weathers long at peace, and the older
Scars of primal fire, and the stone
Endurance that is waiting millions of years to carry
A corner of the house, this also destined.
Lend me the stone strength of the past and I will lend you
The wings of the future, for I have them.
How dear you will be to me when I too grow old, old comrade.

CONTINENT'S END

At the equinox when the earth was veiled in a late rain, wreathed
with wet poppies, waiting spring,
The ocean swelled for a far storm and beat its boundary, the
ground-swell shook the beds of granite.

I gazing at the boundaries of granite and spray, the established
sea-marks, felt behind me
Mountain and plain, the immense breadth of the continent, before
me the mass and doubled stretch of water.

I said: You yoke the Aleutian seal-rocks with the lava and coral
sowings that flower the south,
Over your flood the life that sought the sunrise faces ours that has
followed the evening star.

The long migrations meet across you and it is nothing to you, you
have forgotten us, mother.
You were much younger when we crawled out of the womb and
lay in the sun's eye on the tideline.

It was long and long ago; we have grown proud since then and
you have grown bitter; life retains

Я вовсе не думал, что будет по вкусу граниту
Вино иль мед с молоком; но так нежно
Стекают они по расщелинам древним в мох,
Проникая в немые
Оттиски бурь, отшумевших давно, и в ожоги
Костров первобытных, и в твердость
Ждавшую миллионы лет, чтобы стать
Углом для дома, как предопределено.
Дай мне каменную мощь прошлого, и тебе
Мои крылья будущего одолжу я.
Как дорог станешь ты для меня, когда и я состарюсь, старый
друг.

Перевод М. Зенкевича

НА КРАЮ КОНТИНЕНТА

В равноденствие, когда земля под вуалью дождя, в венке
из влажных маков встречала весну,
Океан набухал далекой бурей и бил в берега, а зыбь
потрясала устои гранита,
Я смотрел на границу гранита и брызг, на воздвигнутый
бурый рубеж, чувствуя позади
Горы, равнины, необъятный простор континента, а впереди
еще большее пространство и массу воды.
Я сказал: «Ты связуешь тюленьи лежбища алеутов
с цветниками кораллов и лавы на юге,
Через твой водоем жизнь, устремленная на восход,
встречается с нашей, обращенной к вечерней звезде.
Сколько переселений прошло по тебе бесследно, и ты
нас забыла, праматиерь!
Была ты много моложе, когда, выброшены из чрева, мы
грелись на солнце в отливе.
Это было так давно, мы стали горды, а ты еще более горькой;
жизнь сохранила

Your mobile soft unquiet strength; and envies hardness, the
insolent quietness of stone.

The tides are in our veins, we still mirror the stars, life is your
child, but there is in me

Older and harder than life and more impartial, the eye that
watched before there was an ocean.

That watched you fill your beds out of the condensation of thin
vapor and watched you change them,

That saw you soft and violent wear your boundaries down, eat
rock, shift places with the continents.

Mother, though my song's measure is like your surf-beat's ancient
rhythm I never learned it of you.

Before there was any water there were tides of fire, both our tones
flow from the older fountain.

CASSANDRA

The mad girl with the staring eyes and long white fingers

Hooked in the stones of the wall,

The storm-wrack hair and the screeching mouth: does it matter,

Cassandra,

Whether the people believe

Your bitter fountain? Truly men hate the truth; they'd liefer

Meet a tiger on the road.

Therefore the poets honey their truth with lying; but religion-
Venders and political men

Pour from the barrel, new lies on the old, and are praised for
kindly Wisdom. Poor bitch, be wise.

No: you'll still mumble in a corner a crust of truth, to men

And gods disgusting.—You and I, Cassandra.

Твою подвижную, беспокойную силу, завидуя твердости,
непоколебимому спокойствию камня.

В наших венах — приливы, мы отражаем звезды, жизнь —
твое порождение, но есть во мне
То, что древней и крепче жизни и беспристрастней, то,
что видело, когда не было океана.

То, что смотрело, как ты из сгущенья пара стекала
в ложа свои, их изменяя,
Как ты в покое и буре точила свои берега, грызла скалы,
менялась местом с материками.

Мать, сходен строй моей песни с твоим прибойным
древним ритмом, но взят не у тебя.
Ведь еще до воды бушевали приливы огня, и песни —
моя и твоя, — из истоков более древних».

Перевод М. Зенкевича

КАССАНДРА

Безумица с острым взором длинными белыми пальцами
Вцепилась в камни стены,
В волосах — ураган, во рту — крик. А скажи, Кассандра,
Так ли важно, чтоб кто-то поверил
Горьким твоим речам? Воистину люди возненавидели истину,
им приятней
По дороге домой встретить тигра.
Потому-то поэты подслащают истину ложью; но торговцы
Религией и политикой новую ложь громоздят на старую,
и их прославляют за добрую
Мудрость. Дура, одумайся.
Нет: ты жуешь в углу свою крошку истины, а люди
И боги возмущены. — Такие уж мы с тобой, Кассандра.

Перевод А. Сергеева

THE WORLD'S WONDERS

Being now three or four years more than sixty,
I have seen strange things in my time. I have seen a merman
standing waist-deep in the ocean off my rock shore,

Unmistakably human and unmistakably a sea-beast: he submerged
and never came up again,
While we stood watching. I do not know what he was, and I have
no theory: but this was the least of wonders.

I have seen the United States grow up the strongest and wealthiest
of nations, and swim in the wind over bankruptcy.
I have seen Europe, for twenty-five hundred years the crown
of the world, become its beggar and cripple.

I have seen my people, fooled by ambitious men and a
froth of sentiment, waste themselves on three wars.
None was required, all futile, all grandly victorious. A fourth
is forming.

I have seen the invention of human flight; a chief desire
of man's dreaming heart for ten thousand years;
And men have made it the chief of the means of massacre.

I have seen the far stars weighed and their distance measured,
and the powers that make the atom put into service—
For what?—To kill. To kill half a million flies—men I should
say—at one slap.

I have also seen doom. You can stand up and struggle or
lie down and sleep—you are doomed as Oedipus.
A man and a civilization grow old, grow fatally—as was
say—ill: courage and the will are bystanders.

It is easy to know the beauty of inhuman things, sea, storm
and mountain; it is their soul and their meaning.

ЧУДЕСА МИРА

Я прожил шестьдесят три или четыре года
И навидался диковин. Я видал русалку по пояс в воде океана
у камней моего побережья;

Несомненно, и человек, и морской монстр, ибо нырнула
и не вынырнула, сколько мы ни смотрели.
Я не знаю, что это было, да и не пускаюсь в догадки: но я
видал чудеса почудесней.

Я видал, как Соединенные Штаты стали самой богатой и
сильной страной и дрейфовали по ветру безволия.
Я видал, как Европа, царившая в мире две с половиной тысячи
лет, побиралась у этого мира.

Я видал, как мои сограждане, оболваненные честолюбцами
и накипью сантиментов, губили себя в трех войнах.
Это было бесцельно, бездарно, но победоносно. И вновь
назревает война, четвертая.

Я видал, как люди выучились летать: исполнилась главная
мечта десяти тысяч лет
И тотчас же превратилась в главное орудие человекоубийства.

Я видал, как измерили путь до звезд и взвесили их и заставили
атом — что?
Убивать одним махом миллионы мух... простите, людей.

Я видал судьбу. Ты можешь стоять и бороться или лечь и
уснуть — ты обречен, как Эдип.
Человек и культура дряхлеют; как говорится, больны
безнадежно: воля и мужество в стороне, как зеваки.

Нетрудно понять красоту горы, бури и моря; красота это
смысл и душа природы.

Humanity has its lesser beauty, impure and painful; we have
it harden our hearts to bear it.

I have hardened my heart only a little: I have learned that
happiness is important, but pain *gives* importance.

The use of tragedy: Lear becomes as tall as the storm he crawls in;
and a tortured Jew became God.

THE GREAT WOUND

At the near approach of a star—huge tides

Agitated the molten surface of the earth.

The tides grew higher as it passed. It tore from the earth

The top of one great wave: the moon was torn

Out of the Pacific basin: the cold white stone that lights
us at night

Left that great wound in the earth, the Pacific Ocean

With all its islands and navies. I can stand on the cliff here

And hear the half-molten basalt and granite tearing apart
and see that huge bird

Leaping up to her star. But the star passed,

The moon remained, circling her ancient home,

Dragging the sea-tides after her, haggard with loneliness.

The mathematicians and physics men

Have their mythology; they work alongside the truth,

Never touching it; their equations are false

But the things *work*. Or, when gross error appears,

They invent new ones; they drop the theory of waves

In universal ether and imagine curved space.

Nevertheless their equations bombed Hiroshima.

The terrible things *worked*.

The poet also

Has his mythology. He tells you the moon arose

Out of the Pacific basin. He tells you that Troy was burnt for a
vagrant

Красота человека мучительна и непрозрачна; чтобы с ней
сжиться, надо как следует закалить сердца.

Я не очень-то закалил свое сердце: я узнал, что счастье
имеет значение, но что боль придает значительность.
Суть трагедии: Лир становится вровень с бурей, а замученный
назарейнин стал нашим Богом.

Перевод А. Сергеева

ГЛУБОКАЯ РАНА

Когда звезда приближалась, огромные волны
Взволновали литую поверхность земли. А когда
Звезда удалялась, они рванулись за нею и вырвали
Вершину земной волны: так из Тихого океана
Возникла луна, белый холодный камень, который светит
нам ночью.

А на земле осталась глубокая рана, Тихий океан
Со всеми его островами и военными кораблями. Я стою на скале
И вижу рваный застывший базальт и гранит, и вижу огромную
птицу,

Стремящуюся за своей звездой. Но звезда прошла,
И луна осталась кружить над своим бывшим домом,
Увлекая приливы, дичающие от одиночества.

У физиков и математиков —

Своя мифология; они идут мимо истины,
Не касаясь ее, их уравнения ложны,
Но все же работают. А когда обнаруживается ошибка,
Они сочиняют новые уравнения; оставляют теорию волн
Во вселенском эфире и изобретают изогнутое пространство.
Все же их уравнения уничтожили Хиросиму.
Они сработали.

У поэта тоже

Своя мифология. Он говорит, что луна родилась
Из Тихого океана. Он говорит, что Троя сожгли из-за дивной
Кочующей женщины, чье лицо послало в поход тысячу кораблей.

Beautiful woman, whose face launched a thousand ships.
It is unlikely: it might be true: but church and state
Depend on more peculiarly impossible myths:
That all men are born free and equal: consider that!
And that a wandering Hebrew poet named Jesus
Is the God of the universe. Consider that!

MY BURIAL PLACE

I have told you in another poem, whether you've read it or not,
About a beautiful place the hard-wounded
Deer go to die in; their bones lie mixed in their little
graveyard
Under leaves by a flashing cliff-brook, and if
They have ghosts they like it, the bones and mixed antlers
are well content.
Now comes for me the time to engage
My burial place: put me in a beautiful place far off from men,
No cemetery, no necropolis,
And for God's sake no columbarium, nor yet no funeral.

But if the human animal were precious
As the quick deer or that hunter in the night the lonely puma
I should be pleased to lie in one grave with 'em.

Это вздор, это может быть правдой, но церковь и государство
Стоят на более диких неправдоподобных мифах,
Вроде того, что люди рождаются равными и свободными:
только подумайте!

И что бродячий еврейский поэт Иисус —
Бог всей вселенной. Только подумайте!

Перевод А. Сергеева

ВЫБИРАЮ СЕБЕ МОГИЛУ

Я сказал вам однажды в стихах — читали вы их или нет —
О прекрасном месте, куда смертельно раненные
Олени идут умирать; их кости лежат вперемешку
Под листьями у сверкающего ручейка в горах; и если
У оленей есть души, им это нравится; и рога, и ребра
довольны.

Пора выбирать себе могилу,
Положите меня в прекрасном месте подальше от человека —
Только не кладбище, только не стены и статуи,
Только не колумбарий и, ради бога, не панихида!

Если я, человек, не менее драгоценен,
Чем быстрый олень или ночная охотница пума,
Мне должно быть отрадно лежать с ними рядом.

Перевод А. Сергеева

CHAPLINESQUE

We make our meek adjustments,
Contented with such random consolations
As the wind deposits
In slithered and too ample pockets.

For we can still love the world, who find
A famished kitten on the step, and know
Recesses for it from the fury of the street,
Or warm torn elbow coverts.

We will sidestep, and to the final smirk
Dally the doom of that inevitable thumb
That slowly chafes its puckered index toward us,
Facing the dull squint with what innocence
And what surprise!

And yet these fine collapses are not lies
More than the pirouettes of any pliant cane;
Our obsequies are, in a way, no enterprise.
We can evade you, and all else but the heart:
What blame to us if the heart live on.

The game enforces smirks; but we have seen
The moon in lonely alleys make
A grail of laughter of an empty ash can,
And through all sound of gaiety and quest
Have heard a kitten in the wilderness.

ЧАПЛИНЕСКА

От наших шальных утешений — проку
будет не больше земному праху,
чем от шальных попаданий ветра
в пустые карманы одежды ветхой.

Мир изголодавшемуся котенку на пороге,
ибо любви к миру мы преисполнены, —
извлечение из уличной мороки,
сильно смахивающей на преисподнюю.

Безотказные приемчики косоглазой
судьбы, убивающей нас не сразу,
но разворачивающей перед нами морщинистый список
наших ошибок, помарок, описок,
полный сюрпризов!

И все же это искусное сведение на нет
лжет не больше, чем тросточкин пируэт.
На светопреставление не купишь билета.
Берете за душу и ведете, где свет
погашен, послушную душу раздетой.

Игра есть игра, но Граалем смеха
бродит луна по одиноким аллеям
над пустыми сосудами смертного праха.
Побокую похоть, победа, потеха.
Лучше бездомного котенка пожалеем.

AT MELVILLE'S TOMB

Often beneath the wave, wide from this ledge
The dice of drowned men's bones he saw bequeath
An embassy. Their numbers as he watched,
Beat on the dusty shore and were obscured.

And wrecks passed without sound of bells,
The calyx of death's bounty giving back
A scattered chapter, livid hieroglyph,
The portent wound in corridors of shells.

Then in the circuit calm of one vast coil,
Its lashings charmed and malice reconciled,
Frosted eyes there were that lifted altars;
And silent answers crept across the stars.

Compass, quadrant and sextant contrive
No farther tides... High in the azure steeps
Monody shall not wake the mariner.
This fabulous shadow only the sea keeps.

PROEM: TO BROOKLYN BRIDGE

How many dawns, chill from his rippling rest
The seagull's wings shall dip and pivot him,
Shedding white rings of tumult, building high
Over the chained bay waters Liberty—

Then, with inviolate curve, forsake our eyes
As apparitional as sails that cross
Some page of figures to be filed away;
—Till elevators drop us from our day...

I think of cinemas, panoramic sleights
With multitudes bent toward some flashing scene
Never disclosed, but hastened to again,
Foretold to other eyes on the same screen:

НА МОГИЛЕ МЕЛВИЛЛА

В прозелени волн он видел бултыхающиеся
Двойные шестерки человеческих костей. Ими завещанные,
Послания прибывали по мере прибоя,
Воя, бились о темный берег.

Кораблекрушения без колоколов и пушек;
Щедрая чаша смерти выплескивала со дна
Разрозненные главы, туманные письма,
Знаменья, ввинченные в коридоры ракушек.

Постепенно, в круговороте великого витка,
Ругань теряла грубость и злость становилась мягка,
Замороженные очи возводили в высоту алтари,
Замороженные безмолвием звезд от зари до зари.

Астролябия, квадрант и компас
Не затевают приливов отныне. В лазурной пустыне
Никто не будит погребальным пением моряков.
Тень легендарных веков не рассеялась лишь в океане.

Перевод В. Топорова

БРУКЛИНСКОМУ МОСТУ

С которых пор, дрожа, рассветный хлад
накальвает чаячи крыла
на черные булавки? — Там, где своды
неволи возле Статуи Свободы.

Как парус, только призрачный, плывет
кривая между небом и землей,
ложась крылом на рябь конторских счет...
— Пока в подземку время не уйдет...

Я вспоминаю фокусы кино —
Ту спешку, тот мгновенный проблеск сцен:
быстрее, быстрее, но скрыться не дано,
и — новый пленник тех же самых лент.

And Thee, across the harbor, silver-paced
As though the sun took step of thee, yet left
Some motion ever unspent in thy stride,—
Implicitly thy freedom staying thee!

Out of some subway scuttle, cell or loft
A bedlamite speeds to thy parapets,
Tilting there momentarily, shrill shirt ballooning,
A jest falls from the speechless caravan.

Down Wall, from girder into street noon leaks,
A rip-tooth of the sky's acetylene;
All afternoon the cloud-flown derricks turn...
Thy cables breathe the North Atlantic still.

And obscure as that heaven of the Jews,
Thy guerdon... Accolade thou dost bestow
Of anonymity time cannot raise: '
Vibrant reprieve and pardon thou dost show.

O harp and altar, of the fury fused,
(How could mere toil align thy choiring strings!)
Terrific threshold of the prophet's pledge,
Prayer of parish, and the lover's cry,—

Again the traffic lights that skim thy swift
Unfractioned idiom, immaculate sigh of stars,
Beading thy path—condense eternity:
And we have seen night lifted in thine arms.

Under thy shadow by the piers I waited;
Only in darkness is thy shadow clear.
The City's fiery parcels all undone,
Already snow submerges an iron year...

O Sleepless as the river under thee,
Vaulting the sea, the prairies' dreaming sod,
Unto us lowliest sometime sweep, descend
And of the curvship lend a myth to God.

И, в серебре, над миром, над заливом,
поверженный в сражение исполин,
ты держишь рабства мирную оливу,
ты — поступь солнца, но пришел Навин.

Самоубийство — это ль не ответ
Содому и Гоморре? Пузырем
рубаха раздувается на нем,
в припадке оседлавшем парапет.

Твоих зубов размашистость акуля
вгрызается в банкирские дворы,
и Северной Атлантики пары
с тебя дымы и домоседство сдули.

И горестна, как эти небеса
библейские, твоя награда, Рыцарь,
легко ль держать оружие на весу,
когда не смеет битва разгореться?

О арфа, и алтарь, и огненная ярость!
Кто натянуть сумел подобную струну? —
Трикраты значимей проклятия пророка,
молитвы парии, повизгиванья бабы,

Огни твои — как пенки с молока,
вдох звезд неоскверненный над тобой,
ты — чистая экспрессия; века
сгустились; ночь летит в твоих руках.

В твоей тени я тени ждал бесслезно —
лишь в полной тьме тень подлинно ясна.
Город погас иль гаснул. Год железный
уж затопила снега белизна.

Не ведающий сна, как воды под тобою,
возведший свой чертог над морем и землей! —
Ничтожнейший из нас творение земное
умеет зачеркнуть стремительной кривой.

THIRTEEN WAYS OF LOOKING AT A BLACKBIRD

I

Among twenty snowy mountains,
The only moving thing
Was the eye of the blackbird.

II

I was of three minds,
Like a tree
In which there are three blackbirds.

III

The blackbird whirled in the autumn winds.
It was a small part of the pantomime.

IV

A man and a woman
Are one.
A man and a woman and a blackbird
Are one.

V

I do not know which to prefer,
The beauty of inflections
Or the beauty of innuendoes,
The blackbird whistling
Or just after.

ТРИНАДЦАТЬ СПОСОБОВ
ВИДЕТЬ ЧЕРНОГО ДРОЗДА

I

Среди двадцати огромных снежных гор
Единственное, что двигалось,
Это был глаз черного дрозда.

II

У меня было тройственное сознание,
Я был, как дерево, на котором
Три черных дрозда.

III

Черный дрозд закружился в осеннем вихре,
Это была маленькая деталь пантомимы.

IV

Мужчина и женщина
Это одна плоть.
Мужчина и женщина и черный дрозд
Это одна плоть.

V

Я не знаю, что предпочесть:
Красоту модуляций
Или красоту подразумеваний,
Пение черного дрозда
Или тишину после этого.

VI

Icicles filled the long window
With barbaric glass.
The shadow of the blackbird
Crossed it to and fro.
The mood
Traced in the shadow
An indecipherable cause.

VII

O thin men of Haddam,
Why do you imagine golden birds?
Do you not see how the blackbird
Walks around the feet
Of the women about you?

VIII

I know noble accents
And lucid, inescapable rhythms;
But I know, too,
That the blackbird is involved
In what I know.

IX

When the blackbird flew out of sight,
It marked the edge
Of one of many circles.

X

At the sight of blackbirds
Flying in a green light,
Even the bawds of euphony
Would cry out sharply.

VI

Сосульки заполнили все окно
Варварскими стекляшками.
За окном мелькала туда-сюда
Тень черного дрозда.
Настроенье
Следовало за этой тенью,
Как за таинственной причиной.

VII

О, чудосочные мудрецы Хаддама,
Зачем вам воображаемые золотые птицы?
Или вы не видите, как черный дрозд
Прыгает около самых ног
Женщин вашего города?

VIII

Я знаю звучные размеры
И звонкие, неотвратимые рифмы;
Но знаю также,
Что черный дрозд неизбежно участвует
В том, что я знаю.

IX

Когда мой черный дрозд исчез из глаз,
Была очерчена граница
Лишь одного из многих кругозоров.

X

При виде черных дроздов,
Летящих в зеленом свете,
Даже блудники благозвучия
Вскрикнули бы пронзительно.

XI

He rode over Connecticut
In a glass coach.
Once, a fear pierced him,
In that he mistook
The shadow of his equipage
For blackbirds.

XII

The river is moving.
The blackbird must be flying.

XIII

It was evening all afternoon.
It was snowing
And it was going to snow.
The blackbird sat
In the cedar-limbs.

THE IDEA OF ORDER AT KEY WEST

She sang beyond the genius of the sea.
The water never formed to mind or voice,
Like a body wholly body, fluttering
Its empty sleeves; and yet its mimic motion
Made constant cry, caused constantly a cry,
That was not ours although we understood,
Inhuman, of the veritable ocean.

The sea was not a mask. No more was she.
The song and water were not medleyed sound
Even if what she sang was what she heard,
Since what she sang was uttered word by word.

XI

Он ехал через Коннектикут
В стеклянной карете.
Внезапно страх пронизал его,
Ему показалось,
Что тень от его экипажа—
Это стая черных дроздов.

XII

Река течет.
Черный дрозд должен лететь и лететь.

XIII

Весь день был вечер.
Падал снег
И снег собирался падать.
Черный дрозд
Сидел на высоком кедре.

Перевод В. Британишского

ИДЕЯ ПОРЯДКА В КИ-УЭСТ

Там пела женщина, а не душа
Морской стихии. Море не могло
Оформиться как разум или речь,
Могло быть только телом и махать
Пустыми рукавами и в глухие
Бить берега, рождая вечный крик,
Не наш, хоть внятнй нам, но нелюдской
И нечленораздельный крик стихии.

Не маской было море. И она
Была не маской. Песня и волна
Не смешивались, женщина умела

It may be that in all her phrases stirred
The grinding water and the gasping wind;
But it was she and not the sea we heard.

For she was the maker of the song she sang.
The ever-hooded, tragic-gestured sea
Was merely a place by which she walked to sing.
Whose spirit is this? we said, because we knew
It was the spirit that we sought and knew
That we should ask this often as she sang.

If it was only the dark voice of the sea
That rose, or even colored by many waves;
If it was only the outer voice of sky
And cloud, of the sunken coral water-walled,
However clear, it would have been deep air,
The heaving speech of air, a summer sound
Repeated in a summer without end
And sound alone. But it was more than that,
More even than her voice, and ours, among
The meaningless plungings of water and the wind,
Theatrical distances, bronze shadows heaped
On high horizons, mountainous atmospheres
Of sky and sea.

It was her voice that made
The sky acutest at its vanishing.
She measured to the hour its solitude.
She was the single artificer of the world
In which she sang. And when she sang, the sea,
Whatever self it had, became the self
That was her song, for she was the maker. Then we,
As we beheld her striding there alone,
Knew that there never was a world for her
Except the one she sang and, singing, made.

Ramon Fernandez, tell me, if you know,
Why, when the singing ended and we turned
Toward the town, tell why the glassy lights,

Сложить в слова то, что вокруг шумело.
И хоть в словах ее была слышна
Работа волн, был слышен ропот ветра,
Не море пело песню, а она.

Она творила песню, ту, что пела.
Таинственно-трагическое море
Лишь местом было, где рождалась песня.
Мы спрашивали: чья это душа?
Мы понимали: именно душа
Устами женщины над морем пела.

Ведь если бы лишь темный голос моря
Звучал, смешавший тембры многих волн,
Ведь если бы лишь внешний голос неба
И облаков, лишь гул подводных скал
Коралловых светло звенел и полнил
Колеблющийся летний воздух юга,
Где лету нет конца, то был бы шум,
И только шум. Но это было больше,
Чем шум, чем голос женщины и наш,
Среди бесцельных всплесков волн и ветра,
Простора, бронзы облаков, плывущих
На горизонте, горной чистоты
Воды и неба.

Это женский голос
Дал небесам пронзительную ясность,
Пространству — одиночество свое.
Она была создательницей мира,
В котором пела. И покуда пела,
Для моря не было иного «я»,
Чем песня. Женщина была творцом.
Мы видели поющую над морем
И знали: нет иного мироздания,
Мир создает она, пока поет.

Рамон Фернандес, почему, скажи,
Когда умолкла песня, и обратно
Мы в город шли, и опускалась ночь,

The lights in the fishing boats at anchor there,
As the night descended, tilting in the air,
Mastered the night and portioned out the sea,
Fixing emblazoned zones and fiery poles,
Arranging, deepening, enchanting night.

Oh! Blessed rage for order, pale Ramon,
The maker's rage to order words of the sea,
Words of the fragrant portals, dimly-starred,
And of ourselves and of our origins,
In ghostlier demarcations, keener sounds.

OF MODERN POETRY

The poem of the mind in the act of finding
What will suffice. It has not always had
To find: the scene was set; it repeated what
Was in the script.

Then the theatre was changed
To something else. Its past was a souvenir.

It has to be living, to learn the speech of the place.
It has to face the men of the time and to meet
The women of the time. It has to think about war
And it has to find what will suffice. It has
To construct a new stage. It has to be on that stage
And, like an insatiable actor, slowly and
With meditation speak words that in the ear,
In the delicatest ear of the mind, repeat,
Exactly, that which it wants to hear, at the sound
Of which, an invisible audience listens,
Not to the play, but to itself, expressed
In an emotion as of two people, as of two
Emotions becoming one. The actor is
A metaphysician in the dark, twanging
An instrument, twanging a wiry string that gives

Скажи мне, почему огни на мачтах
Рыбачьих шхун, стоявших на причале,
Ночь подчиняя, море размечали
На четкие участки тьмы и света,
Внося порядок и глубокий смысл.

Блаженна страсть к гармонии, Рамон,
Порыв творца внести порядок в речь
Нестройных волн и темных врат природы,
И наших «я», и наших тайных недр,
Осмыслить гул и очертить границы.

Перевод В. Британишского

О СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

Поэзия мысли — обязательно акт открытия
Чего-то, что удовлетворит людей. От нее не всегда
Требовали открытий: сцена не менялась, твердили
Сказанное в тексте.

Затем театр превратился
В нечто иное. От прошлого остались лишь памятки.
Поэзия должна пожить и понять язык
Места и времени. Сегодняшним мужчинам и женщинам
Посмотреть в лицо. Помыслить об этой войне
И найти такое, что удовлетворит людей.
Построить новую сцену. Оставаться на сцене.
И подобно взыскательному актеру, произносить,
Не торопясь и обдуманно, такие слова, которые
В нежнейших извилинах не уха, но разума,
Повторяли бы то, что разум хочет услышать,
Слова, при которых невидимая аудитория
Прислушивается не к пьесе, а к себе самой,
Как если бы выражены были чувства двоих или два
Чувства слились в одно. Подобный актер,
Как метафизик во тьме, на ощупь ищет
Свой инструмент и щиплет проволочные струны,
Чтоб звук внезапным озарением истины выразил полностью

Sounds passing through sudden rightnesses, wholly
Containing the mind, below which it cannot descend,
Beyond which it has no will to rise.

It must
Be the finding of a satisfaction, and may
Be of a man skating, a woman dancing, a woman
Combing. The poem of the act of the mind.

THE POEMS OF OUR CLIMATE

I

Clear water in a brilliant bowl,
Pink and white carnations. The light
In the room more like a snowy air,
Reflecting snow. A newly-fallen snow
At the end of winter when afternoons return.
Pink and white carnations—one desires
So much more than that. The day itself
Is simplified: a bowl of white,
Cold, a cold porcelain, low and round,
With nothing more than the carnations there.

II

Say even that this complete simplicity
Stripped one of all one's torments, concealed
The evilly compounded, vital I
And made it fresh in a world of white,
A world of clear water, brilliant-edged,
Still one would want more, one would need more,
More than a world of white and snowy scents.

Содержание разума, поэзия не имеет права
Оказаться ниже, а выше не хочет.

Она

Должна удовлетворить людей, о чем бы ни говорила:
О мужчине, несущемся на коньках, о танцующей женщине,
О женщине, расчесывающей волосы. Поэзия — акт мысли.

Перевод В. Британишского

СТИХОТВОРЕНИЯ НАШЕГО КЛИМАТА

I

В блестящей вазе — чистая вода,
Белые и розовые гвоздики. Свет
В комнате свеж, как воздух в снежный полдень,
Когда светло от выпавшего снега,
Конец зимы, и дни уже удлинлись.
Белые и розовые гвоздики. Нам бы хотелось
Гораздо большего. День уподоблен
Предельной простоте: белая ваза,
Белый фарфор, холодный и округлый,
Гвоздики — больше ничего и нет.

II

Пусть совершенство этой простоты
Избавило бы нас от всяких мук, от наших
Дьявольски сложных, животворных «я»,
Пересоздав их силой белизны,
Чистой воды в фарфоровом фиале,
Мы большего бы жаждали и ждали,
Чем белизна, чем снежность, чем цветы.

III

There would still remain the never-resting mind,
So that one would want to escape, come back
To what had been so long composed.
The imperfect is our paradise.
Note that, in this bitterness, delight,
Since the imperfect is so hot in us,
Lies in flawed words and stubborn sounds.

THE PLANET ON THE TABLE

Ariel was glad he had written his poems.
They were of a remembered time
Or of something seen that he liked.

Other makings of the sun
Were waste and welter
And the ripe shrub writhed.

His self and the sun were one
And his poems, although makings of his self,
Were no less makings of the sun.

It was not important that they survive.
What mattered was that they should bear
Some lineament or character,

Some affluence, if only half-perceived,
In the poverty of their words,
Of the planet of which were part.

III

Ведь в нас живет наш неумный дух,
И нам хотелось бы бежать, вернуться
В столь долго создававшуюся сложность.
Несовершенство — наша благодать.
Есть сладость в горечи: одолевать,
Коль скоро нас несовершенство жжет,
Корявость слов и непокорность звуков.

Перевод В. Британишского

ПЛАНЕТА НА СТОЛЕ

Ариэль был доволен написанными стихами.
Стихи были о том, что ему запомнилось,
Понравилось, показалось красивым.

Другие созданья солнца
Были хромые и кривые,
Корявый куст был скрючен.

Его сознание и солнце сливались в слове,
И все стихи, созданья его сознания,
В такой же мере были созданья солнца.

Важно не то, что стихи остались,
А что они оказались способны
Запечатлеть черты и детали

И дать хоть слабое ощущение
Богатства, при всем убожестве слов,
Планеты, частью которой были.

Перевод В. Британишского

THE LOVE SONG OF J. ALFRED PRUFROCK

*S'io credesse che mia risposta fosse
A persona che mai tornasse al mondo,
Questa fiamma staria senza più scosse.
Ma per ciò che giammai di questo fondo
Non tornò viva alcun, s'ìodo il vero,
Senza tema d'infamia ti rispondo.*

Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table;
Let us go, through certain half-deserted streets,
The muttering retreats
Of restless nights in one-night cheap hotels
And sawdust restaurants with oyster-shells:
Streets that follow like a tedious argument
Of insidious intent
To lead you to an overwhelming question...
Oh, do not ask, "What is it?"
Let us go and make our visit.

In the room the women come and go
Talking of Michelangelo.

The yellow fog that rubs its back upon the window-panes,
The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes,
Licked its tongue into the corners of the evening,
Lingered upon the pools that stand in drains,
Let fall upon its back the soot that falls from chimneys,
Slipped by the terrace, made a sudden leap,
And seeing that it was a soft October night,
Curled once about the house, and fell asleep.

And indeed there will be time
For the yellow smoke that slides along the street
Rubbing its back upon the window-panes;

ЛЮБОВНАЯ ПЕСНЬ ДЖ. АЛЬФРЕДА ПРУФРОКА

*S'io credesse che mia riposta fosse
A persona che mai tornasse al mondo,
Questa fiamma staria senza più scosse.
Ma per ciò che giammai di questo fondo
Non tornò viva alcun, s'i'odo il vero,
Senza tema d'infamia ti rispondo.*

Ну что же, я пойду с тобой,
Когда под небом вечер стихнет, как больной
Под хлороформом на столе хирурга;
Ну что ж, пойдем вдоль малолюдных улиц —
Опилки на полу, скорлупки устриц
В дешевых кабаках, в бормочущих притонах,
В ночлежках для ночей бессонных:
Уводят улицы, как скучный спор,
И подведут в упор
К убийственному для тебя вопросу...
Не спрашивай, о чем.
Ну что ж, давай туда пойдем.

В гостиной дамы тяжело
Беседуют о Микеланджело.

Туман своею желтой шерстью трется о стекло,
Дым своей желтой мордой тычется в стекло,
Вылизывает язычком все закоулки сумерек,
Выстаивает у канав, куда из водостоков натекло,
Вылавливает шерстью копоть из каминов,
Скользнул к террасе, прыгнул, успевает
Понять, что это все октябрьский тихий вечер,
И, дом обвив, мгновенно засыпает.

Надо думать, будет время
Дыму желтому по улице ползти
И тереться шерстью о стекло;

There will be time, there will be time
To prepare a face to meet the faces that you meet;
There will be time to murder and create,
And time for all the works and days of hands
That lift and drop a question on your plate;
Time for you and time for me,
And time yet for a hundred indecisions,
And for a hundred visions and revisions,
Before the taking of a toast and tea.

In the room the women come and go
Talking of Michelangelo.

And indeed there will be time
To wonder, "Do I dare?" and, "Do I dare?"
Time to turn back and descend the stair,
With a bald spot in the middle of my hair—
[They will say: "How his hair is growing thin!"]
My morning coat, my collar mounting firmly to the chin,
My necktie rich and modest, but asserted by a simple pin—
[They will say: "But how his arms and legs are thin!"]
Do I dare
Disturb the universe?
In a minute there is time
For decisions and revisions which a minute will reverse.

For I have known them all already, know them all—
Have known the evenings, mornings, afternoons,
I have measured out my life with coffee spoons;
I know the voices dying with a dying fall
Beneath the music from a farther room.
So how should I presume?

And I have known the eyes already, known them all—
The eyes that fix you in a formulated phrase,
And when I am formulated, sprawling on a pin,
When I am pinned and wriggling on the wall,

Будет время, будет время
Подготовиться к тому, чтобы без дрожи
Встретить тех, кого встречаешь по пути;
И время убивать и вдохновляться,
И время всем трудам и дням всерьез
Перед тобой поставить и, играя,
В твою тарелку уронить вопрос,
И время мнить, и время сомневаться,
И время боязливо примеряться
К бутерброду с чашкой чая.

В гостиной дамы тяжело
Беседуют о Микеланджело.

И конечно, будет время
Подумать: «Я посмею? Разве я посмею?»
Время вниз по лестнице скорее
Зашагать и показать, как я лысею —
(Люди скажут: «Посмотрите, он лысеет!»)
Мой утренний костюм суров, и тверд воротничок,
Мой галстук с золотой булавкой прост и строг —
(Люди скажут: «Он стареет, он слабеет!»)
Разве я посмею
Потревожить мирозданье?
Каждая минута — время
Для решенья и сомненья, отступленья и терзанья.

Я знаю их уже давно, давно их знаю —
Все эти утренники, вечера и дни,
Я жизнь свою по чайной ложке отмеряю,
Я слышу отголоски дальней болтовни —
Там под рояль в гостиной дамы спелись.
Так как же я осмелюсь?

И взгляды знаю я давно,
Давно их знаю,
Они всегда берут меня в кавычки,
Снабжают этикеткой, к стенке прикрепляя,
И я, пронзен булавкой, корчусь и стенаю.

Then how should I begin
 To spit out all the butt-ends of my days and ways?
 And how should I presume?

And I have known the arms already, known them all—
 Arms that are braceleted and white and bare
 [But in the lamplight, downed with light brown hair!]
 Is it perfume from a dress
 That makes me so digress?
 Arms that lie along a table, or wrap about a shawl.
 And should I then presume?
 And how should I begin?

.....
 Shall I say, I have gone at dusk through narrow streets
 And watched the smoke that rises from the pipes
 Of lonely men in shirt-sleeves, leaning out of windows?...

I should have been a pair of ragged claws
 Scuttling across the floors of silent seas.

.....
 And the afternoon, the evening, sleeps so peacefully!
 Smoothed by long fingers,
 Asleep... tired... of it malingers,
 Stretched on the floor, here beside you and me.
 Should I, after tea and cakes and ices,
 Have the strength to force the moment to its crisis?
 But though I have wept and fasted, wept and prayed,
 Though I have seen my head [grown slightly bald]
 brought in upon a platter,
 I am no prophet—and here's no great matter;
 I have seen the moment of my greatness flicker,
 And I have seen the eternal Footman hold my coat, and snicker,
 And in short, I was afraid.

And would it have been worth it, after all,
 After the cups, the marmalade, the tea,
 Among the porcelain, among some talk of you and me,
 Would it have been worth while,
 To have bitten off the matter with a smile,
 To have squeezed the universe into a ball

Так что ж я начинаю
Окурками выплевывать свои привычки? .
И как же я осмелюсь?

И руки знаю я давно, давно их знаю,
В браслетах руки, белые и голые впотьмах,
При свете лампы— в рыжеватых волосках!
Я, может быть,
Из-за духов теряю нить...
Да, руки, что играют, шаль перебирая,
И как же я осмелюсь?
И как же я начну?

.....
Сказать, что я бродил по переулкам в сумерки
И видел, как дымят прокуренные трубки
Холостяков, склонившихся на подоконники?..

О быть бы мне корявыми клешнями,
Скребущими по дну немого моря!

.....
А вечер, ставший ночью, мирно дремлет,
Оглажен ласковой рукой,
Усталый... сонный... или весь его покой
У наших ног— лишь ловкое притворство...
Так, может, после чая и пирожного
Не нужно заходить на край возможного?
Хотя я плакал и постился, плакал и молился
И видел голову свою (уже плешивую) на блюде,
Я не пророк и мало думаю о чуде;
Однажды образ славы предо мною вспыхнул,
И, как всегда, Швейцар, приняв мое пальто, хихикнул.
Короче говоря, я не решился.

И так ли нужно мне, в конце концов,
В конце мороженого, в тишине,
Над чашками и фразами про нас с тобой,
Да так ли нужно мне
С улыбкой снять с запретного покров
В комок рукою стиснуть шар земной,

To roll it toward some overwhelming question,
To say: "I am Lazarus, come from the dead,
Come back to tell you all, I shall tell you all"—
If one, settling a pillow by her head,
Should say: "That is not what I meant at all.
That is not it, at all."

And would it have been worth it, after all,
Would it have been worth while,
After the sunsets and the dooryards and the sprinkled streets,
After the novels, after the teacups, after the skirts that trail along
the floor—
And this, and so much more?—
It is impossible to say just what I mean!
But as if a magic lantern threw the nerves in patterns on a screen:
Would it have been worth while
If one, settling a pillow or throwing off a shawl,
And turning toward the window, should say:
"That is not it at all,
That is not what I meant, at all."

.....
No! I am not Prince Hamlet, nor was meant to be;
Am an attendant lord, one that will do
To swell a progress, start a scene or two,
Advise the prince; no doubt, an easy tool,
Deferential, glad to be of use,
Politic, cautious, and meticulous;
Full of high sentence, but a bit obtuse;
At times, indeed, almost ridiculous—
Almost, at times, the Fool.

I grow old... I grow old...
I shall wear the bottoms of my trousers rolled.

Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach?
I shall wear white flannel trousers, and walk upon the beach.
I have heard the mermaids singing, each to each.

И покатить его к убийственному вопросу,
И заявить: «Я Лазарь и восстал из гроба,
Вернулся, чтоб открылось все, в конце концов»,—
Уж так ли нужно, если некая особа,
Поправив шаль рассеянной рукой,
Вдруг скажет: «Это все не то, в конце концов
Совсем не то».

И так ли нужно мне, в конце концов,
Да так ли нужно мне
В конце закатов, лестниц и политых улиц,
В конце фарфора, книг и юбок, шелестящих по паркету,
И этого, и большего, чем это...
Я, кажется, лишаясь слов,
Такое чувство, словно нервы спроецированы на экран:
Уж так ли нужно, если некая особа
Небрежно шаль откинёт на диван
И, глядя на окно, проговорит:
 «Ну, что это, в конце концов?
 Ведь это все не то».

Нет! Я не Гамлет и не мог им стать;
Я из друзей и слуг его, я тот,
Кто репликой интригу подтолкнет,
Подаст совет, повсюду тут как тут,
Услужливый, почтительный придворный,
Благонамеренный, витиеватый,
Напыщенный, немного туповатый,
По временам, пожалуй, смехотворный—
По временам, пожалуй, шут.

Я старею... я старею...
Засучу-ка брюки поскорее.

Зачешу ли плешь? Скушаю ли грушу?
Я в белых брюках выйду к морю, я не трушу.
Я слышал, как русалки пели, теща собственную душу.

I do not think that they will sing to me.

I have seen them riding seaward on the waves
Combing the white hair of the waves blown back
When the wind blows the water white and black.

We have lingered in the chambers of the sea
By sea-girls wreathed with seaweed red and brown
Till human voices wake us, and we drown.

WHISPERS OF IMMORTALITY

Webster was much possessed by death
And saw the skull beneath the skin;
And breastless creatures under ground
Leaned backward with a lipless grin.

Daffodil bulbs instead of balls
Stared from the sockets of the eyes!
He knew that thought clings round dead limbs
Tightening its lusts and luxuries.

Donne, I suppose, was such another
Who found no substitute for sense,
To seize and clutch and penetrate;
Expert beyond experience,

He knew the anguish of the marrow
The ague of the skeleton;
No contact possible to flesh
Allayed the fever of the bone.

Grishkin is nice: her Russian eye
Is underlined for emphasis;
Uncorseted, her friendly bust
Gives promise of pneumatic bliss.

Их пенье не предназначалось мне.

Я видел, как русалки мчались в море
И космы волн хотели расчесать,
А черно-белый ветер гнал их вспять.

Мы грезили в русалочьей стране
И, голоса людские слыша, стонем
И к жизни пробуждаемся, и тонем.

Перевод А. Сергеева

ШЕПОТКИ БЕССМЕРТИЯ

О смерти Вебстер размышлял,
И прозревал костяк сквозь кожу;
Безгубая из-под земли
Его звала к себе на ложе.

Он замечал, что не зрачок,
А лютик смотрит из глазницы,
Что вождедеющая мысль
К телам безжизненным стремится.

Таким же был, наверно, Донн,
Добравшийся до откровенья,
Что нет замен вне бытия
Объятью и проникновенью,

Он знал, как стонет костный мозг,
Как кости бьются в лихорадке;
Лишенным плоти не дано
Соединенья и разрядки.

.....
Милашка Гришкина глаза
Подводит, чтобы быть глазастей;
Ее привольный бюст — намек
На пневматические страсти.

The couched Brazilian jaguar
Compels the scampering marmoset
With subtle effluence of cat;
Grishkin has a maisonnette;

The sleek Brazilian jaguar
Does not in its arboreal gloom
Distil so rank a feline smell
As Grishkin in a drawing-room.

And even the Abstract Entities
Circumambulate her charm;
But our lot crawls between dry ribs
To keep our metaphysics warm.

THE HOLLOW MEN

Mistah Kurtz—he dead

A Penny for the Old Guy

I

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas!
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats' feet over the broken glass
In our dry cellar.

Shape without form, shade without color,
Paralysed force, gesture without motion;

В лесу залегший ягуар
Манит бегущую мартышку
При помощи кошачьих чар;
У Гришкиной же свой домишко;

Волнообразный ягуар
В чащобе душиной и трясинной
Разит кошатиной слабей,
Чем крошка Гришкина в гостиной.

Прообразы живых существ
Вкруг прелестей ее роятся;
А мы к истлевшим ребрам льнем,
Чтоб с метафизикой обняться.

Перевод А. Сергеева

ПОЛЫЕ ЛЮДИ

Мистер Куриц умерла

Подайте Старому Гаю

I

Мы полые люди,
Мы чучела, а не люди
Склоняемся вместе —
Труха в голове,
Бормочем вместе
Тихо и сухо,
Без чувства и сути,
Как ветер в сухой траве
Или крысы в груди
Стекла и жести

Нечто без формы, тени без цвета,
Мышцы без силы, жест без движенья;

Those who have crossed
With direct eyes, to death's other Kingdom
Remember us—if at all—not as lost
Violent souls, but only
As the hollow men,
The stuffed men.

II

Eyes I dare not meet in dreams
In death's dream kingdom
These do not appear:
There, the eyes are
Sunlight on a broken column
There, is a tree swinging
And voices are
In the wind's singing
More distant and more solemn
Than a fading star.

Let me be no nearer
In death's dream kingdom
Let me also wear
Such deliberate disguises
Rat's coat, crowskin, crossed staves
In a field
Behaving as the wind behaves
No nearer—

Not the final meeting
In the twilight kingdom.

III

This is the dead land
This is cactus land
Here the stone images
Are raised, here they receive
The supplication of a dead man's hand
Under the twinkle of a fading star.

Прямо смотревшие души
За краем другого Царства смерти
Видят, что мы не заблудшие
Бурные души — но только
Полые люди,
Чучела, а не люди.

II

Я глаз во сне опасаясь,
Но в призрачном царстве смерти
Их нет никогда:
Эти глаза —
Солнечный свет на разбитой колонне,
Дрожащие ветви;
А голоса
В поющем ветре
Торжественней и отдаленней,
Чем гаснущая звезда.

Да не приближусь
В призрачном царстве смерти
Да унижусь
Представ нарочитой личиной
В крысиной одежке, в шкуре вороньей
В поле на двух шестах
На ветру
Воробьям на страх,
Только не ближе —

Только не эта последняя встреча
В сумрачном царстве.

III

Мертвая это страна
Кактусовая страна
Гаснущая звезда
Видит как воздевают руки
К каменным изваяньям
Мертвые племена.

Is it like this
In death's other kingdom
Waking alone
At the hour when we are
Trembling with tenderness
Lips that would kiss
Form prayers to broken stone.

IV

The eyes are not here
There are no eyes here
In this valley of dying stars
In this hollow valley
This broken jaw of our lost kingdoms

In this last of meeting places
We grope together
And avoid speech
Gathered on this beach of the tumid river

Sightless, unless
The eyes reappear
As the perpetual star
Multifoliate rose
Of death's twilight kingdom
The hope only
Of empty men.

V

*Here we go round the prickly pear
Prickly pear prickly pear
Here we go round the prickly pear
At five o'clock in the morning.*

Between the idea
And the reality
Between the motion

Так ли утром, когда
Мы замираем, взыскупя
Нежности
В этом другом царстве смерти
Губы, данные нам
Для поцелуя,
Шепчут молитвы битым камням.

IV

Здесь нет глаз
Глаз нет здесь
В долине меркнущих звезд
В полой долине
В черепа наших утраченных царств

К месту последней встречи
Влачимся вместе
Страшимся речи
На берегу полноводной реки

Незрячи, пока
Не вспыхнут глаза
Как немеркнущая звезда
Как тысячелепестковая
Роза сумрака царства смерти
Надежда лишь
Для пустых людей.

V

*Мы пляшем перед кактусом
Кактусом кактусом
Мы пляшем перед кактусом
В пять часов утра.*

Между идеей
И повседневностью
Между помыслом

And the act
Falls the Shadow

For Thine is the Kingdom

Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow

Life is very long

Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow

For Thine is the Kingdom

For Thine is
Life is
For Thine is the

*This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper*

JOURNEY OF THE MAGI

“A cold coming we had of it,
Just the worst time of the year
For a journey, and such a long journey:
The ways deep and the weather sharp,
The very dead of winter.”

И поступком
Падает Тень
Ибо Твое есть Царство

Между зачатием
И рождением
Между движением
И ответом
Падает Тень
Жизнь очень длинна

Между влечением
И содроганием
Между возможностью
И реальностью
Между сущностью
И проявлением
Падает Тень
Ибо Твое есть Царство

Ибо Твое
Жизнь очень
Ибо Твое есть

*Вот как кончится мир
Вот как кончится мир
Вот как кончится мир
Не взрыв но всхлип.*

Перевод А. Сергеева

ПАЛОМНИЧЕСТВО ВОЛХВОВ

«В холод же мы пошли,
В худшее время года
Для путешествия, да еще такого:
Дороги — каша, и ветер в лицо,
Самая глушь зимы».

And the camels galled, sore-footed, refractory,
Lying down in the melting snow.
There were times we regretted
The summer palaces on slopes, the terraces,
And the silken girls bringing sherbet
Then the camel men cursing and grumbling
And running away, and wanting their liquor and women,
And the night-fires going out, and the lack of shelters.
And the cities hostile and the towns unfriendly
And the villages dirty and charging high prices:
A hard time we had of it.
At the end we preferred to travel all night,
Sleeping in snatches,
With the voices singing in our ears, saying
That this was all folly.

Then at dawn we came down to a temperate valley,
Wet, below the snow line, smelling of vegetation;
With a running stream and a water-mill beating the darkness,
And three trees on the low sky,
And an old white horse galloped away in the meadow.
Then we came to a tavern with vine-leaves over the lintel,
Six hands at an open door dicing for pieces of silver,
And feet kicking the empty wine-skins.
But there was no information, and so we continued
And arrived at evening, not a moment too soon
Finding the place; it was (you may say) satisfactory.
All this was a long time ago, I remember,
And I would do it again, but set down
This set down
This: were we led all that way for
Birth or Death? There was a Birth, certainly,
We had evidence and no doubt. I had seen birth and death,
But had thought they were different; this Birth was
Hard and bitter agony for us, like Death, our death.
We returned to our places, these Kingdoms,
But no longer at ease here, in the old dispensation,
With an alien people clutching their gods.
I should be glad of another death.

И верблюды постерли ноги и спины
И упрямо ложились в тающий снег.
Мы иногда тосковали
По летним дворцам на склонах, террасам
И шелковым девам с блюдом шербета.
Проводники и погонщики бранились, ворчали,
Сбегали и требовали вина и женщин,
И костры угасали, и всем шатров не хватало,
И враждебность в больших городах, и неласковость в малых,
И грязь в деревнях, и непомерные цены:
В трудное время пошли мы.
В конце мы решили идти всю ночь,
Спали урывками,
И голоса напевали нам в уши,
Что все это безрассудство.

И вот на рассвете пришли мы к спокойной долине,
Где из-под мокрого снега остро пахла трава,
И бежала река, и на ней мельница билась о тьму,
И под низким небом три дерева,
И белая кляча ускакала от нас на лугу.
И пришли мы в корчму с виноградной лозью над дверью,
Там шестеро кости бросали ради сребреников,
Толкая ногами мехи из-под выпитого вина.
Но никто ничего не знал, и снова мы вышли
И прибыли вечером, ни на минуту не раньше,
Чем было надо; и это, пожалуй, неплохо.
Давно это, помнится, было,
Но я и теперь пошел бы, только спросил бы,
Это спросил бы,
Это: ради чего нас послали в путь,
Ради Рожденья или Смерти? Конечно, там было Рожденье,
Мы сами свидетели. Я и до этого видел рожденье и смерть,
Но считал, что они не схожи; это же Рождество
Было горькою мукой для нас, словно Смерть, наша смерть.
Мы вернулись домой, в наши царства,
Но не вернули себе покоя в старых владеньях,
Где люди ныне чужие вцепились в своих богов.
И вот я мечтаю о новой смерти.

Перевод А. Сергеева

* * *

Love is not all: it is not meat nor drink
Nor slumber nor a roof against the rain;
Nor yet a floating spar to men that sink
And rise and sink and rise and sink again;
Love can not fill the thickened lung with breath,
Nor clean the blood, nor set the fractured bone;
Yet many a man is making friends with death
Even as I speak, for lack of love alone.
It well may be that in a difficult hour,
Pinned down by pain and moaning for release,
Or nagged by want past resolution's power,
I might be driven to sell your love for peace,
Or trade the memory of this night for food.
It well may be. I do not think I would.

* * *

I too beneath your moon, almighty Sex,
Go forth at nightfall crying like a cat,
Leaving the lofty tower I laboured at
For birds to foul and boys and girls to vex
With tittering chalk; and you, and the long necks
Of neighbours sitting where their mothers sat
Are well aware of shadowy this and that
In me, that's neither noble nor complex.
Such as I am, however, I have brought

* * *

Любовь еще не все: не хлеб и не вода,
Не крыша в ливень, не нагим — одежды;
Не ствол, плывущий к тонущим, когда
Уже иссякли силы и надежды.
Не заменяет воздуха любовь,
Когда дыханья в легких не хватает,
Не сращивает кость, не очищает кровь,
Но без любви порою умирают.
Я допускаю, грянет час такой,
Когда, устав от нестерпимой боли,
За облегченье, отдых и покой
Твою любовь отдам я поневоле,
Иль память тех ночей сменяю на еду.
Возможно. Но сдва ль на это я пойду.

Перевод М. Алигер

* * *

Под лунным светом Всемогущей Плоти
И я кричала кошкой в час ночной,
Уйдя из башни, выстроенной мной,
Не для того ль, чтоб в галочьем помете
И в живописи детской озорной
Ей вековать? У башни, под луной,
Сидят соседки так, как некогда их тети,
Судача об мне и о моей работе.
Какая есть, однако это я

To what it is, this tower; it is my own;
Though it was reared To Beauty, it was wrought
From what I had to build with: honest bone
Is there, and anguish; pride; and burning thought;
And lust is there, and nights not spent alone.

* * *

I must not die of pity; I must live;
Grow strong, not sicken; eat, digest my food,
That it may build me, and in doing good
To blood and bone, broaden the sensitive
Fastidious pale perception: we contrive
Lean comfort for the starving, who intrude
Upon them with our pots of pity; brewed
From stronger meat must be the broth we give.
Blue, bright September day, with here and there
On the green hills a maple turning red,
And white clouds racing in the windy air!—
If I would help the weak, I must be fed
In wit and purpose, pour away despair
And rinse the cup, eat happiness like bread.

Ту башню возвела, она — моя.
Во имя Красоты взлетевшая высоко.
В ней боль и гордость — все, что было у меня,
Кость честная, мысль, полная огня,
И жар ночей, где я была не одинока.

Перевод М. Алигер

* * *

Не умирать от жалости, а жить,
И есть и пить, чтоб крепнуть и расти,
Чтоб чище кровь, чтоб тверже стать в кости
И чувствовать острее, и хитрить:
Тому, кто тоже хочет есть и пить,
Нежирную похлебку поднести
Из нашей жалости. Ах, господи, прости,
Ее бы понаваристей сварить!
Денек сентябрьский синий, тут и там
Уже краснеют клены по холмам.
Затем, чтоб слабым я могла помочь,
Вскормить свой ум и волю надо мне б,
Взбодриться и тоску отринуть прочь,
Пить полный кубок, счастье есть, как хлеб.

Перевод М. Алигер

POETRY

I, too, dislike it: there are things that are important beyond all
this fiddle.

Reading it, however, with a perfect contempt for it, one
discovers in it after all, a place for the genuine.

Hands that can grasp, eyes
that can dilate, hair that can rise
if it must, these things are important not because a

high-sounding interpretation can be put upon them but because
they are

useful. When they become so derivative as to become unintelligi-
ble, the same thing may be said for all of us, that we
do not admire what
we cannot understand: the bat
holding on upside down or in quest of something to

eat, elephants pushing, a wild horse taking a roll, a tireless wolf
under a tree, the immovable critic twitching his skin
like a horse that feels a flea, the base-

ball fan, the statistician—
nor is it valid

to discriminate against “business documents and

school-books”; all these phenomena are important. One must make
a distinction

however: when dragged into prominence by half poets, the result
is not poetry,

nor till the poets among us can be
“literalists of

the imagination”—above

insolence and triviality and can present

ПОЭЗИЯ

И мне она противна: есть кое-что поважнее всей этой волюнки.
Однако, даже питая к стихам презренье, можно при чтенье
в них обнаружить внезапно определенную непод-
дельность.

Рукой мы хватаем, зрачком
видим, волосы встанут торчком,
если надо, и это все ценится не потому что

может служить материалом для высоколобых интерпретаций, а
потому что
все это приносит пользу. Но если смысл сместится и
непостижным станет, все мы скажем одно и то же:
нет,
нельзя восхищаться тем, что уму
недоступно — летучая мышь, во тьму
летающая в поисках пищи или висящая головой

вниз, рабочий слон, споткнувшийся вдруг мустанг, рычащий под
деревом волк, невозмутимый критик, чья лениво
дернулась кожа, как от блохи у коня, болельщик
на матче бейсбольном, по статистике специалист —
и незачем вовсе
грань проводить между «деловыми документами и

школьными учебниками»; самоценны все эти факты. Вот где
надо грань проводить:
в следах на подмостках от полупоэтов поэзии нет, одна
пустота,
но если истинные поэты стать сумеют средь нас
«буквалистами
воображения», подняться над
банальностью наглой, и наш взгляд поразят

for inspection, "imaginary gardens with real toads in them", shall
we have
it. In the meantime, if you demand on the one hand,
the raw material of poetry in
all its rawness and
that which is on the other hand
genuine, you are interested in poetry.

SPENSER'S IRELAND

has not altered;—
a place as kind as it is green,
the greenest place I've never seen.
Every name is a tune.
Denunciations do not affect
the culprit; nor blows, but it
is torture to him to not be spoken to.
They're natural—
the coat, like Venus'
mantle lined with stars,
buttoned close at the neck—the sleeves new from disuse.

If in Ireland
they play the harp backward at need,
and gather at midday the seed
of the fern, eluding
their "giants all covered with iron," might
there be fern seed for unlearn-
ing obduracy and for reinstating
the enchantment?
Hindered characters
seldom have mothers
in Irish stories, but they all have grandmothers.

It was Irish;
a match not a marriage was made
when my great grandmother'd said

«воображаемые сады с настоящими жабами в травке», вот
тогда, соглашусь,
нам она в руки дастся. А пока, если требуется, с одной
стороны, чтобы сырье поэзии было
сырым до самой своей глубины
и чтоб пленяла, с другой стороны,
неподдельность — значит, поэзия вам интересна.

Перевод А. Парина

ИРЛАНДИЯ СПЕНСЕРА

все та же;

приветлива и чудо как зелена,
зеленее, клянусь, не бывает страна.
Что ни имя, то песня, без исключенья.
Разоблаченья от преступников
отскакивают, как мячи; и удары тоже;
но упаси тебя боже обидеть преступника невниманьем.
Ирландцы — дети природы:
плащи — как накидка
венерина, оторочена звездами, на шее
застегнута глухо, с иголочки новые рукава.

Если в Ирландии вправду
на арфе, бывает, играют вспять
и папоротниковых семян набрать
в полдень бегут, чтоб задобрить впрок
«гигантов в броне с головы до ног»,
неужто семян не найдется, чтоб
отучить от упрямства, а волшебству
вернуть права?

Недотепы и горемыки
в ирландских легендах обходятся без матерей
преспокойно, но без бабушек — ни за что.

Эпизодик в ирландском духе:
пара осталась без брачных уз,
когда прапрабабка моя, любой союз

with native genius for
disunion, "Although your suitor be
 perfection, one objection
is enough; he is not
Irish." Outwitting
 the fairies, befriending the furies,
whoever again
and again says: "I'll never give in," never sees

that you're not free
 until you've been made captive by
 supreme belief—credulity
you say? When large dainty
fingers tremblingly divide the wings
 of the fly for mid-July
with a needle and wrap it with peacock tail,
or tie wool and
 buzzard's wing, their pride,
like the enchanter's
is in care, not madness. Concurring hands divide

flax for damask
 that when bleached by Irish weather
 has the silvered chamois-leather
water-tightness of a
skin. Twisted torcs and gold new moon-shaped
 lunulae aren't jewelry
like the purple-coral fuchsia-tree's. Eire—
the guillemot
 so neat and the hen
of the heath and the
linnet spinet-sweet—bespeak relentlessness? Then

they are to me
 like enchanted Earl Gerald who
 changed himself into a stag, to
a great green-eyed cat of
the mountain. Discommodity makes
them invisible; they've dis-

крушившая в пух с мастерством
врожденным, изрекла: «Жених выше похвал,
без сомненья, есть возраженье
единственное: он не
ирландец». Кто фей
перехитрит, ведьм дружить уговорит,
кто продолжает орать
опять и опять: «Не уступлю!», тому не понять,

что свободным бывает тот,
кто в плен добровольный идет
к безграничной вере, пусть циник зовет
ее наивностью. Быстрые длинные пальцы
расправляют с трепетом бабочке крылья
в летний зной тончайшей иглой
и шалея дрожат над павлиньим хвостом,
мелькнув, зацепляют шерстинкой
за крылышко ястреба — это гордыня
хорохорится ныне, как в колдунах,
не безумие вовсе. Искусные руки не все

лен для камчатного полотна треплют —
выбеленное ирландской погодой холодной,
оно неподвластно стихии водной,
как серебристая замша, как живая кожа.
Бусинки витые, полумесяцем выгнутые, золотые
выемки разве сравнятся
с висюльками фуксии пурпурно-коралловыми?
О Эйре, ужели кайра-танцорка
и тетерка и коноплянка-певица,
чей серебрится голос, как звук клавесина,
ужель знаменуют упорство милейшие птицы?

Значит, выходит такая картина:
они — заколдованный Джеральд, который спроста
превращался в оленя или в громадного кота
зеленоокого. Ввиду житейских неудобств
они невидимками стали, на земле

appeared. The Irish say your trouble is their
trouble and your
 joy their joy? I wish
I could believe it;
I am troubled, I'm dissatisfied, I'm Irish.

WHAT ARE YEARS?

What is our innocence,
what is our guilt? All are
 naked, none is safe. And whence
is courage: the unanswered question,
the resolute doubt,—
dumbly calling, deafly listening—that
in misfortune, even death,
 encourages others
 and in its defeat, stirs

 the soul to be strong? He
sees deep and is glad, who
 accedes to mortality
and in his imprisonment rises
upon himself as
the sea in a chasm, struggling to be
free and unable to be,
 in its surrendering
 finds its continuing.

So he who strongly feels,
behaves. The very bird,
 grown taller as he sings, steels
his form straight up. Though he is captive,
his mighty singing
says, satisfaction is a lowly
thing, how pure a thing is joy.
 This is mortality,
 this is eternity.

им жизни нет. Ирландцы твердят: «Ваша печаль—
нам в печаль, а ваша радость—
в радость и нам». Мне бы хотелось
в это поверить хоть частью ума.
Я в печали, уйму раздраженье едва ли, я ведь
ирландка сама.

Перевод А. Парина

ЧТО ЕСТЬ ГОДЫ

В чем мы безвинны, в чем
Мы виноваты? Все на свете смертны,
Все жертвы под мечом.
Кто объяснение даст: откуда—храбрость,
Все это убежденное сомненье,
Весь этот зов немой и слух оглохший,
То, что в любой беде и даже в смерти
Вселяет в слабых страсть—
Быть, не робеть, не пасть?

Всех прозорливей тот,
И тот исполнен радости и силы,
Кто смертность не клянет
И в злоключенье—в заключенье—может
Подняться над собой, как море в бездне,
Которое, стремясь освободиться,
Сражается, но в берегах оставшись,
В смирении своем
Спасает свой объем.

Поэтому лишь тот,
Кто сильно чувствует, не суетится.
Так птица, что поет,
Становится стройнее и красивей:
Хотя она в плену, в ее руладах
Мы слышим: наслажденье недостойно,
Лишь в радости достоинство живого.
Пусть смертно естество,—
В нем будущность всего!

Перевод П. Грушко

* * *

anyone lived in a pretty how town
(with up so floating many bells down)
spring summer autumn winter
he sang his didn't he danced his did.

Women and men (both little and small)
cared for anyone not at all
they sowed their isn't they reaped their same
sun moon stars rain

children guessed (but only a few
and down they forgot as up they grew
autumn winter spring summer)
that noone loved him more by more

when by now and tree by leaf
she laughed his joy she cried his grief
bird by snow and stir by still
anyone's any was all to her

someones married their everyones
laughed their cryings and did their dance
(sleep wake hope and then) they
said their nevers they slept their dream

stars rain sun moon
(and only the snow can begin to explain
how children are apt to forget to remember
with up so floating many bells down)

one day anyone died i guess
(and noone stooped to kiss his face)

* * *

кто-то жил в славном считай городке
(колокол мерно звонил вдалеке)
весну и лето осень и зиму
он пел свою жизнь танцевал свой труд

мужчины и женщины (десять и сто)
не думали вовсе что кто-то есть кто
и жили как были посеешь пожнешь
солнце луна звезды и дождь

догадались лишь дети (и тех только часть
да и те повзрослев забывали тотчас
весна и лето осень зима)
что никто без кого-то не может жить

всегдажды сейчас и древожды лист
смеясь его радость грустя его грусть
будь то птицежды снег будь то бурежды штиль
кто-то был ее то (то есть весь ее мир)

а каждые с каждыми жены мужья
трудились свой танец житья и бытья
(ложась и вставая зевая) они
проболтали недни и проспали несны

дождь и солнце луна и звезды
(и только снег объяснил но поздно
как дети умеют забыть запомнить)
и колокол мерно звонил вдалеке

кто-то умер однажды вернее всего
и никто целовать уж не может его

busy folk buried them side by side
little by little and was by was

all by all and deep by deep
and more by more they dream their sleep
noone and anyone earth by april
wish by spirit and if by yes.

Women and men (both dong and ding)
summer autumn winter spring
reaped their sowing and went their came
sun moon stars rain

* * *

plato told

him: he couldn't
believe it (jesus

told him; he
wouldn't believe

it) lao

tsze
certainly told
him, and general
(yes

mam)
sherman;
and even
(believe it
or

и уложены в гроб деловыми людьми
вместе он и она почивают они

весь мир и весь мир глубина к глубине
грезят ярче и ярче в недремлющем сне
никтожды кто-то земляжды апрель
желаньежды дух и еслижды да

А мужчины и женщины (долго и длинно)
весну и лето осень и зиму
пожинали что сеяли взяв свое даждь
солнце луна звезды и дождь

Перевод В. Британишского

* * *

платон говорил

ему; он не хотел
поверить (иисус говорил

ему; он ни за что
не мог поверить)

лао

цзы
совершенно верно
говорил ему, и генерал
(так

точно)
шерман;
больше того
(веришь
или

not) you
told him: i told
him; we told him
(he didn't believe it, no

sir) it took
a nipponized bit of
the old sixth

avenue
el; in the top of his head: to tell

him

* * *

pity this busy monster, manunkind,

not. Progress is a comfortable disease:
your victim (death and life safely beyond)

plays with the bigness of his littleness
—electrons deify one razorblade
into a mountainrange; lenses extend

unwish through curving wherewhen till unwish
returns on its unself.

A world of made
is not a world of born—pity poor flesh

and trees, poor stars and stones, but never this
fine specimen of hypermagical

ultraomnipotence. We doctors know

a hopeless case if—listen: there's a hell
of a good universe next door; let's go

не веришь) ты сам
ему говорил; я
ему говорил; мы
ему говорили (он однако не верил

нет, сэръ) аж наконец
японизированный кусок
бывшей нью-йоркской

надземки с шестой авеню
угодил ему по башке

и втемяшил

Перевод В. Британишского

* * *

не сострадай больному бизнесмонстру,

бесчеловечеству. Прогресс — болезнь
приятная: предавшийся безумству

гигантом карлик мнит себя всю жизнь
— рой электронов чтит, как гор гряду,
лезвие бритвы; линзы увеличат

невласть немисли и согнут в дугу
где-и-когда, вернув немисль в неличность.
Мир «сделано» не есть мир «рождено» —

жалей живую тварь, любую, кроме
вот этой, мящей, что она над всеми

владычествует. Мы, врачи, давно

рукой махнули — слушай: за углом
чертовски славный мир, ей-ей; идем

Перевод В. Британишского

* * *

rain or hail
sam done
the best he kin
till they digged his hole

:sam was a man

stout as a bridge
rugged as a bear
slickern a weazel
how be you

(sun or snow)

gone into what
like all them kings
you read about
and on him sings

a whippoorwill;

heart was big
as the world aint square
with room for the devil
and his angels too

yes, sir

what may be better
or what may be worse
and what may be clover
clover clover

(nobody'll know)

sam was a man
grinned his grin
done his chores
laid him down.

Sleep well

* * *

дождь ли град
сэм круглый год
делал все что мог
пока не лег в гроб

: сэм был человек

крепкий как мост
дюжий как медведь
юркий как мышь
такой же как ты

(солнце ли, снег)

ушел в куда что
как все короли
ты читаешь о
а над ним вдали

стонет козодой;

он был широк сердцем
ведь мир не так прост
и дьяволу есть место
и ангелам есть

вот именно, сэр

что будет лучше
что будет хуже
никто сказать не может
не может не может

(никто не знает, нет)

сэм был человек
смеялся во весь рот
и вкалывал как черт
пока не лег в гроб.

Спи, дорогой

Перевод В. Британишского

YOU, ANDREW MARVELL

And here face down beneath the sun
And here upon earth's noonward height
To feel the always coming on
The always rising of the night

To feel creep up the curving east
The earthy chill of dusk and slow
Upon those under lands the vast
And ever climbing shadow grow

And strange at Ecbatan the trees
Take leaf by leaf the evening strange
The flooding dark about their knees
The mountains over Persia change

And now at Kermanshah the gate
Dark empty and the withered grass
And through the twilight now the late
Few travelers in the westward pass

And Baghdad darken and the bridge
Across the silent river gone
And through Arabia the edge
Of evening widen and steal on

And deepen on Palmyra's street
The wheel rut in the ruined stone
And Lebanon fade out and Crete
High through the clouds and overblown

And over Sicily the air
Still flashing with the landward gulls

ВАМ, ЭНДРЬЮ МАРВЕЛЛ

Вот тут, где в полночь зной печет,
Вот тут, где жарит во всю мочь,
Знать, что без отдыха грядет
И скоро нас застигнет ночь;

Знать, что восточный край земли
Дыханьем холода объят,
Что тени холода легли
На догорающий закат;

Что в Экбатане сень олив
Лист за листом впивает тьму,
И ночи крепнущей прилив
Скрыл пограничных гор кайму;

И в Керманшахе у ворот
Темно и пусто и мертво,
И вдаль последний мул бредет,
И громыхнул чугунный створ;

В Багдаде сумрак, мост, как тень,
Над призрачной рекой повис,
Геджасских кровли деревень
В пятно туманное слились;

В Пальмире глубже колеи
В вечернем свете, и горит
На небе отблеск, но вдали
Погас Ливан и гаснет Крит;

И над Сицилией крыло
Взметнувшей чайки вдруг блеснет,

And loom and slowly disappear
The sails above the shadowy hulls

And Spain go under and the shore
Of Africa the gilded sand
And evening vanish and no more
The low pale light across that land

Nor now the long light on the sea
And here face downward in the sun
To feel how swift how secretly
The shadow of the night comes on...

EMPIRE BUILDERS

The Museum Attendant:

This is *The Making of America in Five Panels:*

This is Mister Harriman making America:
Mister-Harriman-is-buying-the-Union-Pacific-at-Seventy:
The Sante Fe is shining on his hair:

This is Commodore Vanderbilt making America:
Mister-Vanderbilt-is-eliminating-the-short-interest-in-Hudson:
Observe the carving on the rocking chair:

This is J. P. Morgan making America:
(The Tennessee Coal is behind to the left of the Steel Company):
Those in mauve are braces he is wearing:

This is Mister Mellon making America:
Mister-Mellon-is-represented-as-a-symbolical-figure-in-aluminum-
Strewing-bank-stocks-on-a-burnished-stair:

This is the Bruce is the Barton making America:
Mister-Barton-is-selling-us-Doctor's-Deliciousest-Dentifrice:
This is he in beige with the canary:

Но парус лодки и весло
Закатный свет не оплеснет.

Испания уже во мгле,
Поблекли Африки пески,
Тускнеет вечер в той земле,
Где мрак простер свои ростки.

И гаснет незаметно день —
И тут, ничком, спиной к лучам
Знать, что упорно ночи тень
Подкрадывается к нам.

Перевод И. Кашкина

СТРОИТЕЛИ ИМПЕРИИ

Хранитель музея

Перед вами «Создание Америки в пяти панно»:

Вот мистер Гарриман создает Америку:
Мистер Гарриман скупает «Юнион пасифик» по семидесяти,
Санта-Фе сияет в его волосах.

Вот коммодор Вандербильт создает Америку:
Мистер Вандербильт сбывает «Шорт интерес» в Гудзоне,
Обратите внимание на резьбу его кресла.

Вот Дж.-П. Морган создает Америку:
(«Уголь Теннесси» сзади, налево от «Стальной компании»),
А это его подтяжки розовато-лилового цвета.

Вот мистер Меллон создает Америку:
Мистер Меллон в виде символической фигуры из алюминия
Сыплет банкноты на полированную лестницу.

Вот Брус Бартон создает Америку:
Мистер Бартон продает гигиеническую зубную пасту,
Он в канареечном цвете беж.

You have just beheld the Makers making America:
This is *The Making of America in Five Panels*:
America lies to the west-southwest of the Switch-Tower:
There is nothing to see of America but land:

The Original Document
under the Panel Paint:

“To Thos. Jefferson Esq. his obd’t serv’t
M. Lewis: captain: detached:

Sir:

Having in mind your repeated commands in this matter:
And the worst half of it done and the streams mapped:

And we here on the back of this beach beholding the
Other ocean—two years gone and the cold

Breaking with rain for the third spring since St. Louis:
The crows at the fishbones on the frozen dunes:

The first cranes going over from south north:
And the river down by a mark of the pole since the morning:

And time near to return, and a ship (Spanish)
Lying in for the salmon: and fearing chance or the

Drought or the Sioux should deprive you of these discoveries—
Therefore we send by sea in this writing:

Above the
Platte there were long plains and a clay country:
Rim of the sky far off: grass under it:

Dung for the cook fires by the sulphur licks:
After that there were low hills and the sycamores:

And we poled up by the Great Bend in the skiffs:
The honey bees left us after the Osage River:

Итак, вы видите создателей Америки:
Это «Создание Америки в пяти панно»,
Америка на юго-запад от Башни Стрелок,
Отсюда Америки почти не видно.

*Подлинный документ
под панно*

Т. Джефферсону, эскв., его покор. слуга
М. Льюис, командир отряда:

«Сэр,

Памятуя о ваших неоднократных указаниях,
Сделав самое трудное, нанеся реки на карту,

Находясь на берегу этого залива в виду
Другого океана — уже два года, и вот

Началась третья весна после Сент-Луиса,
И к отмелям стали слетаться вороны,

И первые журавли летят на север,
И уровень реки с утра понизился,

Ввиду скорого возвращения, а также судна (испанское),
Прибывшего за лососями, и опасаясь,

Что засуха или сию лишат вас этих открытий —
Посылаем вам морем это донесенье:

Там —

За Платтой — большая глинистая равнина,
Горизонт широк и повсюду трава,

Навоз для костров отдаст серой,
Кое-где небольшие холмы и смоковницы,

Мы в лодках обогнули Большой поворот,
Пчел не попадалось после реки Осейдж,

The wind was west in the evenings and no dew and the
Morning Star larger and whiter than usual—

The winter rattling in the brittle haws:
The second year there was sage and the quail calling:

All that valley is good land by the river:
Three thousand miles and the clay cliffs and

Rue and beargrass by the water banks
And many birds and the brant going over and tracks of

Bear elk wolves marten: the buffalo
Numberless so that the cloud of their dust covers them:

The antelope fording the fall creeks: and the mountains and
Grazing lands and the meadow lands and the ground

Sweet and open and well-drained:
We advise you to
Settle troops at the forks and to issue licenses:

Many men will have living on these lands:
There is wealth in the earth for them all and the wood standing

And wild birds on the water where they sleep:
There is stone in the hills for the towns of a great people..."

You have just beheld the Makers making America:

They screwed her scrawny and gaunt with their seven-year panics:
They bought her back on their mortgages old-whore-cheap:
They fattened their bonds at her breasts till the thin blood ran
from them:

Men have forgotten how full clear and deep
The Yellowstone moved on the gravel and grass grew
When the land lay waiting for her westward people!

Ветер по вечерам с запада, и росы нет,
Утренняя звезда белей и ярче, чем у нас;

Зимой голые кусты боярышника,
Летом здесь рос шалфей, кричали перепела;

Вся земля вдоль реки плодородна
На три тысячи миль, и обрывы из глины,

Рута, медвежья трава по берегам
И множество птиц — гусей и следы

Медведей, лосей, волков, куниц и бизонов —
Без счета, так, что не видно за пылью;

Антилопы вброд переходят потоки, а горы,
И пастбища, и луга, и вся почва

Целинная, жирная.

Мы советуем вам
Поселить здесь войска и закрепить землю;

Много народу сможет здесь прокормиться,
Земли хватит на всех, и лесов, и угодий,

Здесь дикие птицы спят на воде,
А камня хватит на много городов...»

Вы видели создателей Америки:
Они сжали ее в тисках семилетнего кризиса;

Они покупают ее по дешевке, как старую шлюху;
Они высосали акциями ее грудь до кровинки:

Люди забыли, как полноводно
Несся Йеллоустон, как трава разрасталась,
Когда земля ожидала с запада поселенцев.

BLUE GIRLS

Twirling your blue skirts, travelling the sward
Under the towers of your seminary,
Go listen to your teachers old and contrary
Without believing a word.

Tie the white fillets then about your hair
And think no more of what will come to pass
Than bluebirds that go walking on the grass
And chattering on the air.

Practise your beauty, blue girls, before it fail;
And I will cry with my loud lips and publish
Beauty which all our power shall never establish,
It is so frail.

For I could tell you a story which is true;
I know a lady with a terrible tongue,
Blar eyes fallen from blue,
All her perfections tarnished—yet it is not long
Since she was lovelier than any of you.

THE EQUILIBRISTS

Full of her long white arms and milky skin
He had a thousand times remembered sin.
Alone in the press of people traveled he,
Minding her jacinth, and myrrh, and ivory.

ГОЛУБЫЕ ДЕВУШКИ

Среди лужаек, в юбках голубых,
Под башнями в колледже вашем строгом,—
Вольно вам верить старым педагогам,
Брюзжанью их.

Повязкой белой волосы убрав,
Не думайте о днях в их беглой смене,
Подобно птицам голубым, чье пенье
Не молкнет среди трав.

Цветите, голубейте в добрый час,
Но я—кричать хочу, забыв приличья:
Как мимолетна красота девичья,
Никто ее не спас!

Есть женщина—она одна на свете,
А речь ее отрывиста и зла,
И глаз голубизну застлала мгла,
А ведь еще недавно эта леди
Красивее любой из вас была.

Перевод П. Грушко

КАНАТОХОДЦЫ

Мечтая о ее молочной коже
И длинных пальцах, обмирал он в дрожи.
Один в толпе, он грезил, вспомнив гостью,
Ее нектаром и слоновой костью,

Mouth he remembered: the quaint orifice
From which came heat that flamed upon the kiss,
Till cold words came down spiral from the head.
Grey doves from the officious tower illsped.

Body: it was a white field ready for love,
On her body's field, with the gaunt tower above,
The lilies grew, beseeching him to take,
If he would pluck and wear them, bruise and break.

Eyes talking: Never mind the cruel words,
Embrace my flowers, but not embrace the swords.
But what they said, the doves came straightway flying
And unsaid: Honor, Honor, they came crying.

Importunate her doves. Too pure, too wise,
Clambering on his shoulder, saying, Arise,
Leave me now, and never let us meet,
Eternal distance now command thy feet.

Predicament indeed, which thus discovers
Honor among thieves, Honor between lovers.
O such a little word is Honor, they feel!
But the grey word is between them cold as steel.

At length I saw these lovers fully were come
Into their torture of equilibrium;
Dreadfully had forsworn each other, and yet
They were bound each to each, and they did not forget.

And rigid as two painful stars, and twirled
About the clustered night their prison world,
They burned with fierce love always to come near,
But honor beat them back and kept them clear.

Ah, the strict lovers, they are ruined now!
I cried in anger. But with puddled brow
Devising for those gibbeted and brave
Came I descanting: Man, what would you have?

И тем, как обжигал манящий рот,
Пока слова, студеные, как лед,
Из горделивой башни по спирали
Седыми голубями не слетали.

Как поле для любовной жатвы,— тело
Под дерзкой башней белизною млело,
Где лилии — сорви! — его просили,—
Щипли, терзай и мни, дай волю силе.

А взгляд молил: забудь слова мои,
Люби мои цветы, а не репы,
Но снова голубей слетала стая,
Кричали: «Честь!», кричали: «Честь!», летая.

Цепляли за плечо и докучали
Своей стерильной мудростью, кричали:
«Уйди, вовеки не бывать нам вместе,
Хвала разлуке!..» Это ль не бесчестье —

О чести и о нравственных канонах
Радеть среди воров, равно влюбленных?
Как слово «честь» ни кратко, а похоже
На меч холодный, раздвоивший ложе!..

Я видел их: они любили, раня
Друг друга пыткой противостоянья,
Над собственными чувствами глумясь,
Но помня все, не прерывали связь,

Как две звезды, две редкие болезни,
Самозатворники в совместной бездне,
Сходились близко, трепеща от пыла,
Но снова честь влюбленных разводила.

Им не спастись, подумал я в печали...
Но вспомнив о других, о тех, что пали,
Но не сдались, взвалив любовь на плечи,
Спросил я — что ты хочешь, человеце?

For spin your period out, and draw your breath,
A kinder saeculum begins with Death.
Would you ascend to Heaven and bodiless dwell?
Or take your bodies honorless to Hell?

In Heaven you have heard no marriage is,
No white flesh tinder to your lecheries,
Your male and female tissue sweetly shaped
Sublimed away, and furious blood escaped.

Great lovers lie in Hell, the stubborn ones
Infatuate of the flesh upon the bones;
Stuprate, they rend each other when they kiss,
The pieces kiss again, no end to this.

But still I watched them spinning, orbited nice.
Their flames were not more radiant than their ice.
I dug in the quiet earth and wrought the tomb
And made these lines to memorize their doom:—

Epitaph

*Equilibrists lie here; stranger, tread light;
Close, but untouching in each other's sight;
Mouldered the lips and ashy the tall skull.
Let them lie perilous and beautiful.*

Продлить свой век? Но разве он длинней
Того, что за порогом наших дней?
Быть бестелесным ангелом в раю?
Бесчестить в преисподней плоть свою?

Но нет на небе брака, нет объятий,
Нет белой жаркой плоти для зачатий,
Там ткань мужская женственно нежна —
Душа пылает, кровь охлаждена.

Великие любовники на части
В аду друг друга рвут, рычат от страсти,
Насилуют и милуют друг друга,
Сходя с ума от вечного недуга.

А эти — на канате — в танце милом
Пылали, словно лед, обманным пылом.
И я, сойдя с небес, увековечу
На обелиске мысленном их встречу.

Эпитафия:

*«Здесь акробаты спят: они сходились,
Но не сошлись. Глаза испепелились,
И превратились в прах земной уста.
В рискованной близости их красота».*

Перевод П. Грушко

THE MEDITERRANEAN

Quem das finem, tex magne, dolorum?

Where we went in the boat was a long bay
A slingshot wide, walled in by towering stone—
Peaked margin of antiquity's delay,
And we went there out of time's monotone:

Where we went in the black hull no light moved
But a gull white-winged along the feckless wave,
The breeze, unseen but fierce as body loved,
That boat drove onward like a willing slave:

Where we went in the small ship the seaweed
Parted and gave to us the murmuring shore,
And we made feast and in our secret need
Devoured the very plates Aeneas bore:

Where derelict you see through the low twilight
The green coast that you, thunder-tossed, would win,
Drop sail, and hastening to drink all night
Eat dish and bowl to take that sweet land in!

Where we feasted and caroused on the sandless
Pebbles, affecting our day of piracy,
What prophecy of eaten plates could landless
Wanderers fulfil by the ancient sea?

We for that time might taste the famous age
Eternal here yet hidden from our eyes
When lust of power undid its stuffless rage;
They, in a wineskin, bore earth's paradise.

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Там, где на лодке плыли мы тесниной,
Чья ширина в бросок пращи была,—
Был голый берег старины пустынной,
Заждавшейся усталого весла.

Там свет недвижим был над белокрылым
Снованьем чаек возле темных скал,
Где бриз, чей пыл сравним с любовным пылом,
Как верный раб, скорлупку нашу гнал.

Там водоросли, расступясь, открыли
Шуршащий берег, и среди камней
Мы, втайне наслаждаясь, ели, пили
То, что когда-то ел и пил Эней.

Там берег зеленел в глухом укрытии
Утесов, он манил, и паруса
Хотелось опустить, на берег выйти
Под сладостные эти небеса.

Там бражничали мы, воображая,
Что мы пираты—океанский сброд
У древних скал. Чья ворожба чужая
Свершалась нами среди этих вод?

Там вечность я вкусил. Ее участие
Во всем сквозило. И открылось вдруг:
Мы гневом, утоляем жажду власти,
А жажду древних утолял бурдюк.

Let us lie down once more by the breathing side
Of Ocean, where our live forefathers sleep
As if the Known Sea still were a month wide—
Atlantis howls but is no longer steep!

What country shall we conquer, what fair land
Unman our conquest and locate our blood?
We've cracked the hemispheres with careless hand!
Now, from the Gates of Hercules we flood

Westward, westward till the barbarous brine
Whelms us to the tired land where tasseling corn,
Fat beans, grapes sweeter than muscadine
Rot on the vine: in that land were we born.

ODE TO THE CONFEDERATE DEAD

Row after row with strict impunity
The headstones yield their names to the element,
The wind whirrs without recollection;
In the riven troughs the splayed leaves
Pile up, of nature the casual sacrament
To the seasonal eternity of death;
Then driven by the fierce scrutiny
Of heaven to their election in the vast breath,
They sough the rumour of mortality.

Autumn is desolation in the plot
Of a thousand acres where these memories grow
From the inexhaustible bodies that are not
Dead, but feed the grass row after rich row.
Think of the autumns that have come and gone!—
Ambitious November with the humors of the year,
With a particular zeal for every slab,
Staining the uncomfortable angels that rot
On the slabs, a wing chipped here, an arm there:

Лечь там, где дремлют пращуры живые,
Как будто снова в месяц шириной
Пространство, как во времена былые
(Пусть плачет Атлантида под волной!).

Какой предел за голубым раздольем
В столетьях обескровит наш порыв?
Мы шар на полушария расколем,
За Геркулесовы столбы уплыв

На запад, в даль, где варварским рассолом
К маису нас прибьет, к большим бобам
И к нежным лозам, что на склоне голом
Сопрели... Тут-то и родиться нам.

Перевод П. Грушко

ОДА ПАВШИМ КОНФЕДЕРАТАМ

Их имена, за рядом ряд, творя
Разбой, надгробья предают природе.
Беспамятно, по-волчьи, ветер взвыл;
Сухие листья на пустое ложе
Летят с могил — к седому алтарю,
Где жертв алкает смерть о каждом годе,—
Но, прах разворошив, вбирает твердь
Путь листьев вверх, на вздох пространств помножив,—
А те все так же шепчутся про смерть.

Доносит осень о клочке земли,
Не тронутым забвеньем, ни распадом,
Где не исчезли — только полегли,
Траву питая, ряд за долгим рядом
Который год уже, который год...
Ноябрь кичливый горечью всегодной
Особенно ревниво брался за
Разбитых здешних ангелов — и вот
Щербатое крыло, рука урода

The brute curiosity of an angel's stare
Turns you, like them, to stone,
Transforms the heaving air
Till plunged to a heavier world below
You shift your sea-space blindly
Heaving, turning like the blind crab.

Dazed by the wind, only the wind
The leaves flying, plunge

You know who have waited by the wall
The twilight certainty of an animal,
Those midnight restitutions of the blood
You know—the immitigable pines, the smoky frieze
Of the sky, the sudden call: you know the rage,
The cold pool left by the mounting flood,
Of muted Zeno and Parmenides.
You who have waited for the angry resolution
Of those desires that should be yours tomorrow,
You know the unimportant shrift of death
And praise the vision
And praise the arrogant circumstance
Of those who fall
Rank upon rank, hurried beyond decision—
Here by the sagging gate, stopped by the wall.

Seeing, seeing only the leaves
Flying, plunge and expire

Turn your eyes to the immoderate past,
Turn to the inscrutable infantry rising
Demons out of the earth—they will not last.
Stonewall, Stonewall, and the sunken fields of hemp,
Shiloh, Antietam, Malvern Hill, Bull Run.
Lost in that orient of the thick-and-fast
You will curse the setting sun.

Cursing only the leaves crying
Like an old man in a storm

И здесь, и там... Но, в мраморе, глаза
С незыблемым и жестким любознанием
Глядят — и каменеем, и летим,
Сквозь тяжкий мир в тягчайший склеп тараном
Себе дорогу, в склеп слепой, каким
Слепому крабу мнится мир пред ним.

Листья толпою вслепую летят
Манием ветра — во тьму, наугад.

Ты знаешь, кто дождался у стены
Звериной, беззаконной тишины, —
Все те же сосны, рябь заткала небо, —
Ты знаешь, как во мраке крепнет кровь:
Вдруг — зов, взрыв, лава бешеного гнева,
И холод мертвый, лужа без краев —
Зенон и Парменид, вас, мертвецов,
Не переспоришь... Те желанья, коим
Твоими стать назавтра, за тебя
Сегодня не решают. Почерк смерти
Столь бисерен, что буквы не важны.
Но, в рог трубя,
Восславить должно промелькнувших роем —
Рядами, строем, рыцарством войны
Причудливым (оно таким и было), —
Чтоб здесь полечь, могила за могилой,
На стену напоровшись, у стены.

Всею вслепую толпой полегли.
Листья летящие их погребли.

Взор в прошлое — оно непостижимо.
Прошли — стал путь их неисповедим.
Воспряли бесы — и промчались мимо.
Стонволл, Стонволл, над полем схлынул дым.
Шайло, Антитем, Мальверн Хилл, Булл Ран.
Светило силы, ты ль неколебимо?
Будь проклято, светило здешних стран!

Прокляты листья, летучие листья,
Стонущие, как старики в ненастье.

You hear the shout, the crazy hemlocks point
 With troubled fingers to the silence which
 Smothers you, a mummy, in time.

The hound bitch

Toothless and dying, in a musty cellar
 Hears the wind only.

Now that the salt of their blood
 Stiffens the saltier oblivion of the sea,
 Seals the malignant purity of the flood,
 What shall we who count our days and bow
 Our heads with a commemorial woe
 In the ribboned coats of grim felicity,
 What shall we say of the bones, unclean,
 Whose verdurous anonymity will grow?
 The ragged arms, the ragged heads and eyes
 Lost in these acres of the insane green?
 The gray lean spiders come, they come and go;
 In a tangle of willows without light
 The singular screech-owl's tight
 Invisible lyric seeds the mind
 With the furious murmur of their chivalry.

We shall say only the leaves
 Flying, plunge and expire

We shall say only the leaves whispering
 In the improbable mist of nightfall
 That flies on multiple wing;
 Night is the beginning and the end
 And in between the ends of distraction
 Waits mute speculation, the patient curse
 That stones the eyes, or like the jaguar leaps
 For his own image in a jungle pool, his victim.
 What shall we say who have knowledge
 Carried to the heart? Shall we take the act
 To the grave? Shall we, more hopeful, set up the grave
 In the house? The ravenous grave?

Ты слышишь крик, болиголов вонзает
Безумный перст в безмолвье, каковым
Задушен ты.

Беззубая борзая,
Околевая в склепе вековым,
Лишь ветру внемлет.

Их соленой кровью
И без того соленый океан
Злопамятство помножил на забвенье.
Что смеем мы, что смеет этот век,
Склонившийся в немом недоуменье
(Нося не траур, а лишь черный бант),
Пробормотать — какое пустословье
Осилит безымянность здешних веж?

Вздымались руки, рушились удары —
Все ль в зелень ядовитую ушло?
Час пауков древесных. Час за часом
В ив беспросветной зелени одни
Хрипуньи-совы бестелесным гласом
Мозг оплодотворяют — тяжело
Переносимым рыцарства кошмаром.

Листья, всего лишь летучие листья
Кажутся нам нерасслышанной вестью.

Листья, всего лишь летучие листья
Шепчутся в невероятном тумане,
Сотканном собственным их трепетаньем.
Ночь есть начало всему и конец —
А в промежутке, в прорыве, в просвете:
Умствований непроглядные сети.
Тигром терзаем свое отраженье
На безмятежной воде озерец.

Что же посмеем мы вымолвить, грея
Тяжесть — за пазухой — знания? Пойдем
Жить на могилу? А может, скорее
Дом свой повапленным гробом сочтем?

Leave now
The shut gate and the decomposing wall:
The gentle serpent, green in the mulberry bush,
Riots with his tongue through the hush—
Sentinel of the grave who counts us all!

LAST DAYS OF ALICE

Alice grown lazy, mammoth but not fat,
Declines upon her lost and twilight age;
Above in the dozing leaves the grinning cat
Quivers forever with his abstract rage:

Whatever light swayed on the perilous gate
Forever sways, nor will the arching grass,
Caught when the world clattered, undulate
In the deep suspension of the looking-glass.

Bright Alice! always pondering to gloze
The spoiled cruelty she had meant to say
Gazes learnedly down her airy nose
At nothing, nothing thinking all the day.

Turned absent-minded by infinity
She cannot move unless her double move,
The All-Alice of the world's entity
Smashed in the anger of her hopeless love,

Love for herself who, as an earthly twain,
Pouted to join her two in a sweet one;
No more the second lips to kiss in vain
The first she broke, plunged through the glass alone—

Alone to the weight of impassivity,
Incest of spirit, theorem of desire,

Теперь пора отсюда.
Пора от развалившейся стены,
Где величавый Змий на шелковице,
Зеленый в алом, жалом нам грозитя —
Страж мест, каким мы все сопричтены!

Перевод В. Топорова

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АЛИСЫ

Большая, но не тучная Алиса
На свой закатный возраст оперлась.
Кот склбится сквозь дремлющие листья,
От гнева беспричинного трясся.

Изменчив вечный свет над страшной рамой,
Там сгорбилась навек трава в стекле,
Застигнутая дребезжащей драмой
В неколебимой зазеркальной мгле.

Наморщив носик, умница Алиса
Весь день решает с каменным лицом,
Как подсластить последствия каприза
Каким-нибудь магическим словцом.

Окутанная вечностью двойница
Чихнуть боится: только рот скриви —
И Все-Алиса мигом раздробится
Под натиском предательской любви —

Любви к себе (земной и в зазеркалье),
Чей холод домогается тепла,
А губы — губ своих же (не она ли
Их рассекла, уйдя во мглу стекла?).

Дитя душевного кровосмешенья,
Безвольная, как берег меловой,

Without will as chalky cliffs by the sea,
Empty as the bodiless flesh of fire:

All space, that heaven is a dayless night,
A nightless day driven by perfect lust
For vacancy, in which her bored eyesight
Stares at the drowsy cubes of human dust.

— We too back to the world shall never pass
Through the shattered door, a dumb shade-harried crowd
Being all infinite, function depth and mass
Without figure, a mathematical shroud

Hurled at the air—blesséd without sin!
O God of our flesh, return us to Your wrath,
Let us be evil could we enter in
Your grace, and falter on the stony path!

Она — головоломка и решение,
Костер, с душой бесплотно-огневой:

Как в космосе, здесь ночь без дней, вернее —
День без ночей, и мир развоплощен
Так сладостно, и стынет перед нею
Ленивый прах людей, сгущенных в сон!..

Мы тоже не вернемся в мир разбитый —
Толпа теней, бесформенный поток,
Расплывчатая взвесь и монолиты,
Неисчислимой вечности итог —

Слепая пыль, которой все протислось!
Но лучше бы — о нашей плоти бог! —
Твой гнев навеки, лишь бы эта милость —
Живая боль среди земных дорог.

Перевод П. Грушко

THE CHILD NEXT DOOR

The child next door is defective because the mother,
Seven brats already in that purlieu of dirt,
Took a pill, or did something to herself she thought would not hurt,
But it did, and no good, for there came this monstrous other.

The sister is twelve. Is beautiful like a saint.
Sits with the monster all day, with pure love, calm eyes.
Has taught it a trick, to make *ciao*, Italian-wise.
It crooks hand in that greeting. She smiles her smile without taint.

I come, and her triptych beauty and joy stir hate
— Is it hate?—in my heart. Fool, doesn't she know that the process
Is not that joyous or simple, to bless, or unbless,
The malfeasance of nature or the filth of fate?

Can it bind or loose, that beauty in that kind,
Beauty of benediction? We must trust our hope to prevail
That heart-joy in beauty be wisdom, before beauty fail
And be gathered like air in the ruck of the world's wind!

I think of your goldness, of joy, but how empires grind, stars
are hurled.
I smile stiff, saying *ciao*, saying *ciao*, and think: *This is
the world.*

СОСЕДСКИЙ РЕБЕНОК

Соседский мальчик дефективен, так как мать
При семерых уже исчадьях в той клоаке
Пилюль налопалась или свихнулась в браке
И вот—еще один: урод ни дать ни взять.

Сестре двенадцать. Ангел писанный, она
Сидит с уродцем этим кротко, как святая.
Он ручкой машет: — Чао, чао! — повторяя,
Как итальянец. А она как день ясна.

И от мадонны этой злость кипит моя.
Дуреха, знает ли, что все не так-то просто,
Чтоб оправдать или не оправдать уродства:
Кошмар судьбы или паскудство бытия?!

И что: петля иль воля эта красота?
Благословенье ли? — Доверимся надежде,
Что и прекрасного коснется мудрость—прежде,
Чем в щель засвищет мировая пустота.

Пусть венчик радости твоей—ориентир
Здесь, где империи крошатся и светила.
Я улыбаюсь: — Чао, чао! — через силу
И говорю, махнув рукою: — Это мир.

MULTIPLICATION TABLE

If the Christmas tree at Rockefeller Center were
A billion times bigger, and you laid it
Flat down in the dark, and
With a steam roller waist-high to God and heavy as
The Rocky Mountains, flattened it out thin as paper, but
Never broke a single damned colored light bulb, and they were all
Blazing in the dark, that would be the way it is, but

Beyond the lights it is dark, and one night in winter, I
Stood at the end of a pier at Coney Island, while
The empty darkness howled like a dog, but no wind, and far down
The boardwalk what must have been a cop's flashlight
Jiggled fitfully over what must have been locked store-fronts, then,
Of a sudden, went out. The stars were small and white, and I heard
The sea secretly sucking the piles of the pier with a sound like
An old woman sucking her teeth in the dark before she sleeps.

The nose of the DC-8 dips, and at this point
The man sitting beside me begins, quite audibly, to recite
The multiplication table.

Far below,

Individual lights can be seen throbbing like nerve ends.
I have friends down there, and their lives have strange shapes
Like eggs splattered on the kitchen floor. Their lives shine
Like oil-slicks on dark water. I love them, I think.

In a room, somewhere, a telephone keeps ringing.

ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ

Если б елка в Рокфеллер-центре была в
Миллион раз больше, и завалить бы
Ее во мрак, и паровым катком высотой по
Пояс богу и тяжелым, как
Скалистые горы, раскатать, словно бумагу, и
Не разбить ни одной чертовой лампочки, и
Они бы все сияли во тьме,— было бы именно так, но

За огнями темно, и как-то ночью, зимой, я
Стоял у пирса на Кони-Айленд, а в это время
Пустая тьма выла собакой, хотя не было ветра, и
Далеко внизу фонарик (фараона, наверно) резво вилял по
Закрытым витринам и вдруг
Погас. Звезды были мелкие и белые, и я
Слушал, как море мирно сосадо кладку пирса— так,
Будто старуха цыкает зубом во тьме, ложась спать.

ДС-8 клюет носом, и в тот же миг
Человек, сидящий рядом, довольно внятно приступает к
Декламации таблицы умножения.

А далеко внизу

Отдельные огни пульсируют, как нервные окончания.
Внизу у меня есть друзья. Их жизни— странной формы,—
Будто яйца, разбрызганные по кухонному столу. Их
Жизни сверкают, как масляные пятна на темной воде.
Полагаю, я

Их люблю. Где-то в комнате все еще звонит телефон.

THE WORLD IS A PARABLE

I must hurry, I must go somewhere
Where you are not, where you
Will never be, I
Must go somewhere where
Nothing is real, for only
Nothingness is real and is
A sea of light. The world
Is a parable and we are
The meaning. The traffic
Begins to move, and meaning
In my guts blooms like
A begonia, I dare not
Pronounce its name.—Oh, driver!
For God's sake catch that light, for

There comes a time for us all when we want to begin a new life.

All mythologies recognize that fact.

ORIGINAL SIN: A SHORT STORY

Nodding, its great head rattling like a gourd,
And locks like seaweed strung on the stinking stone,
The nightmare stumbles past, and you have heard
It fumble your door before it whimpers and is gone:

It acts like the old hound that used to snuffle your door and moan
You thought you had lost it when you left Omaha,
For it seemed connected then with your grandpa, who
Had a wen on his forehead and sat on the veranda

МИР — ЭТО ПРИТЧА

Я должен спешить. Я должен нестись
Куда-нибудь, где тебя нет и где
Не будет тебя никогда. Я должен
Куда-то отправиться, где Ничто
Реально, в силу того, что только
Ничто есть реальность и сверх того
Есть море света. Мир — это притча,
И мы — ее смысл. Поток машин
Свою беготню начинает, и смысл
В кишках моих расцветает, словно
Бегония, этого я не решаюсь
Назвать по имени.— О водитель!
Тот свет догони ради бога, ибо

Приходит время, когда мы все хотим начать новую жизнь.

Все мифологии с этим согласны.

Перевод О. Чухонцева

ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ
В КРАТКОМ ПЕРЕСКАЗЕ

Мотаясь, его башка гремит, как тыква, а пряди —
Будто водоросли на вонючих камнях в запруде.
Кошмар удалился, но прежде поскулил у дверей:
Он ведет себя, как старый пес, который в обиде
Топтался и хныкал когда-то под дверь твою.

Покинув Омаху, ты решил, что оторвался от старого,
Считая, что оно связано с дедушкой, у которого
Был на лбу жировик: сидя на веранде, сей дед

To finger the precious protuberance, as was his habit to do,
Which glinted in sun like rough garnet or the rich old brain bulging
through.

But you met it in Harvard Yard as the historic steeple
Was confirming the midnight with its hideous racket,
And you wondered how it had come, for it stood so imbecile,
With empty hands, humble, and surely nothing in pocket:
Riding the rods, perhaps—or Grandpa's will paid the ticket.

You were almost kindly then, in your first homesickness
As it tortured its stiff face to speak, but scarcely mewed.
Since then you have outlived all your homesickness,
But have met it in many another distempered latitude:
Oh, nothing is lost, ever lost! at last you understood

It never came in the quantum glare of sun
To shame you before your friends, and had nothing to do
With your public experience or private reformation:
But it thought no bed too narrow—it stood with lips askew
And shook its great head sadly like the abstract Jew.

Never met you in the lyric arsenical shadow meadow
When children call and your heart goes stone in the bosom—
At the orchard anguish never, nor avoid horror
Which is furred like a peach or avid like the delicious plum.
It takes no part in your classic prudence or fondled axiom.

Not there when you exclaimed: "Hope is betrayed by
Disastrous glory of sea-capes, sun-torment of whitecaps
— There must be a new innocence for us to be stayed by."
But there it stood, after all the timetables, all the maps,
In the crepuscular clutter of always, always or perhaps.

Холил свой вырост, рдевший напросвет вроде бурого
Граната—это был мозг, лезущий из старческих недр.

Позже, в Гарварде, под исторической колокольной,
Огмечавшей полночь оглушительной наковальной,
Ты удивился: как он сюда доскакал: совсем налегке,
Робкий—видно, следовал за тобой все бесцельней
На дедовское наследство или зайцем в товарняке.

Ты был почти добродушен—тоска по дому еще не заела,
А он, кося ртом, лишь мяукал, а говорить не мог.
Потом эта самая тоска по дому изрядно тебя заела,
И он попадался на всех шатких широтах: вот мило,
Думал ты, ничто никогда не теряется, видит бог.

Он не являлся в квантовом солнечном сиянии, дабы
Обратить внимание друзей на порочность твоей особы,
Далекий от твоего публичного опыта и эволюции личных идей.
Но он не считал узкой никакую кровать,—кривя губы,
Мялся и грустно кивал головой, как странствующий иудей.

Он не появлялся на лирической мышьяковой поляне,
Когда дети плачут, а в груди не пламя, а тленье,
Ни в муке сада—в яйцевидном ужасе, ворсисто-седом,
Как персик, или алчном, как нежная слива,—ни в лоне
Классического благоразумия или лелеемых аксиом.

Его не было, когда ты вскричал: «Надежду сгубили
Убийственным блеском морских мысов, солнечной болью
Белых вершин! Где новой нашей невинности щит и оплот?»
Но вот он возник, осилив все карты, расписания, дали,
В тусклом гаме «всегда-всегда» или «в-свой-черед».

You have moved often and rarely left an address,
And hear of the deaths of friends with a sly pleasure,
A sense of cleansing and hope which blooms from distress;
But it has not died, it comes, its hand childish, unsure,
Clutching the bribe of chocolates or a toy you used to treasure.

It tries the lock. You hear, but simply drowse:
There is nothing remarkable in that sound at the door.
Later you may hear it wander the dark house
Like a mother who rises at night to seek a childhood picture
Or it goes to the backyard and stands* like an old horse cold
in the pasture.

Ты часто переезжал, но адрес оставлял редко,
Радовался в душе, узнав про смерть одногодка,—
Смесь очищения и надежды при всей горечи пирога.
Но он не умер, а пришел: в его ручонке взятка—
Шоколадка или игрушка, которая была тебе так дорога.

Он пробует замок, а ты спишь, не выказывая любопытства
В этом звуке у двери нет особенного святотатства.
Потом он обходит дом, спотыкаясь о каждый порог
(Как мать, искавшая по ночам фотографию времен детства),
Или фыркает на дворе, как конь, что в поле продрог.

Перевод П. Грушко

* * *

When the space-trackers in Texas first heard the sound of ultrasonic breathes and radar heartbeats from the first ship in orbit, they asked: "Is it a lion? a monkey? a man?" But I recognized you, Leonardo.

Not as you died—an exile in a far land—or when you were "also a painter"—in your youth in Florence, or when you were sketching the tortured bodies of horses and men for your lost "Horrors of War",

rather as you are in your secret notebooks filled with sputnik visions, flying centuries ahead on what beatlike wing you hoped to put in orbit yourself.

Forgive us, Leonardo, for having laughed at your stretched-out batwing hands. At last you have arrived beyond the painting and the sculpture and the war machines and waterworks you sold to dukes and kings.

It is your breathing, your heartbeat we hear in the new space-rider spanning the cultures, leaving behind this grave heavy planet to join the first man on earth who knew where we were really going.

I BELONG

There are three billion billion billion
constellations
(the sky book says) but I am a patriot
of the Milky Way. It gives me a thrill

* * *

Когда на станции слежения в Техасе впервые уловили сверхзвуковое дыхание и радарное сердцебиение первого корабля на орбите, наблюдатели спрашивали себя: «Кто там? Лев? Обезьяна? Человек?» Но я сразу узнал тебя, Леонардо.

Не таким, каким ты умер — изгнанник вдали от отчизны, — и не в юные флорентийские годы, когда ты считался «также художником», и не тогда, когда ты писал эскизы убитых людей и коней для не дошедших до нас «ужасов войны», — а скорее таким, каков ты в своих записных книжках, где шифром увековечены предсказания спутника, отстоящего на много веков от того, похожего на летучую мышь, аппарата, который ты сам мечтал запустить в небо.

Прости же нас, Леонардо, за улыбку над твоими раскинутыми руками, за которыми крылья летучей мыши. Настало время признать тебя не только творцом картин, скульптур, военных машин и фонтанов для герцогов и королей.

Это твоё дыхание, биение твоего сердца слышится в новом космическом корабле, который преодолевает столетия, побеждает силу земного тяготения и встречается с человеком, который первым понял, куда мы идем.

Перевод А. Сергеева

ПРИЧАСТНОСТЬ

Существуют три миллиарда миллиардов миллиардов созвездий
(как сказано в небесной книге), но я патриот
Млечного Пути. Меня волнует, когда я смотрю

when I look out the telescope at our galaxy.

I mean—

I know where I belong—just like those two
tit-mice feeding together outside my window,

and right now flying off together—I, too,
know I have a home, an identity established
not only by national boundaries, common
speech,

etc., not just by our own beautiful sun,
and its planets, moons, asteroids, but by our own
dear galaxy. O lover,

In your pure feathery light across thousands of billions
of spiral nebulas, you are the best of all
galaxies.

And I know you love me too, for out of the vast
riches

of your fiery interstellar sperm you have given me
inalienable rights to life, liberty
and the pursuit of happiness
and my little life to cool.

MESSAGE FROM BERT BRECHT

And don't think

art

is that actor over there

talking

to that other one

upstage

He's the third one

you don't see

talking

to that other one

you can't hear

offstage

в телескоп на нашу галактику. Я хочу сказать,
к чему
я причастен — совсем, как две синицы,
которые что-то клевали у меня за окном, а именно
сейчас взлетели вместе, — я тоже знаю, что
у меня есть дом, личность, установленная не
только государственными границами, общим
языком
и т.д., не только нашим прекрасным солнцем и
его планетами, лунами, астероидами, но нашей
милой,
родной галактикой. О любимая,
в твоём чистом перистом свете через тысячи миллиардов
спиральных туманностей ты лучшая из всех
галактик.
И я знаю, ты тоже любишь меня, ибо из необозримых
богатств
твоего огненного межзвездного семени ты мне
даруешь беспспорные права на жизнь, свободу
и поиски счастья
и мою маленькую холодеющую жизнь.

Перевод В. Рогова

УРОК БРЕХТА

И не думайте будто
искусство
вот этот актер
говорящий
вон с тем
в глубине сцены.
Оно
третий
которого вы не видите
говорящий
вон с тем за кулисами
которого вы не слышите.

Перевод В. Рогова

BRASS SPITTOONS

Clean the spittoons, boy.

Detroit,
Chicago,
Atlantic City,
Palm Beach.

Clean the spittoons.

The steam in hotel kitchens,
And the smoke in hotel lobbies,
And the slime in hotel spittoons:
Part of my life.

Hey, boy!
A nickel,
A dime,
A dollar,

Two dollars a day.

Hey, boy!

A nickel,
A dime,
A dollar,
Two dollars

Buy shoes for the baby.

House rent to pay.

Church on Sunday.

My God!

Babies and church
And women and Sunday
All mixed up with dimes and
Dollars and clean spittoons
And house rent to pay

Hey, boy!

A bright bowl of brass is beautiful to the Lord.

МЕДНЫЕ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ

Почисть плевательницы, бой!

Детройт,
Чикаго,
Атлантик-Сити,
Пам-бич —

Почисть плевательницы!
Кухонный чад отелей,
Табачный дым вестибюлей
И мокрота плевательниц:
В этом моя жизнь.

Эй, бой!
Пять центов,
Десять,
Доллар,

Два доллара в день.
Эй, бой!

Пять центов,
Десять,
Доллар,
Два доллара.

На ботинки ребенку,
На оплату комнаты,
На джин в воскресенье,
На церковь в субботу,
О боже!

Дети, джин и церковь,
Женщины и воскресенье
Смешаны с цветами, и
Долларами, и плевательницами,
И квартирной платой.
Эй, бой!

Bright polished brass like the cymbals
Of King David's dancers,
Like the wine cups of Solomon.

Hey, boy!

A clean spittoon on the altar of the Lord.
A clean bright spittoon all newly polished,—
At least I can offer that.

Com'mere, boy!

PORTER

I must say
Yes, sir,
To you all the time.
Yes, sir!
Yes, sir!
All my days
Climbing up a great big mountain
Of yes, sirs!

Rich old white man
Owns the world
Gimme yo' shoes
To shine

Yes, sir!

LIFE IS FINE

I went down to the river
I set down on the bank.
I tried to think but couldn't,
So I jumped in and sank.

Блестящую медную чашу — в дар Господу!
Ярко начищена медь, как цимбалы
Танцовщиц царя Давида,
Как золотые кубки Соломона.

Эй, бой!

Плевательницу на алтарь Господу!
Ярко вычищенную плевательницу
Могу я пожертвовать за
«Приди ко мне, бой!»

Перевод М. Зенкевича

ПОРТЪЕ

Я должен говорить:
«Да, сэр!» —
Вам всегда, всегда.
Да, сэр!
Да, сэр!
Вся моя жизнь —
Беганье по огромной лестнице
Этих «да, сэр!»
Белые богачи
Забрали весь мир.
Позвольте почистить
Ботинки?
Да, сэр!

Перевод М. Зенкевича

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

Спустился я к быстрой речке,
Спустился сам не свой.
Не в силах был рассуждать я,
Прыжок — и я под водой.

I came up once and hollered!
I came up twice and cried!
If that water hadn't a-been so cold
I might've sunk and died.

*But it was
Cold in that water!
It was cold!*

I took the elevator
Sixteen floors above the ground.
I thought about my baby
And thought I would jump down.

I stood there and I hollered!
I stood there and I cried!
If it hadn't a-been so high
I might've jumped and died.

*But it was
High up there!
It was high!*

So since I'm still here livin'
I guess I will live on.
I could've died for love—
But for livin' I was born.

Though you may hear me holler,
And you may see me cry—
I'll be dogged, sweet baby,
If you gonna see me die.

*Life is fine!
Fine as wine!
Life is fine!*

Я вынырнул раз, и другой раз...
Утопился б наверняка,
Была бы вода потеплее
И речка не так глубока!

Да, но вода
В этой реке
Так холодна!

Я поднялся на лифте,
Двадцатый этаж подо мной.
Я вспомнил тебя и подумал:
Не прыгнуть ли вниз головой?

Такая печаль взяла меня,
Такая взяла тоска,
Что будь хоть немного пониже,
Я прыгнул бы наверняка!

Но — высоко:
Страшно взглянуть!
Ну, высота!

И раз уж я жить остался,
То жить я буду и впредь.
Затем ли на свет я родился,
Чтоб от любви умереть?

Ты увидишь, как я заплачу,
Услышишь, как я закричу,
Но мертвым меня не увидишь —
Я умирать не хочу!

Жизнь — ведь она
Слаще вина!
Выпью до дна!

PORTRAIT OF THE ARTIST AS A PREMATURELY OLD MAN

It is common knowledge to every schoolboy and even every
Bachelor of Arts,
That all sin is divided into two parts.
One kind of sin is called a sin of commission, and that is very
important,
And it is what you are doing when you are doing something you
ortant,
And the other kind of sin is just the opposite and is called a sin of
omission and is equally bad in the eyes of all right-thinking
people, from Billy Sunday to Buddha,
And it consists of not having done something you shuddha.
I might as well give you my opinion of these two kinds of sin as long
as, in a way, against each other we are pitting them,
And that is, don't bother your head about sins of commission
because however sinful, they must at least be fun or else you
wouldn't be committing them.
It is the sin of omission, the second kind of sin,
That lays eggs under your skin.
The way you get really painfully bitten
Is by the insurance you haven't taken out and the checks you
haven't added up the stubs of and the appointments you
haven't kept and the bills you haven't paid and the letters you
haven't written.
Also, about sins of omission there is one particularly painful lack of
beauty,
Namely, it isn't as though it had been a riotous red-letter day or
night every time you neglected to do your duty;
You didn't get a wicked forbidden thrill
Every time you let a policy lapse or forgot to pay a bill;

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА
В ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СТАРОСТИ

Давно известно каждому школьнику — и даже каждой ученой женщине, если она к науке не глуха, —
Что на свете существует два вида греха.
Первый вид называется Грех Совершения, и грех этот важный и сложный,
И состоит он в совершении того, чего совершать не положено.
Второй вид греха — полная противоположность первому, и зовется он Грех Упущения, и грех этот столь же тяжкий, что передовыми праведниками всех времен — от Библи Санди до Будды — авторитетно доказано,
И он заключается в несовершении того, что вы делать должны и обязаны.
Я тоже хотел бы высказать мнение по поводу этих двух видов греха — сначала по поводу первого, чтоб со вторым не мешать его, —
А именно: из-за него не стоит терзаться, потому что Грех Совершения, как бы он ни был греховен, по крайней мере доставляет удовольствие — иначе кто бы стал совершать его?
Второй вид греха — Грех Упущения — менее гласный, Но зато он самый опасный.
Что причиняет истинные страдания?
Невнесенные взносы, неоплаченные счета, неподсчитанные расходы, ненаписанные письма и пропущенные свидания.
Кроме того, Грех Упущения носит весьма прозаический характер, до которого мы грешные не очень охочи:
Если вы не делаете того, что следует, для вас не наступают праздничные дни и тем паче египетские ночи.
Вас не охватывает блаженный экстаз
Всякий раз как вы не платите за свет и за газ;

You didn't slap the lads in the tavern on the back and loudly cry
Whee,
Let's all fail to write just one more letter before we go home, and
this round of unwritten letters is on me.
No, you never get any fun
Out of the things you haven't done,
But they are the things that I do not like to be amid,
Because the suitable things you didn't do give you a lot more
trouble than the unsuitable things you did.
The moral is that it is probably better not to sin at all, but if some
kind of sin you must be pursuing,
Well, remember to do it by doing rather than by not doing.

NATURE KNOWS BEST

I don't know exactly how long ago Hector was a pup,
But it was quite long ago, and even then people used to have to
start their day by getting up.
Yes, people have been getting up for centuries,
They have been getting up in palaces and Pullmans and
penitentiaries.
The caveman had to get up before he could go out and track the
brontosaurus,
Verdi had to get up before he could sit down and compose the
Anvil Chorus,
Alexander had to get up before he could go around being
dominant,
Even Rip Van Winkle had to get up from one sleep before he
could climb the mountain and encounter the sleep which has
made him prominent.
Well, birds are descended from birds and flowers are descended
from flowers,
And human beings are descended from generation after generation
of ancestors who got up at least once every twenty-four hours,

Вы не хлопаете по спине знакомых в таверне и не кричите:

«Друзья!

Давайте веселиться—не напишем еще по одному письму, и за все ненаписанные письма плачу я!»

В мире много утех для души и для тела, но

Нас не может осчастливить то, что нами не сделано.

И хоть все мы ожидаем от жизни благ—нам просто вынь да положь их,—

У нас бывает гораздо больше мороки от несовершенных нами хороших поступков, чем от совершенных нами нехороших.

Итак, если вы меня спросите, я скажу, что наверное лучше совсем не грешить, но уж если согрешить доведется без спроса вам,—

Грешите предпочтительно первым способом.

Перевод И. Комаровой

ПРИРОДЕ ВИДНЕЕ

Я не знаю точно, в каких местах находились первые человеческие поселения— пусть они уж давно опустели,—

Но могу поручиться, что даже там люди начинали каждый божий день с того, что вставали с постели.

Люди вылезали из-под одеяла на протяжении многовековой истории—

Во дворце и в пульмановском вагоне, в тюрьме и в санатории.

Первобытный человек должен был встать, прежде чем пойти добыть бронтозавра и утвердить себя как индивида;

Джузеппе Верди должен был встать, прежде чем сесть и сочинить свою бессмертную оперу «Аида»;

Александр Македонский должен был встать, прежде чем отправиться верхом на коне завоевывать новую местность;

Даже Рип ван Винкль должен был сперва проснуться, чтобы влезть на гору и погрузиться в следующий сон, который и принес ему мировую известность.

Что же получается? Синицы произошли от синиц, а предки незабудок были незабудки,

А люди ведут свой род от людей, которые из поколения в поколение вставали по меньшей мере раз в сутки.

And because birds are descended from birds they don't have
to be forced to sing like birds, instead of squeaking
like rats,
And because flowers are descended from flowers they don't have to
be forced to smell like flowers, instead of like burning rubber
or the Jersey flats,
But you take human beings, why their countless generations of
ancestors who were always arising might just as well have spent
all their lives on their mattresses or pallets,
Because their descendants haven't inherited any talent for getting
up at all, no, every morning they have to be forced to get up
either by their own conscience or somebody else's, or alarm
clocks or valets.
Well, there is one obvious conclusion that I have always held to,
Which is that if Nature had really intended human beings to get up,
why they would get up naturally and wouldn't have to be
compelled to.

DON'T GRIN, OR YOU'LL HAVE TO BEAR IT

It is better in the long run to possess an abscess or a tumor
Than to possess a sense of humor.
People who have senses of humor have a very good time,
But they never accomplish anything of note, either despicable or
sublime,
Because how can anybody accomplish anything immortal
When they realize they look pretty funny doing it and have to stop
to chortle?
Everybody admits that Michelangelo's little things in the Sistine
Chapel are so immortal they have everybody reeling,
But I'll bet he could never have dashed them off if he had
realized how undignified he looked lying up there with his
stomach on the ceiling.
Yes, fatal handicaps in life are fortunately few,

И поскольку синицы происходят от синиц, их не надо заставлять щебетать по-синичьи, а не изъясняться, скажем, в манере крысиной;

И поскольку незабудки пошли от незабудок, их не надо вынуждать пахнуть незабудками, а не мыловаренными заводами или жженой резиной.

Но на примере людей мы видим, что наши постоянно встававшие предки могли бы с тем же успехом всю жизнь провести на перине (кто побогаче) или на сене (кто попроще),

Потому что мы так и не научились вставать и делаем это каждое утро только под воздействием своей или чьей-нибудь совести, будильника или тещи.

Лично я давно пришел к выводу, который, впрочем, столь очевиден, что к нему мог бы прийти уже Гомер:

Если бы Природа действительно предназначила человека для того, чтобы он вставал по утрам,— он вставал бы естественным образом и без всяких принудительных мер.

Перевод И. Комаровой

НЕ УХМЫЛЯЙСЯ—СЕБЕ ДОРОЖЕ!

Лучше быть обладателем врожденной опухоли, или, выражаясь научно, тумора,

Чем иметь врожденное чувство юмора.

Люди, у которых есть чувство юмора, проводят время в общем неплохо,

Но они не совершат ничего выдающегося и ничем не обессмертят свою эпоху,

Потому что как они могут совершить что-нибудь выдающееся, если им сразу приходит в голову,

Что у них при этом дурацкий вид, и они немедленно бросают совершать и начинают давиться от смеха, хотя никто не понимает, что тут веселого.

Фрески Микеланджело в Сикстинской капелле настолько бессмертны, что от них люди падают в обморок, если доверять слухам;

Но я ручаюсь, что старик никогда бы не выдал эти фрески, вообрази он только, какое это смехотворное занятие — лежать под потолком кверху брюхом.

But the most fatal of all is the faculty of seeing the other person's
point of view,

And if your devoted mother suggests that you will some day be rich
and famous, why perish the suggestion;

That is, perish it if you are afflicted with the suspicion that there
are two sides to every question.

Good gracious, how could anybody corner wheat

If they were sissy enough to reflect that they were causing a lot of
other people to be unable to afford to eat?

Look at mayors and congressmen and presidents, always excepting
college presidents, such as Harvard's Conant;

Do you think they could get elected if they admitted even to
themselves that there was anything to be said for their
opponent?

No, no, genius won't get you as far as common everyday
facility

Unless it is accompanied by a conviction of infallibility,

And people who have a sense of humor are extremely gullible,

But not enough so, alas, to believe that they are infallible.

INTER-OFFICE MEMORANDUM

The only people who should really sin
Are the people who can sin with a grin,
Because if sinning upsets you,
Why, nothing at all is that it gets you.

Everybody certainly ought to eschew all offences however venial
As long as they are conscience's menial.
Some people suffer weeks of remorse after having committed
the slightest peccadillo,

По счастью, в жизни не так уж много роковых камней преткновения, но один из наиболее роковых — способность смотреть с чужой точки зрения.

Пусть ваша любящая мама пророчит вам богатство и славу — махните рукой на ее пророчества:

Если вы допускаете, что на каждую проблему можно посмотреть с двух сторон — мир не узнает вашей фамилии и тем паче имени-отчества.

В самом деле, как могли бы дельцы захватывать рынки и наживать тыщи,

Если б они вдруг начали слюняйничать и думать, что лишают кого-то пищи?

Возьмите к примеру мэров, сенаторов, президентов (за исключением Конанта из Гарварда!), а также прочее доблестное воинство:

Как могли бы они побеждать на выборах, если бы в душе признавали за противником хоть какие-нибудь достоинства?

Будь ты хоть семи пядей во лбу и путь свой добрыми намереньями вымости, —

Ты не добьешься даже минимума удобств, если не уверен в своей непогрешимости.

Люди, у которых есть чувство юмора, иногда демонстрируют завидную решимость, —

Но увы, они никак не могут решиться уверовать в собственную непогрешимость.

Перевод И. Комаровой

МЕМОРАНДУМ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Я разрешил бы грешить только лицам,
Которые безмятежностью подобны птицам,
Потому что если вы не можете грешить без дрожи,
То это выходит себе дороже.

Не стоит соблазняться даже мелким грешком,
Если вы у совести под башмаком.

Одни люди раскаиваются на миллион, согрешив на две ломаные полушки,

And other people feel perfectly all right after feeding their husbands arsenic or smothering their grandmother with a pillow.

Some people are perfectly self-possessed about spending their lives on the verge of delirium tremens,

And other people feel like hanging themselves on a coathook just because they took that extra cocktail and amused their fellow guesses with recitations from the poems of Mrs. Hemans.

Some people calmly live a barnyard life because they find monogamy dull and arid,

And other people have sinking spells if they dance twice in an evening with a laddy to whom they aren't married.

Some people feel forever lost if they are riding on a bus and the conductor doesn't collect their fare,

And other people ruin a lot of widows and orphans and all they think is, Why there's something in this business of ruining widows and orphans, and they go out and ruin some more and get to be a millionaire.

Now it is not the purpose of this memorandum, or song,

To attempt to define the difference between right and wrong;

All I am trying to say is that if you are one of the unfortunates who recognize that such a difference exists,

Well, you had better oppose even the teensiest temptation with clenched fists,

Because if you desire peace of mind it is all right to do wrong if it never occurs to you that it is wrong to do it,

Because you can sleep perfectly well and look the world in the eye after doing anything at all so long as you don't rue it,

While on the other hand nothing at all is any fun

So long as you yourself know it is something you shouldn't have done.

There is only one way to achieve happiness on this terrestrial ball, And that is to have either a clear conscience, or none at all.

А другие посвистывают, отравив мужа мышьяком или придушив бабушку при помощи подушки.

Одни не теряют самообладания, проводя дни на грани *delirium tremens*,

А другие готовы повеситься на вешалке, если выпили на именинах лишний коктейль и развлекали гостей стихами миссис Хеманс.

Одни не испытывают склонности к моногамии и ведут себя как известные домашние пернатые,

А другие впадают в глубокую депрессию, если протанцуют два танго подряд с дамой, на которой они не женатые.

Один, не уплатив за проезд в автобусе, считает, что ад для него — слишком мягкая мера,

А другой разоряет сырых и вдовых и порой настолько входит во вкус, что разоряет все новых и новых — и превращается в миллионера.

Я не собираюсь лезть направо

И определять, в чем разница между добром и злом,

Но если вы относитесь к злополучному меньшинству, признающему, что такая разница есть,—я вам советую прямо и грубо:

Противьтесь наимельчайшим искушениям, сжав кулаки и по возможности зубы.

Если вы стремитесь к душевному покою, совершать зло можно только при условии, если вам никогда не приходит в голову, что вы совершаете зло;

И если вы при этом спите спокойно и смотрите миру прямо в глаза — считайте, что вам повезло.

Но если вы начинаете думать, что делать зло, пожалуй, не стоило и что вообще вы такой и сякой,—

Проститесь с надеждой на душевный покой.

Итак, я позволю себе сказать в заключение этой печальной повести:

Для счастья нужна либо чистая совесть, либо чистое отсутствие совести.

* * *

“O where are you going?” said reader to rider,
“That valley is fatal when furnaces burn,
Yonder’s the midden whose odours will madden,
That gap is the grave where the tall return.”

“O do you imagine,” said fearer to farer,
“That dusk will delay on your path to the pass,
Your diligent looking discover the lacking,
Your footsteps feel from granite to grass?”

“O what was that bird,” said horror to hearer,
“Did you see that shape in the twisted trees?
Behind you swiftly the figure comes softly,
The spot on your skin is a shocking disease?”

“Out of this house”—said rider to reader,
“Yours never will”—said farer to fearer,
“They’re looking for you”—said hearer to horror,
As he left them there, as he left them there.

WHO’S WHO

A shilling life will give you all the facts:
How Father beat him, how he ran away,
What were the struggles of his youth, what acts
Made him the greatest figure of his day:
Of how he fought, fished, hunted, worked all night,

* * *

«Куда ты,—наезднику молвил начетчик,—
В юдоли той, политой кровью, сгоришь,
Там запах дурмана страшной урагана,
Там в ров для таких храбрецов угодишь».

«Представь-ка,—пытливому начал пугливый,—
Там ворохом праха завалит проход,
Там, как ни глазей, не отыщешь лазейки,
Земля вкругаля из-под ног там пойдет».

«Взгляни же,—сказал домосед непоседе,—
В седло ль к этой птице садиться спиной,
Вмиг с ветки сорвется, и в шею вопьется,
И крови напьется с мукой костяной».

«Поеду»,—начетчику молвил наездник.
«Я справлюсь»,—пугливому начал пытливый.
«Тебя,—непоседа сказал домоседу,—
Съест птица, а я вот уеду без следу».

Перевод В. Топорова

КТО ЕСТЬ КТО

Грошешая биография подробно все собрала:
Как его бил отец, как он сбежал из дома,
Как в юности бедовал, какие такие дела
Его превратили в личность, которая всем знакома.
Как воевал и рыбачил, трудился дни напролет,

Though giddy, climbed new mountains; named a sea:
Some of the last researchers even write
Love made him weep his pints like you and me.

With all his honours on, he sighed for one
Who, say astonished critics, lived at home;
Did little jobs about the house with skill
And nothing else; could whistle; would sit still
Or potter round the garden; answered some
Of his long marvellous letters but kept none.

MUSÉE DES BEAUX ARTS

About suffering they were never wrong,
The Old Masters: how well they understood
Its human position; how it takes place
While someone else is eating or opening a window or just walking
dully along;
How, when the aged are reverently, passionately waiting
For the miraculous birth, there always must be
Children who did not specially want it to happen, skating
On a pond at the edge of the wood:
They never forgot
That even the dreadful martyrdom must run its course
Anyhow in a corner, some untidy spot
Where the dogs go on with their doggy life and the torturer's
horse
Scratches its innocent behind on a tree.

In Brueghel's *Icarus*, for instance: how everything turns away
Quite leisurely from the disaster; the ploughman may
Have heard the splash, the forsaken cry,
But for him it was not an important failure; the sun shone
As it had to on the white legs disappearing into the green
Water; and the expensive delicate ship that must have seen
Something amazing, a boy falling out of the sky,
Had somewhere to get to and sailed calmly on.

Морю дал имя, лез, теряя сознание, на горы,
И даже, как мы, по свидетельству новых работ,
Рыдал от любви, хоть это и вызывает споры.

Биографы поражены лишь одною его чертой,—
Что он при всей своей славе вздыхал все время о той,
Которая содержала в идеальном порядке дом,
Свистела, блуждая по саду в сумерках скоротечных,
И отвечала на некоторые из его бесконечных
Длинных писем, которых никто не видел потом...

Перевод П. Грушко

В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

На страданья у них был наметанный глаз.
Старые мастера, как точно они замечали,
Где у человека болит, как это в нас,
Когда кто-то ест, отворяет окно или бродит в печали,
Как рядом со старцами, которые почтительно ждут
Божественного рождения, всегда есть дети,
Которые ничего не ждут, а строгоют коньками пруд
У самой опушки,—

художники эти

Знали—страшные муки идут своим чередом
В каком-нибудь закоулке, а рядом
Собаки ведут свою собачью жизнь, повсюду содом,
А лошадь истязателя

спокойно трется о дерево задом.

В «Икаре» Брейгеля, в гибельный миг,
Все равнодушны, пахарь—словно незрячий:
Наверно, он слышал всплеск и отчаянный крик,
Но для него это не было смертельною неудачей,—
Под солнцем белели ноги, уходя в зеленое лоно
Воды, а изящный корабль, с которого не могли
Не видеть, как мальчик падает с небосклона,
Был занят плаваньем,

все дальше уплывал от земли...

Перевод П. Грушко

LULLABY

Lay your sleeping head, my love,
Human on my faithless arm;
Time and fevers burn away
Individual beauty from
Thoughtful children, and the grave
Proves the child ephemeral:
But in my arms till break of day
Let the living creatures lie,
Mortal, guilty, but to me
The entirely beautiful.

Soul and beauty have no bounds:
To lovers as they lie upon
Her tolerant enchanted slope
In their ordinary swoon,
Grave the vision Venus sends
Of supernatural sympathy,
Universal love and hope;
While an abstract insight wakes
Among the glaciers and the rocks
The hermit's sensual ecstasy.

Certainty, fidelity
On the stroke of midnight pass
Like vibrations of a bell,
And fashionable madmen rise
Their pedantic boring cry:
Every farthing of the cost,
All the dreaded cards foretell,
Shall be paid, but from the night
Not a whisper, not a thought,
Nor a kiss nor look be lost.

Beauty, midnight, vision dies:
Let the winds of dawn that blow
Softly round your dreaming head

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Любовь моя, челом уснувшим тронь
Мою предать способную ладонь.
Стирает время, сушит лихорадка
Всю красоту детей, их внешний вид,
И стылая могила говорит,
Насколько детское мгновенье кратко.
Но пусть дрожит иное существо
В моих объятьях до лучей рассветных,—
Из всех виновных, смертных, безответных
Лишь ты отрада сердца моего.

Плоть и душа не ведают преград:
Любовникам, когда они лежат
На склоне зачарованном Венеры
В очередном беспамятстве, она
Ниспосылает свет иного сна—
Зарницу истинной любви и веры.
В то время, как пустынный среди скал
С его весьма абстрактным умозреньем,
Настигнутый любовным озареньем,
Испытывает плотских чувств накал.

Уверенность и вера канут в сон,
Как ночью зыбкий колокольный звон,
Который иссякает в дальней дали.
А новомодные педанты в крик:
На все есть цены, оплаты, должник,
Все, что им карты мрачно нагадали,—
Все ценности по ценнику тщеты!..
Но эта ночь пусть сохранит до крохи
Все мысли, поцелуи, взгляды, вздохи
Того, что в этом мире—я и ты.

Все бренно—красота, виденья, мгла.
Так пусть дремоту твоего чела
Рассвет ласкает ветерком спокойным,

Such a day of sweetness show
Eye and knocking heart may bless,
Find the mortal world enough;
Noons of dryness see you fed
By the involuntary powers,
Nights of insult let you pass
Watched by every human love.

IN MEMORY OF W. B. YEATS

d. Jan. 1939

I

He disappeared in the dead of winter:
The brooks were frozen, the airports almost deserted,
And snow disfigured the public statues;
The mercury sank in the mouth of the dying day.
What instruments we have agree
The day of his death was a dark cold day.

Far from his illness
The wolves ran on through the evergreen forests,
The peasant river was untempted by the fashionable quays;
By mourning tongues
The death of the poet was kept from his poems.

But for him it was the last afternoon as himself,
An afternoon of nurses and rumours;
The provinces of his body revolted,
The squares of his mind were empty,
Silence invaded the suburbs,
The current of his feeling failed; he became his admirers.

Now he is scattered among a hundred cities
And wholly given over to unfamiliar affections;

Пусть наградит тебя он днем таким,
Чтоб взгляд и сердце восхищались им,
Найдя наш смертный мир вполне достойным.
Пусть видит полдень, полный духоты,
Что ты — источник силы животворной,
А полночь, полная обиды черной, —
Как взорами людей любима ты.

Перевод П. Грушко.

ПАМЯТИ У. Б. ЙЕЙТСА

(скончавшегося в январе 1939 года)

I

Он исчез в тусклой стуже:
Оцепенели реки, опустели аэропорты,
Снег исказил статуи.
Во рту меркнувшего дня упала ртуть.
О да, вся метеорология согласна —
День этой смерти был темным холодным днем.

Вдалеке от его умиранья
Волки продолжали рыскать по лесам.
Сельскую речку не обольстили модные парапеты.
Глаголы траура
Не пустили в строки смерть.

А для него был последний полдень самого себя,
Полдень санитарок и шепотов;
Захолустья тела взбунтовались,
Площади разума опустели,
Предместья обезголосило молчанье,
Родники чувств пересохли;
Он воплотился в своих почитателей.

И вот, раскиданный по сотням городов,
Он без остатка роздан незнакомым чувствам,

To find his happiness in another kind of world
And be punished under a foreign code of conscience.
The words of a dead man
Are modified in the guts of the living.

But in the importance and noise of to-morrow
When the brokers are roaring like beasts on the floor of the Bourse,
And the poor have the sufferings to which they are fairly
accustomed,
And each in the cell of himself is almost convinced in his freedom,
A few thousand will think of this day
As one thinks of a day when one did something slightly unusual.
What instruments we have agree
The day of his death was a dark cold day.

II

You were silly like us; your gift survived it all;
The parish of rich women, physical decay,
Yourself: mad Ireland hurt you into poetry.
Now Ireland has her madness and her weather still,
For poetry makes nothing happen: it survives
In the valley of its saying where executives
Would never want to tamper; it flows south
From ranches of isolation and the busy griefs,
Raw towns that we believe and die in; it survives,
A way of happening, a mouth.

III

Earth, receive an honoured guest:
William Yeats is laid to rest.
Let the Irish vessel lie
Emptied of its poetry.

Time that is intolerant
Of the brave and innocent

Чтобы делаться счастливым в иных лесах
И расплачиваться по законам не своей совести.
Слова умершего
Пресуществляются в живущих.

Но в галдящем и некоем завтра,
Где маклеры рычат на биржах,
Где бедняк притерпелся к бедности,
И в одиночке своего «я» каждый почти убежден
В собственной свободе,
Сколько-то тысяч не забудут этого дня,
Как не забываешь день, в который решился на необычное.
О да, вся метеорология согласна —
День этой смерти был темным холодным днем.

II

Ты был глупцом, как мы; все пережил твой дар:
Причт доброхотных женщин, тебя, твое старенье;
Тебя до стихотворства довела безумная Ирландия.
Сейчас в Ирландии бред и погода те же —
Поэзия ничто не изменяет; поэзия живет
В долинах слов своих; практические люди
Ею не озабочены; течет она, чиста,
От ранчо одиночеств и сумятиц
До стылых городов, где веруем и умираем мы,
И выживает. Сама — событие и сама — уста.

III

Отворяй врата, погост,—
Вильям Йейтс — почетный гость!
Бесстиховно в твой приют
Лег Ирландии сосуд.

Время, коему претит
Смелых и невинных вид,

And indifferent in a week
To a beautiful physique,

Worships language and forgives
Everyone by whom it lives;
Pardons cowardice, conceit,
Lays its honours at their feet.

Time that with this strange excuse
Pardoned Kipling and his views,
And will pardon Paul Claudel,
Pardons him for writing well.

In the nightmare of the dark
All the dogs of Europe bark,
And the living nations wait,
Each sequestered in its hate;

Intellectual disgrace
Stares from every human face,
And the seas of pity lie
Locked and frozen in each eye.

Follow, poet, follow right
To the bottom of the night,
With your unconstraining voice
Still persuade us to rejoice;

With the farming of a verse
Make a vineyard of the curse,
Sing of human unsuccess
In a rapture of distress;

In the deserts of the heart
Let the healing fountain start,
In the prison of his days
Teach the free man how to praise.

Краткий положив предел
Совершенству в мире тел,

Речь боготворя, простит
Тех лишь, в ком себя же длит;
Трус ли, гордый ли — у ног
Полагает им венок.

Время, коим был взращен
Редьярд Киплинг и прощен —
И Клоделю все простит,
Ибо слог боготворит.

Лают в европейский мрак
Своры тамошних собак,
Всякий сущий там народ
Злобу сеет — горе жнет.

Объявляет каждый взор
Свой мыслительный позор.
Реки жалости в слезах
Заморожены в глазах.

Пой, поэт, с тобой, поэт,
В бездну ночи сходит свет.
Голос дерзко возвышай,
Утверди и утешай.

Обрабатывая стих,
Пой злосчастья малых сих,
Пестуй на проклятье их
Вертоград в строках своих.

Пусть иссохшие сердца
Напоит родник творца;
Ты хвале учи людей
В заточенье их же дней.

THE UNKNOWN CITIZEN

*(To JS/07/M/378
This Marble Monument
Is Erected by the State)*

He was found by the Bureau of Statistics to be
One against whom there was no official complaint,
And all the reports on his conduct agree
That, in the modern sense of an old-fashioned word, he was
a saint,
For in everything he did he served the Greater Community.
Except for the War till the day he retired
He worked in a factory and never got fired,
But satisfied his employers, Fudge Motors Inc.
Yet he wasn't a scab or odd in his views,
For his Union reports that he paid his dues,
(Our report on his Union shows it was sound)
And our Social Psychology workers found
That he was popular with his mates and liked a drink.
The Press are convinced that he bought a paper every day
And that his reactions to advertisements were normal in every way.
Policies taken out in his name prove that he was fully insured,
And his Health-card shows he was once in hospital but left
it cured.
Both Producers Research and High-Grade Living declare
He was fully sensible to the advantages of the Instalment Plan
And had everything necessary to the Modern Man,
A phonograph, a radio, a car and a frigidaire.
Our researchers into Public Opinion are content
That he held the proper opinions for the time of year;
When there was peace, he was for peace; when there was war, he
went.
He was married and added five children to the population,
Which our Eugenist says was the right number for a parent of his
generation,
And our teachers report that he never interfered with their
education.
Was he free? Was he happy? The question is absurd:
Had anything been wrong, we should certainly have heard.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН

*Этот мраморный монумент
воздвигнут за счет государства
в честь ХС/07/М/378*

Бюро Статистики подтвердило снова,
Что он не судился, все данные говорят:
В современном смысле старомодного слова
Он праведник, внесший свой скромный вклад
В развитие нашей Великой Страны.
С самой юности до пенсионного года
Он ни разу (исключая годы войны)
Не увольнялся со своего завода.
В Кукиш-Моторс ему всегда были рады:
Не штрейкбрехер, достойные взгляды,
Профсоюзные взносы уплачивал в срок.
(Профсоюз положительный), означенный парень
По мнению Психологов был популярен
На службе, и выпивка шла ему впрок.
Каждый день он покупал по газете,
Реакция на Рекламу была первый класс,
Застрахованный от всего на свете,
Он в Больнице, однако, был только раз.
Согласно Вестнику высших сфер,
Он был поклонник Системы Рассрочек,
Имел все вещи и, среди прочих,
Радиолу, машину, кондиционер.
По мнению Службы общественных мнений,
Во взглядах его был здравый резон:
Если был мир—за мир был и он,
А война—он шел на войну. Тем не менее
Он выжил, имел пятерых детей,
Наш Демограф писал в одной из статей
О количестве этом как об идеале.
В Школе был смирным, правильно рос.
Был ли счастлив? Свободен? Станный вопрос:
Если б не был, мы бы об этом знали.

SEPTEMBER 1, 1939

I sit in one of the dives
On Fifty-second Street
Uncertain and afraid
As the clever hopes expire
Of a low dishonest decade:
Waves of anger and fear
Circulate over the bright
And darkened lands of the earth,
Obsessing our private lives;
The unmentionable odour of death
Offends the September night.

Accurate scholarship can
Unearth the whole offence
From Luther until now
That has driven a culture mad,
Find what occurred at Linz,
What huge imago made
A psychopathic god:
I and the public know
What all schoolchildren learn,
Those to whom evil is done
Do evil in return.

Exiled Thucydides knew
All that a speech can say
About Democracy,
And what dictators do,
The elderly rubbish they talk
To an apathetic grave;
Analysed all in his book,
The enlightenment driven away,
The habit-forming pain,
Mismanagement and grief:
We must suffer them all again.

1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА

Я дрожу в ресторанчике
На Пятьдесят Второй
Улице, в тусклом свете
Гибнут надежды умников
Бесчестного десятилетия:
Волны злобы и страха
Плывут над светлой землей,
Над затемненной землей,
Поглощая частные жизни;
Тошнотворным запахом смерти
Оскорблен вечерний покой.

Точный ученый может
Взвесить наши грехи
От лютеровских времен
До наших времен, когда
Европа сходит с ума;
Наглядно покажет он,
Из какой личинки возник
Шизофреничный кумир;
Мы знаем по школьным азам,
Кому причиняют зло,
Зло причиняет сам.

Уже изгой Фукидид
Знал все наборы слов
О демократии,
И все тиранов пути,
И прочий замшелый вздор,
Рассчитанный на мертвецов.
Он сумел рассказать,
Как знания гонят прочь,
Как входит в привычку боль,
И как смысл теряет закон.
И все предстоит опять!

Into this neutral air
Where blind skyscrapers use
Their full height to proclaim
The strength of Collective Man,
Each language pours its vain
Competitive excuse:
But who can live for long
In an euphoric dream;
Out of the mirror they stare,
Imperialism's face
And the international wrong.

Faces along the bar
Cling to their average day:
The lights must never go out,
The music must always play,
All the conventions conspire
To make this fort assume
The furniture of home;
Lest we should see where we are,
Lost in a haunted wood,
Children afraid of the night
Who have never been happy or good.

The windiest militant trash
Important Persons shout
Is not so crude as our wish:
What mad Nijinsky wrote
About Diaghilev
Is true of the normal heart;
For the error bred in the bone
Of each woman and each man
Craves what it cannot have,
Not universal love
But to be loved alone.
From the conservative dark
Into the ethical life
The dense commuters come,
Repeating their morning vow;
"I *will* be true to the wife,

В этот нейтральный воздух,
Где небоскребы всей
Своей высотой утверждают
Величье Простых Людей,
Радио тщетно вливает
Убогие оправдания.
Но можно ли долго жить
Мечтою о процветании,
Когда в окно сквозь стекло
Смотрит империализм
И международное зло?

Люди за стойкой стремятся
По заведенному жить:
Джаз должен вечно играть,
А лампы вечно светить.
На конференциях тшатася
Обставить мебелью доты,
Придать им сходство с жильем,
Чтобы мы, как бедные дети,
Страшащиеся темноты,
Брели в проклятом лесу
И не знали, куда бредем.

Воинственная чепуха
Из уст Высоких Персон
В нашей крови жива,
Как первородный грех.
То, что безумный Нижинский
О Дягилеве сказал,
В общем верно для всех:
Каждое существо
Хочет не всех любить,
Скорее, наоборот,—
Чтобы все любили его.

Владельцы сезонных билетов,
В консервативном мраке
Пробуждаясь к моральной жизни,
Клянутся себе поутру:

I'll concentrate more on my work,"
And helpless governors wake
To resume their compulsory game:
Who can release them now,
Who can reach the deaf,
Who can speak for the dumb?

All I have is a voice
To undo the folded lie,
The romantic lie in the brain
Of the sensual man-in-the-street
And the lie of Authority
Whose buildings grope the sky:
There is no such thing as the State
And no one exists alone;
Hunger allows no choice
To the citizen or the police;
We must love one another or die.

Defenceless under the night
Our world in stupor lies;
Yet, dotted everywhere,
Ironic points of light
Flash out wherever the Just
Exchange their messages:
May I, composed like them
Of Eros and of dust,
Beleaguered by the same
Negation and despair,
Show an affirming flame.

IN PRAISE OF LIMESTONE

If it form the one landscape that we the inconstant ones
Are consistently homesick for, this is chiefly
Because it dissolves in water. Mark these rounded slopes
With their surface fragrance of thyme and beneath

«Я буду верен жене,
И все пойдет по-иному».
Просьпаясь, вступают вояки
В навязанную игру.
Но кто поможет владыкам?
Кто заговорит за негого?
Кто скажет правду глухому?

Мне дарован язык,
Чтобы избавить от пут,
От романтической лжи
Мозг человека в толпе,
От лжи бессильных Властей,
Чьи здания небо скребут.
Нет никаких Государств.
В одиночку не уцелеть.
Горе сравняло всех.
Выбор у нас один:
Любить или умереть.

В глупости и в ночи
Погряз беззащитный мир;
Мечутся азбукой Морзе,
Пляшут во тьме лучи —
Вершители и справедливцы
Шлют друг другу послания.
Я, как и все, порождение
Эроса и земли,
В отчаяньи всеотрицания,—
О если бы я сумел
Вспыхнуть огнем утверждения!

Перевод А. Сергеева

ХВАЛА ИЗВЕСТНЯКУ

Переменчивых нас постоянная ностальгия
Возвращает к известняку, ибо этот камень
Растворяется в море. Вот они, круглые склоны
С надземным запахом тмина, с подземной системой

A secret system of caves and conduits; hear these springs
That spurt out everywhere with a chuckle
Each filling a private pool for its fish and carving
Its own little ravine whose cliffs entertain
The butterfly and the lizard; examine this region
Of short distances and definite places:
What could be more like Mother or a fitter background
For her son, the flirtatious male who lounges
Against a rock in the sunlight, never doubting
That for all his faults he is loved; whose works are but
Extensions of his power to charm? From weathered outcrop
To hill-top temple, from appearing waters to
Conspicuous fountains, from a wild to a formal vineyard,
Are ingenious but short steps that a child's wish
To receive more attention than his brothers, whether
By pleasing or teasing, can easily take.

Watch, then, the band of rivals as they climb up and down
Their steep stone gennels in twos and threes, sometimes
Arm in arm, but never, thank God, in step; or engaged
On the shady side of a square at midday in
Volatile discourse, knowing each other too well to think
There are any important secrets, unable
To conceive a god whose temper-tantrums are moral
And not to be pacified by a clever line
Or a good lay: for, accustomed to a stone that responds,
They have never had to veil their faces in awe
Of a crater whose blazing fury could not be fixed;
Adjusted to the local needs of valleys
Where everything can be touched or reached by walking,
Their eyes have never looked into infinite space
Through the lattice-work of a nomad's comb; born lucky,
Their legs have never encountered the fungi
And insects of the jungle, the monstrous forms and lives
With which we have nothing, we like to hope, in common.

Пещер и потоков: прислушайся, как повсюду
Кудахчут ручьи — и каждый свое озерко
Наполняет для рыб и свой овраг прорезает
На радость ящеркам и мотылькам: взглядиcь
В страну небольших расстояний и четких примет:
Ведь это же Мать-Земля — да и где еще может
Ее непослушный сын под солнцем на камне
Разлечься и знать, что его за грехи не разлюбят,
Ибо в этих грехах — половина его обаянья?
От крошащейся кромки до церковки на вершине,
От стоячей лужи до шумного водопада,
От голой поляны до чинного виноградника —
Один простодушный шаг, он по силам ребенку,
Который ласкается, кается или буянит,
Чтобы привлечь к себе внимание старших.

Теперь взгляни на парней — как по двое, по трое
Они шагают на кручи, порой рука об руку,
Но никогда, слава Богу, не по-солдатски в ногу;
Как в полдень в тени на площади яростно спорят,
Хотя ничего неожиданного друг другу
Не могут сказать — и не могут себе представить
Божество, чей гнев упирается в принцип
И не смягчается ловкою поговоркой
Или доброй балладой: они привыкли считать,
Что камень податлив, и не шарахались в страхе
Перед вулканом, чью злобу не укротишь;
Счастливые уроженцы долин, где до цели
Легко дотянуться или дойти пешком,
Никогда они не видали бескрайней пустыни
Сквозь сетку самума и никогда не встречали
Ядовитых растений и насекомых в джунглях —
Да и что у нас может быть общего с этой жутью!
Другое дело сбившийся с толку парень,
Который сбывает фальшивые бриллианты,

So, when one of them goes to the bad, the way his mind works
Remains comprehensible: to become a pimp
Or deal in fake jewellery or ruin a fine tenor voice
For effects that bring down the house could happen to all
But the best and the worst of us...

That is why, I suppose,
The best and worst never stayed here long but sought
Immoderate soils where the beauty was not so external,
The light less public and the meaning of life
Something more than a mad camp. "Come!" cried the granite wastes,
"How evasive is your humour, how accidental
Your kindest kiss, how permanent is death." (Saints-to-be
Slipped away sighing.) "Come!" purred the clays and gravels.
"On our plains there is room for armies to drill; rivers
Wait to be tamed and slaves to construct you a tomb
In the grand manner: soft as the earth is mankind and both
Need to be altered." (Intendent Caesars rose and
Left, slamming the door.) But the really reckless were fetched
By an older colder voice, the oceanic whisper:
"I am the solitude that asks and promises nothing;
That how I shall set you free. There is no love;
There are only the various envies, all of them sad."

They were right, my dear, all those voices were right
And still are; this land is not the sweet home that it looks,
Nor its peace the historical calm of a site
Where something was settled once and for all: A backward
And delapidated province, connected
To the big busy world by a tunnel, with a certain
Seedy appeal, is that all it is now? Not quite:
It has a worldly duty which in spite of itself
It does not neglect, but calls into question
All the Great Powers assume; it disturbs our rights. The poet,
Admired for his earnest habit of calling

Стал сутенером или пропил прекрасный тенор—

Такое может случиться со всеми нами,

Кроме самых лучших и худших...

Не оттого ли

Лучших и худших влечет неумеренный климат,

Где красота не лежит на поверхности, свет сокровенней,

А смысл жизни серьезней, чем пьяный пикник.

«Придите! — кричит гранит. — Как уклончив ваш юмор,

Как редок ваш поцелуй и как непременно гибель!»

(Кандидаты в святые тихонько уходят.) «Придите! —

Мурлыкают глина и галька. — На наших равнинах

Простор для армий, а реки ждут обузданья.

И рабы возведут вам величественные гробницы:

Податливо человечество, как податлива почва,

И планета и люди нуждаются в переустройстве».

(Кандидаты в Цезари громко хлопают дверью.)

Но самых отчаянных увлекал за собою

Древний холодный свободный зов океана:

«Я — одиночество, и ничего не требую,

И ничего не сулю вам, кроме свободы;

Нет любви, есть только вражда и грусть».

Голоса говорили правду, мой милый, правду;

Этот край только кажется нашим прекрасным домом,

И покой его — не затишье Истории в точке,

Где все разрешилось однажды и навсегда.

Он — глухая провинция, связанная тоннелем

С большим деловитым миром и робко прелестная —

И это все? Не совсем: Каков бы он ни был,

Он соблюдает свой долг перед внешним миром,

Под сомнение ставя права Великих Столиц

И личную славу. Поэт, хвалимый за честность,

Ибо привык называть солнце — солнцем,

А ум свой — Загадкой, здесь не в своей тарелке:

Массивные статуи не принимают его

Антимифологический миф; озорные мальчишки

Под черепичными переходами замка

Осаждают ученого сотней житейских вопросов

The sun the sun, his mind Puzzle, is made uneasy
By these solid statues which so obviously doubt
His antimythological myth; and these gamins,
Pursuing the scientist down the tiled colonnade
With such lively offers, rebuke his concern for Nature's
Remotest aspects: I, too, am reproached, for what
And how much you know. Not to lose time, not to get caught,
Not to be left behind, not, please! to resemble
The beasts who repeat themselves, or a thing like water
Or stone whose conduct can be predicted, these
Are our Common Prayer, whose greatest comfort is music
Which can be made anywhere, is invisible,
And does not smell. In so far as we have to look forward
To death as a fact, no doubt we are right: but if
Sins can be forgiven, if bodies rise from the dead,
These modifications of matter into
Innocent athletes and gesticulating fountains,
Made solely for pleasure, make a further point:
The blessed will not care what angle they are regarded from,
Having nothing to hide. Dear, I know nothing of
Either, but when I try to imagine a faultless love
Or the life to come, what I hear is the murmur
Of underground streams, what I see is a limestone landscape.

THE SHIELD OF ACHILLES

She looked over his shoulder
For vines and olive trees,
Marble well-governed cities
And ships upon untamed seas,
But there on the shining metal
His hands had put instead
An artificial wilderness
And a sky like lead.

И соображений и этим корят за пристрастье
К отвлеченным аспектам Природы; я тоже слышал
Такие упреки—за что и сколько, ты знаешь.
Не терять ни минуты, не отставать от ближних
И ни в коем случае не походить на животных,
Которые лишь повторяют себя, ни на камень
И воду, о которых заранее все известно,—
Вот суть Англиканской Обедни; она утешает
Музыкой (музыку можно слушать где хочешь),
Но нет в ней пищи для зренья и обонянья.
Если мы видим в смерти конечную данность,
Значит, мы молимся так, как надо; но если
Грехи отпустятся и мертвецы восстанут,
То преобразование праха в живую радость
Невинных атлетов и многоруких фонтанов
Заставляют подумать подальше: блаженным будет
Безразлично, с какой колокольни на них посмотрят,
Ибо им утаивать нечего. Мой дорогой,
Не мне рассуждать, кто прав и что будет потом.
Но когда я пытаюсь представить любовь без изъяна
Или жизнь после смерти, я слышу одно струенье
Подземных потоков и вижу один известняк.

Перевод А. Сергеева

ЩИТ АХИЛЛА

Хотела, чтобы вышла
Лоза из янтаря,
И мраморные грады,
И вольные моря,
Но пламенем металла
Изобразил кузнец
Потемки запустенья
И небо как свинец.

A plain without a feature, bare and brown,
No blade of grass, no sign of neighbourhood,
Nothing to eat and nowhere to sit down,
Yet, congregated on its blankness, stood
An unintelligible multitude.
A million eyes, a million boots in line,
Without expression, waiting for a sign.

Out of the air a voice without a face
Proved by statistics that some cause was just
In tones as dry and level as the place:
No one was cheered and nothing was discussed;
Column by column in a cloud of dust
They marched away enduring a belief
Whose logic brought them, somewhere else, to grief.

She looked over his shoulder
For ritual pieties,
White flower-garlanded heifers,
Libation and sacrifice,
But there on the shining metal
Where the altar should have been,
She saw by his flickering forge-light
Quite another scene.

Barbed wire enclosed an arbitrary spot
Where bored officials lounged (one cracked a joke)
And sentries sweated for the day was hot:
A crowd of ordinary decent folk
Watched from without and neither moved nor spoke
As three pale figures were led forth and bound
To three posts driven upright in the ground.

The mass and majesty of this world, all
That carries weight and always weight the same
Lay in the hands of others; they were small
And could not hope for help and no help came:
What their foes liked to do was done, their shame

Край безобразный, бурый и нагой—
 Ни зелени, ни признака жилища,
Есть нечего, стать некуда ногой,—
 И все ж, как пыль, слетясь на пепелище,
 Восстали тыщи в ряд, и следом—тыщи,—
Но тыщи глаз над тыщами сапог
Мертвы, пока приказ их не разжег.

И голосом, идущим ниоткуда,
 Зачтен до грамма взвешенный приказ
(И слог, и смысл подлее, чем Иуда),
 Не подлежащий обсуждению масс,
 Колоннами на марше ставших враз,
Чтоб, наступая, с логикой железной
Дойти до края и сродниться с бездной.

Хотела, чтобы вышел
 Упитанный телец,
Алтарь, богам угодный,
 Богам послушный жрец,
Но в пламени металла—
 Где стать бы алтарю,—
Дрожа, распознавала
 Кровавую зарю.

Вершится суд военно-полевой,
 Скучают судьи, вяло зубоскаля,
Исходит потом в жуткий зной конвой,
 Толпа робка за проволочной сталью
 (А может, их связали, рот зажали?),
Никто не шевельнется, воздух тих,
Пока ведут на плаху тех троих.

Величие и вес—иначе: мощь—
 Порукою не жертвы, а суда,
Спасенье—не про тех, кто мал и тощ,
 Надеяться не надо никогда;
 Страх умертвил их и лишил стыда—

Was all the worst could wish; they lost their pride
And died as men before their bodies died.

She looked over his shoulder
For athletes at their games,
Men and women in a dance
Moving their sweet limbs
Quick, quick, to music,
But there on the shining shield
His hands had set no dancing-floor
But a weed-choked field.

A ragged urchin, aimless and alone,
Loitered about that vacancy, a bird
Flew up to safety from his well-aimed stone:
That girls are raped, that two boys knife a third,
Were axioms to him, who'd never heard
Of any world where promises were kept.
Or one could weep because another wept.

The thin-lipped armourer,
Hephaestos hobbled away,
Thetis of the shining breasts
Cried out in dismay
At what the god had wrought
To please her son, the strong
Iron-hearted man-slaying Achilles
Who would not live long.

Нечеловеком, в ноги палачу
Пал каждый с тяжким воплем: «Не хочу!»

Хотела, чтобы вышли,
Прекрасны и стройны,
Могучие атлеты,
Лихие плясуны,
Свет солнца и луны,
Но на щите широком
Он поместил не рай,
А край, убитый Роком.

Заморыш, одичавший без отца,
Бьет птицу камнем влет. Но не попал.
Юнцы ножом прикончили юнца.
Кто смог взять деву силой, тот и взял.—
Такой и лишь такую представлял
Он землю, где любовь и состраданье
Есть нечто из другого мирозданья.

Бог непрекраснодушный,
Гефест хромает прочь.
Фетида безутешно
Полощет криком ночь:
Ахилл жестокосердый,
Кому сковали щит,
Погубит тыщи смертных
И сам падет убит.

Перевод В. Топорова

1 SEPTEMBER 1939

The first, scattering rain on the Polish cities.
That afternoon a man squat' on the shore
Tearing a square of shining cellophane.
Some easily, some in evident torment tore,
Some for a time resisted, and then burst.
All this depended on fidelity.
One was blown out and borne off by the waters,
The man was tortured by the sound of rain.

Children were sent from London in the morning
But not the sound of children reached his ear.
He found a mangled feather by the lake,
Lost in the destructive sand this year
Like feathery independence, hope. His shadow
Lay on the sand before him, under the lake
As under the ruined library our learning.
The children play in the waves until they break.

The Bear crept under the Eagle's wing and lay
Snarling; the other animals showed fear,
Europe darkened its cities. The man wept,
Considering the light which had been there,
The feathered gull against the twilight flying.
As the little waves ate away the shore
The cellophane, dismembered, blew away.
The animals ran, the Eagle soared and dropt.

1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА

Дождь падал в этот день над городами Польши.
А человек глядел на озерко,
Рвал целлофан, по берегу бродя.
Кусок квадратной формы где легко,
Где туго рвался, противопоставив
Соппротивление и стойкость силе.
Обрывки ветер сдул, вода несла их дальше.
А человека мучал шум дождя.

Из Лондона приехавшие дети
Шумели, но терзал и слух и мозг
Не этот шум. Он вдруг нашел в песке
Птичье перо, растоптанное вдрызг,
Как независимость, надежда. Тень
Лежала средь камней, как средь развалин
Библиотек ученость всех столетий.
Дети, резвясь, плескались в озерке.

Медведь к Орлу подкрался и, рычащий,
Готовился к прыжку; страх охватил зверей.
Европа затемнилась. Вспоминал
И плакал человек, свет прежних дней —
Белую чайку мысленно представив.
Волны лизали берег; целлофан
Мелькал в волнах, разорванный на части.
Звери тряслись, Орел взлетел и пал.

SONNET 17

The Old Boys' blazers like a Mardi-Gras
Burn orange, border black their dominoes
Stagger the green day down the tulip rows
Of the holiday town. Ever I passioned, ah
Ten years, to go by her golden bra
Some sultry girl is caught, to dip my nose
Or dance where jorums clash and King Rex' hose
Slip as he rules the tantrum's orchestra,
Liriodendron, and the Mystic Krewe!
Those images of Mardi Gras' sweet weather
Beckoned—but how has their invitation ceased?
.. The bells brawl, calling (I cannot find you
With me there) back us who were not together.
Our forward Lent set in before our feast.

DREAM SONG 125

Bards freezing, naked, up to the neck in water,
wholly in dark, time limited, different from
initiations now:

the class in writing, clothed & dry & light,
unlimited time, till *Poetry* takes some,
nobody reads them though,

no trumpets, no solemn instauration, no change;
no commissions, ladies high in soulful praise
(pal) none,
costumes as usual, turtleneck sweaters, loafers,
in & among the busy Many who brays
art is if anything fun.

I say the subject was given as of old,
prescribed the technical treatment, tests really tests

СОНЕТ 17

Студенты вырвались на карнавал,
Ошеломляя шутовским нарядом,
Веселым масленичным маскарадом
Праздничный город. Как он волновал
Меня, бывало: девушки на бал
Бегут, их ловят парни, тут же рядом
Пляшут, «Король» командует парадом,
Пунш пенится, гремит оркестров шквал,
Тюльпанные деревья и цветы!
Ах, карнавал, блеск, яркость, краски, звуки,
Как он манил — так что ж теперь не мил?
...Колокола звонят, зовут, но ты
Не здесь, ты не со мною, мы в разлуке.
Пост раньше масленицы наступил.

Перевод В. Британишского

ПЕСНЯ-ФАНТАЗИЯ 125

Барды, замерзшие, нагишом, по шею в воде,
во мраке прошлого, все кончено, в отличие от
этих, сидящих тут:

пишут, одеты, тепло, светло, все впереди
в журнале «Поэтри» дебют еще их ждет,
их не читают, но прочтут,

еще ни труб, ни фанфар, ни торжественных встреч,
ни поощрений, ни дамских нежных похвал,
(да, брат) ни славы,
в грубошерстных свитерах, отверженные среди Большинства,
ведь каждый из деловых людей слышал:
поэзия — лишь для забавы.

Я говорю, что поэзия существовала всегда,
что надо работать тщательно, без подвоха,

were set by the masters & graded.
I say the paralyzed fear lest one's not one
is back with us forever, worsts & bests
spring for the public, faded.

DREAM SONG 203

Nothing!—These young men come to interview me
armed with taperecorders, cameras,
the best ways of getting at you
so far invented save the telephone
and it costs money now to be alone:
to shut it off you need two

I have two & they ring from dawn to eve,
with extras in the night—can't shut them down:
awaiting a long distance call.
I read the 'paper gingerly lest I grieve,
ignore the radio & TV, don't go downtown:
truly isolated, pal.

However, I shudder & the world shrugs in,
hilarious loves walking the streets like trees
minus an ear,
men from far tribes armed in the dark, women
cantering in from the plains just as they please
with the water up to here.

почаще вспоминать о старых мастерах.
Я говорю, что главное — это страх потерять себя,
а все, что сделано, хоть хорошо, хоть плохо,
для публики, — все превратилось в прах.

Перевод В. Британишского

ПЕСНЯ-ФАНТАЗИЯ 203

Нет! нет! и нет!. Пришли, чтоб вырвать интервью,
нацелили в меня всю технику свою,
три кинокамеры, три микрофона в ряд —
прогресс ушел вперед с тех пор, как телефон
изобретен людьми, и нас же губит он:
я пробовал второй поставить аппарат,

так сразу два звонят, замучили меня,
и днем, и вечером, и ночью, чуть прилягу,
простые, срочные — попробуй запрети.
В газеты не гляжу, боюсь их как огня,
ТВ и радио — ни-ни, в город — ни шагу:
сигу, как в крепости, закрывшись, взаперти.

Но дрогну иногда, и мир ворвется внутрь,
влюбленные идут вдоль улиц, как ряды
деревьев, ничего не слыша,
из мрака полчища мужчин спешат на штурм,
женщины пляшут и хохочут, шум воды
все близится, она все выше, выше.

Перевод В. Британишского

LOSSES

It was not dying: everybody died.
It was not dying: we had died before
In the routine crashes—and our fields
Called up the papers, wrote home to our folks,
And the rates rose, all because of us.
We died on the wrong page of the almanac,
Scattered on mountains fifty miles away;
Diving on haystacks, fighting with a friend,
We blazed up on the lines we never saw.
We died like ants or pets or foreigners.
(When we left high school nothing else had died
For us to figure we had died like.)
In our new planes, with our new crews, we bombed
The ranges by the desert or the shore,
Fired at towed targets, waited for our scores—
And turned into replacements and woke up
One morning, over England, operational.
It wasn't different: but if we died
It was not an accident but a mistake
(But an easy one for anyone to make).
We read our mail and counted up our missions—
In bombers named for girls, we burned
The cities we had learned about in school—
Till our lives wore out; our bodies lay among
The people we had killed and never seen.
When we lasted long enough they gave us medals;

ПОТЕРИ

Нет, то не смерть: ведь умирают все.
Нет, то не смерть: мы умирали раньше,
Во время тренировочных полетов;
Мы разбивались, и аэродром,
Найдя бумаги, сообщал родным;
Росли налоги — тоже из-за нас.
Мы погибали не на том листке
Календаря, врезались в горы, в сено;
Мы полыхали над учебной целью,
Дрались с товарищами, погибали,
Как муравьи, собаки и чужие.
Ведь, кроме них, никто не умирал,
Когда мы были в средней школе! С чьей же
Теперь сравнить мы можем нашу смерть?
На новых самолетах мы бомбили
Объекты на пустынном побережье,
Вели учебные бои, стреляли
И ждали результатов. Так мы стали
Резервом, и одним прекрасным утром
Мы пробудились на войне в Европе.
Все было так же. Только гибли мы
Не по оплошности, а по ошибке,
(Которую так просто совершить).
Читали почту, вылеты считали
И называли именами женщин
Бомбардировщики, и истребляли
Изученные в школе города, —
Покуда наши трупы не валялись
Среди убитых нами незнакомцев.
Когда мы жили чуть подольше, нам
Давали ордена; когда мы гибли,

When we died they said, "Our casualties were low."
They said, "Here are the maps"; we burned the cities.

It was not dying—no, not ever dying;
But the night I died I dreamed that I was dead,
And the cities said to me: "Why are you dying?
We are satisfied, if you are; but why did I die?"

THE DEATH OF THE BALL TURRET GUNNER

From my mother's sleep I fell into the State,
And I hunched in its belly till my wet fur froze.
Six miles from earth, loosed from its dream of life,
I woke to black flak and the nightmare fighters.
When I died they washed me out of the turret with a hose.

THE ORIENT EXPRESS

One looks from the train
Almost as one looked as a child. In the sunlight
What I see still seems to me plain,
I am safe; but at evening
As the lands darken, a questioning
Precariousness comes over everything.

Once after a day of rain
I lay longing to be cold; and after a while
I was cold again, and hunched shivering
Under the quilt's many colors, gray
With the dull ending of the winter day.

Считалось, что потери небольшие,
Нам говорили: «Здесь, на карте», мы же
Сжигали города.

Нет, то не смерть,
Совсем не смерть. Когда меня подбили,
Я вдруг увидел сон, что я погиб,
И города, разрушенные мною,
Шептали: «Почему ты умираешь?
Мы, впрочем, рады, что и ты погиб.
Но почему ты погубил меня?»

Перевод А. Сергеева

СМЕРТЬ СТРЕЛКА-РАДИСТА

Из материнского сна я попал в Государство
И скрючился в его чреве, пока не обледенели
Шлем и комбинезон на высоте шести миль,
Проснулся я к жизни в разрывах зенитных снарядов
Потом меня смыли шлангом со стенок турели.

Перевод Р. Сефа

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

Человек сквозь окно вагона
Видит мир, как ребенок. В солнечном свете
Все, что вижу, определенно,
Безопасно. Но вечерами,
Когда темнеет в оконной раме,
Тень неуверенности — над вещами.

Однажды в сумерках монотонно
Дождь шумел. Я возмечтал простудиться
И простудился. Залез с ногами
Под одеяло. Давила меня
Тоска уходящего зимнего дня.

Outside me there were a few shapes
Of chairs and tables, things from a primer;
Outside the window
There were the chairs and tables of the world....
I saw that the world
That had seemed to me the plain
Gray mask of all that was strange
Behind it—of all that *was*—was all.

But it is beyond belief.
One thinks, “Behind everything
An unforced joy, an unwilling
Sadness (a willing sadness, a forced joy)
Moves changelessly”; one looks from the train
And there is something, the same thing
Behind everything: all these little villages,
A passing woman, a field of grain,
The man who says good-bye to his wife—
A path through a wood full of lives, and the train
Passing, after all unchangeable
And not now ever to stop, like a heart—

It is like any other work of art.
It is and never can be changed.
Behind everything there is always
The unknown unwanted life.

Я видел совсем простые предметы—
Стулья, столы—они были азбучны,
Но за окном разглядел я азбучные предметы мира
И понял, что мир,
В котором все кажется определенным,—
Это лишь тусклая маска странного мира,
Позади всего, что мы видим, есть ВСЕ.

Это невероятно.

Человек думает: под маской бытия
Свободная радость и свободная
Печаль (несвободная печаль—насильственная радость)
Двигаются беспрестанно. Он глядит из вагона
И видит нечто за чертой бытия—
Во всем, во всем—в деревушках бегущих,
В промелькнувшей женщине, в зелени склона,
В человеке, говорящем жене «до свиданья»,
В тропинке через лес, полный жизнями, и в неуклонно
Летящем поезде—он постоянен
И не останавливается. Как чувство.

Это как произведение искусства,
Это единственно и неизменно:
За всем, что мы видим, всегда и везде—
Жизнь непонятная и нежеланная.

Перевод Р. Сефа

THE QUAKER GRAVEYARD IN NANTUCKET

(For Warren Winslow, Dead at Sea)

Let man have dominion over the fishes of the sea and the fowls of the air and the beasts and the whole earth, and every creeping creature that moveth upon the earth.

I

A brackish reach of shoal off Madaket,—
The sea was still breaking violently and night
Had steamed into our North Atlantic Fleet,
When the drowned sailor clutched the drag-net. Light
Flashed from his matted head and marble feet,
He grappled at the net
With the coiled, hurdling muscles of his thighs:
The corpse was bloodless, a botch of reds and whites,
Its open, staring eyes
Were lustreless dead-lights
Or cabin-windows on a stranded hulk
Heavy with sand. We weight the body, close
Its eyes and heave it seaward whence it came,
Where the heel-headed dogfish barks its nose
On Ahab's void and forehead; and the name
Is blocked in yellow chalk.
Sailors, who pitch this portent at the sea
Where dreadnaughts shall confess
Its hell-bent deity,
When you are powerless
To sand-bag this Atlantic bulwark, faced
By the earth-shaker, green, unwearied, chaste
In his steel scales: ask for no Orphean lute
To pluck life back. The guns of the steeled fleet
Recoil and then repeat
The hoarse salute.

КВАКЕРСКОЕ КЛАДБИЩЕ В НАНТАКЕТЕ

Памяти Уоррена Уинслоу, погибшего в море

Да владычествует человек над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися на земле.

I

Мель, пресноводье там, где Мадакет.
Все билось море, ночь завесой плотной
Над флотом не устала все висеть;
Попал моряк утопший в бредень. Свет
Бился о мрамор ног, о плеч полотна.
Зацеплен труп за сеть
Переплетеньем, вздутьем мышц бедра.
Заплат багровых дрань на белизне;
Зрочка бесцветная дыра —
Глухая крышка на окне,
Иллюминатор, весь в песке и в иле,
Гиблого судна. Вскоре труп вернули,
Закрыв ему глаза, морским пределам,
Где круторылой лакомы акуле
Кишки и мозг Ахава; желтым мелом
Мы имя начертили.
Вы, моряки, знак ставите такой
В морях, где и дредноуту примстится
Крушащий бог морской.
Когда не защититься
От силы, рушащей весь свет, бушуя,—
Бог, колебатель вод, зеленые чешуи,
Стальная мощь, свиреп — Орфея не пришлют,
Чтоб оживить. Все пушки, ставши в ряд,
Откатятся и повторят
Чудовищный салют.

II

Whenever winds are moving and their breath
Heaves at the roped-in bulwarks of this pier,
The terns and sea-gulls tremble at your death
In these home waters. Sailor, can you hear
The Pequod's sea wings, beating landward, fall
Headlong and break on our Atlantic wall
Off 'Sconset, where the yawing S-boats splash
The bellbuoy, with ballooning spinnakers,
As the entangled, screeching mainsheet clears
The blocks: off Madaket, where lubbers lash
The heavy surf and throw their long lead squids
For blue-fish? Sea-gulls blink their heavy lids
Seaward. The winds' wings beat upon the stones,
Cousin, and scream for you and the claws rush
At the sea's throat and wring it in the slush
Of this old Quaker graveyard where the bones
Cry out in the long night for the hurt beast
Bobbing by Ahab's whaleboats in the East.

III

All you recovered from Poseidon died
With you, my cousin, and the harrowed brine
Is fruitless on the blue beard of the god,
Stretching beyond us to the castles in Spain,
Nantucket's westward haven. To Cape Cod
Guns, cradled on the tide,
Blast the eelgrass about a waterclock
Of bilge and backwash, roil the salt and sand
Lashing earth's scaffold, rock
Our warships in the hand
Of the great God, where time's contrition blues
Whatever it was these Quaker sailors lost
In the mad scramble of their lives. They died
When time was open-eyed,
Wooden and childish; only bones abide
There, in the nowhere, where their boats were tossed

II

Все суетятся ветры, злой сквозняк
Гася в валах за гранью волнолома,
И в дрожи чайки, смерть твою у дома
Припомнив. Слышишь, слышишь ли, моряк:
Крыла «Пекода», к суше мчась, упали
На вал Атлантики, исчезли в дáли
За Сконсетом, где шустрых яхт тельца,
Вздывая спинакер, буи качают,
А шкот визжит, упрямится, серчает;
За Мадакетом, где прибой глупца
Кружит и дразнит, где с грузилом длинным
Рыб синих ловят. Чайки взгляд стремят к глубинам
Из-под тяжелых век. Вот ветров крылья,
Кузен, о камни бьются, разъярясь,
Впивая когти в горло моря, в грязь
Его таща сюда, к костям, к могиле—
Все вопиет о том, кого жестокий
Ахав извечно мучит на Востоке.

III

Все, что ты взял от Посейдона, брат,
С тобою умерло. Процеженный рассол
Из грозной бороды не даст улова—
Взамен в Нантакете Нептун чреду возвел
Воздушных замков. В даль, где Мыс Тресковый,
Пушки морской травой палят,
Дробя махину водяную
Водой из трюма, соль с песком крутя
И эшафот земли бичуя;
Строй кораблей взял в руку, как дитя,
Брадатый Бог; и бледность покаянья
Всегда спешит туда, где изошли
Слезами моряки— все сгнули ребята,
Когда была эпоха глуповата,
Ребячлива: грозит лишь персти трата
Там, в том «нигде», где взмыли корабли

Sky-high, where mariners had fabled news
Of IS, the whited monster. What it cost
Them is their secret. In the sperm-whale's slick
I see the Quakers drown and hear their cry:
"If God himself had not been on our side,
If God himself had not been on our side,
When the Atlantic rose against us, why,
Then it had swallowed us up quick."

IV

This is the end of the whaleroad and the whale
Who spewed Nantucket bones on the thrashed swell
And stirred the troubled waters to whirlpools
To send the Pequod packing off to hell:
This is the end of them, three-quarters fools,
Snatching at straws to sail
Seaward and seaward on the turntail whale,
Spouting out blood and water as it rolls,
Sick as a dog to these Atlantic shoals:
Clamavimus, O depths. Let the sea-gulls wail

For water, for the deep where the high tide
Mutters to its hurt self, mutters and ebbs.
Waves wallow in their wash, go out and out,
Leave only the death-rattle of the crabs,
The beach increasing, its enormous snout
Sucking the ocean's side.
This is the end of running on the waves;
We are poured out like water. Who will dance
The mast-lashed master of Leviathans
Up from this field of Quakers in their unstoned graves?

V

When the whale's viscera go and the roll
Of its corruption overruns this world
Beyond tree-swept Nantucket and Wood's Hole
And Martha's Vineyard, Sailor, will your sword

Ввысь, к небу, где болтали вслух преданья
Про белый ужас — IS. И навлекли
Беду. В нутре я вижу у кита
Утопших квакеров и слышу крик:
«Когда бы добр к нам не был Бог стократ,
Когда бы добр к нам не был Бог стократ,
То зев Атлантики, что столь велик,
В единый миг сожрал бы нас проста».

IV

Конец китовому пути, и кончен кит,
Что персть людей изверг на брег с блевотой,
И волны закрутил в водовороты,
И вмиг «Пекод» направил прямо в ад;
Конец им всем, которые блажат,
В глубь моря мчат и мчат — их даль манит,
И кривохвостый кит,
Который к мелям шало воды катит,
Струей кровавой гладь воды горбатит.
Возвали мы, о глубь! А чайка пусть вопит,

Честит морскую ширь. Обьевшись илом,
Бормочут, дуются, клокочут хляби.
Прибой валяет волны, тащит прочь, в туман,
Лежат в песке трещотки смерти крабьи;
Вспухает берег и огромным рылом
Вмиг всасывает океан.
Конец валам. Нас выплеснули из стаканов.
К мачте привязанный господь Левиафанов —
Кто б нам его вернул и оживил
С погоста квакеров, где нет могил?

V

Когда китовой требухи распад
Прокатится по миру за границы
Нантакета и Марфы вертоград
Захватит, Мореход, твой меч зарницей

Whistle and fall and sink into the fat?
In the great ash-pit of Jehoshaphat
The bones cry for the blood of the white whale,
The fat flukes arch and whack about its ears,
The death-lance churns into the sanctuary, tears
The gun-blue swingle, heaving like a flail,
And hacks the coiling life out: it works and drags
And rips the sperm-whale's midriff into rags,
Gobbets of blubber spill to wind and weather,
Sailor, and gulls go round the stoven timbers
Where the morning stars sing out together
And thunder shakes the white surf and dismembers
The red flag hammered in the mast-head. Hide,
Our steel, Jonas Messias, in Thy side.

VI

Our Lady of Walsingham

There once the penitent took off their shoes
And then walked barefoot the remaining mile;
And the small trees, a stream and hedgerows file
Slowly along the munching English lane,
Like cows to the old shrine, until you lose
Track of your dragging pain.
The stream flows down under the druid tree,
Shiloah's whirlpools gurgle and make glad
The castle of God. Sailor, you were glad
And whistled Sion by that stream. But see:

Our Lady, too small for her canopy,
Sits near the altar. There's no comeliness
At all or charm in that expressionless
Face with its heavy eyelids. As before,
This face, for centuries a memory,
Non est species, neque decor,
Expressionless, expresses God: it goes
Past castled Sion. She knows what God knows,
Not Calvary's Cross nor crib at Bethlehem
Now, and the world shall come to Walsingham.

Сверкнет ли, взвизгнет, в жир войдет стократ?
В пепельном крошewe Иосафата
Персть вопиет о крови белого кита—
Жир дыбится, трещит по швам и скрепам,
Копье в алтарь ввинтилось, словно цепом,
Молотит кожу, мясо, твердь хвоста
И разрубает жизнь. Брань все жесточе,
Раздрано брюхо кашалота в клочья,
Рывками ворвань ветер подбирает,
И крыльев чаячьих немолчен трепет
Над лодками, где звезды догорают,
Где гром трясет белый прибой и треплет
Стяг, к мачте приколоченный. Припрячь
Наш меч, Иона Спас, и путь означь.

VI

Уолсингемская Богоматерь

Там кающийся разувался встарь,
Шел напоследок мило босиком;
Ручей, деревья, кустики гуськом
Шли по бокам английского газона,
Точь-в-точь коровы, всех манил алтарь,
Суля спасти от боли потаенной.
Под деревом друидов жив ручей,
Бурлит, кружится Силоам, и рад
Слух Божий. Ты, моряк, был плескам рад,
Насвистывал хорал. Смотри скорей:

Мария, для седалища мала,
Сидит у алтаря. Ни красоты,
Ни шарма не таят ее черты,
И веки тяжелы. И до сих пор
Сей лик, что к нам чреда веков вела,
Non est species neque decor.
Невыразителен, он выражает Бога.
Сион воздвигнут. Ей известно много,
Но не Голгофа и не Вифлеем
Теперь, и мир придет в Уолсингем.

VII

The empty winds are creaking and the oak
Splatters and splatters on the cenotaph,
The boughs are trembling and a gaff
Bobs on the untimely stroke
Of the greased wash exploding on a shoal-bell
In the old mouth of the Atlantic. It's well;
Atlantic, you are fouled with the blue sailors,
Sea-monsters, upward angel, downward fish:
Unmarried and corroding, spare of flesh
Mart once of supercilious, wing'd clippers,
Atlantic, where your bell-trap guts its spoil
You could cut the brackish winds with a knife
Here in Nuntucket, and cast up the time
When the Lord God formed man from the sea's slime
And breathed into his face the breath of life,
And blue-lung'd combers lumbered to the kill.
The Lord survives the rainbow of His will.

SKUNK HOUR

For Elizabeth Bishop

Nautilus Island's hermit
heiress still lives through winter in her Spartan cottage;
her sheep still graze above the sea.
Her son's a bishop. Her farmer
is first selectman in our village,
she's in her dotage.

Thirsting for
the hierarchic privacy
of Queen Victoria's century,
she buys up all
the eyesores facing her shore,
and lets them fall.

VII

Скрипят пустые ветры, рослый дуб
Над кенотафом мямлит и бормочет,
Кусты дрожат, багры все тычут
В непрошенный наплыв
Жирных отбросов, хлынувший в раструб
Прибрежной мели. Океан червив:
В гниенье синих моряков орава,
Чудовищ—сверху ангел, снизу рыба—
В разъедах соли сплошь на плоти грубой,
Когда-то гордости судов и славы.
Атлантика, где пасть твоя разверста,
Ты мерзкий вихрь пырни ножом, чтоб сдох
Здесь, у Нантакета; пору приблизь,
Когда Бог создал нас, взяв в руки слизь,
И дал свершить нам жизни первый вдох,
И море мнит нас извести за это.
Бог с нами дольше радуги Завета.

Перевод А. Парина

ЧАС СКУНСА

(Элизабет Бишоп)

Владелица острова Наутилус
живет всю зиму отшельницей в своем спартанском коттедже;
овцы ее над морем бродят, как прежде.
Сын ее стал епископом, работник—
влиятельным лицом у нас в деревне;
она умом помутилась.

Желая, как сто лет назад,
жить в иерархическом уединенье,
в своей викторианской блажи
она скупает все подряд
ветхие храмины окрестных побережий,
что уж недолго простоят.

The season's ill—
we've lost our summer millionaire,
who seemed to leap from an L. L. Bean
catalogue. His nine-knot yawl
was auctioned off to lobstermen.
A red fox stain covers Blue Hill.

And now our fairy
decorator brightens his shop for fall,
his fishnet's filled with orange cork,
orange, his cobbler's bench and awl,
there is no money in his work,
he'd rather marry.

One dark night,
my Tudor Ford climbed the hill's skull,
I watched for love-cars. Lights turned down,
They lay together, hull to hull,
where the graveyard shelves on the town...
My mind's not right.

A car radio bleats,
"Love, O careless Love..." I hear
my ill-spirit sob in each blood cell,
as if my hand were at its throat...
I myself am hell,
nobody's here—

only skunks, that search
in the moonlight for a bite to eat.
They march on their soles up Main Street:
white stripes, moonstruck eyes' red fire
under the chalk-dry and spar spire
of the Trinitarian Church.

I stand on top
of our back steps and breathe the rich air—
a mother skunk with her column of kittens swills the garbage pail.
She jabs her wedge head in a cup
of sour cream, drops her ostrich tail,
and will not scare.

Сезон увял —
увы, где летний наш миллионер
из прейскуранта фирмы Л.Л.Бин
(спорт и охота)! Быстроходный ял
ловцам омаров тут же продан был.
Рыжеет Синяя Гора — Блю Хилл.

Наш местный гомосексуал
и декоратор ждет уж дней осенних:
в оранжевом он предлагает цвете
сапожный инструмент, рыбачьи сети;
его работа не приносит денег,
жениться б он предпочитал.

Однажды темной ночью
по черепу горы карабкался мой «Форд»;
следа любовников, я ехал следом
за их машинами. Здесь, с выключенным светом,
они лежали рядом, к борту борт...
Боюсь, что разум мой не очень.

Транзистор блеет: «О,
любовь, безумная любовь...». Моя душа-
болезнь рыдает в каждой клетке крови,
как если б я ей горло сжал, душа...
Ад — это я;
здесь больше никого —

лишь скунсы, рыщущие там и сям
в поисках пищи этой ночью лунной.
Вдоль Главной улицы идут колонной:
белые полосы, глазищи пышут пылом,
над ними, сух, как мел, бушпритом-шпилем
торчит тринитарианский храм.

Стою в дверях
во двор и в сумерках вдыхаю воздух тучный —
скунс-мама с выводком малышей помои лакает смачно,
Клин мордочки воткнула в чашку скисшей
сметаны, опустила хвост свой пышный,
и ей неведом страх.

JULY IN WASHINGTON

The stiff spokes of this wheel
touch the sore spots of the earth.

On the Potomac, swan-white
power launches keep breasting the sulphurous wave.

Otters slide and dive and slick back their hair
raccoons clean their meat in the creek.

On the circles, green statues ride like South American
liberators above the breeding vegetation—

prongs and spearheads of some equatorial
backland that will inherit the globe.

The elect, the elected... They come here bright as dimes,
And die dishevelled and soft.

We cannot name their names, or number their dates—
circle on circle, like rings on a tree—

but we wish the river had another shore,
some further range of delectable mountains,

distant hills powdered blue as a girl's eyelid.
It seems the least little shove would land us there,

that only the slightest repugnance of our bodies
we no longer control could drag us back.

ИЮЛЬ В ВАШИНГТОНЕ

Жесткие спицы этого колеса
вонзаются в язвы земного шара.

На Потомаке белыми лебедями
катора грудью взрезают сернистые воды.

Выдры ныряют, выныривают, прилизанные,
еноты полощут мясо в ручье.

На кругах площадей—зеленые всадники, словно
освободители Южной Америки, встают

над остриями буйной тропической поросли,
которая унаследует мир.

Избранный и вступивший в должность приходит сюда,
как новенький гривенник, и уходит, как тряпка.

Мы не можем назвать их имен и дат—
круг за кругом, как кольца на пне,—

о если бы за рекой был иной берег,
далекий хребет очистительных гор,

холмы подсиненные, словно веки у девушки...
Кажется, чуть подтолкни—и мы там,

и всего лишь ничтожное противление
непокорного тела нас тянет вспять.

THE LESSON

No longer to lie reading *Tess of the d'Urbervilles*,
while the high, mysterious squirrels
rain small green branches on our sleep!

All that landscape, one likes to think it died
or slept with us, that we ourselves died
or slept then in the age and second of our habitation.

The green leaf cushions the same dry footprint,
or the child's boat luffs in the same dry chop,
and we are where we were. We were!

Perhaps the trees stopped growing in summer amnesia;
their day that gave them veins is rooted down—
and the nights? They are for sleeping now as then.

Ah the light lights the window of my young night,
and you never turn off the light,
while the books lie in the library, and go on reading.

The barberry berry sticks on the small hedge,
cold slits the same crease in the finger,
the same thorn hurts. The leaf repeats the lesson.

FOR THE UNION DEAD

Relinquant Omnia Servare Rem Publicam.

The old South Boston Aquarium stands
in a Sahara of snow now. Its broken windows are boarded.
The bronze weathervane cod has lost half its scales.
The airy tanks are dry.

Once my nose crawled like a snail on the glass;
my hand tingled
to burst the bubbles
drifting from the noses of the cowed, compliant fish.

УРОКИ

Не уткнуться в «Тэсс из рода д'Эрбервилей»,
чтоб на нас иголки белки обронили,
осыпая сосны, засыпая сон!..

Нас с тобой зазубрят заросли громадные,
как во сне придумали обучать грамматике.
Темные уроки. Лесовые сны.

Из коры кораблик колыхнется около.
Ты куда, кораблик? Речка пересохла.
Было, милый,— сплыло. Были, были — мы!

Как укор, нас помнят хвойные урочища.
Но кому повторят тайные уроки?
В сон уходим, в память. Ночь, повсюду ночь.

Память! Полуночица сквозь окно горящее!
Плечи молодые лампу загораживают.
Тьма библиотеки. Не перечитать...

Чье у загородки лето повторится?
В палец уколовши, иглы барбариса
свой урок повторят. Но кому, кому?

Перевод А. Вознесенского

ПАВШИМ ЗА СОЮЗ

Южного Бостона старый аквариум ныне
в африканской пустыне снега стоит. Заколочены досками окна.
Бронзовый флюгер-треска подрастерял чешую.
Пусто в цистернах воздушных.

Некогда носом-улиткой я здесь по стеклу растекался.
В пальцах покалывали
шампанские пузырьки
дыханья проворной пугливой рыбы.

My hand draws back. I often sigh still
for the dark downward and vegetating kingdom
of the fish and reptile. One morning last March,
I pressed against the new barbed and galvanized

fence on the Boston Common. Behind their cage,
yellow dinosaur steamshovels were grunting
as they cropped up tons of mush and grass
to gouge their underworld garage.

Parking spaces luxuriate like civic
sandpiles in the heart of Boston.
A girdle of orange, Puritan-pumpkin colored girders
braces the tingling Statehouse,

shaking over the excavations, as it faces Colonel Shaw
and his bell-cheeked Negro infantry
on St Gaudens' shaking Civil War relief,
propped by a plank splint against the garage's earthquake.

Two months aftermarching through Boston,
half the regiment was dead;
at the dedication,
William James could almost hear the bronze Negroes breathe.

Their monument sticks like a fishbone
in the city's throat.
Its Colonel is as lean
as a compass-needle.

He has an angry wrenlike vigilance,
a greyhound's gentle tautness;
he seems to wince at pleasure,
and suffocate for privacy.

He is out of bounds now. He rejoices in man's lovely,
peculiar power to choose life and die—
when he leads his black soldiers to death,
he cannot bend his back.

Руку убрал я. Но все еще часто вздыхаю
О темном глубинном растительном царстве
рыб и рептилий. Однажды утром в нынешнем марте
я как прирос к обнесенной свежей колючей

проволоккой пустоши у муниципалитета. В этом загоне
хрюкали динозаврэкскаваторы оранжевой масти,
выгребая носами тонны травы и грязи,
роя и строя себе в подземном царстве гараж.

Автостоянки, равно как и муниципальные кучи песка,
плодятся и размножаются в самом центре Бостона.
Апельсинными, пуритански-тыквенными строительными лесами
заросло пугливо позвякивающее здание собрания штата,

пугливо потрясывающееся на подрытом месте под взглядами
полковника Шоу и его мордастой негритянской пехоты,
изображенных на потрясающем барельефе работы Сент-Годенса
и защищенных дощатым настилом от подрывной работы
гаражей.

Через два месяца после торжественного исхода из Бостона
половина полка полегла;
на открытии монумента
Уильям Джеймс расслышал дыхание бронзовых негров.

Памятник им рыбьей костью
застрял в горле у города.
Их командир тонок и прям,
как стрелка компаса.

Он готов к поединку, как воробей.
Он изготовился к прыжку, как борзая.
Он отшатнулся от наслаждений
и задохнулся бы в домоседах.

Теперь он раскован. Он расцвел в роскоши
права человеческого — умереть во имя жизни;
ведя свое черное воинство на смерть,
он не смеет опустить голову.

On a thousand small town New England greens,
the old white churches hold their air
of sparse, sincere rebellion; frayed flags
quilt the graveyards of the Grand Army of the Republic.

The stone statues of the abstract Union Soldier
grow slimmer and younger each year—
wasp-wasted, they doze over muskets
and muse through their sideburns...

Shaw's father wanted no monument
except the ditch,
where his son's body was thrown
and lost with his "niggers".

The ditch is nearer.
There are no statues for the last war here;
on Boylston Street, a commercial photograph
shows Hiroshima boiling

over a Mosler Save, the "Rock of Ages"
that survived the blast. Space is nearer.
When I crouch to my television set,
the drained faces of Negro school-children rise like balloons.

Colonel Shaw
is riding on his bubble,
he waits
for the blessed break.

The Aquarium is gone. Everywhere,
giant finned cars nose forward like fish;
a savage servility
slides by on grease.

В тысяче зеленых городков Новой Англии
старые белые церквушки сохраняют ауру
скудного праведного гнева; разодранными знаменами
обтянуты кладбища Великой Республиканской Армии.

Статуи на памятниках Неизвестному Солдату;
становятся стройней и юней год от году;
опершись о мушкеты, они спят стоя —
осиные талии, распущенные бакенбарды...

Отцу полковника Шоу не захотелось другого памятника,
кроме того рва,
где закопан сын,
где затерян среди своих «черномазых».

Этот ров растет в нашу сторону.
Павшим в последней войне не воздвигнуто монумента.
На Бойлстон-стрит фотоснимок кипящей Хиросимы
рекламирует сейф фирмы «Мослер» —

пресловутую «Твердыню веков», устоявшую в
ядерной катастрофе. Пространство растет в нашу сторону.
Когда я подкрадываюсь к своему телевизору,
прозрачные головы негрятят всплывают воздушными шарами.

Полковник Шоу
всплывает в шампанском пузырьке,
он ждет
праведных перемен.

Аквариума не стало. Гигантскими рыбами,
нос к носу, проносятся автомашины —
в хорошо смазанных рабах
не просыпаются дикари.

Перевод В. Топорова

DOLOR

I have known the inexorable sadness of pencils,
Neat in their boxes, dolor of pad and paper-weight,
All the misery of manila folders and mucilage,
Desolation in immaculate public places,
Lonely reception room, lavatory, switchboard,
The unalterable pathos of basin and pitcher,
Ritual of multigraph, paper-clip, comma,
Endless duplication of lives and objects.
And I have seen dust from the walls of institutions,
Finer than flour, alive, more dangerous than silica,
Sift, almost invisible, through long afternoons of tedium,
Dropping a fine film on nails and delicate eyebrows,
Glazing the pale hair, the duplicate gray standard faces.

MY PAPA'S WALTZ

The whiskey on your breath
Could make a small boy dizzy;
But I hung on like death:
Such waltzing was not easy.

We romped until the pans
Slid from the kitchen shelf;
My mother's countenance
Could not unfrown itself.

The hand that held my wrist
Was battered on one knuckle;
At every step you missed
My right ear scraped a buckle.

ПЕЧАЛЬ

Я изведал печаль карандашей,
Аккуратно лежащих в коробках,
Я знаю грусть дырокола, клея и скоросшивателей —
Боль, тоску и безродность безупречных учреждений,
Одиночество туалетов и пустоту приемных,
Обязательность кувшина и непереносимость таза,
Священность авторотатора, скрепки и запытой,
Бесконечное повторение жизней, лиц и предметов.
Я видел, как сеялась пыль с высоких стен учреждений —
Тоньше тонкой муки, опаснее угольной пыли.
Невидимая почти в однообразии будней,
Она покрывала пленкой брови, ресницы, ногти,
Садилась на светлые волосы совершенно стандартных людей.

Перевод Р. Сефа

ВАЛЬС МОЕГО ПАПЫ

Свалить ребенка с ног
Ты мог парами виски,
Но я повис, как дог,
И вальс был слаще в риске.

Посуду тряс сумбур
По шкафчикам стенным,
Был мамин облик хмур —
И мог ли быть иным.

Твой палец, как никак, —
Разбитая костяшка.
Когда ты шел не в такт,
Мне в ухо лезла пряжка.

You beat time on my head
With a palm caked hard by dirt,
Then waltzed me off to bed
Still clinging to your shirt.

THE SMALL

The small birds swirl around;
The high cicadas chirr;
A towhee pecks the ground;
I look at the first star:
My heart held to its joy,
This whole September day.

The moon goes to the full;
The moon goes slowly down;
The wood becomes a wall.
Far things draw closer in.
A wind moves through the grass,
Then all is as it was.

What rustles in the fern?
I feel my flesh divide.
Things lost in sleep return
As if out of my side,
On feet that make no sound
Over the sodden ground.

The small shapes drowse; I live
To woo the fearful small;
What moves in grass I love—
The dead will not lie still,
And things throw light on things,
And all the stones have wings.

Ритм вальса отбивал
Ты на моей макушке
И так дотанцевал
Со мною до подушки.

Перевод Ю. Мориц

МЕЛЬЧАЙШЕЕ

Витание пернатых,
Журчание цикад.
В заоблачных пенатах
Зажегся звездный взгляд:
Роднит блаженство нас
В такой осенний час.

Луна полнеть пошла,
Луна садится плавно.
Вблизи видны тела,
Далекие недавно.
Траву пробрал сквозняк —
И прежний мир возник.

Что в зарослях шуршит?
Утраченный во сне,
Конкретный мир спешит,
Спешит в меня извне,
Беззвучно ставя ноги
На грунт сырой дороги.

Мельчайшего слуга,
Я мелюзги пастух.
В лугах, где мелюзга,
Подвижен даже прах,
Там в каждом — смысла свет
И камень там крылат.

Перевод Ю. Мориц

THE WAKING

I wake to sleep, and take my waking slow.
I feel my fate in what I cannot fear.
I learn by going where I have to go.

We think by feeling. What is there to know?
I hear my being dance from ear to ear.
I wake to sleep, and take my waking slow.

Of those so close beside me, which are you?
God bless the Ground! I shall walk softly there,
And learn by going where I have to go.

Light takes the Tree; but who can tell us how?
The lowly worm climbs up a winding stair;
I wake to sleep, and take my waking slow.

Great Nature has another thing to do
To you and me; so take the lively air,
And, lovely, learn by going where to go.

This shaking keeps me steady. I should know.
What falls away is always. And is near.
I wake to sleep, and take my waking slow.
I learn by going where I have to go.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Проснувшись в сон, я мыслил в этом сне:
Моя судьба — там, где неведом страх,
Учусь в пути, и цель понятна мне.

Мы чувством думаем. Но что понять извне?
Моя душа — лишь звук в чужих ушах,
Проснувшись в сон, я мыслил в этом сне.

Из тех, кто близок, как узнать — кто ты?
Пусть Бог благословит мой тихий путь,
Учусь в пути, и цель понятна мне.

Свет дерево укрыл. Как? Кто поймет вполне?
По лестнице крутой ползет червяк,
Проснувшись в сон, я мыслил в этом сне.

Великая Природа с высоты
Еще приветит нас. В ее лесах
Учись в пути, цель встретишь в тишине.

Страх душу утвердит. Понять бы мне —
Ушедшее ушло, но близко так...
Проснувшись в сон, я мыслил в этом сне.
Учусь в пути, и цель понятна мне.

Перевод Р. Сефа

THE CHICAGO *DEFENDER* SENDS A MAN TO LITTLE ROCK

Fall, 1957

In Little Rock the people bear
Babes, and comb and part their hair
And watch the want ads, put repair
To roof and latch. While wheat toast burns
A woman waters multiferns.

Time upholds or overturns
The many, tight, and small concerns.

In Little Rock the people sing
Sunday hymns like anything,
Through Sunday pomp and polishing.
And after testament and tunes,
Some soften Sunday afternoons
With lemon tea and Lorna Doones.

I forecast
And I believe
Come Christmas Little Rock will cleave
To Christmas tree and trifle, weave,
From laugh and tinsel, texture fast.

In Little Rock is baseball; Barcarolle.
That hotness in July ... the uniformed figures raw and implacable
And not intellectual,
Batting the hotness or clawing the suffering dust.
The Open Air Concert, on the special twilight green...
When Beethoven is brutal or whispers to lady-like air.

«ЧИКАГО ДИФЕНДЕР» ПОСЫЛАЕТ
СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЛ-РОК

Народ в Литл-Роке детей рожает,
Ищет работы, соображает,
Чем крышу покрыть бы, цветы сажает.
Покуда хозяйка цветы польет,
Обед подгорает. Так и идет

Вечный будничный круговорот
Мелких, назойливых, злых забот.

В воскресные дни в Литл-Роке поют
Воскресные гимны и дань отдают
Воскресным обычаям и просто приличиям.
А выслушав проповедь, выслушав пенье,
Вернутся домой завершить воскресенье:
К семейному чаю — семейное чтение.

Когда рождество
Переступит порог,
Конечно же, встретит его Литл-Рок,
Еловую хвою и смех с мишурою
Смешает в веселый блестящий клубок.

Есть в Литл-Роке спортсмены, любители сцены.
В июле жара... Полисмены — неумолимые,
Неинтеллектуальные —
Палками лупят жару и топчут пыль сапогами.
Вечером в парке концерты, сумрак ложится...
Людвиг Бетховен — то грубый, то женственно-нежный.

Blanket-sitters are solemn, as Johann troubles to lean
To tell them what to mean...

There is love, too, in Little Rock. Soft women softly
Opening themselves in kindness,
Or, pitying one's blindness,
Awaiting one's pleasure
In azure
Glory with anguished rose at the root....
To wash away old semi-discomfitures.
They re-teach purple and unsullen blue.
The wispy soils go. And uncertain
Half-havings have they clarified to sures.

In Little Rock they know
Not answering the telephone is a way of rejecting life,
That it is our business to be bothered, is our business
To cherish bores or boredom, be polite
To lies and love and many-faceted fuzziness.

I scratch my head, massage the hate-I-had.
I blink across my prim and pencilled pad.
The saga I was sent for is not down.
Because there is a puzzle in this town.
The biggest News I do not dare
Telegraph to the Editor's chair:
"They are like people everywhere."

The angry Editor would reply
In hundred harrings of Why.

And true, they are hurling spittle, rock,
Garbage and fruit in Little Rock.
And I saw coiling storm a-writhe
On bright madonnas. And a scythe
Of men harassing brownish girls.

Бах втолковать свою музыку публике тщится —
Серьезные лица...

Есть и любовь в Литл-Роке. Мягкие женщины мягко,
Умиляясь своей добротой,
Удивляясь мужской слепоте,
Приближают мгновенья
Наслажденья,
Будто розы, раскрыв свою розовую глубину...
Чтобы все неудачи былые покрыло забвеньем,
Воскрешают лишь пурпур и небесную голубизну.
И самым смутным полуобладаньям
Даруют несомненность бытия.

В Литл-Роке знают,
Что, когда телефон беспокоит вас,
Ваш долг ответить несколько вежливых фраз
Лгущим, любящим, просто лепечущим что-то,
Надоедливый, нудный ответить ваша забота.

Скребу затылок: где гнев мой прежний?
Блокнот листаю все безнадежней.
Того, за чем я послана, нету.
Как телеграмму я дам в газету?
Как объяснять события буду?
Как сообщу им я новость эту:
«Люди такие же здесь, как всюду»?

Редактор в ответ обрушил бы тьму
Сердитых, настойчивых «почему».

И верно, ведь вот же он, Литл-Рок:
Ругательства, камни, плевки, пинок,
И ярость на лицах местных матрон,
И здешних самцов озверевших гон
За школьницами-негритянками вслед.

(The bows and barrettes in the curls
And braids declined away from joy.)

I saw a bleeding brownish boy....

The lariat lynch-wish I deplored.

The loveliest lynchee was our Lord.

THE BEAN EATERS

They eat beans mostly, this old yellow pair.
Dinner is a casual affair.
Plain chipware on a plain and creaking wood,
Tin flatware.

Two who are Mostly Good.
Two who have lived their day,
But keep on putting on their clothes
And putting things away.

And remembering ...
Remembering, with twinklings and twinges,
As they lean over the beans in their rented back room that is full
of beads and receipts and dolls and cloths, tobacco crumbs,
vases and fringes.

(Девичьих нарядов веселый цвет
Как будто выцвел.) Лови! Трави!

У юноши-негра лицо в крови...

Петля взметнулась, взведен курок.

Линчует гóспода Литл-Рок.

Перевод В. Британишского

ЕДОКИ БОБОВ

Эти двое, старик со старухой, обычно бобы едят.
Одно только блюдо, обед у них бедноват.
Простая посуда, и мебель у них проста.
Стол расшатался, и стулья давно скрипят.

Эти двое, старик со старухой, добры, сама доброта.
Эти двое, старик со старухой, у которых жизнь прожита,
Еще продолжают по привычке вставать с постели
И ставить вещи на старые их места.

Еще вспоминают...

Вспоминают, сидят старики,

Склонясь над миской с бобами в дешевой своей комнатушке,
где скопились рецепты, квитанции, куклы и тряпки,
табачные крошки, цветочные горшки.

Перевод В. Британишского

AN EVENT

As if a cast of grain leapt back to the hand,
A landscapeful of small black birds, intent
On the far south, convene at some command
At once in the middle of the air, at once are gone
With headlong and unanimous consent
From the pale trees and fields they settled on.

What is an individual thing? They roll
Like a drunken fingerprint across the sky!
Or so I give their image to my soul
Until, as if refusing to be caught
In any singular vision of my eye
Or in the nets and cages of my thought,

They tower up, shatter, and madden space
With their divergences, are each alone
Swallowed from sight, and leave me in this place
Shaping these images to make them stay:
Meanwhile, in some formation of their own,
They fly me still, and steal my thoughts away,

Delighted with myself and with the birds,
I set them down and give them leave to be.
It is by words and the defeat of words,
Down sudden vistas of the vain attempt,
That for a flying moment one may see
By what cross-purposes the world is dreamt.

СОБЫТИЕ

Как горсть семян, влетающих обратно
В ладонь, вся местность мелких черных птиц
Взмывает в центр небес, и непонятно,
Что заставляет их лететь на юг,
Не зная ни сомнений, ни границ,
С родных полей и далее снявшись вдруг.

Где индивидуальность? Птичья стая
Как отпечаток пальца в небесах!
Мгновенным образом я заставляю
Их, опрометчивых, застыть на миг
В моих не столь стремительных зрачках,
В не столь летучих помыслах моих.

Они роятся, небеса безумя.
Распалась стая, птицы по одной
Из глаз исчезли, и силком раздумий
Остановить их вновь — напрасный труд.
Меж тем, образовавши в небе строй,
Они летят и мысли вдаль влекут.

Меня возносят к небу птичьи крылья,
Я их стараюсь прикрепить к земле.
Вся сила слов и все словес бессилье
Так явственны, и видно в этот миг,
За птицами скользящий на крыле,
Каким извечным спором создан мир.

LAMARCK ELABORATED

The environment creates the organ.

The Greeks were wrong who said our eyes have rays;
Not from these sockets or these sparkling poles
Comes the illumination of our days.
It was the sun that bored these two blue holes.

It was the song of doves begot the ear
And not the ear that first conceived of sound:
That organ bloomed in vibrant atmosphere,
As music conjured Ilium from the ground.

The yielding water, the repugnant stone,
The poisoned berry and the flaring rose
Attired in sense the tactless finger-bone
And set the taste-buds and inspired the nose.

Out of our vivid ambiance came unsought
All sense but that most formidably dim.
The shell of balance rolls in seas of thought.
It was the mind that taught the head to swim.

Newtonian numbers set to cosmic lyres
Whelmed us in whirling worlds we could not know,
And by the imagined floods of our desires
The voice of Sirens gave us vertigo.

A BAROQUE WALL-FOUNTAIN
IN THE VILLA SCIARRA

for Dore and Adja

Under the bronze crown
Too big for the head of the stone cherub whose feet
A serpent has begun to eat,
Sweet water brims a cockle and braids down

РАЗВИВАЯ ЛАМАРКА

Окружающая среда создает орган.

Не правы древние, в глазницах нет
Сиянья, что из них спешит пролиться:
Не наше зренье осветило свет,
Но солнце отворило нам зеницы.

Не в нашем ухе зародился звук,
Но слух наш породило птичье пенье:
Дрожащий воздух, полня все вокруг,
Смог даже Троию вызволить от тленья.

Податливость ручьев, упорство гор,
Отрава ягод, лилий волхвованье
Ввели в неведомое до сих пор,
Дав осязанье, вкус и обонянье.

Там все извне, но тут наоборот,
Тут чувство равновесья ищет заводь
Средь темных мыслей, как средь бурных вод.
Но только разум обучает плавать.

Ньютонов счет на лирах наших дней
Ведет нас к небывалым ощущениям,
А у потоков мыслей и страстей
Сирены, как всегда, смущают пеньем.

Перевод А. Сергеева

БАРОЧНЫЙ ФОНТАН НА ВИЛЛЕ ШАРРА

Под бронзовым венцом (его охват
Великоват для крошки херувима,
Чьи ноги пожирает змей) каскад
Звонит в косицах струй, летящих мимо

Past spattered mosses, breaks
On the tipped edge of a second shell, and fills
The massive third below. It spills
In threads then from the scalloped rim, and makes

A scrim or summery tent
For a faun-ménage and their familiar goose.
Happy in all that ragged, loose
Collapse of water, its effortless descent

And flatteries of spray,
The stocky god upholds the shell with ease,
Watching, about his shaggy knees,
The goatish innocence of his babes at play;

His fauness all the while
Leans forward, slightly, into a clambering mesh
Of water-lights, her sparkling flesh
In a saecular ecstasy, her blinded smile

Bent on the sand floor
Of the trefoil pool, where ripple-shadows come
And go in swift reticulum,
More addling to the eye than wine, and more

Interminable to thought
Than pleasure's calculus. Yet since this all
Is pleasure, flash, and waterfall,
Must it not be too simple? Are we not

More intricately expressed
In the plain fountains that Maderna set
Before St. Peter's—the main jet
Struggling aloft until it seems at rest

In the act of rising, until
The very wish of water is reversed,
That heaviness borne up to burst
In a clear, high, cavorting head, to fill

Замшелых плит, чтобы себя разбить
О раковину нижнюю и в третью —
Массивную упасть, за нитью нить
Над краем расплескать, и светлой сетью

Накрыть — подобьем летнего шатра —
Семейство фавнов с милою гусыней...
Счастливый тем, как радужна игра
Расхристанных и невесомых линий

И пыль воды учтива, — пышный бог,
Кем раковина в вышину подъята,
Глядит, как у его косматых ног
Дурачатся невинные фавнята.

Тем временем, чуть наклонясь вперед,
Его фавнесса, в пестрой ткани зыбкой
Из бликов беглых, тело отдает
Мирским соблазнам и косит улыбкой

Туда, где от песка янтарно дно
Сравнимого с трилистником бассейна,
Где рябь серебряная, как вино,
Закружит голову и чародейно

Мысль унесет туда, где нет забот...
И все же эта пышность без уему,
Избыток удовольствий, водомет, —
Не слишком ли простой итог земному?

Да разве не сложнее мы стократ
В простых фонтанах, созданных Мадерной
Перед Святым Петром, где в небоскат
Вода ушла струею соразмерной,

Пока в своем порыве к вышине
Не ощутит обратное стремленье,
И тяжесть, в небе тяжкая вдвойне,
На кроне задержавшись на мгновенье,

With blaze, and then in gauze
Delays, in a gnatlike shimmering, in a fine
Illumined version of itself, decline,
And patter on the stones its own applause?

If that is what men are
Or should be, if those water-saints display
The pattern of our areté,
What of these showered fauns in their bizarre,

Spangled, and plunging house?
They are at rest in fulness of desire
For what is given, they do not tire
Of the smart of the sun, the pleasant water-douse

And riddled pool below,
Reproving our disgust and our ennui
With humble insatiety.
Francis, perhaps, who lay in sister snow

Before the wealthy gate
Freezing and praising, might have seen in this
No trifle, but a shade of bliss—
That land of tolerable flowers, that state

As near and far as grass
Where eyes become the sunlight, and the hand
Is worthy of water: the dreamt land
Toward which all hungers leap, all pleasures pass.

ADVICE TO A PROPHET

When you come, as you soon must, to the streets of our city,
Mad-eyed from stating the obvious.
Not proclaiming our fall but begging us
In God's name to have self-pity,

Не затрепещет, не осядет,— сплошь
Мерцанье комариное, двойница
Себе самой— чтоб сотнями ладош
По плитам шлепать и собой гордиться?

И если эта ясная вода—
То, что мы есть, и чем, возможно, станем,
Достойно путь свершив,— то что ж тогда
Все эти фавны под седым мерцаньем

Неспешных струй? Они застыли тут,
Чтоб наслаждаться в стекловидном доме
Всем, что дано им, и не устают
От солнца, блещущего в водоеме,

И от приятной дозы теплых брызг,
И осуждают раздраженье наше
Своим смирением... Святой Франциск,
Который в милосердной снежной каше

Перед богатыми вратами мерз,
Узнал бы в этом, славя божье царство,
Не безделушку, а прообраз грез,
Страну цветов смиренных, государство

Травы, столь близкой и чужой всегда,
Где солнце— зрение слепых, а руки
Воды достойны,— край мечты, куда
Все наслажденья движутся и муки.

Перевод П. Грушко

СОВЕТ ПРОРОКУ

Когда ты придешь— а ждать осталось немного,—
Обезумевший от всего, что увидел в пути,
Не проклиная, а заклиная именем бога
Себя самих пожалеть и спасти,—

Spare us all word of the weapons, their force and range,
The long numbers that rocket the mind;
Our slow, unreckoning hearts will be left behind,
Unable to fear what is too strange.

Nor shall you scare us with talk of the death of the race.
How should we dream of this place without us?—
The sun mere fire, the leaves untroubled about us,
A stone look on the stone's face?

Speak of the world's own change. Though we cannot conceive
Of an undreamt thing, we know to our cost
How the dreamt cloud crumbles, the vines are blackened by frost,
How the view alters. We could believe,

If you told us so, that the white-tailed deer will slip
Into perfect shade, grown perfectly shy,
The lark avoid the reaches of our eye,
The jack-pine lose its knuckled grip

On the cold ledge, and every torrent burn
As Xanthus once, its gliding trout
Stunned in a twinkling. What should we be without
The dolphin's arc, the dove's return,

These things in which we have seen ourselves and spoken?
Ask us, prophet, how we shall call
Our natures forth when that live tongue is all
Dispelled, that glass obscured or broken

In which we have said the rose of our love and the clean
Horse of our courage, in which beheld
The singing locust of the soul unshelled,
And all we mean or wish to mean.

Ask us, ask us whether with the worldless rose
Our hearts shall fail us; come demanding
Whether there shall be lofty or long standing
When the bronze annals of the oak-tree close.

Не пугай нас оружием, его глобальностью, длинной
Ракетой чисел, буравящей наши умы,
Тихим нашим сердцам не угнаться за счетной машиной,
Мы не можем бояться того, что не ведаем мы.

Не пугай апокалипсисом наше племя живое.
Как можно представить это пространство без нас?
Солнце — лишь пламенем, лес — неодоушевленной листвою,
Камень — лишенным внимательных глаз?

Говори о мытарствах природы. Не веря в слепые угрозы,
Мы верим лишь горькому опыту, а не ворожке:
Вот распадется облако, и чернеют от холода лозы,
И пейзаж умирает. Мы поверим тебе,

Если ты скажешь, что белохвостый олень превратится
В совершенную тень, растворившись во мгле,
Что даже от наших взглядов будет прятаться птица,
И дикарка-сосна засохнет на голой скале.

И каждый поток умрет на каменном ложе,
Подобно Ксанфу, и вся форель — до мальков —
Всплывет вверх брюхом. Кем будем мы, что мы сможем
Без дельфиновых прыжков и голубиных витков?

Без вещей, которые нас отражали, нас выражали?
Подумай, пророк, как себя мы отыщем в своем
Естестве, если исчезнет язык этой дали,
Если зеркало помутится или мы его разобьем —

Зеркало, где алеет роза любви, и где скачет
Мустанг отваги, и поет печальный сверчок
В подвале души? Где каждый что-то да значит
Или хотел бы значить? Подумай, пророк,

Если розы погибнут — разве в то же мгновенье
Не увянут и наши сердца среди вымерших трав?
Разве мир не окутает беспросветное омертвенье, —
Когда обезлиствеют бронзовые архивы дубрав?

A SUPERMARKET IN CALIFORNIA

What thoughts I have of you tonight, Walt Whitman, for I walked down the sidestreets under the trees with a headache self-conscious looking at the full moon. •

In my hungry fatigue, and shopping for images, I went into the neon fruit supermarket, dreaming for your enumerations!

What peaches and what penumbras! Whole families shopping at night! Aisles full of husbands! Wives in the avocados, babies in the tomatoes!—and you, Garcia Lorca, what were you doing down by the watermelons?

I saw you, Walt Whitman, childless, lonely old grubber, poking among the meats in the refrigerator and eyeing the grocery boys.

I heard you asking questions of each: Who killed the pork chops? What price bananas? Are you my Angel?

I wandered in and out of the brilliant stacks of cans following you, and followed in my imagination by the store detective.

We strode down the open corridors together in our solitary fancy tasting artichokes, possessing every frozen delicacy, and never passing the cashier.

Where are we going, Walt Whitman? The doors close in an hour. Which way does your beard point tonight?

(I touch your book and dream of our odyssey in the supermarket and feel absurd.)

Will we walk all night through solitary streets? The trees add shade to shade, lights out in the houses, we'll both be lonely.

Will we stroll dreaming of the lost America of love past blue automobiles in driveways, home to our silent cottage?

СУПЕРМАРКЕТ В КАЛИФОРНИИ

Этим вечером, слоняясь по переулкам с больной головой и застенчиво глядя на луну, как я думал о тебе, Уолт Уитмен!

Голодный, усталый я шел покупать себе образы и забрел под неоновый свод супермаркета и вспомнил перечисленья предметов в твоих стихах.

Что за персики! Что за полутона! Покупатели вечером целыми семьями! Проходы набиты мужьями! Жены у гор авокадо, дети среди помидоров!—и ты, Гарсия Лорка, что ты делал среди арбузов?

Я видел, как ты, Уолт Уитмен, бездетный старый ниспровергатель, трогал мясо на холодильнике и глазел на мальчишек из бакалейного.

Я слышал, как ты задавал вопросы: Кто убил поросят? Сколько стоят бананы? Ты ли это, мой ангел?

Я ходил за тобой по блестящим аллеям консервных банок, и за мною ходил магазинный сыщик.

Мы бродили с тобой, одинокие, мысленно пробуя артишоки, наслаждаясь всеми морожеными деликатесами, и всегда избегали кассиршу.

Куда мы идем, Уолт Уитмен? Двери закроются через час. Куда сегодня ведет твоя борода?

(Я беру твою книгу и мечтаю о нашей одиссее по супермаркету, и чувствую—все это вздор.)

Так что, мы будем бродить всю ночь по пустынным улицам? Деревья бросают тени на тени, в домах гаснет свет, мы одни.

Что же, пойдём домой мимо спящих синих автомобилей, мечтая об утраченной Америке любви?

Ah, dear father, graybeard, lonely old courage-teacher,
what America did you have when Charon quit poling his ferry
and you got out on a smoking bank and stood watching the boat
disappear on the black waters of Lethe?

SUNFLOWER SUTRA

I walked on the banks of the tincan banana dock and sat down
under the huge shade of a Southern Pacific locomotive to
look at the sunset over the box house hills and cry.

Jack Kerouac sat beside me on a busted rusty iron pole,
companion, we thought the same thoughts of the soul, bleak
and blue and sad-eyed, surrounded by the gnarled steel roots
of trees of machinery.

The oily water on the river mirrored the red sky, sun sank on top
of final Frisco peaks, no fish in that stream, no hermit in
those mounts, just ourselves rheumy-eyed and hungover like
old bums on the riverbank, tired and wily.

Look at the Sunflower, he said, there was a dead gray shadow
against the sky, big as a man, sitting dry on top of a pile of
ancient sawdust—

— I rushed up enchanted—it was my first sunflower, memories
of Blake—my visions—Harlem

and Hells of the Eastern rivers, bridges clanking Joes Greasy Sand-
wiches, dead baby carriages, black treadless tires forgotten
and unretreaded, the poem of the riverbank, condoms &
pots, steel knives, nothing stainless, only the dank muck and
the razor sharp artifacts passing into the past—

and the gray Sunflower poised against the sunset, crackly bleak
and dusty with the smut and smog and smole of olden
locomotives in its eye—

corolla of bleary spikes pushed down and broken like a battered
crown, seeds fallen out of its face, soon-to-be toothless mouth
of sunny air, sunrays obliterated on its hairy head like a dried
wire spiderweb,

О, дорогой отец, старый седобородый одинокий учитель мужества, какая была у тебя Америка, когда Харон перевез тебя на дымящийся берег и ты стоял и смотрел, как теряется лодка в черных струях Леты?

Перевод А. Сергеева

СУТРА ПОДСОЛНУХА

Я бродил по берегу грязной консервной свалки, и уселся в огромной тени паровоза «Сазерн Пасифик», и глядел на закат над коробками вверх по горам, и плакал.

Джек Керуак сидел рядом со мной на ржавой изогнутой балке, друг, и мы, серые и печальные, одинаково размышляли о собственных душах в окружении узловатых железных корней машин.

Покрытая нефтью река отражала багровое небо, солнце садилось на последние пики над Фриско, в этих водах ни рыбы, в горах—ни отшельника, только мы, красноглазые и сутулые, словно старые нищие у реки, сидели усталые со своими мыслями.

— Посмотри на Подсолнух,—сказал мне Джек,—на фоне заката стояла бесцветная мертвая тень, большая, как человек, возвышаясь из кучи старинных опилок

— я приподнялся, зачарованный,—это был мой первый Подсолнух, память о Блейке—мои прозрения—Гарлем и Пекла восточных рек, и по мосту лязг сэндвичей Джоза Гризи, трупки детских колясок, черные стертые шины, забытые, без рисунка, стихи на речном берегу, горшки и кондомы, ножи—все стальные, но не нержавеющей,—и лишь эта липкая грязь и бритвенно острые артефакты отходят в прошлое—

серый Подсолнух на фоне заката, потрескавшийся, унылый и пыльный, и в глазах его копоть и смог, и дым допотопных локомотивов—

венчик с поблекшими лепестками, погнутыми и щербатыми, как изуродованная корона, большое лицо, кое-где повывали семечки, скоро он станет беззубым ртом горячего неба, и солнца лучи погаснут в его волосах, как засохшая паутина,

leaves stuck out like arms out of the stem, gestures from the
sawdust root, broke pieces of plaster fallen out of the black
twigs, a dead fly in its ear,

Unholy battered old thing you were, my sunflower O my soul, I
loved you then!

The grime was no man's grime but death and human locomotives,
all that dress of dust, that veil of darkened railroad skin, that
smog of cheek, that eyelid of black mis'ry, that sooty hand or
phallus or protuberance of artificial worse-than-dirt—
industrial—modern—all that civilization spotting your crazy
golden crown

and those blear thoughts of death and dusty loveless eyes and ends
and withered roots below, in the home-pile of sand and
sawdust, rubber dollar bills, skin of machinery, the guts and
innards of the weeping coughing car, the empty lonely tincans
with their rusty tongues alack, what more could I name, the
smoked ashes of some cock cigar, the cunts of wheelbarrows
and the milky breasts of cars, wornout asses out of chairs &
sphincters of dynamos—all these

entangled in your mummied roots—and you there standing before
me in the sunset, all your glory in your form!

A perfect beauty of a sunflower! a perfect excellent lovely
sunflower existence! a sweet natural eye to the new hip moon,
woke up alive and excited grasping in the sunset shadow
sunrise golden monthly breeze!

How many flies buzzed round you innocent of your grime, while
you cursed the heavens of the railroad and your flower soul?

Poor dead flower? when did you forget you were a flower? when
did you look at your skin and decide you were an impotent
dirty old locomotive? the ghost of a locomotive? the specter
and shade of a once powerful mad American locomotive?

You were never no locomotive, Sunflower, you were
a sunflower!

And you Locomotive, you are a locomotive, forget me not!

So I grabbed up the skeleton thick sunflower and stuck it at my side
like a scepter,

листья торчат из стебля, как руки, жесты из корня в опилках, осыпавшаяся известка с ветвей, мертвая муха в ухе.

Несвятая побитая вещь, мой подсолнух, моя душа, как тогда я любил тебя!

Эта грязь была не людской грязью, но грязью смерти и человеческих паровозов,

вся пелена пыли на грязной коже железной дороги, этот смог на щеке, это веко черной нужды, эта покрытая сажей рука или фаллос, или протуберанец искусственной—хуже, чем грязь—промышленной—современной—всей этой цивилизации, запятнавшей твою сумасшедшую золотую корону—и эти туманные мысли о смерти, и пыльные безлюбые глаза, и концы, и увядшие корни внизу, в домашней куче песка и опилок, резиновые доллары, шкура машины, потроха чахоточного автомобиля, пустые консервные банки со ржавыми языками набок—что еще мне сказать?—импотентский остаток сигары, влагилица тачек, молочные груди автомобиля, потертая задница кресла и сфинктер динамо—все это

спрелось и мумифицировалось вокруг твоих корней,—и ты стоишь предо мною в закате, и сколько величия в твоих очертаньях!

О совершенная красота Подсолнуха! Совершенное счастье бытия Подсолнуха! Ласковый глаз природы, нацеленный на хиповатое ребрышко месяца, проснулся, живой, возбужденно впивая в закатной тени золотой ветерок ежемесячного восхода!

Сколько мух жужжало вокруг тебя, не замечая твоей грязи, когда ты проклинал небеса железной дороги и свою цветочную душу?

Бедный мертвый цветок! Когда позабыл ты, что ты цветок?

Когда ты, взглянув на себя, решил, что ты бессильный и грязный старый локомотив, призрак локомотива, привиденье и тень некогда всемогущего дикого американского паровоза?

Ты никогда не был паровозом, Подсолнух, ты был Подсолнухом!

А ты, Паровоз, ты и есть паровоз, не забудь же!

И взяв скелет подсолнуха, я водрузил его рядом с собою, как скипетр,

and deliver my sermon to my soul, and Jack's soul too, and anyone who'll listen,

— We're not our skin of grime, we're not our dread bleak dusty imageless locomotive, we're all beautiful golden sunflowers inside, we're blessed by our own seed & golden hairy naked accomplishment-bodies growing into mad black formal sunflowers in the sunset, spied on by our eyes under the shadow of the mad locomotive riverbank sunset Frisco hilly tincan evening sitdown vision.

и проповедь произнес для своей души, и для Джека, и для всех, кто желал бы слушать:

— Мы не грязная наша кожа, мы не страшные, пыльные, безобразные паровозы, все мы душою прекрасные золотые подсолнухи, мы одарены семенами, и наши голые волосатые золотые тела при закате превращаются в сумасшедшие тени подсолнухов, за которыми пристально и вдохновенно наблюдают наши глаза в тени безумного кладбища паровозов над грязной рекой при свете заката над Фриско.

Перевод А. Сергеева

MORNING SONG

Love set you going like a fat gold watch.
The midwife slapped your footsoles, and your bald cry
Took its place among the elements.

Our voices echo, magnifying your arrival. New statue.
In a drafty museum, your nakedness
Shadows our safety. We stand round blankly as walls.

I'm no more your mother
Than the cloud that distils a mirror to reflect its own slow
Effacement at the wind's hand.

All night your moth-breath
Flickers among the flat pink roses. I wake to listen:
A far sea moves in my ear.

One cry, and I stumble from bed, cow-heavy and floral
In my Victorian nightgown.
Your mouth opens clean as a cat's. The window square

Whitens and swallows its dull stars. And now you try
Your handful of notes;
The clear vowels rise like balloons.

TULIPS

.

The tulips are too excitable, it is winter here.
Look how white everything is, how quiet, how snowed-in.
I am learning peacefulness, lying by myself quietly

УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ

Любовь тебя завела, как золотые часики,
Акушерка тебе пошлепала пяточки, и твой крик
Занял место среди стихий.

Мы хором обрадовались тебе. Новое изваяние.
На музейном сквозняке твоя нагота отенила
Нашу прочность. Вокруг тебя мы как стены.

Я тебе мать не больше,
Чем облачко, что отражает
Собственное исчезновение на ветру.

Твое мотыльковое дыхание
Всю ночь мерцает среди алых роз. Я проснулась.
И в ушах гудит далекое море.

Крик — и я сползаю с постели, грузная, как корова,
Пестрая в викторианской ночной рубашке.
Твой кошачий чистенький ротик раскрыт. Квадрат

Окна, белея, глотает звезды. А ты обновляешь
Свою пригоршню звуков;
Ясные гласные пляшут, словно воздушные шарики.

Перевод А. Сергеева

ТЮЛЬПАНЫ

Тюльпаны легко раздражаются. Здесь зима.
Посмотри, как все тихо, бело, заснеженно.
Я обучаюсь спокойствию, смирно лежу,

As the light lies on these white walls, this bed, these hands.
I am nobody; I have nothing to do with explosions.
I have given my name and my day-clothes up to the nurses
And my history to the anaesthetist and my body to surgeons.

They have propped my head between the pillow and the sheet-cuff
Like an eye between two white lids that will not shut.
Stupid pupil, it has to take everything in.
The nurses pass and pass, they are no trouble,
They pass the way gulls pass inland in their white caps,
Doing things with their hands, one just the same as another,
So it is impossible to tell how many there are.

My body is a pebble to them, they tend it as water
Tends to the pebbles it must run over, smoothing them gently.
They bring me numbness in their bright needles, they bring me sleep.
Now I have lost myself I am sick of baggage——
My patent leather overnight case like a black pillbox,
My husband and child smiling out of the family photo;
Their smiles catch onto my skin, little smiling hooks.

I have let things slip, a thirty-year-old cargo boat
Stubbornly hanging on to my name and address.
They have swabbed me clear of my loving associations.
Scared and bare on the green plastic-pillowed trolley
I watched my tea-set, my bureaus of linen, my books
Sink out of sight, and the water went over my head.
I am a nun now, I have never been so pure.

I didn't want any flowers, I only wanted
To lie with my hands turned up and be utterly empty.
How free it is, you have no idea how free——
The peacefulness is so big it dazes you,
And it asks nothing, a name tag, a few trinkets.
It is what the dead close on, finally; I imagine them
Shutting their mouths on it, like a Communion tablet.

The tulips are too red in the first place, they hurt me.
Even through the gift paper I could hear them breathe

Как свет лежит на стенах, руках, простынях.
Я никто, и бывшее безумие мне незнакомо.
Здесь я сдала свои имя и платье сиделкам,
Биографию — анестезиологу, тело — хирургам.

Моя голова сидит между двух подушек,
Как глаз между белых вечно раскрытых век.
Неразумный зрачок вбирает в себя все подряд.
Сестры в белых наколках хлопочут, хлопочут,
Что-то вертят в руках, — одна, как другая,
Как чайки над морем, меня они не тревожат,
Все одинаковы так, что нельзя сосчитать.

Тело мое для них — что камешек, и они
Терпеливо оглаживают его, словно волны.
В блестящих иглах они приносят мне сон.
Я потеряла себя, и мне стали в тягость
Кожаный туалетный прибор, похожий на саквояж,
Муж и ребенок, глядящие с фотографии;
Их улыбки цепляют меня, как крючки.

Вещи, набравшиеся за мои тридцать лет,
Упрямо приходят по моему адресу.
А от меня отслоили милые ассоциации.
Испуганная, на каталке с зеленым пластиком,
Я смотрела, как мой сервиз, одежда и книги
Затуманивались вдали. Меня захлестнули волны.
Теперь я монахиня, чистая, как дитя.

Я не просила цветов, мне хочется одного —
Без мыслей лежать, запрокинув руки.
Так привольно — вам не понять, как привольно.
Покой мой настолько безбрежен, что трудно вынести.
Легкость, табличка с именем, безделушки.
К такому покою приходят покойники, навсегда
Принимая его губами, словно причастие.

От чрезмерного пыла тюльпанов рябит в глазах.
Я услышала и сквозь оберточную бумагу

Lightly, through their white swaddlings, like an awful baby.
Their redness talks to my wound, it corresponds.
They are subtle: they seem to float, though they weigh me down,
Upsetting me with their sudden tongues and their colour,
A dozen red lead sinkers round my neck.

Nobody watched me before, now I am watched.
The tulips turn to me, and the window behind me
Where once a day the light slowly widens and slowly thins,
And I see myself, flat, ridiculous, a cut-paper shadow
Between the eye of the sun and the eyes of the tulips,
And I have no face, I have wanted to efface myself.
The vivid tulips eat my oxygen.

Before they came the air was calm enough,
Coming and going, breath by breath, without any fuss.
Then the tulips filled it up like a loud noise.
Now the air snags and eddies round them the way a river
Snags and eddies round a sunken rust-red engine.
They concentrate my attention, that was happy
Playing and resting without committing itself.

The walls, also, seem to be warming themselves.
The tulips should be behind bars like dangerous animals;
They are opening like the mouth of some great African cat,
And I am aware of my heart: it opens and closes
Its bowl of red blooms out of sheer love of me.
The water I taste is warm and salt, like the sea,
And comes from a country far away as health.

LADY LAZARUS

I have done it again.
One year in every ten
I manage it——

Их дыханье, настойчивое, как у младенца.
Их краснота громко тревожит мне рану.
Сами вот-вот уплывут, а меня они топят —
Я цепенею от их неожиданных призывов и яркости.
Десять свинцовых грузил вокруг моей шеи.

За мной не бывало слезки. Теперь же тюльпаны
Не сводят глаз с меня и с окна за спиной,
Где по разу на дню свет нарастает и тает.
И я, невесомая, словно бумажный призрак,
Никну меж взглядами солнца и красных цветов.
Я безлика, мне хочется провалиться сквозь землю,
Пылающие тюльпаны съедают мой кислород.

До их появления дышалось достаточно просто —
Вдох и выдох, один за другим, без задержки.
И вдруг тюльпаны, как грохот, заполнили все.
Дыхание налетает на них, завихряется,
Как река на спущенную с откоса машину.
Они привлекают внимание и отнимают силы,
Скопившиеся на счастливом безвольном раздолье.

Стены, кажется, тоже приходят в волнение.
Тюльпаны достойны клетки, как дикие звери,
Они раскрываются, словно львиные пасти.
И сердце в груди раскрывается и сжимается —
Тоже сосуд, полный красных цветов.
Вода в стакане на вкус соленая, теплая,
Она из морей, далеких, как выздоровление.

Первод А. Сергеева

ВОССТАЮЩАЯ ИЗ МЕРТВЫХ

Мне опять удалось.
Так со мною случается раз
В десять лет.

A sort of walking miracle, my skin
Bright as a Nazi lampshade,
My right foot

A paperweight,
My face a featureless, fine
Jew linen.

Peel off the napkin
O my enemy.
Do I terrify?—

The nose, the eye pits, the full set of teeth?
The sour breath
Will vanish in a day.

Soon, soon the flesh
The grave cave ate will be
At home on me

And I a smiling woman.
I am only thirty.
And like the cat I have nine times to die.

This is Number Three.
What a trash
To annihilate each decade.

What a million filaments.
The peanut-crunching crowd
Shoves in to see

Them unwrap me hand and foot—
The big strip tease.
Gentlemen, ladies,

These are my hands,
My knees.
I may be skin and bone,

Я опять поднялась,
Прожжена насквозь
Нацистским прожектором, я, скелет.

Как волос, тонка
Лица без черт
Библейская ткань.

Сорви обертку
С меня, мой враг.—
Ты ведь любишь мрак?—

Нос, дыры глаз, полный рот зубов?
Жалкий покров
Жизни моей.

Скоро из дому я уйду
В дом охотницы на еду,
Любящей лопать плоть.

Я—с улыбкою. Я—живучей
Кошки, которая Неминучей
Девять раз избегает. Мне

Тридцать. Это мой Номер Третий.
Что за причуда такая—не
Уцелевать раз в десятилетье?

Миллионы моих волокон.
Толпы выплюнувшихся из окон—
Поглазеть, как они, меня

Развинтили и разрывают.
Это, знаете ли, стриптиз—
Оголительней не бывает.

Это, знаете ли, нога.
Это, знаете ли, запястье.
Разобрали меня на части.

Nevertheless, I am the same, identical woman.
The first time it happened I was ten.
It was an accident.

The second time I meant
To last it out and not come back at all.
I rocked shut

As a seashell.
They had to call and call
And pick the worms off me like sticky pearls.

Dying
Is an art, like everything else.
I do it exceptionally well.

I do it so it feels like hell.
I do it so it feels real.
I guess you could say I've a call.

It's easy enough to do it in a cell.
It's easy enough to do it and stay put.
It's the theatrical

Come back in broad day
To the same place, the same face, the same brute
Amused shout:

"A miracle!"
That knocks me out.
There is a charge

For the eyeing of my scars, there is a charge
For the hearing of my heart——
It really goes.

And there is a charge, a very large charge,
For a word or a touch
Or a bit of blood

Ну и что же, ведь я все та же.
Десять было мне в первый раз —
Вдруг, внезапно, врасплох застало.

Во второй раз я поклялась
Там остаться, куда попала.
Раковиной на самом дне

Я замкнулась и замолчала.
Долго плыть им пришлось ко мне
С гроздьями червивых жемчужин.

Умирание есть талант.
Таковой во мне обнаружен.
Таковой мне от бога дан.

Умираю весьма умело.
Умираю осатанело.
Без притворства и без предела

Умираю, как дважды два.
Умираю, а все жива.
Умираю — и возвращаюсь:

Театрально нарядный день,
Те же лица вокруг, вещицы
И восторги (родная сень):

«Чудо! из мертвых воскресла девица!»
Этот крик меня валит с ног.
Вот цена, вот моя расплата —

Раны трогала я свои,
Сердце слушала —
Вот расплата.

Вот цена, вот расплата за
Искру крови в малейшем слове,
Дружелюбья кратчайший знак,

Or a piece of my hair on my clothes.
So, so, Herr Doktor.
So, Herr Enemy.

I am your opus,
I am your valuable,
The pure gold baby

That melts to a shriek.
I turn and burn.
Do not think I underestimate your great concern.

Ash, ash—
You poke and stir.
Flesh, bone, there is nothing there——

A cake of soap,
A wedding ring,
A gold filling.

Herr God, Herr Lucifer,
Beware
Beware.

Out of the ash
I rise with my red hair
And I eat men like air.

POPPIES IN OCTOBER

Even the sun-clouds this morning cannot manage with skirts
Nor the woman in the ambulance
Whose red heart blooms through her coat so astoundingly—

Прядку, павшую мне на брови.
Вот так, господин доктор.
Вот так, герр враг.

Я ваше творенье,
Ваше дитя
Из чистого золота,

В вопль переплавлено и перемолото,
Горю и дую,
Но я разгадала ваш главный замысел.

В золе, в золе
Вы шуруете и воруете,
Чтобы не стало людей на земле —

Только груды пепла,
Золотые кольца,
Золотые зубы.

Господь Бог, господин Люцифер!
Мир пуст и сер.
Будь милосерд!

Из пепла восстану рыжей,
Людей глотая,
Как воздух.

Перевод В. Топорова

МАКИ В ОКТЯБРЕ

Даже солнечные облака этим утром с юбками справиться не могут.
Не говоря уж о женщине в карете скорой помощи.
Ее красное сердце вдруг расцвело на пальто так бесстыдно...

A gift, a love gift
Utterly unasked for
By a sky

Palely and flamily
Igniting its carbon monoxides, by eyes
Dulled to a halt under bowlers.

O my God, what am I
That these late mouths should cry open
In a forest of frost, in a dawn of cornflowers.

Дар, это дар любви,
Нежданный, непрошенный —
Пред лицом неба,

Пламенем бледным
Выдыхаемый газ возжигает, глазами
Притупленный и остановленный.

О Боже мой, кто я такая,
Если запоздалые эти рты на́ крик должны кричать
В лютой чащобе мороза, на ясной заре васильков?

Перевод А. Парина

MERRITT PARKWAY

As if it were
forever that they move, that we
keep moving—

Under a wan sky where
as the lights went on a star
pierced the haze & now
follows steadily
a constant
above our six lanes
the dreamlike continuum...

And the people—ourselves!
the humans from inside the
cars, apparent
only at gasoline stops
unsure,
eyeing each other

drink coffee hastily at the
slot machines & hurry
back to the cars
vanish
into them forever, to
keep moving—

Houses now & then beyond the
sealed road, the trees / trees, bushes
passing by, passing
the cars that
keep moving ahead of

us, past us, pressing behind us
and
over left, those that come
toward us shining too brightly
moving relentlessly

in six lanes, gliding
north & south, speeding with
a slurred sound—

A SOLITUDE

A blind man. I can stare at him
ashamed, shameless. Or does he know it?
No, he is in a great solitude.

O, strange joy,
to gaze my fill at a stranger's face.
No, my thirst is greater than before.

In his world he is speaking
almost aloud. His lips move.
Anxiety plays about them. And now joy

of some sort trembles into a smile.
A breeze I can't feel
crosses that face as if it crossed water.

The train moves uptown, pulls in and
pulls out of the local stops. Within its loud
jarring movement a quiet,

the quiet of people not speaking,
some of them eyeing the blind man,
only a moment though, not thirsty like me,

обгоняют, подгоняют сзади
и
слева летят навстречу,
слишком блестящие,
неумолимо скользят

в шесть рядов
на юг и на север мчатся,
невнятно бурча...

Перевод А. Сергеева

ОДИНОЧЕСТВО

Слепой. Я могу на него глядеть,
стыдливо, бесстыдно. Он чувствует взгляды?
Нет, велико его одиночество.

Странная прихоть—
досыта глядеть на чужое лицо.
Не досыта—хочется еще и еще.

В своем мире он сейчас говорит
почти вслух. Его губы шевелятся.
На них беспокойство. И какая-то

радость, почти улыбка.
Неощущаемый мной ветерок
рябит его лицо, словно воду.

Поезд следует к центру, останавливаясь
на станциях. Внутри его громкой
дребезжащей сутолоки покой,

покой молчащих людей—
некоторые смотрят на слепого
мимоходом, а не жадно, как я,—

and within that quiet his
different quiet, not quiet at all, a tumult
of images, but what are his images,

he is blind? He doesn't care
that he looks strange, showing
his thoughts on his face like designs of light

flickering on water, for he doesn't know
what *look* is.
I see he has never seen.

And now he rises, he stands at the door ready,
knowing his station is next. Was he counting?
No, that was not his need.

When he gets out I get out.
"Can I help you towards the exit?"
"Oh, alright." An indifference.

But instantly, even as he speaks,
even as I hear indifference, his hand
goes out, waiting for me to take it,

and now we hold hands like children.
His hand is warm and not sweaty,
the grip firm, it feels good.

And when we have passed through the turnstile,
he going first, his hand at once
waits for mine again.

"Here are the steps. And here we turn
to the right. More stairs now." We go
up into sunlight. He feels that,

the soft air. "A nice day,
isn't it?" says the blind man. Solitude
walks with me, walks

и внутри этого покоя — его
особый покой, не покой, а вихрь
образов — только какие они, его образы?

Он слепой! И ему все равно,
что он выглядит странно, потому что
обнаженные мысли играют на его лице,

как свет на воде, — он же не знает,
что значит «выглядеть».
Он слеп от рожденья.

И вот он встает и наготове стоит у дверей,
зная, что следующая — его. Он считал?
Нет, он знает и так.

Он выходит, и я за ним.
«Разрешите, я вам помогу».
«Пожалуйста». Безразличие.

Но в тот же миг, когда я
слышу его безразличный голос,
рука его поднимается, ищет,

и мы идем, взявшись за руки, словно дети.
Его рука теплая и не влажная,
крепкая — такую приятно пожать.

И когда он первым проходит
турникет, рука его сразу же
ждет мою.

«Осторожно, ступеньки. А здесь
направо. Опять ступеньки». Мы вышли
на солнечный свет. Он чувствует

ласковый воздух. «Славный день», —
говорит слепой. Одиночество
шагает со мной, шагает

beside me, he is not with me, he continues
his thoughts alone. But his hand and mine
know one another,

it's as if my hand were gone forth
on its own journey. I see him
across the street, the blind man,

and now he says he can find his way. He knows
where he is going, it is nowhere, it is filled
with presences. He says. *I am.*

CITY PSALM

The killings continue, each second
pain and misfortune extend themselves
in the genetic chain, injustice is done knowingly, and the air
bears the dust of decayed hopes,
yet breathing those fumes, walking the thronged
pavements among crippled lives, jackhammers
raging, a parking lot painfully agleam
in the May sun, I have seen
not behind but within, within the
dull grief, blown grit, hideous
concrete façades, another grief, a gleam
as of dew, an abode of mercy,
have heard not behind but within noise
a humming that drifted into a quiet smile.
Nothing was changed, all was revealed otherwise;
not that horror was not, not that the killings did not continue,
not that I thought there was to be no more despair,
but that as if transparent all disclosed
an otherness that was blessed, that was bliss.
I saw Paradise in the dust of the street.

рядом со мной, не во мне: его мысли
одинокы, но его рука и моя
так сроднились, что, кажется,

словно моя рука, отделившись,
идет сама по себе. Я перевожу
его через улицу, и слепой

говорит, что теперь сам найдет дорогу.
Он знает, куда идет: в никуда,
наполненное тенями. Он говорит: «Я».

Перевод А. Сергеева

ГОРОДСКОЙ ПСАЛОМ

Убийства продолжаются, каждый миг
Двигутся по генетической цепи боль и несчастье,
Несправедливость творится сознательно, ветер
Несет прах увядших надежд, и все же,
Дыша этими испарениями на запруженных людьми тротуарах,
Среди искалеченных жизней, бесноватых отбойных молотков,
Автомобильных стоянок, режущих глаза
Под майским солнцем,— я увидела
Не вокруг, а внутри
Тусклого горя, раздробленного мужества и уродливых
Бетонных фасадов, другое горе, сияние, похожее
На блеск розы, на приют милосердия,
И услышала не вокруг, а внутри шума,
Напев, который плавно перешел в спокойную улыбку.
Ничто не изменилось, только все предстало иначе:
Не то, чтобы не стало ужаса, не продолжались убийства,
Не то, чтобы я подумала, что больше не будет отчаяния,—
Но некая прозрачность открыла мне некую
Благословенную непохожесть, которая и была блаженством.
Так сквозь уличную пыль я увидела Рай.

Перевод П. Грушко

WHAT WERE THEY LIKE?

- 1) Did the people of Viet Nam
use lanterns of stone?
- 2) Did they hold ceremonies
to reverence the opening of buds?
- 3) Were they inclined to quiet laughter?
- 4) Did they use bone and ivory,
jade and silver, for ornament?
- 5) Had they an epic poem?
- 6) Did they distinguish between speech and singing?

- 1) Sir, their light hearts turned to stone.
It is not remembered whether in gardens
stone lanterns illumined pleasant ways.
- 2) Perhaps they gathered once to delight in blossom,
but after the children were killed
there were no more buds.
- 3) Sir, laughter is bitter to the burned mouth.
- 4) A dream ago, perhaps. Ornament is for joy.
All the bones were charred.
- 5) It is not remembered. Remember,
most were peasants; their life
was in rice and bamboo.
When peaceful clouds were reflected in the paddies
and the water buffalo stepped surely along terraces,
maybe fathers told their sons old tales.
When bombs smashed those mirrors
there was time only to scream.
- 6) There is no echo yet
of their speech which was like a song.
It was reported their singing resembled
the flight of moths in moonlight.
Who can say? It is silent now.

КАКИМИ ОНИ БЫЛИ

- 1) Жители Вьетнама — использовали фонари из камня?
 - 2) Были у них церемонии в честь раскрытия бутонов?
 - 3) Были они склонны к тихому смеху?
 - 4) Использовали кость (в том числе слоновую), серебро и нефрит для украшений?
 - 5) Была ли у них эпическая поэзия?
 - 6) Отличали они речь от пения?
-
- 1) Сэр, их маленькие сердца обратились в камень. Не осталось свидетельств — каменные ли фонари освещали в садах их приятные занятия.
 - 2) Возможно, они собирались, чтобы восхититься цветением, но после того, как убили детей, не стало бутонов.
 - 3) Сэр, смех отзывается болью на сожженных губах.
 - 4) Возможно, миллион снов назад. Украшенья — для радости. Все кости обуглились.
 - 5) Никто не помнит. Большинство было крестьянами, их жизнь — в бамбуке и рисе.
Когда мирные облака отражались в полях риса и буйвол уверенно ступал по террасам, может быть, отцы и рассказывали детям предания. Когда бомбы разбили зеркала полей, времени хватило только на крик.
 - 6) Остался лишь отзвук речи, похожей на щебет.
Говорят, их пение напоминало полет мотыльков в лунном свете. Но так ли это? Пение — смолкло.

THE RAINWALKERS

An old man whose black face
shines golden-brown as wet pebbles
under the streetlamp, is walking
two mongrel dogs of dis-
proportionate size, in the rain,
in the relaxed early-evening avenue.

The small sleek one wants to stop,
docile to the imploring soul of the trashbasket,
but the young tall curly one
wants to walk on; the glistening sidewalk
entices him to arcane happenings.

Increasing rain. The old bareheaded man
smiles and grumbles to himself.
The lights change: the avenue's
endless nave echoes notes of
liturgical red. He drifts

between his dogs' desires.
The three of them are enveloped—
turning now to go crosstown—in their
sense of each other, of pleasure,
of weather, of corners,
of leisurely tensions between them
and private silence.

ПОД ДОЖДЕМ

Черное лицо старика под фонарями
отливает золотом, словно камешки
под водой — старик прогуливает
под дождем двух беспородных
собак, маленькую и здоровенную,
по отдыхающей предвечерней улице.

Маленькая верткая тянет в сторону,
послушная зову мусорной урны,
а здоровенная кучерявая
тянет вперед: лоснящийся тротуар
сулит ей таинственные соблазны.

Дождь усиливается. Старик без шляпы,
Он улыбается и бормочет себе под нос.
Меняется освещение: бесконечный церковный
свод улицы отражает литургически-
рдяные ноты. Старик дрейфует

меж вождельнями двух собак.
Все трое сворачивают на перекрестке,
все объаты своим ощущеньем друг друга,
ощущеньем радости,
погоды, уличных углов,
ленивыми своими разногласиями
и сугубо личным молчанием.

Перевод А. Сергеева

BUMS, ON WAKING

Bums, on waking,
Do not always find themselves
In gutters with water running over their legs
And the pillow of the curbstone
Turning hard as sleep drains from it.
Mostly, they do not know

But hope for where they shall come to.
The opening of the eye is precious,

And the shape of the body also,
Lying as it has fallen,
Disdainfully crumpling earthward
Out of alcohol.
Drunken under their eyelids
Like children sleeping toward Christmas,

They wait for the light to shine
Wherever it may decide.

Often it brings them staring
Through glass in the rich part of town,
Where the forms of humanized wax
Are arrested in midstride
With their heads turned, and dressed
By force. This is ordinary, and has come

To be disappointing.
They expect and hope for

ПРОБУЖДЕНИЕ ПЬЯНЧУГ

Когда продирают глаза пьянчуги,
Они не всегда понимают, что дрыхнут
в канаве, и только вода по ногам
скользит доказательством их пребывания в канаве.
Подушка обочины, впрочем, твердеет
по мере того, как покидает их сон.
А все же пьянчуги надеются переочнуться
не в этой канаве, а где-то еще.
Процесс продиранья глаз так же важен,
как важен изгиб лежащего тела,
которое бросил на землю небрежным толчком алкоголь.
Пьянчуги, под веками скромно похмелье скрывая,
блаженны и тихи, как дети в канун Рождества.
Они ожидают лучей пробуждающих солнца,
которые мягко коснутся их тяжких ресниц.
И взгляды пьянчуг, когда в силах пьянчуги уже оглядеться,
втыкаются зыбко в фигуры из воска в витринах,
похожие на арестованных
и переодетых насильно в одежду с чужого плеча.
Их вид раздражает пьянчуг, и пьянчуги все ждут чего-то
другого,
хотя бы того, что они не в канаве лежат,
а так оказалось, что вечером вышли из города,
пролезли сквозь дыры зазывные в чьем-то заборе
и вот наконец развалились в саду незнакомом
на розах, примятых телами усталыми,

Something totally other:
That while they staggered last night
For hours, they got clear,
Somehow, of the city; that they
Have burst through a hedge, and are lying
In a trampled rose garden,
Pillowed on a bulldog's side,
A watchdog's, whose breathing

Is like the earth's, unforced—
Or that they may, once a year
(Any dawn now), awaken
In church, not on the coffin boards
Of a back pew, or on furnace-room rags,
But on the steps of the altar

Where candles are opening their eyes
With all-seeing light

And the green stained glass of the windows
Falls on them like sanctified leaves.
Who else has quite the same
Commitment to not being sure
What he shall behold, come from sleep—
A child, a policeman, an effigy?

Who else has died and thus risen?
Never knowing how they have got there,

They might just as well have walked
On water, through walls, out of graves,
Through potter's fields and through barns,
Through slums where their stony pillows
Refused to harden, because of
Their hope for this morning's first light,

With water moving over their legs
More like living cover than it is.

по-братски уткнувшись потрескивающими башками
в уютное брюхо бульдога, которое дышит так вольно,
как утренняя земля.

Надеются также пьянчуги проснуться в какой-нибудь церкви,
но только не около гроба в момент отпеванья,
и не на тряпье в закопченной котельной,
а где-то на чистых ступенях у самого алтаря,

где свечи откроют глаза прикорнувших пьянчуг
своим всепронизывающим светом,

где тихо на щеки небритые их упадут
лучи из цветных витражей, как осенние листья.

Кто, кроме пьянчуг на земле,
не уверен настолько в себе и не знает,
кого он увидит, глаза продирая:

кого? — полицейского, статую или ребенка?

Кто, кроме пьянчуг, умирал на земле,
чтоб снова воскреснуть, как будто бы снова родиться?

С таким же успехом пьянчуги могли бы пройти по воде,
проникнуть сквозь стены любые, восстать из могилы,
пройти через кладбища, через сарай
и через трущобы, где каменные подушки
твердеть не хотят, от души своей доброй надеясь
на то, что они пригодятся еще головам задремавших пьянчуг.

Пьянчуги лежат, и вода через ноги тихонечко плещет,
живая вода по живым еще все-таки людям.

Перевод Е. Евтушенко

THE HEAVEN OF ANIMALS

Here they are. The soft eyes open.
If they have lived in a wood
It is a wood.
If they have lived of plains
It is grass rolling
Under their feet forever.

Having no souls, they have come,
Anyway, beyond their knowing.
Their instincts wholly bloom
And they rise.
The soft eyes open.

To match them, the landscape flowers,
Outdoing, desperately
Outdoing what is required:
The richest wood,
The deepest field.

For some of these,
It could not be the place
It is, without blood.
These hunt, as they have done,
But with claws and teeth grown perfect,

More deadly than they can believe.
They stalk more silently,
And crouch on the limbs of trees,
And their descent
Upon the bright backs of their prey

May take years
In a sovereign floating of joy
And those that are hunted
Know this as their life,
Their reward: to walk

РАЙ ЗВЕРЕЙ

Это рай зверей. Глаза их кротки.
Если звери жить в лесу привыкли,
здесь им — лес.
Если жили в прериях — трава
стелется под ними, как когда-то.

Не имея душ, попали звери
в рай, совсем того не сознавая...
Их инстинкты все-таки здесь живы
и куда-то снова вдаль зовут,
несмотря на кротость глаз звериных.

Им под стать природа расцветает.
Ублажая их, из кожи лезет
вся природа, им воссоздавая
все, к чему привыкли в жизни звери:
лес густой,
зеленые поляны.

Кое для кого из них и рай
быть не может местом, где нет крови.
Кто-то и в раю все тот же хищник,
гордо повышая совершенство
собственных когтей или зубов.

Когти, зубы — стали смертоносней.
Могут здесь подкрадываться звери
незаметней, чем живыми крались.
Их прыжки теперь на спины жертв
занимают не мгновенья — годы,

потому что их прельщает сладость
долгого скользящего полета
на лоснящиеся спины жертв.
Те же, кто здесь жертвы, знают все.

**Under such trees in full knowledge
Of what is in glory above them,
And to feel no fear,
But acceptance, compliance.
Fulfilling themselves without pain**

**At the cycle's center,
They tremble, they walk
Under the tree,
They fall, they are torn,
They rise, they walk again.**

Но у них есть собственная радость
все-таки бродить в раю зверей,

точно под такими же ветвями,
под какими их убийцы бродят,
и без боли завершать свой путь,
страха не испытывая вовсе.

В центре мироздания они,
внюхиваясь в сладкий запах смерти,
ей навстречу радостно бредут.
Прыгают на них. Их рвут на части.
А они встают и вновь идут.

Перевод Е. Евтушенко



Приложение
L

ВОРОН

Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой
Над старинными томами я склонялся в полусне,
Грезам странным отдавался, вдруг неясный звук раздался,
Будто кто-то постучался— постучался в дверь ко мне.
«Это верно,— прошептал я,— гость в полночной тишине,
Гость стучится в дверь ко мне».

Ясно помню... Ожиданья... Поздней осени рыданья...
И в камине очертанья тускло тлеющих углей...
О, как жаждал я рассвета! Как я тщетно ждал ответа
На страданье, без привета, на вопрос о ней, о ней,
О Леноре, что блистала ярче всех земных огней,
О светилах прежних дней.

И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет,
Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне.
Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя:
«Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне,
Поздний гость приюта просит в полуночной тишине,—
Гость стучится в дверь ко мне».

подавив свои сомненья, победивши опасенья,
Я сказал: «Не осудите замедленья моего!
Этой полночью ненастной я вздремнул, и стук неясный
Слишком тих был, стук неясный,— и не слышал я его,
Я не слышал» — тут раскрыл я дверь жилища моего; —
Тьма, и больше ничего.

Взор застыл, во тьме стесненный, и стоял я изумленный,
Снам отдавшись, недоступным на земле ни для кого;
Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала,

ВОРОН

Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой
Над старинными томами я склонялся в полусне,
Грезам странным отдавался, вдруг неясный звук раздался,
Будто кто-то постучался— постучался в дверь ко мне.
«Это верно,— прошептал я,— гость в полночной тишине,
Гость стучится в дверь ко мне».

Ясно помню... Ожиданья... Поздней осени рыданья...
И в камине очертанья тускло тлеющих углей...
О, как жаждал я рассвета! Как я тщетно ждал ответа
На страданье, без привета, на вопрос о ней, о ней,
О Леноре, что блистала ярче всех земных огней,
О светилах прежних дней.

И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет,
Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне.
Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя:
«Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне,
Поздний гость приюта просит в полуночной тишине,—
Гость стучится в дверь ко мне».

подавив свои сомненья, победивши опасенья,
Я сказал: «Не осудите замедленья моего!
Этой полночью ненастной я вздремнул, и стук неясный
слишком тих был, стук неясный,— и не слышал я его,
Я не слышал» — тут раскрыл я дверь жилища моего; —
Тьма, и больше ничего.

Взор застыл, во тьме стесненный, и стоял я изумленный,
Снам отдавшись, недоступным на земле ни для кого;
Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала,

Лишь — «Ленора!» — прозвучало имя солнца моего,—
Это я шепнул, и эхо повторило вновь его,
Эхо, больше ничего.

Вновь я в комнату вернулся — обернулся — содрогнулся,—
Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того.
«Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось,
Там за ставнями забилось у окошка моего,
Это ветер, усмирю я трепет сердца моего,—
Ветер, больше ничего».

Я толкнул окно с решеткой,— тотчас важною походкой
Из-за ставней вышел Ворон, гордый Ворон старых дней,
Не склонился он учтиво, но, как лорд, вошел спесиво,
И, взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей,
Он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей,
Он взлетел — и сел над ней.

От печали я очнулся и невольно усмехнулся,
Видя важность этой птицы, жившей долгие года.
«Твой хохол ощипан славно, и глядишь ты презабавно,—
Я промолвил,— но скажи мне: в царстве тьмы, где Ночь всегда,
Как ты звался, гордый Ворон, там, где Ночь царит всегда?»
Молвил Ворон: «Никогда».

Птица ясно отвечала, и хоть смысла было мало,
Подивился я всем сердцем на ответ ее тогда.
Да и кто не подивится, кто с такой мечтой сроднится,
Кто поверить согласится, чтобы где-нибудь когда —
Сел над дверью — говорящий без запинки, без труда —
Ворон с кличкой: «Никогда».

И, взирая так сурово, лишь одно твердил он слово,
Точно всю он душу вылил в этом слове «Никогда»,
И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он,
Я шепнул: «Друзья сокрылись вот уж многие года,
Завтра он меня покинет, как Надежды, навсегда».
Ворон молвил: «Никогда».

Услыхав ответ удачный, вздрогнул я в тревоге мрачной,
«Верно, был он,—я подумал,—у того, чья жизнь—Беда,
У страдальца, чьи мученья возрастали, как течение
Рек весной, чье отречение от Надежды навсегда
В песне вылилось—о счастье, что, погибнув навсегда,
Вновь не вспыхнет никогда».

Но, от скорби отдыхая, улыбаясь и вздыхая,
Кресло я свое придвинул против Ворона тогда,
И, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной
Отдался душой мятежной: «Это—Ворон, Ворон, да.
Но о чем твердит зловещий этим черным «Никогда»,
Страшным криком «Никогда».

Я сидел, догадок полный и задумчиво-безмолвный,
Взоры птицы жгли мне сердце, как огнистая звезда,
И с печалью запоздалой, головой своей усталой,
Я прильнул к подушке алой, и подумал я тогда:
Я один, на бархат алый та, кого любил всегда,
Не прильнет уж никогда.

Но, постой, вокруг темнеет, и как будто кто-то веет,
То с камильницей небесной Серафим пришел сюда?
В миг неясный упоенья я вскричал: «Прости, мученье!
Это Бог послал забвенье о Леноре навсегда,
Пей, о, пей скорей забвенье о Леноре навсегда!»
Каркнул Ворон: «Никогда».

И вскричал я в скорби страстной: «Птица ты, иль дух
ужасный,
Искусителем ли послан, или грозой прибит сюда,—
Ты пророк неустрашимый! В край печальный, нелюдимый,
В край, Тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда!
О, скажи, найду ль забвенье, я молю, скажи, когда?»
Каркнул Ворон: «Никогда».

«Ты пророк,—вскричал я,—вещий! Птица ты иль дух,
зловещий,
Этим Небом, что над нами—Богом, скрытым навсегда—

Заклинаю, умоляя, мне сказать,— в пределах Рая
Мне откроется ль святая, что среди ангелов всегда,
Та, которую Ленорой в небесах зовут всегда?»

Каркнул Ворон: «Никогда».

И воскликнул я, вставая: «Прочь отсюда, птица злая!
Ты из царства тьмы и бури,— уходи опять туда,
Не хочу я лжи позорной, лжи, как эти перья, черной,
Удались же, дух упорный! Быть хочу — один всегда!
Вынь свой жесткий клюв из сердца моего, где скорбь —
всегда!»

Каркнул Ворон: «Никогда».

И сидит, сидит зловещий, Ворон черный, Ворон вещей,
С бюста бледного Паллады не умчится никуда,
Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный,
Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда,
И душа моя из тени, что волнуется всегда,

Не восстанет — никогда!

Перевод К. Бальмонта

УЛЯЛЮМ

Небеса были серого цвета,
Были сухи и скорбны листы,
Были сжаты и смяты листы.
За огнем отгоревшего лета
Ночь пришла, сон глухой черноты,
Близ туманного озера Обер,
Там, где сходятся ведьмы на пир,
Где лесной заколдованный мир,
Возле дымного озера Обер,
В зачарованной области Вир.

Там однажды, в аллее Титанов,
Я с моею Душою блуждал,
Я с Психеей, с Душою блуждал.

В эти дни трепетанья вулканов
Я сердечным огнем побеждал,
Я спешил, я горел, я блистал;—
Точно серные токи на Яник,
Бороздящие горный оплот,
Возле полюса, токи, что Яник
Покидают, струясь от высот.

Мы менялися лаской привета,
Но в глазах затаилася мгла,
Наша память неверной была,
Мы забыли, что умерло лето,
Что Октябрьская полночь пришла,
Мы забыли, что осень пришла,
И не вспомнили озеро Обер,
Где открылся нам некогда мир,
Это дымное озеро Обер,
И излюбленный ведьмами Вир.

Но когда уже ночь постарела,
И на звездных небесных часах
Был намек на рассвет в небесах,—
Что-то облачным сном забелело
Перед нами, в неясных лучах,
И внезапно предстал серебристый
Полумесяц, двурогой чертой,
Полумесяц Астарты лучистый,
Очевидный двойной красотой.

Я промолвил: «Астарта нежнее
И теплей, чем Диана, она—
В царстве вздохов, и вздохов полна:
Увидав, что, в тоске не слабея,
Здесь душа затомилась одна,—
Чрез созвездие Льва проникая,
Показала она в облаках
Путь к забвенной тиши в небесах,

И чело перед Львом не склоняя,
С нежной лаской в горящих глазах,
Над берлогою Льва возникая,
Засветилась для нас в небесах».

Но Психея, свой перст поднимая,
«Я не верю,— промолвила,— в сны
Этой бледной богини Весны.
О, не медли,— в ней бледность больная!
О, бежим! Поспешим! Мы должны!»
И в испуге, в истоме бессилья,
Не хотела, чтоб дальше мы шли,
И ее ослабевшие крылья
Опускались до самой земли—
И влачились— влачились в пыли.

Я ответил: «То страх лишь напрасный,
Устремимся на трепетный свет,
В нем кристальность, обмана в нем нет
Сибиллически— ярко— прекрасный,
В нем Надежды манящий привет,
Он сквозь ночь нам роняет свой след.
О, уверуем в это сиянье,
Так зовет оно вкрадчиво к снам,
Так правдивы его обещанья
Быть звездой путеводною нам,
Быть призывом, сквозь ночь, к Небесам!»

Так ласкал, утешал я Психею
Толкованием звездных судеб,
Зоркий страх в ней утих и ослеп.
И прошли до конца мы аллею,
И внезапно увидели склеп,
С круговым начертанием склеп.
«Что гласит эта надпись?» — сказал я,
И, как ветра осеннего шум,
Этот вздох, этот стон услышал я:
«Ты не знал? Улялюм— Улялюм—
Здесь могила твоей Улялюм».

И сраженный словами ответа,
 Задрожав, как на ветке листы,
 Как сухие под ветром листы,
Я вскричал: «Значит, умерло лето,
 Это осень и сон черноты,
Небеса потемневшего цвета.
Ровно — год, как на кладбище лета
 Я здесь ночью Октябрьской блуждал,
 Я здесь с ношею мертвой блуждал.
Эта ночь была ночь без просвета,
 Самый год в эту ночь умирал,—
 Что за демон сюда нас зазвал?
О, я знаю теперь, это — Обер
 О, я знаю теперь, это — Вир,
Это — дымное озеро Обер
 И излюбленный ведьмами Вир».

Перевод К. Бальмонта

ЮЛАЛЮМ

Скорбь и пепел был цвет небосвода,
 Листья сухи и в форме секир,
 Листья скрючены в форме секир.
Моего незабвенного года,
 Был октябрь, и был сумрачен мир.
То был край, где спят Обера воды,
 То был дымно-туманный Уир,—
Лес, где озера Обера воды,
 Ведьм любимая область — Уир.

Кипарисов аллеей, как странник,
 Там я шел с Психеей вдвоем,
 Я с душою своей шел вдвоем,
Мрачной думы измученный странник.
 Реки мыслей катились огнем,
 Словно лава катилась огнем,

Словно серные реки, что Яник
Льет у полюса в сне ледяном,
Что на северном полюсе Яник
Со стоном льет подо льдом.

Разговор наш был — скорбь без исхода,
Каждый помысл, как взмахи секир,
Память срезана взмахом секир:
Мы не помнили месяца, года
(Ах, меж годами страшного года!),
Мы забыли, что в сумраке мир,
Что поблизости Обера воды
(Хоть когда-то входили в Уир!),
Что здесь озера Обера воды,
Лес и область колдуний — Уир!

Дали делались бледны и серы,
И заря была явно близка,
По кадрану созвездий — близка,
Пар прозрачный вставал, полня сферы,
Озаряя тропу и луга;
Вне его полумесяц Ашеры
Странно поднял двойные рога,
Полумесяц алмазной Ашеры
Четко поднял двойные рога.

Я сказал: «Он нежнее Дианы.
Он на скорбных эфирных путях,
Веселится на скорбных путях.
Он увидел в сердцах наших раны,
Наши слезы на бледных щеках;
Он зовет нас в волшебные страны,
Сквозь созвездие Льва в небесах —
К миру Леты влечет в небесах.
Он восходит в блаженные страны
И нас манит, с любовью в очах,
Мимо логова Льва, сквозь туманы,
Манит к свету с любовью в очах».

Но, поднявши палец, Психея
Прошептала: «Он странен вдали!
Я не верю звезде, что вдали!
О спешим! о бежим! о скорее!
О бежим, чтоб бежать мы могли!»
Говорила, дрожа и бледнея,
Уронив свои крылья в пыли,
В агонии рыдала, бледнея
И влача свои крылья в пыли,
Безнадежно влача их в пыли.

Я сказал: «Это только мечтанье!
Дай идти нам в дрожащем огне,
Исккупаться в кристальном огне.
Так, в сибиллином этом сияньи,
Красота и надежда на дне!
Посмотри! Свет плывет к вышине!»
О, уверуем в это мерцанье
И ему отдадимся вполне!
Да, уверуем в это мерцанье,
И за ним возлетим к вышине,
Через ночь — к золотой вышине!»

И Психею, — шепча, — целовал я,
Успокаивал дрожь ее дум,
Побеждал недоверием дум,
И свой путь с ней вдвоем продолжал я.
Но внезапно, высок и угрюм,
Саркофаг, и высок и угрюм,
С эпитафией дверь — увидал я.
И невольно, смущен и угрюм,
«Что за надпись над дверью?» — сказал я.
Мне в ответ: «Юлалюм! Юлалюм!
То — могила твоей Юлалюм!»

Стало сердце — скорбь без исхода,
Каждый помысл — как взмахи секир,
Память — грозные взмахи секир.

Я вскричал: «Помню прошлого года
Эту ночь, этот месяц, весь мир!
Помню: я же, с тоской без исхода,
Ношу страшную внес в этот мир
(Ночь ночей того страшного года!).
Что за демон привел нас в Уир!
Так! то — мрачного Обера воды,
То — всегда туманный Уир!
Топь и озера Обера воды,
Лес и область колдуний — Уир!

Перевод В. Брюсова

ЗВОН

I

Внемлешь санок тонким звонам,
Звонам серебра?
Что за мир веселий предвещает их игра!
Внемлем звонам, звонам, звонам
В льдистом воздухе ночном,
Под звездистым небосклоном,
В свете тысяч искр, зажженном
Кристаллическим огнем, —
С ритмом верным, верным, верным,
Словно строфы саг размерным,
С перезвякиваньем мягким, с сонным отзывом времен,
Звон, звон, звон, звон, звон, звон, звон,
Звон, звон, звон,
Бубенцов скользящих санок многозвучный перезвон!

II

Свадебному внемлешь звону,
Золотому звону?
Что за мир восторгов он вещает небосклону!
В воздухе душистом ночи

Он о радостях пророчит;
Нити золота литого,
 За волной волну,
Льет он в лоно сна ночного,
Так чтоб горлинки с просонок, умиленные, немели,
 Глядя на луну!
Как из этих фейных келий
Брызжет в звонкой эвфонии перепевно песнь веселий!
 Упоен, унесен
 В даль времен
Этой песней мир под звон!
Про восторг вещает он.
 Тех касаний,
 Кольханий,
Что рождает звон,
Звон, звон, звон, звон, звон,
 Звон, звон, звон,
Ритм гармоний в перезвоне,— звон, звон, звон!

III

Слышишь злой набата звон,
 Медный звон?
Что за сказку нам про ужас повествует он!
 Прямо в слух дрожащей ночи
 Что за трепет он пророчит?
Слишком в страхе, чтоб сказать,
 Может лишь кричать, кричать.
В безразмерном звоне том
Все отчаянье зыванья пред безжалостным огнем,
Все безумье состязанья с яростным, глухим огнем,
 Что стремится выше, выше,
 Безнадежной жаждой дышит,
Слился в помысле одном,
 Никогда, иль ныне, ныне,
Вознестись к луне прозрачной, долететь до тверди синей!
 Звон, звон, звон, звон, звон, звон, звон, звон,
 Что за повесть воеет он
Об отчаяньи немом!

Как он воеет, вопит, стонет,
Как надежды все хоронит
 В темном воздухе ночном!
Ухо знает, узнает
 В этом звоне,
 В этом стоне:
То огонь встает, то ждет;
Ухо слышит и следит
 В этом стоне,
 Перезвоне:
То огонь грозит, то спит.
Возрастаньем, замираньем все вещает гневный звон,
 Медный звон,
Звон, звон, звон, звон, звон, звон, звон, звон,
 Звон, звон, звон,
Полный воем, полный стоном, исступленьем полный звон.

IV

Похоронный слышишь звон,
 Звон железный?
Что за мир торжеств унылых заключает он!
 Как в молчаньи ночи
Дрожью нас обнять он хочет,
Голоса глухой угрозой под раскрытой звездной бездной!
 Каждый выброшенный звук,
Словно хриплый голос мук,
 Это—стон.
И невольно, ах! невольно,
Кто под башней колокольной
Одиноко тянут дни,
Звон бросая похоронный,
В монотонность погруженный,
Горды тем, что богомольно
Камень на сердце другому навалили и они.
 Там не люди, и не звери,
Нет мужчин и женщин, где стоит звонарь:
 Это демоны поверий,
 Звон ведет—их царь.

Он заводит звон,
Вопит, вопит, вопит он
Гимн — пэан колоколов,
Сам восторгом упоен
Под пэан колоколов.
Вопит он, скакать готов,
В ритме верном, верном, верном,
Словно строфы саг размерном
Под пэан колоколов

И под звон;
Вопит, пляшет в ритме верном,
Словно строфы саг размерном,
В лад сердцам колоколов,
Под их стоны, под их звон,

Звон, звон, звон;
Вопит, пляшет в ритме верном,
Звон бросая похорон
Старых саг стихом размерным;
Колокол бросая в звон,

В звон, звон, звон,
Под рыданья, стоны, звон,
Звон, звон, звон, звон, звон,

Звон, звон, звон
Под стнящий, под гудящий похоронный звон.

Перевод В. Брюсова

ЭЛЬ-ДОРАДО

Он на коне,
В стальной броне;
В лучах и тенях ада,
Песнь на устах,
В днях и годах
Искал он Эль-Дорадо.

И стал он сед
От долгих лет,

На сердце — тени Ада.
Искал года,
Но нет следа
Страны той — Эль-Дорадо.

И он устал,
В степи упал...
Предстала Тень из Ада,
И он, без сил,
Ее спросил:
«О Тень, где Эль-Дорадо?»

На склоны чер-
ных Лунных гор
Пройди, — где тени Ада!»
В ответ Она:
«Во мгле без дна —
Для смелых — Эль-Дорадо!»

Перевод В. Брюсова

ЭЛЬДОРАДО

Ночью и днем
На коне лихом,
Сверкая парчой наряда,
Рыцарь скакал
И с песней искал
Волшебный край Эльдорадо.

Но стал он сед
Под ношею лет,
Душа преисполнилась хлада:
Нигде он не мог
Найти уголок,
Похожий на Эльдорадо.

И в последний свой день
Он скиталицу-тень

Спросил, не сводя с нее взгляда:
«О тень, отвечай:
Где сыщется край,
Чудесный край Эльдорадо?»

«По гребням узор-
ных лунных гор,
Долиною мертвенной ада
Скачи через тьму,—
Был ответ ему,—
Если хочешь найти Эльдорадо!»

Перевод В. Рогова

АННАБЕЛЬ ЛИ

Много лет, много лет прошло
У моря, на крае земли.
Я девушку знал, я ее назову
Именем Аннабель Ли,
И жила она только одной мечтой—
О моей и своей любви.

Я ребенок был, и ребенок она,
У моря на крае земли,
Но любили любовью, что больше любви,
Мы, и я и Аннабель Ли!
Серафимы крылатые с выси небес,
Не завидовать нам не могли!

Потому-то (давно, много лет назад,
У моря на крае земли)
Холоден, жгуч, ветер из туч
Вдруг дохнул на Аннабель Ли,
И родня ее, знатная, к нам снизошла,
И куда-то ее унесли,
От меня унесли, положили во склеп,
У моря, на крае земли.

Вполовину, как мы, серафимы небес
Блаженными быть не могли!
О, да! потому-то (что ведали все
У моря на крае земли)
Полночью злой вихрь ледяной
Охватил и убил мою Аннабель Ли!

Но больше была та любовь, чем у тех,
Кто пережить нас могли,
Кто мудростью нас превзошли,
И ни ангелы неба,—никогда, никогда!—
Ни демоны с края земли
Разлучить не могли мою душу с душой
Прекрасной Аннабель Ли!

И с лучами луны нисходят сны
О прекрасной Аннабель Ли,
И в звездах небеса горят, как глаза
Прекрасной Аннабель Ли,
И всю ночь, и всю ночь, не уйду я прочь,
Я все с милой, я с ней, я с женой моей,
Я— в могиле, у края земли,
Во склепе приморской земли.

Перевод В. Брюсова

ЭННАБЕЛ ЛИ

Это было давно, очень, очень давно,
В королевстве у края земли,
Где любимая мною дева жила,—
Назову ее Эннабел Ли;
Я любил ее, а она меня,
Как любить мы только могли.

Я был дитя и она дитя
В королевстве у края земли,

Но любовь была больше, чем просто любовь
Для меня и для Эннабел Ли—
Такой любви серафимы небес
Не завидовать не могли.

И вот потому много лет назад
В королевстве у края земли
Из-за тучи безжалостный ветер подул
И убил мою Эннабел Ли,
И знатные родичи милой моей
Ее от меня унесли
И сокрыли в склепе на берегу морском
В королевстве у края земли.

Сами ангелы, счастья такого не зная,
Не завидовать нам не могли,—
И вот потому (как ведомо всем
В королевстве у края земли)
Из-за тучи слетевший ветер ночной
Застудил и стубил мою Эннабел Ли.

Но наша любовь сильнее любви
Тех, что жить дольше нас могли,
Тех, что знать больше нас могли,
И ни горние ангелы в высях небес,
Ни демоны в недрах земли
Не в силах душу мою разлучить
С душой моей Эннабел Ли.

Ведь коль светит луна, то приносит она
Мечтанья об Эннабел Ли;
Если звезды горят—вижу радостный взгляд
Прекраснейшей Эннабел Ли;
Много, много ночей там покоюсь я с ней,
С дорогой и любимой невестой моей—
В темном склепе у края земли,
Где волна бьет о кромку земли.

ПЕСНЯ О ГАЙАВАТЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

(отрывок)

Вы хотите знать — откуда
Эти песни и преданья,
От которых веет лесом
И лугов росистых влагой?
Вы хотите знать — откуда
Эти странные легенды,
Где вам чудится порою
Дым синеющих вигвамов
И стремленье рек великих,
С их немолчным, диким плеском,
Раздающимся в пустыне
Точно гром в ущельях горных?
Я отвечу, я скажу вам:
«От лесов, озер великих,
От степей страны полночной,
От земли оджибуэев,
От пустынных стран дакотов,
С гор и тундр, с низин болотных,
Где шухшухга с длинным носом
В тростниках находит пищу.
Эти дикие легенды
И преданья повторяю
Точно так, как сам их слышал
С уст индийца Навадага —
И певца и музыканта».

Если спросите — откуда
Почерпнул их Навадага,
Я отвечу, я скажу вам:
«Он нашел их в птичьих гнездах,
Над водой в бобровых норках,

Там, где ходит дикий буйвол,
Где орел в скалах гнездится!
Птицы дикие их пели
На низинах и болотах,
Читовек-зук там пел их,
Манг-нырок, гусь дикий вава.
Цапля синяя шухшухга
И тетерка мушкодаза!»

Если больше знать хотите:
Кто такой был Навадага—
Я сейчас же вам отвечу
На вопрос таким рассказом:

«Средь равнины Тавазента
В глубине долины тихой
Близ смеющихся каналов
Жил индеец Навадага.
Вкруг индийской деревушки
Шли поля, луга и нивы,
Дальше—лес стоял сосновый
Летом весь в зеленых иглах,
А зимой—под белым снегом.

Эти сосны вековые
Вечно пели и вздыхали
Те каналы можно было
Видеть издали в долине
По стремительному бегу—
В дни весеннего разлива;
По ольхам ветвистым—летом
И по белому туману
Над водой—порой осенней,
А зимой—по черной ленте,
Уходящей в глубь долины.
Там он пел о Гайавате,
Об его рожденьи чудном
И о том, как он работал,
Жил, страдал, терпел, трудился,

Чтобы в мире и веселье
Благоденствовали люди,
Чтоб народ его был счастлив!»

Вы, кто любите природу,
Мураву при блеске солнца,
Тень лесов и шопот ветра
Меж зелеными ветвями,
И метель, и шумный ливень,
И стремленье рек великих
В берегах, покрытых лесом,
По горам раскаты грома
В бесконечных отголосках —
Вас прошу теперь послушать
Эту «Песнь о Гайавате!»

Перевод Д. Михаловского

EXCELSIOR!

Уж Альпы крыла ночь туманом.
Селом, схороненным в снегах,
Шел юный путник и в руках
Нес знамя с начертаньем странным:
Excelsior!

Чело задумчиво и строго;
Но взгляд, как обнаженный меч,
Порой сверкал; звучала речь,
Как звон серебряного рога:
Excelsior!

Вокруг сверкали так приветно
В домах огни; а с высоты,
Как призраки, грозили льды;
Но он шептал свой клич заветный:
Excelsior!

Перевод М. Михайлова

* * *

День кончен, и с крыльев Ночи
Спускается сумрак и мгла,
Как будто перо большое
Палящего в небе орла.

Я вижу — огни деревни
Блещат сквозь дождливую сеть,
И чувства тоски безотчетной
Не в силах преодолеть.

Еще не печаль, но все же
Походит тоска на печаль,—
Вот так, как на дождь походит
Туман, застилающий даль.

Прочти ж мне стихи иль песню
Простую какую-нибудь,
Чтоб мог я от мыслей тревожных
Шумливого дня отдохнуть.

Не тех великих поэтов,
Чей голос — могучий зов,
Чей шаг, отдаленный эхом,
Звучит в лабиринте веков.

Ведь мысли их, словно фанфары,
С неслыханной силой такой
Гремят о борьбе бесконечной,
А мне сейчас нужен покой.

Возьми поскромнее поэтов,
Чьи песни из сердца текли,
Как слезы из век задрожавших,
Как дождик из тучки вдали.

Того, кто в труде ежедневном,
В бессоннице тяжких ночей
Расслышал чудесные звуки
В душе утомленной своей.

Те песни смиряют тревогу
И пульс напряженный забот,
И в душу покой благодатный,
Как после молитвы, сойдет.

Прочти ж мне из книги любимой
Что хочешь, пусть голос твой
Озвучит стихи поэта,
Усиливши их волшебство.

И музыка сумрак наполнит,
Мучительных дум караван
Уложит шатры, как арабы,
И скроется тихо в туман.

Перевод М. Зенкевича

* * *

Ночью один на побережье,
Меж тем как старая мать, распевая хриплую песню,—
баюкает чадо свое,
Я смотрю на блестящие, ясные звезды, и думаю думу,—
где ключ вселенных и будущего.
Смыкают все обширные подобья, все сферы, что взросли
и не взросли, миры большие, малые, смыкают
все солнца, луны, и планеты,
Все расстоянья мест, хотя б обширных,
Все расстоянья времени, все формы, в которых духа нет,
Все души, все живущие тела, хотя б они всегда различны
были, в мирах различных,
Все то, что происходит в газах, влаге, растениях,
минералах, между рыб, среди зверей,
Смыкает все народы, все краски, варваризмы, языки,
Все тождества; какие только были, иль могут возникать
на этом шаре,
Все жизни, смерти, все, что было в прошлом, что в
настоящем, в будущем идет,
Обширные подобья скрепляют, всегда скрепляли все, и
будут вечно
Скреплять, смыкать, держать все плотно, цельно.

Перевод К. Бальмонта

* * *

Мне снилось во сне, что я вижу неведомый город,
Непобедимый, хотя б на него и напали все царства земли.
Снился мне новый город друзей,

Самым высоким там — качество было могучей любви,
Выше — ничто, и за ней все идет остальное,
Зрима была она ясно мгновение каждое
В действиях жителей этого города,
В их взорах, во всех их словах.

Перевод К. Бальмонта

* * *

Бейте, бейте, барабаны! — Трубите, трубы, трубите!
Сквозь окна, сквозь двери — врывайтесь, подобно наглой силе
безжалостных людей!
Врывайтесь в торжественный храм и развейте сборище бого-
мольцев;
Врывайтесь в школу, где ученик сидит над книгой;
Не оставляйте в покое жениха — не должен он вкушать счастье
с своей невестой,
И мирный земледелец не должен вкушать тишину радости
мира, не должен пахать свое поле и собирать свое зерно,
Так сильны и нагло ужасны ваши трескучие раскаты, о
барабаны, — так резки ваши возгласы, о трубы!

Бейте, бейте, барабаны! — Трубите, трубы, трубите!
Заглушайте торговый шум и суету — грохот колес по улицам.
Готовы ли постели в домах для сонных людей, желающих
отдыха ночного?
Не должны спать эти люди в своих постелях,
Не должны купцы торговать днем — ни барышники, ни афери-
сты — хотят ли они продолжать свое ремесло?
Хотят ли говоруны говорить? Хотят ли певцы пытаться
запеть?
Хочет ли законник встать в Палате, чтобы защищать свое дело
перед судьей?
Гремите, трещите быстрее, громче, барабаны, — трубы, трубите
резче и сильнее!

Бейте, бейте, барабаны! — Трубите, трубы, трубите!
Не вступайте ни в какие переговоры, не останавливайтесь ни
перед каким законом;
Пренебрегайте робким — пренебрегайте плачущим и молящим,
Пренебрегайте стариком, умоляющим юношу;
Пусть не слышатся ни голоса малых ребят, ни жалобы
матерей;
Пусть потрясаются столы, трепещут лежащие на них мертве-
цы в ожидании доски.
Оттого сильны и пронзительны ваши удары, о грозные
барабаны, так громки ваши возгласы, о трубы!

Перевод И. Тургенева

* * *

Я умерла за красоту
И слышала сквозь сон,
Что погребенный рядом тут—
За правду умер он.

Спросил— за что я умерла?
«За красоту».— «А я
За правду— это две сестры,
Мы братья и друзья».

Как с другом встретившимся друг,
Шептались мы среди сна,
Пока мох не коснулся губ,
Скрыв наши имена.

Перевод М. Зенкевича

* * *

Нависло небо, клочья туч
Метель иль дождь сулят.
Снежинки, предвкушая ночь,
Хоть тают, а летят.

И ветер, песни не начав,
Скулит, как в будке пес.
Застигнуть можно невзначай
Природу, как и нас.

Перевод И. Кашкина

* * *

Не знаем, как велики мы:
Откликнувшись на зов,
Могли бы все восстать из тьмы
До самых облаков.

Тогда б геройство стало вдруг
Наш будничный удел,
Но мелко мерим мы наш дух,
Боясь великих дел.

Перевод М. Зенкевича

МИНИВЕР ЧИВИ

Минивер Чиви, печаль времен
В себе тая, тощал в кручине;
Он плакаться, что был рожден,
Имел причины.

Минивер грезил о старине,
Алхимиках, волшебной колбе;
При виде рыцаря на коне
Он в пляс пошел бы.

Минивер от всех забот
Под сень спасался фивских храмов
Иль созерцал град Камелот
И град Приамов.

Минивер был в душе поэт,
Но важным поминал молчаньем
И романтизма сладкий бред
И муз изгнание.

Минивер бредил Мёдичи,
И как он ни был осторожен —
Все их пороки заучил,
Чтоб быть похожим.

Минивер пошлости был враг.
Он в хаки презирал солдата.
Его пленяли рыцарь, маг,
Стальные латы.

Минивер клял златой кумир,
Но хныкал, сев на мель без денег,
И думал, думал он, что мир
Подчас скупенек.

Минивер Чиви запоздал
Лет на сто и, скребя затылок,
Вздыхал, пил с горя, засыпал
Среди бутылок.

Перевод И. Кашкина

РИЧАРД КОРИ

Когда под вечер Кори ехал в сад,
Мы с тротуаров на него глазели:
Он джентльмен был с головы до пят,
Всегда подтянут, свеж, приветлив, делен.

Спокойствие и мощь он излучал,
Гуманностью своею был известен.
О, кто из нас за кружкой не мечтал
Стать миллионером, быть на его месте.

Он был богат — богаче короля,
Изысканный, всегда одет красиво.
Ну, словом, никогда еще земля
Такого совершенства не носила.

Трудились мы не покладая рук,
Частенько кто-нибудь из нас постился,
А Ричард Кори процветал — и вдруг
Пришел домой, взял кольт и застрелился.

Перевод И. Кашкина

ВЕЧЕРИНКА МИСТЕРА ФЛАДА

Однажды ночью старый Эбен Флад
Пошел один пройтись путем знакомым
На холм, вздымавший свой кремнистый скат
Над городом и тем, что звал он домом.
Под полною луною на холме
Он на пустынную дорогу вышел
И вслух сказал,— ведь город спал во тьме
И в Тилбери, его никто не слышал:

«Ну, мистер Флад, к концу подходит год,
Луна сентябрьская над урожаем,
И птицы собираются в отлет.
Счастливого пути им пожелаем.
За птиц мы выпьем». И, подняв кувшин,
Что долго нес, чтоб осушить глотками,
Ответил хрипло: «Что ж, глоток один
Я, мистер Флад, охотно выпью с вами».

Так, видя только мертвых вокруг себя,
В броне надежд разбитых он в тумане
Стоял, как призрачный Роланд, трубя
В беззвучный рог своих воспоминаний.
И чудился ему ответный зов
Из города внизу, с пустынных улиц,
Приветствия умолкших голосов,
Как будто старые друзья вернулись.

И как заснувшего ребенка мать
В постельку, так кувшин на полог млечный
Он опустил,— нельзя ведь забывать,
Что вещи хрупки и недолговечны.
Удостоверившись, что на земле
Кувшин стоит надежней многих жизней,
И руку протянувши в лунной мгле,
Сказал он громко, словно с укоризной:

«Да, мистер Флад. Давненько мы вдвоем
Не пили вместе. Кончилась разлука.
Добро пожаловать в родной свой дом!
Теперь давайте выпьем друг за друга!»
И снова, будто чокаясь, к луне
Кувшин с земли поднял рукой усталой
И сам себе ответил в тишине:
«Ну что ж, еще раз выпью я, пожалуй!»

Но больше не просите, мистер Флад,—
Ведь так давно... Довольно, сэр, довольно». .
Да, прошлого нельзя вернуть назад,
И Эбен согласился с ним невольно.
И вдруг запел среди лунной тишины.
Огромный диск в воде дробился, светел;
Внимали пенью только две луны,
И сумрак эхом от холмов ответил:

«Ведь так давно...» Но с песенкой простой
Не справился, и вдруг пресекая голос,
И он, подняв к луне кувшин пустой,
Замолк, и песня эхом раскололась.
Один с луной над городом глухим,
Где заперты чужими на засовы
Те двери, что всегда открыты пред ним
Друзья и в полночь были бы готовы.

Перевод М. Зенкевича

ЩИТ АХИЛЛА

*Он ладит щит, она глядит,
Надеясь узреть на нем виноград,
И паруса на дикой волне,
И беломраморный мирный град,
Но на слепящий глаза металл
Его искусная длань нанесла
Просторы, выжженные дотла,
И небо, серое, как зола...*

Погасшая земля, где ни воды,
Ни трав и ни намек на селенье,
Где не на чем присесть и нет еды,
И все же в этом сонном запустенье
Виднелись люди, смутные, как тени,
Строй из бесчисленных башмаков и глаз,
Пустых, пока не прозвучал приказ.

Безликий голос — свыше — утверждал,
Что цель была оправданно-законной,
Он цифры приводил и убеждал,
Он жужжа над ухом мухой монотонной, —
Взбивая пыль, колонна за колонной
Пошла вперед, пьянея от тирад,
Чья логика была дорогой в ад.

*Он ладит щит, она глядит,
Надеясь узреть священный обряд,
Пиршество и приношение жертв,*

*В виде увитых цветами телят,—
Но на слепящий глаза металл
Длань его не алтарь нанесла:
В отсветах горна видит она
Другие сцены, иные дела...*

Колючей проволокой обнесен
Какой-то плац, где зубоскалят судьи,
Стоит жара, потеет гарнизон,
Встав поудобнее со всех сторон,
На плац досужие глазают люди,
А там у трех столбов стоят, бледны,
Три узника — они обречены.

То, чем разумен мир и чем велик,
В чужих руках отныне находилось,
Не ждало помощи в последний миг
И не надеялось на божью милость.
Но то, с каким усердием глумилась
Толпа над унижением троих,—
Еще до смерти умертвило их.

*Он ладит щит, она глядит,
Надеясь атлетов узреть на нем,
Гибких плясуний и плясунов,
Кружащихся перед священным огнем,—
Но на слепящий глаза металл
Легким мановеньем руки
Он не пляшущих поместил,
А поле, где пляшут лишь сорняки...*

Оборвыш камнем запустил в птенца
И двинул дальше... То, что в мире этом
Насилуют и могут два юнца
Прирезать старца,— не было секретом

Для сорванца, кому грозил кастетом
Мир, где обещанному грош цена
И помощь тем, кто немощен, смешна.

*Тонкогубый умелец Гефест
Вынес из кузни Ахиллов щит.
Фетида, прекрасногогрудая мать,
Руки к небу воздев, скорбит
Над тем, что оружейник Гефест
Выковал сыну ее для войны:
Многих сразит жестокий Ахилл,
Но дни его уже сочтены.*

Перевод П. Грушко

ИЮЛЬ В ВАШИНГТОНЕ

С тугими спицами этот штурвал
бередит болячки и язвы земли.

На Потомаке, по-лебяжьи белы,
катера пересекают сернистый вал.

Ныряют выдры и мех свой топорщат,
еноты мясо в протоке полощут.

По кругу статуи, как в Америке Южной
освободители, высятся важно —

над шишками, копьями флоры колючей,
ждушей, что землю в наследье получит.

Избранники... Блеск их ценой в десять центов,
и быстро тускнеют они, обесценясь.

Мы не помним имен их, чисел и дат,
они, как на дереве кольца, кружат,—

иного хотим для реки кругозора,
вершины далекие ищем мы зорко,

их синь—как у девушки пудра на веках.
Порыв—и мы будем на гребнях высоких,

ведь только медлительность наших тел
не дает нам парить на такой высоте.

ПАВШИМ ЗА СОЮЗ

В Бостоне Южном аквариум старый
стоит в снежной Сахаре. Заколочены окна без стекол.
Облезла бронзовая треска на флюгере.
Пересохли пустые бассейны.

Когда-то мой нос скользил по стеклу улиткой,
рука моя зябко
ловила пузыри
с головы послушной вертявой рыбы.

Я отдернул руку, но порой вздыхаю
о темном растительном царстве
рептилий и рыб. Как-то утром в марте
я прильнул к оцинкованной колючей

ограде у муниципалитета. За ее клеткой
динозавры-экскаваторы, урча и пыхтя,
выгрызали тонны земли с травой
и рыли себе подземный гараж.

Стоянкам машин и кучам песка
полная свобода в центре Бостона.
Доски пуритански-тыквенного цвета
опясывают зыбкое правление штата,

оно сотрясается, как и полковник Шоу,
и его толстощекие пехотинцы-негры
на барельефе Годенса о Гражданской войне
под дощатой защитой от гаражного землетрясения.

Два месяца спустя после парадного марша
половина полка пала в бою,
а на открытии Уильям Джеймс мог бы слышать дыханье
бронзовых негров.

Их памятник, как рыба кость,
застрял в центре города.
Полковник тонок,
как стрелка компаса.

Он чутко насторожен, как птица,
подтянут и собран, как борзая,
развлеченьями он тяготится
и томится в уединении.

Он вне пределов. Он ценит в людях
особую силу — умирать за жизнь, —
ведя своих черных солдат на смерть,
он не согнет спины.

В сотнях городов Новой Англии
старинные белые церкви хранят
память о грозном восстании; знамена
означают кладбища армии Республики.

Каменные статуи Неизвестного Солдата
стройнее и моложе с каждым годом —
подтянув пояса, распушив бакенбарды,
они ждут, опираясь на мушкеты...

Отец Шоу не желал памятника,
кроме того рва,
куда было брошено тело сына
и закопано вместе с его «неграми».

Этот ров стал ближе.
Здесь нет статуй о последней войне;
на Бойлстон-стрит продается фото
с видом пылающей Хиросимы

и фирмы «Мослер Сейф» — «Скалы Веков»,
уцелевшей от взрыва. Пространство приблизилось.

Когда я сижу у моего телевизора,
то худые лица негрятят в школе взлетают,
как воздушные шары.

Полковник Шоу
парит верхом в пустоте,
он тоже ждет
желанной перемены.

Аквариум исчез. Повсюду
огромные авто сплывают, как рыбы;
рабская услужливость
скользит при жирной смазке.

Перевод М. Зенкевича

Комментарии



СПРАВКИ ОБ АМЕРИКАНСКИХ ПОЭТАХ

Берримен, Джон (John Berryman, 1914-1972), поэт, литературовед, более тридцати лет преподавал литературу в различных университетах США. Берримен — автор более десятка поэтических книг, но его главное произведение — большой лирический цикл «Песни-фантазии» (*Dream Songs*), которые публиковались отдельными изданиями на протяжении многих лет: 77 *Dream Songs* (1964 — Пулитцеровская премия), «Его забава, его мечта, его отдохновение» (*His Toy, his Dream, his Rest*; 1968 — Национальная книжная премия), *Dream Songs* (1969), а также «Судьба Генри» (*Henry's Fate*, 1977), куда вошли «песни-фантазии», после смерти поэта найденные в его архиве. Известны также его поэма «Дань миссис Брэдстрит» (*Homage to Mistress Bradstreet*, 1956) и сборник «Сонеты Берримена» (*Berryman's Sonnets*, 1967), где поэт предпринял попытку своеобразного творческого состязания с Шекспиром, смело соединив классическую строгость сонетной формы с экспрессивной ритмикой и разговорными интонациями. Берримену принадлежит монография о творчестве С. Крейна (*Stephen Crane*, 1950), где едва ли не впервые в американском литературоведении дана высокая оценка поэзии Крейна.

Брайант, Уильям Каллен (William Cullen Bryant, 1794-1878), «бард рек и лесов» (Уитмен). Подобно многим своим современникам, Брайант, ратуя за создание национальной американской поэзии, исходил из английских литературных традиций. Наиболее значительным произведением раннего Брайанта стала поэма «Танатопсис» (*Thanatopsis*, 1811). Самый плодотворный период творчества поэта — середина 10-х — начало 20-х гг. — связан с его сотрудничеством в крупнейших американских журналах *North American Review* и *The United States Literary Gazette*, где были опубликованы такие произ-

ведения, как «Западный ветер» (*Western Wind*), «Грин-ривер» (*Green River*), «Прогулка на закате» (*A Walk at Sunset*), «Гимн лесу» (*A Forest Hymn*) и др., закрепившие за автором репутацию лучшего лирика Новой Англии. В основу сюжетов его поздних стихотворений и поэм положены исторические или легендарные темы. В старости, посвятив себя изучению классической поэзии, перевел «Илиаду» (1870) и «Одиссею» (1871—1872). Брайант—один из первых американских профессиональных критиков, много занимавшийся и теорией поэтического искусства, чему посвятил свои «Лекции о поэзии» (*Lectures on Poetry*, 1824-1826, опубл. 1884). В целом творчество Брайанта обозначило переход от Просвещения к романтизму и стало как бы связующим звеном между «эпохой Френо» и «эпохой Лонгфелло».

Брукс, Гвендолин (Gwendolyn Brooks, род. 1917). В юности занималась в художественной студии Чикаго, однако потом решила целиком посвятить себя поэзии. Оригинальный голос негритянской поэтессы обрела уже в первом сборнике — «Улица в Бронзвилле» (*A Street in Bronzeville*, 1945), к героям которого — обитателям бедных негритянских кварталов — она возвратилась в книге «Девочки и мальчики из Бронзвилля» (*Bronzeville Boys and Girls*, 1956). За книгу «Энни Эллен» (*Annie Allen*, 1949) Брукс получила Пулитцеровскую премию, а в 1968 г. была удостоена почетного звания поэта-лауреата штата Иллинойс, которым до этого пожизненно владел К. Сэндберг (см. ниже). Поэзию Брукс питают традиции городского фольклора американских негров.

Гинсберг, Аллен (Allen Ginsberg, род. 1926). В середине 50-х — начале 60-х гг. — один из лидеров движения битников. Ранние стихи, созданные в конце 40-х гг., отмечены сильным влиянием У. К. Уильямса. Первое издание поэмы «Вопль» (точнее было бы переводить «Вой» — *Howl*, 1955), ставшей поэтическим манифестом «разбитого поколения», вышло в Париже. На второе, вышедшее в Сан-Франциско (1956), наложили арест, в связи с обвинением в «непристойности». Сборник *Howl and Other Poems* и по сей день остается самым популярным среди всех произведений поэта, который с тех пор

выпустил свыше десятка поэтических книг: «Каддиш» (*Kaddish and Other Poems*, 1961), «Сгустки реальности» (*Reality Sandwiches*, 1963), «Новости планеты» (*Planet News*, 1968) и др. За книгу «Крушение Америки» (*The Fall of America*, 1973) был удостоен Национальной книжной премии. В поэзии Гинсберга переплетаются самые разнообразные тенденции и влияния. Французский сюрреализм и древнеиндийская поэзия, «пророческие поэмы» Блейка и «лирический эпос» Уитмена — источники, на разных этапах питавшие поэзию Гинсберга. В 1977 г. вышел том лекций «Аллен: дословно» (*Allen Verbatim*), в которых поэт изложил свои эстетические и общественно-политические воззрения.

Джаррелл, Рэндалл (Randall Jarrell, 1914-1965). Стихотворения, составившие его первую книгу «Кровь, пролитая за незнакомца» (*Blood for a Stranger*, 1942), написаны под значительным влиянием поэзии А. Тейта, У. Х. Одена, Т. С. Элиота, в творчестве которых молодого Джаррелла привлекала «трудная» образность, парадоксальность поэтической мысли, эффектное сочетание изысканно-интеллектуальных и разговорных языковых конструкций. Известность поэту принесли три книги стихов, навеянных его фронтовым опытом: «Дружок, дружок» (*Little Friend, Little Friend*, 1945), «Потери» (*Losses*, 1948) и «Костыли длиною в семь лиг» (*The Seven-League Crutches*, 1951). Сборник «Женщина в Вашингтонском зоопарке» (*The Woman at the Washington Zoo*, 1960) завоевал Национальную книжную премию. Джаррелл — автор популярного в начале 60-х гг. сатирического романа «Картины наших будней» (*Pictures from an Institution*, 1961 — Национальная книжная премия по прозе), а также многочисленных литературно-критических эссе.

Джефферс, Робинсон (Robinson Jeffers, 1887-1962), поэт, избравший в жизни, как и в искусстве, роль «отверженного», не приемлющего современной общественной жизни и культуры. Эта позиция Джефферса весьма импонировала радикально настроенной молодежи 50-х гг. (особенно битникам), для которой он стал одним из кумиров. Первый сборник Джефферса — «Кувшины и яблоки» (*Flagons and Apples*, 1912) — был выдержан в романтической тональности, характерной для

американской поэзии рубежа столетий. Начиная со сборника «Калифорнийцы» (*Californians*, 1916), а особенно в поэмах «Фамарь» (*Tamar and Other Poems*, 1924), «Чалый жеребец» (*Roan Stallion*, 1925), «Женщины на Пойнт-Сур» (*The Women at Point Sur*, 1927), Джефферс все больше проникался мрачно-пессимистической убежденностью в неотвратимо надвигающемся крушении «западной цивилизации». Поэт отдавал предпочтение торжественно-неторопливому, приближающемуся к ритмизованной прозе стиху, моделью которого послужил уитменовский верлибр. Джефферсом осуществлен вольный перевод «Медеи» Еврипида (1947).

Дикинсон, Эмили (Emily Dickinson, 1830-1886). Родилась и безвыездно прожила в небольшом городке Амхерст, в штате Массачусетс. По окончании местного колледжа вела замкнутый образ жизни, почти не покидая дома. Ее «письма к миру», как она называла свои стихи, которые сочиняла тайком от родных и складывала в большую картонную коробку, увидели свет в 1890 г., причем редактор решил выправить вопиющие для викторианских почитателей Теннисона и Лонгфелло «неправильности» поэзии Дикинсон. Первое полное издание ее стихов в аутентичной оригиналу редакции вышло лишь в 1955 г. Обращаясь к традиционным темам романтической лирики: природа, любовь, удел человеческий и т.п., — поэтесса достигла поразительной глубины психологического анализа; в напряженно-парадоксальной образности Дикинсон угадываются отзвуки поэтики английских поэтов-метафизиков. Впервые в американской поэзии она стала использовать т.н. «парарифму» (*para-rhyme*), где при чередовании ударных гласных совпадают заударные согласные звуки.

Дикки, Джеймс (James Dickey, род. 1923). В 1943 г. ушел из колледжа на фронт, служил в морской авиации. Стихи начал писать довольно поздно — тридцати лет, в свободное время от работы в рекламном бюро. Первый сборник «В камень» (*Into the Stone*) вышел в 1957 г. За ним последовали книги: «Утопяя вместе с другими» (*Drowning with Others*, 1962), «Шлемы» (*Helmets*, 1964), «Песенка о бродячем музыканте»

(*Buckdancer's Choice*, 1965—Национальная книжная премия) и др. Лирика Дикки—преимущественно философского склада. Важное место в его поэзии занимает проблема взаимоотношений человека и природы, нередко приобретающих драматическую остроту конфликта, как, например, в поэме «Зодиак» (*The Zodiac*, 1976). Дикки выпустил несколько сборников публицистической и литературно-критической прозы и роман «Избавление» (*Deliverance*, 1970).

Каммингс, Эдвард Эстлин (Edward Estlin Cummings, 1894-1962). Получил образование в Гарварде. В 1916 г. ушел добровольцем на фронт и год прослужил санитаром во французском полевом госпитале. Военные впечатления Каммингса легли в основу романа «Огромная комната» (*The Enormous Room*, 1922). После войны жил в Париже и продолжал начатые еще в Гарварде занятия живописью. Для Каммингса-поэта наиболее удачными в творческом отношении оказались 20-е и в меньшей степени—40-е гг. Его лучшие стихи вошли в сборники «Тюльпаны и печные трубы» (*Tulips and Chimneys*, 1923), «И» (&, 1925), «Равняется 5» (*Is 5*, 1926) и $\chi\alpha\rho\epsilon$: 71 *Poems* (1950). Каммингс-поэт использовал в своем творчестве опыт авангардистских школ европейской живописи 10—20-х гг.—дадаизма, кубизма, футуризма. Главной задачей головоломных типографских экспериментов Каммингса было заставить читателя не только читать, но и «видеть» стихотворение. Проникновенный лирик, Каммингс в то же время создал и ряд остросатирических стихотворений, где высмеял бездуховность «общества процветания».

Крейн, Харт (Hart Crane, 1899-1932). Его первые стихи отмечены влиянием ранней лирики Т. С. Элиота, к творчеству которого Крейн потом относился довольно критически. Большое значение для молодого поэта имело знакомство с творчеством французских символистов, особенно А. Рембо. Единственный сборник лирики Крейна «Белые здания» (*White Buildings*) вышел в 1926 г. Тогда же он начал работу над важнейшим своим произведением—поэмой «Мост» (*The Bridge*, 1930), которую так и не закончил. Эта поэма—своего рода «американский эпос», где создана грандиозная символическая

картина прошлого, настоящего и будущего Америки. Крейн — виртуозный мастер стиха, вслед за символистами стремившийся соединить зримую конкретность образов с интенсивной музыкальностью поэтического языка. Нередко, однако, это стремление не получало адекватного воплощения, отчего многие стихи Крейна выглядят нагромождением весьма невнятных символов (в значительной степени это относится к «Мосту»). Самое полное собрание стихотворений (*Complete Poems*) Крейна вышло в 1966 г.

Левертон, Дениза (Denise Levertov, род. 1923). Родилась в Англии. Вскоре после войны переехала в США. Дебютировала сборником «Двойной образ» (*The Double Image*, London, 1946). В критике 50-х гг. ее имя ассоциировалось с битниками, хотя в действительности ей были более созвучны искания поэтов «школы Черной Горы» (*Black Mountain School*) Ч. Олсона, Р. Данкена, Р. Крили. В это время Левертон, как и поэты школы, увлекалась творчеством У. К. Уильямса, влияние которого ощущается в стихах сборника «Здесь и теперь» (*Here and Now*, 1957). Творческий взлет Левертон приходится на 60-е гг., когда поэтесса становится активной участницей антивоенного движения. Наиболее значительные сборники этих лет: «Танец печали» (*The Sorrow Dance*, 1967), «Заново учась алфавиту» (*Relearning the Alphabet*, 1970) и «Чтобы выжить» (*To Stay Alive*, 1971). В стихотворениях 70-х гг. Левертон возвращается к темам своей ранней лирики — философским размышлениям о «вечных» проблемах человеческого бытия, о месте человека в природном мире, о сущности творчества. Литературно-критические эссе Левертон собраны в книге «Поэт в мире» (*The Poet in the World*, 1973).

Линдсей, Вэчел (Nicholas Vachel Lindsay, 1879-1931). Система эстетических и социально-политических воззрений поэта нашла отражение в его вдохновенной, но довольно туманной романтической утопии «Золотая книга Спрингфилда» (*The Golden Book of Springfield*, 1920), а также в его многочисленных письмах (*Letters of Vachel Lindsay*, 1979). Первые стихи Линдсея, созданные в 90-е гг., были своеобразными поэтическими комментариями к его графическим фантазиям —

«иероглифам» в духе аллегорических гравюр Блейка. Воодушевленный идеей воспитательного назначения искусства, которую он почерпнул в трудах Дж. Рескина, Линдсей в начале 1900-х гг. отправился бродяжничать по Америке в надежде увлечь широкие массы своими «проповедями Евангелия Красоты». Линдсей стремился использовать в своем творчестве элементы японской, египетской, африканской культур. Сам великолепный чтец, Линдсей считал, что декламация — неотъемлемый компонент полноценного эстетического восприятия поэтических произведений. Его поэмы *General William Booth Enters into Heaven*, *The Congo*, *The Santa Fe Trail*, которые он многократно исполнял перед большими аудиториями во время своих поездок по стране в 10-е гг., отличаются динамичностью и завораживающим ритмом. В конце 20-х гг. поэт пережил тяжелый творческий и духовный кризис, приведший его к самоубийству.

Лонгфелло, Генри Уодсворт (Henry Wadsworth Longfellow, 1807-1882). Пользовавшийся необычайной популярностью как у себя на родине, так и за рубежом, в том числе в России, Лонгфелло был одним из наиболее образованных людей своего времени. Его поэтическое творчество питала непоколебимая уверенность в «святости» европейской культуры, которую он, как и другие американские поэты-романтики второй половины XIX в. (Дж. Р. Лоуэлл, О. У. Холмс и др.), мечтал привить на родной почве. Творческая судьба Лонгфелло сложилась необычайно удачно: ему сопутствовал неизменный успех у читателей — уже начиная с первого сборника «Ночные голоса» (*Voices of the Night*, 1839), разошедшегося невиданным по тем временам тиражом в 43 тыс. экземпляров. Известность и славу принесли ему лирические стихотворения и баллады, составившие сборники «Баллады» (*Ballads and Other Poems*, 1842), «Перелетные птицы» (*Birds of Passage*, 1858), яркая публицистика аболиционистских «Стихов о рабстве» (*Poems on Slavery*, 1842), эпические поэмы «Эвангелина» (*Evangeline*, 1847) и «Сватовство Майлза Стэндиша» (*The Courtship of Miles Standish*, 1858). Вершина творчества Лонгфелло — «Песнь о Гайавате» (*The Song of Hiawatha*, 1855), которую поэт с гордостью называл

«индейской Эддой». Много сил отдавал поэт и переводческой деятельности. Первой крупной работой Лонгфелло-переводчика был сборник «Поэты и поэзия Европы» (*Poets and Poetry of Europe*, 1846). В 1865—1867 гг. Лонгфелло издал перевод «Божественной комедии» Данте.

Лоуэлл, Роберт (Robert Trail Spence Lowell, 1917-1977). Выходец из старинного аристократического рода, двоюродный внук поэта Джеймса Рассела Лоуэлла (1819—1891) и троюродный племянник поэтессы Эми Лоуэлл (1874—1925). Будучи студентом, Лоуэлл познакомился с видными критиками Дж. К. Рэнсомом, К. Бруксом, А. Тейтом, общение с которыми заметно повлияло на его творческое формирование. Первые два десятилетия его пути отмечены стремлением создавать «трудную поэзию». В традициях изощренного интеллектуализма английских поэтов-метафизиков и их американских последователей выдержаны стихи первых книг: «Земля несоответствий» (*Land of Unlikeness*, 1944) и «Замок лорда Уири» (*Lord Weary's Castle*, 1946—Пуллитцеровская премия). Во второй половине 50-х гг. Лоуэлл существенно пересматривает свою эстетику. Важной вехой духовной и творческой эволюции поэта стал сборник стихов «Исследование жизни» (*Life Studies*, 1959), открывший «исповедальный» период. В 60-е гг. выходят лучшие его сборники: «Павшим за Союз» (*For the Union Dead*, 1964), «У океана» (*Near the Ocean*, 1967), «Записная книжка: 1967—1968» (*Notebook 1967-1968*, 1969, переработанное издание: 1970). Начало 70-х гг. оказалось для поэта не менее плодотворным: в 1973 г. выходят сразу три его книги: «История» (*History*), «Посвящается Лиззи и Харриет» (*For Lizzie and Harriet*) и «Дельфин» (*The Dolphin*). Лирический герой «исповедального» Лоуэлла остро ощущает свою неразрывную связь с эпохой, с судьбой американской нации, в которую «вписана» его индивидуальная судьба. Оттого анализ личных драм, который предпринимает Лоуэлл в «исповедальных» стихах, обретает конкретно-исторический, подлинно реалистический характер. Лоуэллу принадлежат многочисленные переводы: «Подражания» (*Imitations*, 1961), «Путешествия» (*Voyages and Other Versions*, 1968). Поэт перевел также «Федру» Расина (1961) и «Прикованного Прометея» Эсхила (1969).

Лоуэнфелс, Уолтер (Walter Lowenfels, 1897-1976), поэт, публицист, общественный деятель. В 20-х — начале 30-х гг. жил в Париже и Лондоне. Первые сборники стихов «Эпистолы и эпизоды» (*Epistles and Episodes*, 1925), «США — с музыкой» (*USA with Music*, 1930) и «Самоубийство» (*The Suicide*, 1934) вышли в Европе. Знакомство с марксизмом в середине 30-х гг. было важнейшим событием его творческой биографии. Поэма об американских сталеварах «Сталь 1937» (*Steel, 1937*), написанная в духе лирико-эпических поэм Арагона и К. Сэндберга, стала этапной в его эволюции. Начав в 1938 г. сотрудничать в газете *Daily Worker*, органе КП США, Лоуэнфелс надолго оставил поэзию и вернулся к ней лишь в начале 50-х гг. В поэзии Лоуэнфелса органично переплетаются лиризм и обнаженная публицистичность, философская углубленность и «газетный фактографизм» — таковы стихи сборников «Сонеты о любви и свободе» (*Sonnets of Love and Liberty*, 1955), «Американские голоса» (*American Voices*, 1959) и др. Поздние книги поэта представляют собой сборники философско-публицистических стихотворений в прозе: «Найденные стихи и другие» (*Found Poems and Others*, 1972) и «Революция — это гуманность» (*Revolution is to Be Human*, 1973). Лоуэнфелс составил и подготовил к печати ряд поэтических антологий: «Сегодняшние поэты» (*Poets of Today*, 1964), «Где Вьетнам?» (*Where is Vietnam?*, 1967) и др., а также коллективный сборник статей «Гражданская война Уолта Уитмена» (*Walt Whitman's Civil War*, 1960), посвященный социально-политическим воззрениям великого поэта.

Маклиш, Арчибальд (Archibald MacLeish, 1892-1982). Первые книги стихов, написанных в романтической манере, вышли, когда Маклиш был еще студентом: «Песни летнего дня» (*Songs for a Summer's Day*, 1915) и «Башня из слоновой кости» (*Tower of Ivory*, 1917). Во время первой мировой войны служил в санитарном батальоне, а затем и в полевой артиллерии. После войны имел юридическую практику. В 1923 г. переехал во Францию, где жил до конца 20-х гг., и издал четыре книги стихов: «Счастливый брак» (*The Happy Marriage*, 1924), «Улочки на Луне» (*Streets in the Moon*, 1926) и др. Вернувшись на родину, Маклиш начал работать над большой поэмой «Конквистадор»

(*Conquistador*), для чего пешком прошел весь путь армии Кортеса по Мексике (поэма, опубликованная в 1932 г., получила Пулитцеровскую премию). В 30-е гг. поэт издает свои лучшие сборники: «Фрески для Рокфеллер-сити» (*Frescoes for Mr. Rockefeller City*, 1933), «Публичное выступление» (*Public Speech*, 1936), «Земля свободных» (*Land of the Free*, 1938), «Америка была многообещающей» (*America was Promises*, 1939). В конце 30-х гг. Маклиш отдает много энергии для организации антифашистского фронта американских деятелей культуры. После войны входил в руководящие органы ЮНЕСКО. Наиболее полное собрание его стихов вышло в 1976 г. (*New and Collected Poems: 1917-1976*). Маклиш — автор многих радиопьес в стихах: «Падение города» (*The Fall of the City*, 1937), «Воздушный налет» (*The Air Raid*, 1938), «Великий американский парад 4 июля» (*The Great American Fourth of July Parade*, 1975) и др.

Мастерс, Эдгар Ли (Edgar Lee Masters, 1868-1950). Как поэт пользовался широкой известностью в годы «Поэтического Возрождения» (см. предисловие, с. 31). Систематического образования не получил. В 90-е гг. занялся адвокатурой в Чикаго и неожиданно сделал блестящую, хотя и кратковременную, карьеру. Тогда же начал писать стихи, где подражал викторианским романтикам. В конце XIX — начале XX в. ему удалось издать на свои средства десять сборников, утонувших в море текущей литературы. Подлинный успех и признание пришли к Мастерсу в связи с публикацией его «Антологии Спун-Ривер» (*Spoon River Anthology*, 1915). Ни одна из сорока книг, опубликованных Мастерсом впоследствии, не смогла составить ей конкуренцию по популярности у читателей. Среди этого множества книг — два десятка поэтических сборников (в том числе и расширенное издание «Антологии»), роман-памфлет о Линкольне, биография поэта В. Линдсея, несколько томов публицистики.

Миллей, Эдна Сент-Винсент (Edna St Vincent Millay, 1892-1950). Произведения, созданные ею в студенческую пору, составили сборник «Ренессанс» (*Renascence and Other Poems*,

1917). В начале 20-х гг. она стала артисткой театральной труппы Юджина О'Нила «Провинстаун плейерс» (Provincetown Players), для которой написала три пьесы в стихах. Миллей — первая американская поэтесса, удостоенная Пулитцеровской премии (сборник «Плетельщица арф» — *The Harp-Weaver*, 1923). Ей принадлежит более десяти поэтических книг. Наиболее полно ее поэзия представлена в книге *Collected Poems* (1956). Излюбленный поэтический жанр Миллей — сонет. Одним из высших достижений поэтессы стал сборник *Collected Sonnets* (1941). Прирожденный лирик, Миллей иногда позволяла ветрам большой истории врываться в свой камерный поэтический мир (стихотворение «Правосудие, попранное в Массачусетсе» о расправе с Сакко и Ванцетти). В 1936 г. вышел ее перевод «Цветов зла» Ш. Бодлера.

Мур, Марианна (Marianne Moore, 1887-1972). В конце 10-х гг. сблизилась с участниками нью-йоркского поэтического кружка «Others», куда, в частности, входили У. К. Уильямс и У. Стивенс. В 1926—1929 гг. возглавляла редакцию влиятельного тогда литературно-критического журнала «Дайел» (*The Dial*). Мур — автор многих поэтических книг. Полное собрание ее стихов вышло в 1967 и 1981 гг. Она осуществила перевод басен Лафонтена (отдельное издание: 1954). Для творческого метода Мур характерна сосредоточенность на отдельных предметах, часто весьма «прозаических», но претерпевающих неожиданные метаморфозы в воображении поэтессы. Мур выработала оригинальную форму свободного стиха — «силлабический верлибр», в основе которого лежит принцип равного количества слогов в строках, симметрично расположенных в строках данного стихотворения.

Нэш, Огден (Ogden Nash, 1902-1971). Долгое время работал редактором в различных издательствах и рекламных бюро, был членом редколлегии журнала «Нью-Йоркер» (*New Yorker*). Опубликовал несколько десятков сборников юмористических и сатирических стихотворений. Нэш — поэт-фельетонист, высмеивающий стереотипы «американского образа жизни». Как

правило, мишенью его поэтических юморесок становится самодовольная респектабельность, предприимчивое жульничество, мещанское убожество. Нэш — мастер поэтической литературной пародии. Стихи-фельетоны Нэша — это попарно рифмуемые прозаические строки разной длины.

Оден, Уистан Хью (Wystan Hugh Auden, 1907-1973). Родился в Англии. Стихи начал писать, будучи студентом Оксфордского университета. Первый сборник (*Poems*) вышел в 1928 г. На раннем этапе творчества был связан с поэтами «оксфордской школы» (Oxford School): Л. Макнисом, С. Дей-Льюисом, С. Спендером. Как и другие «оксфордцы», Оден в 30-е гг. увлекался марксизмом, с левых позиций критиковал буржуазный строй в Англии. Стихи тех лет отмечены чертами реалистического метода, сложно переплетавшегося с романтическими тенденциями: «Стихи» (*Poems*, 1930), «Ораторы» (*The Orators: An English Study*, 1932), «Взгляни, незнакомец!» (*Look, Stranger!*, 1936). В 1937 г. вместе с Макнисом совершил поездку в Исландию, результатом которой явилась совместно написанная ими публицистическая книга «Письма из Исландии» (*Letters from Iceland*). В том же году Оден в составе английского подразделения Интербригад отправился в Испанию. В стихах конца 30-х гг. Оден выступал с антифашистскими и пацифистскими заявлениями. Сразу после начала второй мировой войны переехал в США. До конца дней жил попеременно то в Нью-Йорке, то в небольшом австрийском городке Кирхштеттен. В 1972 г. был приглашен читать лекции в Оксфорд. Оден — автор более двух десятков поэтических сборников. Основные его произведения собраны в книгах «Избранные стихи» (*Collected Shorter Poems: 1927-1957*, 1966) и «Избранные поэмы» (*Collected Longer Poems*, 1968). Одена отличает поразительная чуткость к чужим поэтическим голосам, которые он легко усваивает и делает «своими». Мало кто из современных англоязычных поэтов может сравниться с Оденом по богатству творческой палитры: им созданы — с равным блеском — глубоко философские поэмы, и искрометные сатирические стихи, и проникновенная лирика. Им написано также (в соавторстве) несколько пьес. Широко известны и литературно-критические

работы Одена, неоднократно издававшиеся отдельными книгами. В 1972 г. вышел сборник его переводов шведского поэта Г. Экелефа.

Плат, Сильвия (Sylvia Plath, 1932-1963). Выйдя замуж за английского поэта Т. Хьюза, с 1956 г. постоянно жила в Англии. Отличаясь крайне неуравновешенной психикой, часто переживала периоды мучительных депрессий, во время которых неоднократно пыталась покончить с собой. Последняя такая попытка имела трагический финал. При жизни Плат несколько ее стихотворений появилось в английских журналах, а в 1960 г. вышел сборник «Колосс» (*Colossus and Other Poems*). Основная часть ее произведений увидела свет только посмертно в сборниках: «Ариэль» (*Ariel*, 1965), «Шествие по водам» (*Crossing the Water*, 1971), «Зимние деревья» (*Winter Trees*, 1972). Полное собрание стихотворений (*Collected Poems*), подготовленное к печати Т. Хьюзом, появилось в 1981 г. Творчество Плат обычно сравнивают с «исповедальной» поэзией Р. Лоуэлла и Дж. Берримена. Однако большинство поэтических «исповедей» Плат — не столько повествование о личных драмах, сколько их вымышленный образ, ради создания которого поэтесса нередко искажала действительные факты своей биографии. Плат принадлежит также автобиографический роман «Под стеклянным колпаком» (*The Bell Jar*, 1963).

По, Эдгар Аллан (Edgar Allan Poe, 1809-1849). Начал свою творческую деятельность как поэт-лирик. Первые поэтические сборники «Тамерлан» (*Tamerlane and Other Poems*, 1827), «Аль Аарааф, Тамерлан и мелкие стихи» (*Al Aaraaf, Tamerlane and Minor Poems*, 1829) и «Стихи» (*Poems*, 1831) успеха не принесли. Потерпев неудачу на поэтическом поприще, По обратился к прозе и в течение 30-х гг. писал новеллы, регулярно публиковавшиеся в различных литературных журналах, а впоследствии составившие знаменитый двухтомник «Гротески и арабески» (*Tales of the Grotesque and Arabesque*, 1840). К этому же времени относятся первые выступления По-критика. «Прозаический» период 30-х гг. ознаменовался также

попыткой создания романтического романа, оставшегося незаконченным: «Приключения Артура Гордона Пима» (*The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nuntucket*, 1838). В 40-е гг., продолжая писать рассказы, По возвращается к лирике и создает самые совершенные свои произведения: «Ворон», «Улялюм», «Аннабель Ли». Одновременно По трудился и над своей «философией творчества», которой посвятил ряд лекций, трактатов и эссе: «Поэтический принцип» (*The Poetic Principle*, 1848), «Философия творчества» (*The Philosophy of Composition*, 1846), «Логическое обоснование стихосложения» (*The Rationale of Verse*, 1848), «Маргиналии» (*Marginalia*, 1844-1849) и др. Поэзия Э. По впервые была по достоинству оценена в Европе, где его много переводили и пропагандировали французские, а затем и русские символисты. По — из тех поэтов Америки, чье наследие органично вошло в русскую культуру. Образы «безумного Эдгара» питали воображение Бальмонта, Брюсова, Блока.

Ретке, Теодор (Theodore Roethke, 1908-1963). Выходец из семьи немецких иммигрантов. Стихи, написанные в 30-е гг., вошли в книгу «Открытый дом» (*Open House*, 1941). Среди десяти его сборников (три из них вышли посмертно) особо стоит выделить книги «Пробуждение» (*The Waking: Poems*, 1933-1953), за которую поэт был удостоен Пулитцеровской премии, и «Аз есмь!» — глаголет Агнец» (*I am! Says the Lamb*, 1961). В 1966 г. вышел том «Избранного» (*Collected Poems*). Поэтическая система Ретке вобрала в себя традиции философско-религиозной лирики английских метафизиков, романтического пантеизма, а отчасти и американского трансцендентализма. Эстетические взгляды поэта изложены в статьях, собранных в книге «О поэте и его искусстве» (*On the Poet and his Craft*, 1965).

Робинсон, Эдвин Арлингтон (Edwin Arlington Robinson, 1869-1935). Его дебют состоялся в середине 90-х гг., когда вышли сборники «Поток» и «Накануне вечером» (*The Torrent and The Night Before*, 1896) и «Дети тьмы» (*The Children of the Night*, 1897). В стихотворениях этих сборников впервые упоминается «столица» поэтического мира Робинсона — вымышленный го-

родок Тильбюри-таун, где обитают и герои его последующих сборников: «Городок на реке» (*The Town down the River*, 1910), «Человек на фоне неба» (*The Man Against the Sky*, 1916), «Три таверны» (*The Three Taverns*, 1920). Наибольших успехов поэт достиг в традиционном для английской поэзии жанре баллады, сумев сделать ее органичной формой для воплощения современной проблематики. В своих стихах Робинсон реалистически воссоздал острые социальные конфликты и психологические драмы, типичные для американского общества рубежа XIX—XX вв. Вместе с тем проблемы своего времени Робинсон был склонен порой рассматривать «под знаком вечности». В таком абстрактно-философском ключе написаны большие поэмы: «Капитан Крейг» (*Captain Craig*, 1902), «Человек на фоне неба» (1910). Том *Collected Poems* (1921) был удостоен Пулитцеровской премии. В конце 10-х и в 20-е гг. Робинсон пишет в основном исторические и аллегорические поэмы: «артуровскую» трилогию «Мерлин» (*Merlin*, 1917), «Ланселот» (*Lancelot*, 1920), «Тристан» (*Tristram*, 1927), за которую он получил вторую Пулитцеровскую премию, «Человек, умиравший дважды» (*The Man Who Died Twice*, 1924), «Дионис сомневающийся» (*Dionysus in Doubt*, 1925), «Король Джаспер» (*King Jasper*, 1935) и др. В 30-е гг. им подготовлено к печати несколько «Собраний стихотворений», в том числе самое полное: *Collected Poems* (1937).

Рэнсом, Джон Кроу (John Crowe Ransom, 1888-1974). Участвовал в первой мировой войне, затем преподавал в Вандербильтском университете, где был одним из организаторов объединения южных поэтов и критиков, назвавших себя «беглецами». Рэнсом входил в редколлегию издававшегося «беглецами» журнала «Фьюджитив» (*The Fugitive*). С 1937 г. стал преподавать в Кеньон-колледже. Основал там ежеквартальник «Кеньон ревью» (*The Kenyon Review*), который в 40—50-е гг. считался одним из ведущих и наиболее престижных литературно-критических журналов. Рэнсом известен прежде всего как литературовед, видный представитель т.н. «новой критики» (название вошло в широкое употребление после выхода в свет сборника его эссе *New Criticism*, 1941).

Стихи начал писать в 10-е гг. Основные произведения написал в межвоенное двадцатилетие, а затем целиком переключился на литературную критику. В последние годы жизни занимался переработкой ранних стихов, которые опубликовал в книге *Selected Poems* (1963).

Стивенс, Уоллес (Wallace Stevens, 1879-1955). Получил образование в Гарварде, где познакомился с философом Дж. Сантаяной, чье философское и художественное творчество оказало определенное влияние на будущего поэта. После окончания Гарварда Стивенс был репортером, потом занялся адвокатской практикой. В конце 90-х гг. поступил в солидную страховую фирму, где проработал большую часть жизни. Известность к Стивенсу-поэту пришла в середине 10-х гг., когда его стихи начал публиковать чикагский журнал «Поэтри» (*Poetry*). Впоследствии эти стихотворения вошли в сборник «Фисгармония» (*Harmonium*, 1923). Чрезвычайно требовательный к себе, привыкший подолгу работать над каждым стихотворением, Стивенс за сорок лет выпустил всего семь поэтических книг, каждая из которых становилась заметным событием в литературной жизни США. Лучшие произведения поэта вошли в им составленный том *Collected Poems* (1954). Важнейшей целью поэтического творчества считал создание «Высшей Фикции» (*Supreme Fiction*) — особого воображаемого мира, противопоставленного будничной «прозе» повседневности. По убеждению Стивенса, в эпоху «гибели богов» — распада традиционных ценностей и идеалов — поэзии (а шире — искусству) суждено стать «современной религией». Стивенс — автор многих критических статей и эссе по теории поэзии, вошедших в книги: *Opus Posthumous* (1957), «Необходимый ангел» (*The Necessary Angel*, 1962).

Сэндберг, Карл (Carl Sandburg, 1878-1967). Родился в семье шведа-иммигранта. Переменил множество профессий. В 1900-е гг. активно сотрудничал в различных газетах Среднего Запада. Поэтическая манера Сэндберга формировалась под воздействием творчества Уитмена, Верхарна, французских символистов. Большое значение для него имело также и кратко-

временное сближение с группой имажистов в начале 10-х гг. Его стихотворения, публиковавшиеся в это время в журнале «Поэтри», а потом вошедшие в сборник «Чикаго» (*Chicago Poems*, 1916), имели успех, который сопутствовал также и следующим его книгам: «Сборщики кукурузы» (*Cornhuskers*, 1918) и «Дым и сталь» (*Smoke and Steel*, 1920). В книгах «Камни сожженного солнцем Запада» (*Slabs of the Sunburnt West*, 1922), «Доброе утро, Америка» (*Good Mornning, America*, 1928) поэт стремился преодолеть фрагментарность и импрессионистичность ранней лирики и предпринял попытку создать большую лиро-эпическую форму. В книге «Народ, да» (*The People, Yes*, 1936), еще более расширяя возможности лиро-эпического жанра, Сэндберг задумал создать поэтическую панораму современной трудовой Америки. Последний творческий взлет пришелся на начало 50-х гг. Лучшая книга той поры — «И мед и соль» (*Honey and Salt*, 1953, 1963). Страстный почитатель Уитмена, Сэндберг был одним из самых верных его учеников. Особенно заметно проявляется влияние Уитмена в поэтике и стиховой технике Сэндберга. Широко известна написанная Сэндбергом шеститомная биография Линкольна (1—2 тт.— 1926 г., 3—6 тт.— 1939 г.). В 1959 и 1962 гг. посетил СССР.

Тейт, Аллен (Allen Tate, 1899-1979). По окончании Вандерbiltского университета примкнул к группе «беглецов» (*Fugitives*), входил в редколлегию журнала «Фьюджитив» (см. справку о Дж. Рэнсоне). Стихи Тейта середины 10-х гг. проникнуты романтической скорбью и ностальгией. В лирике 20-х гг. эти настроения приобрели трагические черты. Поэт рисует хаос и распад современного мира, которому он противопоставляет духовные ценности патриархального Юга. Многие его поэтические сборники, которые регулярно появлялись вот уже на протяжении полувека, носят скромное название «Стихи» — *Poems*. Важнейшие работы Тейта-критика собраны в книге «Избранные эссе» (*Collected Essays*, 1959). Тейт — автор романа «Отцы» (*The Fathers*, 1939).

Уилбер, Ричард (Richard Wilbur, род. 1921). Участник второй мировой войны. С конца 50-х гг. преподавал в университетах. Уилбер — поэт, тяготеющий к классическим

традициям. Истоки его творчества—в интеллектуализме английских метафизиков и парадоксально-афористическом стиле Паскаля и Вольтера. Его стихам, порой легко-ироничным, порой углубленно-созерцательным, присуща «хладнокровная» выверенность каждого хода поэтической мысли. Лучшие произведения Уилбера представлены в сборниках лирики «Прекрасные перемены» (*The Beautiful Changes*, 1947), «Вещи этого мира» (*Things of This World*, 1956—Пулитцеровская и Национальная книжная премии), «Прогулка в сон» (*Walking to Sleep*, 1969), «Ясновидящий» (*The Mind-Reader*, 1976). Выступает также как переводчик: широкой известностью пользуются его переводы мольеровских «Мизантропа» (1955) и «Тартюфа» (1963).

Уильямс, Уильям Карлос (William Carlos Williams, 1883-1963). По образованию врач, более сорока лет занимался частной практикой. В первых поэтических опытах, составивших книгу «Стихи» (*Poems*, 1909), подражал Китсу и Мильтону. Сближение в начале 10-х гг. с Э. Паундом и имажистами стало событием в его творческой биографии. Воздействие имажизма отчасти сказалось в сборниках *Al Que Quiere!* (1917) и «Горькие плоды» (*Sour Grapes*, 1921). Теоретические воззрения раннего Уильямса, во многом близкие экспрессионизму, изложены в книгах «Кора в аду» (*Kora in Hell*, 1920) и «Весна и все остальное» (*Spring and All*, 1923). В 20—30-е гг. выпустил три сборника новелл. В поэзии Уильямса середины 40-х гг. дают о себе знать романтические тенденции, которые усиливаются к концу десятилетия и особенно в лирике 50-х гг. Стихотворения и поэмы этих лет вошли в книги: «Музыка пустыни» (*The Desert Music and Other Poems*, 1954) и «Путешествие в любовь» (*Journey to Love*, 1955). Последняя книга «Образы Брейгеля» (*Pictures from Brueghel and Other Poems*, 1962) получила Пулитцеровскую премию. Основное произведение поэта—эпическая поэма «Патерсон», состоящая из пяти книг (*Paterson*, 1946-1958, незаконч.),—строится как монтаж фрагментов, в целом создающих панорамный образ современной Америки. Уильямс—автор нескольких пьес, трех романов, двух томов литературно-критической эссеистики.

Уитмен, Уолт (Walt Whitman, 1819-1892). В 1855 г. сам набрал и напечатал в бруклинской типографии сборник из двенадцати стихотворений и поэм — «Листья травы» (*Leaves of Grass*). Впоследствии «Листья травы» выдержали при жизни Уитмена еще восемь изданий (последнее: 1892), каждое из которых автор дополнял новыми стихотворениями и поэмами. «Листья травы» — уникальное в американской поэзии произведение, которое можно назвать лирическим романом в стихах. Творчество Уитмена оказало воздействие на многих поэтов США нашего века. Продолжателями его традиций были К. Сэндберг и во многом А. Маклиш, У. Лоуэнфелс. Для таких поэтов, как Э. А. Робинсон, Х. Крейн, Р. Джефферс, У. К. Уильямс, А. Гинсберг, «Листья травы» стали точкой отправления в их собственных исканиях. Даже те поэты, которые заявляли о своем неприятии творчества Уитмена — например, В. Линдсей, — не смогли пройти мимо его опыта. Уитмену принадлежат многочисленные публицистические произведения, среди которых особое место занимает памфлет «Демократические дали» (*Democratic Vistas*, 1871), где он пересматривает свой безграничный оптимизм и веру в «великое будущее» Америки, прозвучавшие в стихах 50—60-х гг. Уитмен — пионер современного свободного стиха. Его просодические эксперименты существенно повлияли на становление техники верлибра не только в американской, но и европейской поэзии.

Уиттьер, Джон Гринлиф (John Greenleaf Whittier, 1807-1892). В конце 20-х — начале 30-х гг. был редактором небольших провинциальных газет, где публиковались его первые стихи, позднее вошедшие в сборники: *Poems* (1838) и *Poems* (1849). Примкнув к движению аболиционистов в 1833 г., стал одним из лидеров антирабовладельческой кампании. В 30—50-е гг. выходят его многочисленные стихи и памфлеты. Поэтическая публицистика Уиттьера наследует традициям поэзии эпохи Американской революции, отчасти и чартистской поэзии. Известный главным образом как автор аболиционистских стихов «Голоса Свободы» (*Voices of Freedom*, 1846) и др., Уиттьер создал также лирические поэмы и стихотворения, воспевающие природу Новой Англии.

Уоррен, Роберт Пенн (Robert Penn Warren, род. 1905). В молодости был связан с группой «Fugitives» (см. справку о Дж. К. Рэнсоме). После окончания Вандерbiltского университета долгое время преподавал в колледжах. Уоррен — автор известных романов: «Ночной всадник» (*Night Rider*, 1939), «У райских врат» (*At Heaven's Gate*, 1943), «Вся королевская рать» (*All the King's Men*, 1946 — Пулитцеровская премия), «Пещера» (*The Cave*, 1960), «Потоп» (*Flood*, 1964) и др. Не меньшей известностью пользуется и Уоррен-поэт. Его первый поэтический сборник датирован 1930 г. С тех пор выпустил более десяти книг стихов, лучшими из которых он сам считает две: поэмы «Драконов брат» (*Brother to Dragons*, 1953) и «Одубон» (*Audubon*, 1969). В своем творчестве продолжает традиции английского романтизма и, в большей степени, поэтов-метафизиков. Совместно с критиком К. Бруксом написал одну из основополагающих для «новой критики» книг «Понимание поэзии» (*Understanding Poetry*, 1938). Сборники «Обещания» (*Promises*, 1957) и *Selected Poetry 1923-1975* (1976) были удостоены Пулитцеровской премии.

Фрост, Роберт (Robert Frost, 1874-1963). До тридцати лет фермерствовал в Нью-Гемпшире, затем, решив посвятить себя поэтическому творчеству, продал ферму и переехал в Англию. В Лондоне издал два сборника: «Воля мальчика» (*A Boy's Will*, 1913) и «К северу от Бостона» (*North of Boston*, 1914), которые имели успех как в Англии, так и в США. Возвратившись в 1915 г. в Америку, начал преподавать в Амхерстском колледже. На протяжении последующих трех десятилетий выпустил около двух десятков сборников, четыре из которых завоевали Пулитцеровскую премию: «Нью-Гемпшир» (*New Hampshire*, 1923), *Collected Poems* (1930), «Новые перспективы» (*A Further Range*, 1936) и «Дерево-свидетель» (*A Witness Tree*, 1942). Наиболее плодотворными для Фроста оказались 40-е гг., когда он выпустил семь книг. Видный представитель реалистического направления в современной поэзии США, Фрост в своих балладах, элегиях, драматических и лирических монологах обращался к острейшим проблемам эпохи, стараясь добраться до глубоких причин социальных и психологических процессов, свидетелем которых он был и которые он воссоздавал в своей

поэзии. Стих Фроста, кажущийся на первый взгляд чересчур «прозаическим», представляет собой слегка видоизмененный белый стих (blank verse), традиционный для английской драматической поэзии, который Фрост очень искусно «подгоняет» под естественные ритмы разговорной речи. В 1962 г. посетил СССР.

Хьюз, Ленгстон (Langston Hughes, 1902-1967). Первые стихи написал еще школьником. Долгое время жил случайными заработками, пока не решил стать профессиональным литератором. Хьюз — автор шестнадцати поэтических книг: «Грустные блюзы» (*The Weary Blues*, 1926), «Лучшие вещи в закладе» (*Fine Clothes to the Jew*, 1927), «Скоттсборо лимитед» (*Scottsboro Limited*, 1932), «Шекспир в Гарлеме» (*Shakespeare in Harlem*, 1942), «Билет в один конец» (*One Way Ticket*, 1949) и др. Для лирики Хьюза характерно сочетание разнообразных жанровых традиций негритянского песенного фольклора. Большой популярностью пользуются также его многочисленные рассказы, романы и пьесы, многие из которых переводились на русский язык. В 1932 г. жил в СССР.

Элиот, Томас Стериз (Thomas Stearns Eliot, 1888-1965). Закончив Гарвардский университет, в 1910 г. переехал в Европу. В 1927 г. получил английское гражданство. Первое крупное произведение Элиота — лирическая поэма «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» (*The Love Song of J. Alfred Prufrock*, 1911-1913), давшая впоследствии название сборнику «Пруфрок и другие наблюдения» (*Prufrock and Other Observations*, 1917). Второй сборник «Стихи» (*Poems*, 1919) составили главным образом сатирические стихи, в которых чувствуются интонации мрачной сатиры французского поэта-символиста Ж. Лафорга. В это же время Элиот обращается к литературно-критической эссеистике. Рецензии и статьи по теории литературы, печатавшиеся им в лондонских журналах в 10-е гг., вошли в книгу «Священный лес» (*The Sacred Wood*, 1920). В 1922 г. появилась поэма «Бесплодная земля» (*The Waste Land*), ставшая важной вехой в развитии англо-американского модернизма. Трагическое восприятие (и неприятие) современной буржуазной цивилизации достигает апогея в поэме «Полые люди»

(*Hollow Men*, 1925). В конце 20-х гг. в духовной и творческой биографии поэта наступает резкий перелом. В 1928 г. Элиот четко формулирует свою новую позицию: «Классицист в литературе, роялист в политике и англокатолик в религии». Отражением религиозных поисков Элиота стала философская поэма «Пепельная среда» (*Ash Wednesday*, 1930). Итогом и вершиной его творчества стала поэма в четырех частях «Четыре квартета» (*Four Quartets*, 1943)—сложное, но в то же время и удивительно гармоничное творение Элиота. Важнейшие литературно-критические работы Элиота, одного из создателей «неокритической» методологии, собраны в книгах «Избранные статьи» (*Selected Essays*, 1937) и «Критикуя критика» (*To Criticize the Critic*, 1962). Ему принадлежат также четыре пьесы, написанные в традициях драматургии английского барокко. В 1948 г. Элиоту была присуждена Нобелевская премия.

Эмерсон, Ральф Уолдо (Ralph Waldo Emerson, 1803-1882). Блестящий эрудит и глубокий знаток мировой культуры. Его обширное литературное наследие включает в себя более 150 философских эссе и лекций, 10 томов дневников, сочинения на общественные, морально-этические и эстетические темы, сборники биографических и нравоописательных очерков, несколько поэтических сборников. Его стихотворения стали привлекать внимание исследователей лишь сравнительно недавно. Большинство их было опубликовано при жизни автора в сборниках *Poems* (1847) и «Майский день» (*May Day*, 1867). Стихи Эмерсона—своего рода иллюстрация его философских убеждений. По мысли Эмерсона, поэзия является средством прозрения и символического выражения божественного начала, невидимо разлитого в окружающем мире. Философские и эстетические концепции Эмерсона оказали воздействие на раннего Уитмена.

О. Алякринский

СПРАВКИ О ПЕРЕВОДЧИКАХ

Алигер Маргарита Иосифовна, советская поэтесса и переводчица, переводит со многих языков народов СССР. Ей принадлежат также переводы стихов крупнейших зарубежных поэтов XX века: Л. Арагона, П. Неруды, Н. Хикмета, Ф. Ларкина, Д. Максимович. Сравнительно недавно поэтесса обратилась к творчеству современных американских лириков. Опубликованы ее переводы из Э.С.-В. Миллей, А. Маклиша и др. поэтов.

Ананиашвили Элизбар Георгиевич (род. 1912), советский переводчик прозы и поэзии. Переводит с французского, английского, итальянского, а также с языков народов СССР. Из американских поэтов переводил К. Сэндберга и Э. Мастерса.

Анненский Иннокентий Федорович (1856—1909), русский поэт, литературный критик и публицист. Среди его обширного литературного наследия переводы занимают важное место. Филолог-классик по образованию, Анненский впервые осуществил перевод всех драм Еврипида на русский язык. Из новейших поэтов Европы его главным образом привлекали французские лирики второй половины прошлого века: Леконт де Лиль, П. Верлен, Ш. Бодлер, А. Рембо, С. Малларме, Т. Корбьер, Ш. Кро, Ф. Жамм и др. Анненский перевел также три оды Горация, несколько стихотворений И. В. Гете, Г. Гейне и др. немецких поэтов, одно стихотворение Г. Лонгфелло. Анненский-переводчик придерживался тех же взглядов, что и ранний Брюсов (см. справку о нем ниже), считая, что цель перевода — передать общее впечатление от поэтического смысла подлинника с соблюдением известной «меры в субъективизме».

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942), русский поэт и переводчик. Географический диапазон переводческого творчества Бальмонта, владевшего многими языками, был поистине безграничен: он переводил с испанского (народные песни, драмы Кальдерона и Лопе де Веги), итальянского (Дж. Леопарди), французского (Ш. Бодлер, Леконт де Лиль, П. Верлен и др.), польского (А. Мицкевич), болгарского (народные песни, И. Вазов), армянского (О. Туманян, А. Исаакян), грузинского («Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели), литовского (народная поэзия), санскрита (Веды) и многих других языков. Англоязычной поэзии Бальмонт-переводчик уделил, пожалуй, наибольшее внимание. Ему принадлежат первые в России переводы из У. Блейка. Он впервые осуществил полный перевод П. Б. Шелли (3-томное издание 1903—1907). Переводил Дж. Г. Байрона, А. Теннисона, О. Уайльда. Обращался и к творчеству двух корифеев американской романтической поэзии—Э. А. По и У. Уитмена (первое русское издание «Листьев травы» в переводе Бальмонта появилось в 1911 г.). Бальмонт придерживался принципов «перестраивающего» перевода, когда, по словам М. Л. Лозинского, «переводчик, так сказать, переливает чужое вино в свои, привычные ему мехи». Бальмонт сознательно «подправлял» переводимых им поэтов, придавая переводам «бальмونتовскую» музыкальность, многословие и чувствительность. За это его критиковал Брюсов. Подлинных удач Бальмонт добивался, когда переводил поэтов, близких ему по мироощущению и творческой манере. К таким удачам, бесспорно, относятся его переводы лирики Э. По, многих стихотворений П. Б. Шелли.

Британишский Владимир Львович (род. 1933), советский поэт, переводчик, критик. Ему принадлежат переводы современных поэтов Польши (Л. Стафф, Я. Ивашкевич, Ю. Пшибось, Т. Ружевиц и др.), Англии (Д. Г. Лоуренс, Д. Томас) и США (К. Сэндберг, У. К. Уильямс, У. Стивенс, Л. Хьюз, Э. Э. Каммингс, Дж. Берримен).

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924), русский поэт и переводчик. Глубокий знаток мировой поэзии, Брюсов прида-

вал чрезвычайное значение поэтическому переводу, полагая, что становление новейшей российской поэзии немислимо без учета творческого опыта зарубежных поэтов. Отсюда — пристальный интерес к творчеству Т. Готье, П. Верлена, Э. Верхарна и др. лириков XIX в., которых Брюсов много переводил (эти переводы обычно выходили отдельными сборниками). Большую работу осуществлял Брюсов и как организатор переводческой практики. По его инициативе и при его участии были изданы коллективные сборники переводов: «Французские лирики XVIII века» (1914), «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней» (1916), «Сборник латышской литературы» (1916) и др. Принципы, которых придерживался Брюсов-переводчик, с течением времени претерпели изменения. Выполненные им в конце XIX — начале XX в. переводы из французских символистов весьма вольны: основное внимание ранний Брюсов уделял тому, что называл «внешностью лирического стихотворения». При этом он считал, что воспроизвести в переводе все «внешние» элементы подлинника (образы, размер, рифму, звукопись и т.п.) невозможно. «Переводчик, — писал Брюсов, — обычно стремится передать лишь один или в лучшем случае два элемента (большею частью образы и размер), изменив другие (стиль, движение стиха, рифмы, звуки слов). Выбор такого элемента, который считаешь наиболее важным в переводимом произведении, составляет метод перевода». В 10-е и особенно в начале 20-х гг. Брюсов придерживался принципиально иного — «буквалистского» — метода, который обосновал в 1913 г.: «Когда речь идет о переводе великих поэтов Эллады и Рима, нам кажется необходимым передавать не только мысли и образы подлинника, но самую манеру речи и стиха, все слова, все выражения, все обороты». Творческим воплощением «буквалистских» принципов стала работа поэта над переводом «Энеиды» и «Фауста» (I часть). Наиболее развернутое обоснование «буквализма» Брюсов дал в статье «О переводе «Энеиды» Вергилия» (1920).

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953). Много внимания уделяя поэтическому переводу, переводил со многих языков: французского (Леконт де Лиль, Ф. Коппе), польского (А. Миц-

кевич), армянского (А. Исаакян), английского (Дж. Г. Байрон, А. Теннисон). Вершина переводческого творчества Бунина — перевод «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло, над которым он работал с 1896 г. по 1903 г. и за который был удостоен Пушкинской премии. В «Предисловии переводчика» ко второму изданию перевода этой поэмы (1898) Бунин писал, что «всюду старался держаться возможно ближе к подлиннику, сохранять простоту и музыкальность речи, сравнения и эпитеты, характерные повторения слов и даже, по возможности, число и расположение стихов».

Вознесенский Андрей Андреевич (род. 1933), советский поэт, переводчик, лауреат Государственной премии СССР (1978). Им созданы переводы лирики Микеланджело. Из американских поэтов переводил Э. Хемингуэя, Р. Лоуэлла, У. Дж. Смита, А. Гинсберга.

Грушко Павел Моисеевич (род. 1931), советский поэт и переводчик. Переводил произведения Л. Гонгоры, Х. Гильена, Х.-Р. Хименеса, П. Неруды, С. Вальехо, Н. Гильена. В последние годы обратился к творчеству англоязычных поэтов XX века. В его переводах публиковались стихотворения Д. Томаса, У. Х. Одена, Дж. К. Рэнсома, А. Тейта, Р. Уилбера, Дж. Райта, Р. П. Уоррена и др.

Евтушенко Евгений Александрович (род. 1933), советский поэт, прозаик, критик. Переводит главным образом с грузинского (О. Чиладзе), армянского (Г. Эмин) языков. В его переводах публиковались стихотворения Дж. Дикки, У. Дж. Смита.

Зенкевич Михаил Александрович (1891—1973), советский поэт. Один из основоположников советской школы перевода. Переводил с немецкого (Ф. Фрейлиграт), французского (В. Гюго), польского (А. Мицкевич) и др. европейских языков. Ему и И. А. Кашкину (см. справку о нем ниже) принадлежит заслуга

в том, что еще в 30-е гг. советские читатели познакомились с творчеством крупнейших поэтов США XX века. Переводы американской поэзии, осуществленные Зенкевичем, выходили отдельными сборниками: «Поэты Америки. XX век» (совместно с И. А. Кашкиным, 1939), «Из американских поэтов» (1946), «Американские поэты в переводе М. Зенкевича» (1969).

Кашкин Иван Александрович (1899—1963), советский литературовед, один из зачинателей советской американистики; переводил произведения Дж. Конрада, Р. Л. Стивенсона, Т. Гарди, Э. Хемингуэя, Дж. Дос Пассоса, Э. Колдуэлла и др. Много и плодотворно работал в области поэтического перевода. Здесь самое значительное достижение Кашкина — перевод (совместно с О. Румером) «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера. Его переводы стихотворений американских поэтов в основном вошли в две подготовленные им антологии: «Поэты Америки. XX век» (совместно с М. А. Зенкевичем, 1939) и «Слышу, поет Америка. Поэты США» (1960). Полемизуя с теоретическими установками «буквалистов», Кашкин последовательно отстаивал принципы «реалистического перевода», которые были изложены им в ряде статей, вошедших позднее в книгу «Для читателя-современника» (1972, переизд. 1977).

Комарова Ирина Бенедиктовна, советский переводчик англоязычной прозы и поэзии. Переводила стихи В. Скотта, Л. Хьюза, О. Нэша, новеллистику Д. Томаса, Р. Киплинга, Г. Джеймса, драматургию Ю. О'Нила и Ш. О'Кейси.

Левик Вильгельм Вениаминович (1907—1982), советский поэт-переводчик. Сфера его переводческой деятельности весьма обширна — опубликованы его переводы Ж. Ронсара, Ж. дю Белле, Ш. Бодлера, И. В. Гете, Ф. Шиллера, Г. Гейне, Лопе де Веги, Сервантеса, Гонгоры, Л. Камозенса и др. Из американских поэтов переводил Г. Лонгфелло. Выступал со статьями по вопросам перевода; опубликовано несколько сбор-

ников его стихотворных переводов: «Из европейских поэтов XIV—XVI вв.» (1956), «Из европейских поэтов» (1967), «Волшебный лес» (1975), «Избранные переводы» (в двух томах—1978).

Лихачев Иван Алексеевич (1904—1973), советский переводчик прозы и поэзии со многих европейских языков. В его переводах опубликованы произведения Ф. Кеведа, В. Скотта, Г. Мелвилла. Существенную часть его творческого наследия составляют поэтические переводы в основном с английского (Т. Кэмпбелл, Дж. Донн, Дж. Герберт, Э. Марвелл, У. Вордсворт, Дж. М. Холкинс, Э. Дикинсон). Ему принадлежат также переводы стихотворений Ш. Бодлера. Придерживался концепции перевода-«перевоплощения», разработанной М. Л. Лозинским.

Маркова Вера Николаевна, советская переводчица, автор статей по истории японской литературы. Ей принадлежат многочисленные переводы классической и современной японской прозы и лирики, которые выходили отдельными изданиями: «Японские трехстишия» (1973), «Сэй-Сенагон. Записки у изголовья» (1975), «Две старинные японские повести» (1976) и др. Из американских поэтов опубликованы ее переводы Э. Дикинсон (отдельное издание: М., 1981).

Михайлов Михаил Ларионович (1829—1865), русский писатель и видный общественный деятель середины XIX в. Особое место в творчестве Михайлова занимала переводческая деятельность. Наибольшие его успехи были связаны с работой над переводами немецких поэтов (И. В. Гете, Г. Гейне). Много переводил с английского (К. Марло, Р. Бернс, Дж. Г. Байрон, Т. Гуд, Т. Мур, А. Теннисон, Г. Лонгфелло). Один из первых в России теоретиков поэтического перевода.

Михаловский Дмитрий Лаврентьевич (1828—1905), русский поэт-переводчик. Его многочисленные переводы издавались отдельными сборниками: «Трагедии Шекспира... в пере-

водах Д. Л. Михаловского» (1890), «Иностранные поэты в переводах и оригинальные стихотворения Д. Л. Михаловского в 2-х томах» (1896). Михаловский переводил со многих языков и был в числе первых русских переводчиков Г. Лонгфелло. Ему принадлежат также переводы стихов Ф. Брет Гарта.

Мориц Юнна Петровна, советская поэтесса и переводчица. Переводит с испанского (Р. Альберти, Ф. Гарсия Лорка), греческого (К. Кариотакис, Я. Рицос, О. Элитис), польского (К. Иллакович и др.), английского (Р. Киплинг, О. Уайльд), а также с языков народов СССР. Опубликованы ее переводы стихотворений поэтов США (Т. Ретке, Р. Джаррелл).

Парин Алексей Васильевич (род. 1944), советский поэт-переводчик, в его переводах опубликованы комедии Менандра, лирика Сафо и Овидия, Ф. Петрарки и Ф. Вийона, Дж. Донна и И. В. Гете, Дж. Китса, А. Стриндберга, П. Целана и др. Из американских поэтов переводил М. Мур, Э. Паунда, Р. Лоуэлла, Р. П. Уоррена, С. Плат и др.

Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893), русский поэт и прозаик, соратник Н. А. Некрасова по журналу «Современник». Много переводил с немецкого (И. В. Гете, Г. Гейне, Н. Ленау), английского (Р. Саути, Дж. Г. Байрон, Т. Мур, А. Теннисон), французского (В. Гюго) и других европейских языков. Одним из первых в России начал переводить прозу Ф. Брет Гарта (отдельное издание: 1874). Первый русский переводчик У. К. Брайанта.

Рогов Владимир Владимирович (род. 1930), советский поэт-переводчик. Опубликованы его переводы Т. Уайета, Г. Серрея, Э. Спенсера, Ч. Лили, К. Марло, Б. Джонсона, С. Кольриджа, У. Вордсворта, Дж. Г. Байрона, П. Б. Шелли, Дж. Китса и др. Из американских поэтов переводил Э. По и У. Лоуэнфелса.

Сергеев Андрей Яковлевич (р. 1933), советский поэт, переводчик англоязычной поэзии и прозы. Опубликованы его переводы произведений Э. Спенсера, Р. Херрика, Дж. Донна, У. Блейка, У. Вордсворта, Дж. Г. Байрона, Р. Киплинга, Т. Гарди, Дилана Томаса, Р. Грейвза и др. В его переводах публиковались стихи поэтов США У. Уитмена, Р. Фроста, Э. А. Робинсона (отдельное издание: 1971), Т. С. Элиота (отдельное издание: 1971), У. Х. Одена, К. Сэндберга, Э. Э. Каммингса, С. Плат, А. Гинсберга, Р. Уилбера, Р. Джефферса и др.

Сеф Роман (Роальд Семенович) (род. 1931), советский поэт, переводчик, драматург, автор нескольких сборников стихов для детей. В его переводах опубликованы стихотворения американских поэтов (Р. Джаррелла, Т. Ретке).

Топоров Виктор Леонидович (род. 1946), советский поэт-переводчик. В его переводах выходили произведения И. В. Гете, Р. М. Рильке, У. Блейка, В. Скотта, Дж. Г. Байрона, П. Б. Шелли, О. Уайльда, Р. Киплинга, из американских поэтов переводил Э. По, Г. Торо, Г. Мелвилла, У. Уитмена, Х. Крейна, Э. Паунда, А. Тейта, У. Х. Одена, Р. Уилбера, Р. Лоуэлла, С. Плат.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883). Основная масса переводов, выполненных Тургеневым, относится к его «поэтическому» периоду 40-х гг. Он переводил с немецкого (И. В. Гете, Г. Гейне), английского (Дж. Г. Байрон), французского (А. Мюссе). Позднее обратился к прозе Г. Флобера. Значительное место в переводческой деятельности позднего Тургенева занимала подготовка французских изданий Пушкина, Лермонтова, Гоголя. В 1872 г., увлекшись творчеством «удивительного американского поэта Уальта Уитмана», начал переводить его.

Чуковский Корней Иванович (Корнейчуков Николай Васильевич, 1882—1969), советский литературовед, писатель, детский поэт, переводчик. Лауреат Ленинской премии (1962).

Начинал свою литературную деятельность как критик: в 1900—1910-е гг. выпустил несколько книг очерков о русских писателях. В середине 1900-х гг. опубликовал свои первые переводы из Уитмена. С тех пор работа над переводами стихотворений и поэм Уитмена на протяжении многих десятилетий оставалась одним из главных интересов Чуковского. Ему принадлежат также переводы произведений Г. Филдинга, Г. К. Честертона, О. Уайльда, А. Конан Дойла, Р. Киплинга, М. Твена, О. Генри. Долгое время возглавлял англо-американский отдел издательства «Всемирная литература», основанного М. Горьким. Много занимался теорией перевода. Наиболее полное отражение его взгляды на проблемы переводческого искусства нашли в книгах «Искусство перевода» (1930, переизд.: 1936) и «Высокое искусство» (1941, переизд.: 1964 и 1968).

Чухонцев Олег Григорьевич (род. 1938), советский поэт и переводчик. Опубликованы его переводы с французского (П. Верлен), немецкого (И. В. Гете), английского (Дж. Китс) и других европейских языков и языков народов СССР. Им выполнены также переводы стихов американских поэтов (У. Уитмена, Л. Симпсона, Р. П. Уоррена, У. Дж. Смита).

Эшель Асар Исаевич (род. 1935), советский поэт-переводчик. Опубликованы его переводы из польских поэтов; также переводил шотландские баллады, стихи Р. Фергюссона, Р. Киплинга, У. Б. Йейтса. Из американских поэтов переводил Э. Тейлора, Дж. Трамбула, Дж. Барлоу, Э. По.

О. Алякринский

КОММЕНТАРИИ

В комментариях читатель найдет сведения о времени и месте первых публикаций не только американских стихов, но и их русских переводов. Библиография переводов включенных в антологию стихотворений дается с большой полнотой; лишь в немногих случаях, где число переводов очень велико, приводятся сведения об избранных переводах.

Что касается данных о публикациях оригиналов, то читатель заметит разницу в полноте приводимых нами сведений о стихах прошлого века и произведениях современных поэтов. Для многих стихотворений американских поэтов XX столетия не только нельзя указать время написания, но часто нет возможности установить место и время первой публикации. В таких случаях указывается лишь сборник поэта, где напечатано данное стихотворение.

В отдельных случаях даются подробные смысловые анализы наиболее сложных стихотворений, чтобы облегчить читателю вхождение в непривычную для него образную систему.

Для некоторых стихотворений даны вторые и даже третьи переводы, которые помещаются в Приложении.

Комментируются английские оригиналы, а не русские переводы. Поскольку антология рассчитана на достаточно подготовленного читателя, широко известные мифологические, исторические, биографические реалии не комментируются.

Edgar Allan Poe. Эдгар Аллан По

THE RAVEN. ВОРОН

Стихотворение обдумывалось поэтом несколько лет, но написано было довольно быстро в конце 1844 г. и появилось впервые в газете *Evening Mirror* от 29 января 1845 г., а затем в

февральском номере журнала *American Whig Review* за тот же год. Вскоре его перепечатали многие другие издания, так что еще при жизни поэта «Ворон» стал широко известным произведением.

Лучшим комментарием к стихотворению может служить статья Э. По «Философия творчества» (*The Philosophy of Composition*), где подробно рассказывается история создания «Ворона». Правда, многие усомнились в правдивости статьи Э. По, так как процесс творчества представлен в ней чересчур рассудочным и «головным». Приведем только то место, где поэт сжато излагает психологическую мотивировку событий в стихотворении:

«Какой-то Ворон, механически зазубривший единственное слово “nevermore”, улетает от своего хозяина и в бурную полночь пытается проникнуть в окно, где еще горит свет,— в окно комнаты, где находится некто, погруженный наполовину в чтение, наполовину— в мечты об умершей любимой женщине. Когда на хлопанье крыльев этот человек распахивает окно, птица влетает внутрь и садится на самое удобное место, находящееся вне прямой досягаемости для этого человека; того забавляет подобный случай и причудливый облик птицы, и он спрашивает, не ожидая ответа, как ее зовут. Ворон по своему обыкновению говорит “nevermore”, и это слово находит немедленный отзвук в скорбном сердце возлюбленного, который, высказывая вслух некоторые мысли, порожденные этим событием, снова поражен тем, что птица повторяет “nevermore”. Теперь он догадывается, в чем дело, но, движимый, как я ранее объяснил, присущею людям жаждою самоистязания, а отчасти и суеверием, задает птице такие вопросы, которые дадут ему власть упиться горем при помощи ожидаемого ответа “nevermore”. (Э. По. Философия творчества. Пер. В. Рогова— см. сб.: «Эстетика американского романтизма» под ред. А. Николюкина. М., «Искусство», 1977, с. 120—121).

Перевод М. Зенкевича опубликован в его сборнике «Из американских поэтов», М., 1946. Перевод К. Бальмонта опубликован в 1894 г. в журнале «Артист», № 41 (позже перерабатывался). Перевод В. Брюсова опубликован в 1905 г. в журнале «Вопросы жизни», № 1.

Всего существует 15 русских переводов «Ворона». Назовем некоторые из них: С. Андреевского («Вестник Европы», 1978, № 3), Л. Пальмина (в кн.: Пальмин Л. И. Сны наяву, М., 1878), Д. Мережковского («Северный вестник», 1890, № 11), А. Оленича-Гнененко («Дон», 1946, № 2), М. Донского (в кн.: Э. По. Лирика. Л., 1976).

Pallas — Афина Паллада. В уже цитированной «Философии творчества» Э. По писал, что усадил Ворона на бюст Афины Паллады ради контраста между белизной мрамора и чернотой оперения птицы. Далее Э. По продолжает: «Выбрал же я бюст именно Паллады, во-первых, как наиболее соответствующий учености влюбленного, а во-вторых, ради звучности самого слова Паллада» (там же, с. 119).

“Is there balm in Gilead?” — слегка измененная цитата из Книги Пророка Иеремии (8:22): «Разве нет бальзама в Галааде?». Смысл: разве нет исцеления? (Галаад — гористая местность в Палестине, к северо-востоку от Мертвого моря, славилась в древности своим бальзамом).

Aidenn — вариант написания слова Eden — Эдем, рай

ULALUME. УЛЯЛЮМ

Опубликовано впервые в журнале *American Whig Review* в декабре 1847 г. Это одно из сравнительно сложных для понимания стихотворений Э. По, поэтому мы приведем краткий анализ сюжета, данный двумя известными американскими критиками Клинтон Бруксом и Робертом Пенном Уорреном: «Герой, занятый беседой с Психеей, своей душой, бредет по загадочной местности. Он и его душа настолько заняты беседой, что не замечают окружающего пейзажа и не думают о том, какой сейчас месяц, хотя, как нам дается понять, они уже были здесь раньше, и эта ночь отмечает таинственную и важную годовщину. Потом появляется свет, и герой решает, что это свет Астарты, а не Дианы, то есть свет любви, а не целомудрия. Психея испугана этим светом и хочет бежать, но герой преодолевает ее страхи и заставляет следовать за светом. Они наталкиваются на могилу, которая, по словам Психеи, является могилой умершей возлюбленной героя Уля-

люм. Тогда герой вспоминает, что ровно год назад он принес ее тело к этой могиле. После этого открытия и герой, и Психея вместе понимают, что видение полумесяца Астарты было вызвано, быть может, милосердными упырями, чтобы предотвратить встречу с могилой. Но они не обратили внимания на предостережение» (С. Brooks and R. P. Warren. *Understanding Poetry*. N. Y., Holt, Rinehart and Winston, 1964, pp. 228-229).

Последнее замечание комментаторов относится уже к заключительной, десятой строфе стихотворения, которая отсутствует в переводах К. Бальмонта и В. Брюсова, так как во многих американских изданиях прошлого века «Улялюм» печатали без этой строфы. Главное в «Улялюм», наверное, все же не сюжетный рисунок, а гипнотическая музыка каждой строфы, навевающая определенное настроение.

Первый русский перевод «Улялюм» появился в журнале «Жизнь» (1899, № 9, пер. К. Бальмонта). Перевод В. Брюсова опубликован в кн.: Э. По. Полное собрание поэм и стихотворений. Пер. В. Брюсова. М.—Л., 1924. Всего опубликовано 10 русских переводов «Улялюм», среди них переводы Н. Чуковского (Э. По. Избранное. М., 1958), А. Оленича-Гнененко («Дон», 1946, № 2), В. Топорова (Э. По. Лирика. 1976).

Ulalume—такого имени у англичан и американцев нет. Э. По создал его, возможно, опираясь на латинский глагол *ululare*—«плакать», «выть»; ср. также и производное от него англ. *ululate* с тем же значением (ср. также, лат. *ulula*—«сова»). Есть указания, что сам По произносил это имя как «Юлалум». Таким образом, транскрипция имени в переводе В. Брюсова «Юлалюм» наиболее близка к авторской.

Auber, Weir, Yaanek—скорее всего эти имена собственные вымышлены По с единственной целью: создать нужное ему сочетание гласных и согласных звуков. Тем не менее некоторые американские исследователи в последние годы связывают имя Auber с французским композитором Франсуа Обером (1782—1871), а имя Weir с американским художником-пейзажистом Робертом Уолтером Уиром (1803—1890). Что касается слова Yaanek, то пока его не удалось связать ни с каким географическим или историческим наименованием.

Astarte— Астарта, финикийская богиня чувственной любви и плодородия. В стихотворении ей противопоставлена римская богиня Луны Диана как символ целомудрия и непорочности.

THE BELLS. КОЛОКОЛЬЧИКИ И КОЛОКОЛА

Стихотворение было начато летом 1848 г. (сначала в нем было всего 17 строк), завершено год спустя, летом 1849 г., а опубликовано лишь посмертно, в ноябрьском номере журнала *Union Magazine* за 1849 г.

Летом 1848 г. поэт гостил в Нью-Йорке у своей приятельницы Мери Луизы Шью. Его очень раздражал постоянный колокольный звон множества церквей, находившихся поблизости. Однажды миссис Шью положила перед ним лист бумаги с надписью сверху: “The Bells, by E. A. Poe”. Поэт начал писать, но работа не пошла. Только после второй попытки удалось написать небольшое стихотворение в 17 строк. Э. По еще трижды возвращался к стихотворению, и в окончательном варианте оно расширилось до 113 строк.

На первый взгляд «Колокольчики и колокола» могут показаться всего лишь изощренным образцом ономастопеи (звукоподражания). На самом деле, стихотворение гораздо сложнее. В четырех его частях речь идет о четырех разных видах колоколов (“silver bells”, “golden bells”, “brazen bells”, “iron bells”) и о четырех разных поводах для их звона (катанье на санях, свадьба, тревога (пожар) и похороны—заупокойный звон). Таким образом, четыре части стихотворения как бы соответствуют четырем стадиям человеческой жизни (детское катание на санях, свадебный кортеж молодых, взрослый мир тревоги и борьбы с несчастьем и, наконец, старость и уход из жизни).

Литературным источником стихотворения, возможно, послужила глава «Колокола» в известной работе Франсуа Рене де Шатобриана «Гений христианства» (часть IV, книга I, глава I).

Первым русским переводом этого стихотворения По был перевод К. Бальмонта, который в сокращенном виде появился еще в 1895 г. в кн.: Э. По. Баллады и фантазии. М., изд. книжного магазина Ф. Богданова. Полностью перевод К. Бальмонта под названием «Колокольчики и колокола» появился в

журнале «Ежемесячные сочинения», 1900, № 10. Перевод В. Брюсова под названием «Звон» опубликован в журнале «Русская мысль», 1914, № 7.

Всего существует шесть переводов этого стихотворения на русский язык, среди них перевод А. Оленича-Гнененко («Дон», 1946, № 2, также в кн.: Э. По. Избранное. М., 1958) и перевод М. Донского (в кн.: Э. По. Лирика. Л., 1976).

В 1913 г. известный русский композитор С. В. Рахманинов положил перевод К. Бальмонта на музыку. Так появились «Колокола» — поэма для оркестра, хора и солистов.

ELDORADO. ЭЛЬДОРАДО

Стихотворение было опубликовано впервые в журнале *Flag of Our Union* в апреле 1849 г.

Испанское слово “El Dorado” значит «позолоченный», «покрытый золотом». Происхождение этого слова таково. У одного из индейских племен Колумбии был обычай во время процессии посвящения в вожди осыпать умашенное тело будущего вождя золотым песком. Так родилась легенда о позолоченном человеке — “El dorado”, с которой столкнулись испанцы, высадившиеся в Южной Америке. Эта легенда потом дала повод слухам о целой стране, где золота так много, что жители покрывают им свое тело. Многие экспедиции (не только испанские, но и английские) отправлялись на поиски этой страны. Когда в январе 1848 г. в Калифорнии было найдено золото, то этот штат стали называть Эльдorado. Стихотворение Э. По написано в самый разгар калифорнийской «золотой лихорадки», но тему Эльдorado поэт повернул совершенно по-своему.

Рыцарь, который посвятил жизнь поискам недоступной, а может быть и не существующей страны, менее всего похож на стремящихся разбогатеть дельцов. Получилось стихотворение о человеке, пребывающем в поисках абсолюта. Смысл заключительных слов странника состоит в том, что подлинное Эльдorado в земной жизни недостижимо, лежит за пределами этого мира.

На русский язык стихотворение переводили Н. Бахтин (за подписью Н. Нович в сб.: «Русские символисты», вып. 3, М.,

1895); К. Бальмонт («Вестник иностранной литературы», М., 1898, № 1); В. Федоров (Э. По. Поэмы и стихотворения. М., 1923); В. Брюсов (Э. По. Полное собрание поэм и стихотворений. М.—Л., 1924); А. Оленич-Гнененко («Дон», 1946, № 2); Э. Гольдернесс (Э. По. Избранное. М., 1958); Н. Вольпин (Э. По. Избранные произведения в 2-х томах, М., 1972, т. 1); В. Васильев (Э. По. Лирика. Л., 1976); В. Топоров (Э. По. Стихотворения. Проза. М., 1976, «БВЛ») и др. Перевод В. Рогова печатается впервые.

ANNABEL LEE. АННАБЕЛЬ-ЛИ

Опубликовано впервые в газете *New York Tribune* 9 октября 1849 г., через два дня после смерти поэта.

Некоторые биографы считают, что стихотворение посвящено памяти жены поэта Вирджинии, умершей совсем юной в 1847 г., но биографический подход здесь вряд ли поможет, так как еще в «Философии творчества», опубликованной в апреле 1846 г., Э. По писал: «...Смерть прекрасной женщины, вне всякого сомнения, является наиболее поэтическим предметом на свете; в равной мере не подлежит сомнению, что лучше всего для этого предмета подходят уста её убитого горем возлюбленного» (см. сб.: Эстетика американского романтизма. М., «Искусство», 1977, с. 116, пер. В. Рогова).

Та же тема утраты возлюбленной лежит в основе «Ворона» и «Уяляюм».

На русский язык стихотворение переводилось девять раз. Назовем все эти переводы в порядке их публикации: пер. С. Андреевского («Вестник Европы», 1873, № 5); пер. Д. Садовникова («Огонек», 1879, № 51, перепечатан в сб.: Поэты-демократы 1870—1880 гг., Л., 1968); пер. К. Бальмонта (в кн.: Э. По. Баллады и фантазии. М., 1895); пер. Л. Уманец (в кн.: Э. По. Необыкновенные рассказы. М., 1908, кн. 8); пер. В. Федорова (в кн.: Э. По. Поэмы и стихотворения. М., 1923); пер. В. Брюсова (в кн.: Э. По. Полное собрание поэм и стихотворений. М.—Л., 1924); пер. А. Оленич-Гнененко («Дон», 1946, № 2); пер. В. Рогова (в кн.: Э. По. Полное собрание рассказов. М., 1970, а также в кн.: Э. По. Избранные произведения в 2-х томах. М., 1972, т. 1); пер. Э. Гольдернесса (в кн.: Э. Гольдернесс. Искры. Тб., 1971).

William Cullen Bryant. Уильям Каллен Брайант

THANATOPSIS. ТАНАТОПСИС

Знаменитое стихотворение Брайанта написано в 1811 г., опубликовано без его ведома в журнале *North American Review* в сентябре 1817 г. (см. также предисловие, с. 24). Для издания в сборнике своих стихов в 1821 г. Брайант дописал начало и конец: первые шестнадцать с половиной строк и последние девять строк. Благодаря этой переделке стихотворение оказалось как бы вложенным в уста самой природы.

Греческое слово «Танатопсис» означает «видение смерти» или «картина смерти» («танатос» — смерть, «опсис» — видение). По существу это не столько картина смерти, сколько размышление о ней. Источником вдохновения для Брайанта послужили стихи английских поэтов так называемой «кладбищенской школы» (первая половина XVIII в.): Роберта Блэра (Robert Blair), Томаса Грея (Thomas Gray) — его «Элегия, написанная на сельском кладбище» хорошо известна русским читателям в переводе В. А. Жуковского — и других.

Перевод А. Плещеева опубликован в антологии Н. В. Гербея «Английские поэты в биографиях и образцах». СПб, 1875.

The Barcan wilderness — Барка, древнее название восточной части Ливии. Во времена Брайанта полагали, что к западу от Миссисипи лежит обширная пустыня, сравнимая с песками Сахары в Ливии.

The Oregon — индейское название реки, которая сейчас называется р. Колумбус (the Columbus)

TO A WATERFOWL. К ПЕРЕЛЕТНОЙ ПТИЦЕ

Стихотворение написано в декабре 1815 г. и опубликовано в марте 1818 г. в журнале *North American Review*.

Биограф Брайанта П. Годвин рассказывает, как зимой 1815 г. двадцатилетний поэт отправился пешком из родного Каммингтона (штат Массачусетс) в соседний Плейнфилд, где он надеялся получить место адвоката и начать новую жизнь.

Солнце уже почти зашло, душа была полна тяжелых предчувствий. И в этот момент он увидел на горизонте пролетающую птицу. Куда она летела и что ею руководило? Мысль о том, что одно и то же провидение направляет и полет птицы, и стопы странника, составила основу стихотворения.

«К перелетной птице», как и «Танатопсис», — одно из самых хрестоматийных стихотворений американской поэзии XIX в. Известный английский критик и поэт Мэтью Арнольд назвал его даже «самым совершенным коротким стихотворением из всех, написанных на английском языке».

Перевод М. Зенкевича опубликован в 1946 г. в сб.: М. Зенкевич. Из американских поэтов. М., 1946, под названием «К водяной птице». Во втором издании своей книги переводов («Американские поэты», М., 1969) М. Зенкевич заменил буквальный перевод названия стихотворения на более свободный — «К перелетной птице».

Henry Wadsworth Longfellow Генри Уодсворт Лонгфелло

THE SONG OF NIAWATNA. ПЕСНЬ О ГАЙАВАТЕ

Поэма была написана менее, чем за год: начата в июне 1854 г. и закончена 21 марта 1855 г. В том же 1855 г. вышла отдельной книгой и имела большой успех. Не только стихотворный размер (четырёхстопный хорей), но и некоторые эпизоды заимствованы Лонгфелло из карело-финского эпоса «Калевала», который он знал в немецком и шведском переводах. Главным источником материала о жизни и верованиях индейцев, по признанию самого поэта, послужили ему труды американского фольклориста Генри Скулкрафта (Henry Schoolcraft).

Действие поэмы происходит на южном берегу озера Верхнее. Сам Гайавата — лицо историческое, такое имя носил один из вождей племени ирокезов, живший в XVI в. Однако бесполезно было бы искать в сказочном герое Лонгфелло черты сходства с историческим Гайаватой.

Первый русский перевод из «Песни о Гайавате» появился в журнале «Современник» (1866, № 4). Это была только 1-ая

песнь поэмы в переводе Д. Михаловского. В 1868 и 1869 гг. перевод Михаловского печатался в ряде номеров журнала «Отечественные записки» (1868, №№ 5, 6, 10, 11; 1869, № 6). Этот же перевод в исправленном и дополненном виде вошел в известную антологию Н. Гербеля «Английские поэты в биографиях и образцах», СПб., 1875. В 1878 г. он был издан отдельной книгой в Москве, а в 1890 г.—в Петербурге. Однако перевод Д. Михаловского был не полным: из 22 песен он перевел лишь 12. Первый полный перевод «Песни о Гайавате» был выполнен И. А. Буниным. Сначала он печатался в газете «Орловский вестник» (со 2 мая по 24 сентября 1896 г.), а затем вышел отдельным изданием в конце того же года в виде приложения к газете «Орловский вестник». Бунин продолжал работу над переводом, и последующие издания (М., изд. «Книжное дело», 1899; СПб., изд. «Знание», 1903) отличаются от первого. С тех пор этот перевод выдержал бесчисленное количество переизданий (подробнее о переводе Бунина см. в предисловии к нашей антологии).

Индийские имена собственные объясняются большей частью в самом тексте поэмы (так, «Шух-шух-га» означает цаплю, «Вава» — дикого гуся и т. д.).

A PSALM OF LIFE. ПСАЛОМ ЖИЗНИ

По свидетельству самого поэта, стихотворение было написано в один присест утром 26 июля 1838 г. Впервые опубликовано в сентябрьском номере журнала *Knickerbocker Magazine* за тот же год, а в 1839 г. вошло в первый сборник стихов Лонгфелло *Voices of the Night*.

Современному читателю, наверное, трудно понять, почему это стихотворение имело такой необыкновенный успех не только в Америке, но и в России. Ни одно произведение американской поэзии не переводилось на русский язык в конце XIX—начале XX в. так часто, как «Псалом жизни»: 17 переводов за период с 1860 по 1946 г.! Читатели нескольких поколений находили в нем ответ на самые насущные вопросы: как жить? что делать? почему не следует падать духом даже в самые тяжелые минуты жизни?

Кстати, первый русский перевод этого стихотворения, появившийся в 1860 г. (журнал «Наше время» от 17 января

1860 г., пер. Д. Ознобишина под названием «Гимн жизни»), следует считать не только первым русским переводом из Лонгфелло, но едва ли не первым русским переводом из американской поэзии вообще (стихи Э. По стали переводиться только с 1878 г.). Любопытно, что первое переведенное на русский язык американское стихотворение до недавних пор удерживало абсолютный рекорд по количеству переводов в нашей стране.

Стихотворение, которое поднимало настроение многих тысяч читателей, было написано Лонгфелло в период затянувшейся душевной депрессии: в 1835 г. умерла Мери Поттер — первая жена поэта. В 1837 г. Лонгфелло сделал предложение Френсис Эпплтон, но был отвергнут. Он тяжело переживал этот отказ. Тогда и был написан «Псалом жизни». Лишь спустя шесть лет, в 1843 г., Френсис Эпплтон согласилась стать его женой.

Перевод И. Бунина опубликован впервые в журнале «Детское чтение» (1900, № 10). Перевод М. Зенкевича появился впервые в книге его переводов «Из американских поэтов», М., 1946.

Некоторые другие переводы: пер. Д. Михаловского («Пчела», 1875, № 8); пер. Н. Холодковского («Мир божий», 1892, № 7); пер. А. Федорова («Вестник Европы», 1897, № 5); пер. Е. Мечниковой («Педагогический листок», 1907, № 4).

The psalmist — под псалмопевцем имеется в виду царь Давид, которому по традиции приписывалось авторство «Книги псалмов» (Псалтыря)

Dust thou art, to dust returnest — видоизмененная цитата из Екклесиаста (3:20): «Все произошло из праха, и все возвратится в прах»

Art is long, and Time is fleeting — слова греческого врача Гиппократ (ок. 460 — ок. 370 гг. до н. э.). Обычно эти слова цитируются в латинском переводе: “*Ars longa, vita brevis est.*”, то есть «Жизнь коротка, искусство долговечно».

EXCELSIOR!

Опубликовано впервые в 1842 г. в сборнике Лонгфелло *Ballads and Other Poems* и приобрело огромную популярность

как своего рода программа служения высоким идеалам. Потом, как это часто бывает с очень популярными произведениями, стало предметом многочисленных пародий. Интересно, что в нашей стране это стихотворение воспринималось как революционное и даже было включено (в переводе И. Ионова) в сборник «Чтец-декламатор: Революционная поэзия» (Харьков, 1923, т. 1). Всего опубликовано 13 русских переводов этого стихотворения. Назовем некоторые из них: Д. Михаловского («Век», 1861, № 7); М. Михайлова (перевод сделан еще в 60-е годы, но был опубликован лишь в 1914 г. в кн.: М. Михайлов. Полное собрание сочинений. СПб., 1914, т. 1. Михайлов перевел только первые три строфы); А. Майкова («Огонек», 1881, № 16); О. Чюминой («Северный вестник», 1888, № 3); Б. Томашевского (в кн.: Г. Лонгфелло. Избранное, М., 1958); В. Левики (в кн.: Поэзия США. М., 1982).

Excelsior! (*лат.*)— Еще выше! (Все выше!). Сравнительная степень от латинского *excelsus* — «высокий». Девиз “Excelsior!” поэт мог увидеть в гербе штата Нью-Йорк.

THE SLAVE'S DREAM. СОН НЕВОЛЬНИКА

Стихотворение входит в цикл из семи произведений с прологом, опубликованный в 1842 г. под названием «Стихи о рабстве» (*Poems on Slavery*). Этот цикл был создан Лонгфелло в октябре-ноябре 1842 г. на пароходе, на обратном пути из Европы, где он пробыл с апреля по октябрь 1842 г., встречаясь с немецким поэтом Ф. Фрейлигратом и английским романистом Ч. Диккенсом. Они убеждали Лонгфелло откликнуться на позорившее его родину рабство негров. Еще раньше убеждал его написать стихи на эту тему американский адвокат и политик Чарлз Самнер (Charles Sumner), один из близких друзей Лонгфелло. Этого известного в свое время деятеля аболиционистского движения, наверное, и следует считать инициатором работы Лонгфелло над циклом «Стихи о рабстве».

Об истории русских переводов этого стихотворения см. Предисловие, с. 37.

Другие русские переводы стихотворения: пер. А. Майкова («Русский вестник», 1864, № 1. Приложение, под названием

«Сон негра»); пер. Д. Садовникова («Грамотей», 1872, № 6); пер. А. Милорадович (в кн.: А. Милорадович. Сказки, переводы и стихотворения. М., 1904); пер. А. Шмульян («Костер», 1939, № 5, под названием «Сновидение раба»); пер. М. Касаткина (в кн.: Г. Лонгфелло. Избранное. М., 1958).

“THE DAY IS DONE...”. «ДНЯ НЕТ УЖ...»

Опубликовано впервые в 1844 г. в качестве пролога к составленному Лонгфелло сборнику стихов малоизвестных поэтов под названием *The Waif* (т. е. «беспризорник», «сирота»). В седьмой строфе содержится прямая ссылка на стихи сборника (“Read from some humbler poet”).

Перевод И. Анненского опубликован в сборнике его стихов «Тихие песни» (СПб., 1904, под названием «Дня нет уж»). Перевод М. Зенкевича опубликован в книге его переводов «Из американских поэтов». М., 1946. Другие переводы: пер. В. Костомарова («Библиотека для чтения», 1864, № 7, за подписью: А. Н-ский. Стихотворение названо “Nostigno”); пер. Д. Михаловского («Отечественные записки», 1874, № 1); пер. В. Сементковской («Изящная литература», 1883, № 12); пер. Н. Холодковского («Мир божий», 1892, № 3, под названием «День прошел»); пер. К. Бальмонта («Жизнь», 1901, т. 3, под названием «Затерянный»).

THE ARROW AND THE SONG. СТРЕЛА И ПЕСНЯ

Опубликовано впервые в 1845 г. в сборнике стихов Лонгфелло *The Belfry of Brugges and Other Poems*.

Стихотворение полюбилось русским переводчикам. Всего опубликовано 18 русских переводов. Назовем некоторые из них: Д. Садовникова («Иллюстрированная газета», 1868, № 47); Д. Михаловского («Слово», 1879, № 9), О. Чюминой («Вестник Европы», 1889, № 1. Подписано: О. М-ва); Н. Разговорова («Литературная газета» от 28 февраля 1957 г.); Б. Томашевского (в кн.: Г. Лонгфелло. Избранное. М., 1958); В. Витальева («Литературная газета» от 24 февраля 1982 г.); Г. Кружкова (Поэзия США. М., 1982).

PAUL REVERE'S RIDE. СКАЧКА ПОЛЯ РЕВИРА

Стихотворение написано в 1860 г. и вошло в сборник стихов Лонгфелло *The Tales of a Wayside Inn*, вышедший в 1863 г.

Стихотворение основано на историческом факте, пусть несколько вольно трактованном Лонгфелло. Поль Ревир (1735—1818), бостонский серебряных дел мастер и гравер, в ночь с 18 на 19 апреля 1775 г. проскакал на коне из Чарлстона в Лексингтон, чтобы предупредить колонистов о готовящемся выступлении английских войск и призвать к оружию всю округу. Сражение при Лексингтоне стало началом Войны за независимость, длившейся восемь лет (1775—1783).

Отступление Лонгфелло от исторической истины заключается в том, что не один Поль Ревир, а три человека были курьерами в эту ночь, причем Ревир скакал только в Лексингтон, жителей Конкорда известил об опасности молодой доктор С. Прескотт (третьего гонца звали Уильям Доуз).

Стихотворение вошло в золотой фонд американской героико-патриотической поэзии, его знал наизусть каждый американский школьник. Тем не менее в дореволюционной России, где некоторые стихи Лонгфелло переводились по десять раз, «Скачка Поля Ревира» не переводилась ни разу! Первый (и единственный) перевод стихотворения, выполненный М. Зенкевичем, появился только в 1957 г. («Иностранная литература», № 2).

MEZZO CAMMIN

Этот автобиографический сонет Лонгфелло написал в 1842 г., когда ему исполнилось 35 лет—середина жизни, по Данте,—но опубликован он был только посмертно, в 1886 г. Название сонета восходит к первой строке «Божественной комедии» Данте: “Nel mezzo del cammin di nostra vita...” «В середине пути нашей жизни...» Mezzo cammin—«середина пути», в данном случае—«середина жизненного пути».

Перевод В. Левика опубликован в кн.: Поэзия США. М., 1982.

Ralph Waldo Emerson. Ральф Уолдо Эмерсон

THE SNOWSTORM. СНЕЖНАЯ БУРЯ

Впервые опубликовано в январском номере журнала *The Dial* за 1841 г.

Перевод М. Зенкевича впервые опубликован в книге его переводов «Из американских поэтов», М., 1946.

Parian — паросский; имеется в виду мрамор, который добывался в древней Греции на острове Парос

БРАХМА. БРАМА

Впервые опубликовано в ноябрьском номере журнала *The Atlantic Monthly* за 1857 г. Стихотворение отражает интерес Эмерсона к индийской философии, в частности, к «Бхагавадгите». Стихотворение озадачило многих читателей, и, обсуждая его с дочерью, Эмерсон дал такой совет: «Пусть вместо Браммы они поставят Иегову». Вряд ли, однако, такая подстановка возможна, так как различия между иудаизмом и индуизмом весьма значительны. Так, строку “and one to me are shame and fame” можно понять как безразличие всевышнего к добру и злу, что вряд ли возможно связать с Иеговой.

Перевод М. Зенкевича опубликован в книге его переводов «Американские поэты», М., 1969. Стихотворение перевел и молодой К. Чуковский («Нива», Ежемесячные литературные приложения, 1906, № 9).

Brahma — Брама (Брахма), в индуизме один из трех высших богов наряду с Вишну и Шивой, праотец и творец мира

Sacred Seven — семь высших святых в индуистской религии

John Greenleaf Whittier
Джон Гринлиф Уиттьер

BARBARA FRIETCHIE. БАРБАРА ФРИТЧИ

Опубликовано в 1863 г. в сборнике стихов поэта *In War Time and Other Poems*. Описанные в нем события относятся к Гражданской войне 1861—1865 гг. После того, как А. Лин-

колья был избран президентом, семь южных рабовладельческих штатов вышли из Союза и образовали так называемую Конфедерацию со своим президентом и флагом. Позже к ним присоединились еще четыре штата. Главнокомандующим армией Конфедерации был назначен генерал Роберт Ли (1807—1870); из других военачальников особенно прославился генерал Томас Джексон (1824—1863), прозванный за свою храбрость и победы Каменной Стеной (Stonewall Jackson). Оба они упомянуты в стихотворении Уиттьера, где изображен момент вступления армии южан в сентябре 1862 г. в небольшой городок Фредерик (штат Мэриленд). Факт, описанный в стихотворении, действительно имел место, правда, флаг Союза, столь ненавистный для Конфедерации, вывесила не воспетая Уиттьером 96-летняя Барбара Фритчи (кстати, историческое лицо), а сравнительно молодая Мери Куонтрелл. Зато когда шесть дней спустя в город вошли войска Союза, флаг вывесила и Барбара Фритчи.

Стихотворение приобрело огромную популярность и, наряду со «Скачкой Поля Ревира» Г. Лонгфелло, относится к числу самых известных образцов героико-патриотической темы в американской поэзии. В городе Фредерик туристам до сих пор показывают дом Барбары Фритчи.

В дореволюционной России «Барбара Фритчи», как и «Скачка Поля Ревира», не вызвала интереса переводчиков. Единственный перевод стихотворения, выполненный М. Зенкевичем, появился уже в наши дни, в книге его переводов «Американские поэты», М., 1969.

Walt Whitman. Уолт Уитмен

SONG OF MYSELF. ПЕСНЯ О СЕБЕ

Это произведение появилось в 1855 г. уже в первом издании «Листьев травы», где оно заняло почти половину тоненькой книжки в 95 страниц. Поэма не имела названия и не была разбита на главы. Но уже во втором издании (1856) она была названа «Поэма Уолта Уитмена, американца». В третьем издании (1860) она уже называлась просто «Уолт Уитмен» и лишь в седьмом издании «Листьев травы» (1881) получила то название, под которым известна теперь — «Песня

о себе». Меньше всего эта поэма похожа на автобиографию, поскольку «я» Уитмена расширяется до масштабов всего человечества и всей вселенной. Недаром «Песню о себе» иногда называют самой демократической поэмой в мировой литературе. Из 52 глав поэмы в настоящую антологию включено только 11, но и они дают достаточно полное представление о богатстве «Песни о себе» — этого микрокосмоса уитменовской поэзии. Для издания 1881 г. поэт значительно переделал текст поэмы по сравнению с первым изданием. Мы печатаем редакцию 1881 г., поскольку она выражает последнюю волю автора.

Первые отрывки из «Песни о себе» появились на русском языке в брошюре К. Чуковского «Поэт-анархист Уот Уитман», СПб, 1907. Последующие издания этой работы К. Чуковского выходили в Москве в 1914 и Петрограде в 1918 и 1919 гг. под названием «Поэзия грядущей демократии»; большинство переводов в этих изданиях было сделано заново и сама статья была значительно переработана. Полностью «Песня о себе» в переводе К. Чуковского появилась в кн.: У. Уитмен. Листья травы. Л., 1936. Этот перевод неоднократно переиздавался.

“ON THE BEACH AT NIGHT ALONE...”
«НОЧЬЮ У МОРЯ ОДИН...»

Одно из ранних стихотворений Уитмена, опубликованное в 1856 г. Перевод А. Сергеева печатается по изданию: У. Уитмен. Избранные произведения. М., 1970. Стихотворение переводил также К. Бальмонт (У. Уитмен. Побег травы. М., «Скорпион», 1911, под названием «Ночью один на прибрежье»).

“I DREAM'D IN A DREAM...”
«ПРИСНИЛСЯ МНЕ ГОРОД...»

Опубликовано в 1860 г. Первый вариант перевода К. Чуковского появился в журнале «Интернациональная литература», 1941, № 2, под названием «Во сне мне приснился город...». Мы печатаем окончательный вариант перевода по изданию: У. Уитмен. Избранные произведения. М., 1970. Стихотворение также переводил К. Бальмонт (У. Уитмен. Побег травы. М., 1911) под названием «Мне снилось во сне...»

“I HEAR AMERICA SINGING...”
«СЛЫШУ, ПОЕТ АМЕРИКА...»

Опубликовано в 1860 г. Перевод И. Кашкина впервые напечатан в кн.: У. Уитмен. Листья травы. М., 1955, и вошел в книгу переводов И. Кашкина, названную по этому стихотворению: «Слышу, поет Америка. Поэты США.», М., 1960. Существуют еще два перевода этого стихотворения: пер. К. Бальмонта в кн.: У. Уитмен. Побег травы. М., 1911, под названием «Я слышу Америку поющую» и пер. Д. Майзельса под названием «Я слышу—Америка поет» («Резец», 1934, № 14).

“BEAT! BEAT! DRUMS!...”
«БЕЙ! БЕЙ! БАРАБАН!...»

Написано в 1861 г., сразу после начала Гражданской войны. Вошло в сборник Уитмена *Drum-Taps* (1865).

Первый перевод этого стихотворения на русский язык был сделан еще при жизни Уитмена в 1872 г. И. С. Тургеневым. Однако перевод затерялся и не был опубликован. Лишь почти столетие спустя в 1966 г. журнал «Русская литература», № 12, опубликовал этот перевод, найденный среди бумаг Тургенева в парижской национальной библиотеке, публикация И. Чистовой. Стихотворение также переводили К. Бальмонт под названием «Громче ударь, барабан» в кн.: У. Уитмен. Побег травы. М., 1911, и К. Чуковский. Первый вариант перевода Чуковского появился в 1918 г. в изданной им в Петрограде книге «Поэзия грядущей демократии. Уот Уитмэн». Впоследствии Чуковский переработал этот вариант. Мы печатаем окончательный вариант перевода по изданию: У. Уитмен. Избранные произведения. М., 1970.

“O CAPTAIN! MY CAPTAIN!...”
«О КАПИТАН! МОЙ КАПИТАН!...»

Написано в 1865 г. и опубликовано в сборнике Уитмена *Sequel to Drum-Taps* (1866). Посвящено памяти президента А. Линкольна, павшего от руки фанатика-южанина Д. Бута 14 апреля 1865 г.

Перевод М. Зенкевича опубликован впервые в кн.: М. Зенкевич. Из американских поэтов. М., 1946. Стихотво-

рение также переводил К. Чуковский: ранний вариант его перевода опубликован в кн.: К. Чуковский. Поэт-анархист Уот Уитман. СПб. Окончательный вариант в кн.: У. Уитмен. Избранные произведения. М., 1970.

“WHEN I HEARD THE LEARN'D ASTRONOMER...”
«КОГДА Я СЛУШАЛ УЧЕНОГО АСТРОНОМА...»

Опубликовано в 1865 г. Перевод К. Чуковского появился впервые в кн.: У. Уитмен. Листья травы. Ранее стихотворение переводил К. Бальмонт: У. Уитмен. Побег травы. М., 1911, под названием «Когда услышал я астронома ученого...».

“WHEN I READ THE BOOK...” «ЧИТАЯ КНИГУ...»

Опубликовано в 1867 г. Первый вариант перевода К. Чуковского появился в кн.: К. Чуковский. Поэт-анархист Уот Уитман. СПб., 1907, другой вариант напечатан в 1918 г. (К. Чуковский. Поэзия грядущей демократии. Уот Уитмен. Пг., «Парус», под названием «Когда я читаю книгу»). Мы печатаем окончательный вариант перевода по изданию: У. Уитмен. Избранные произведения. М., 1970.

Emily Dickinson. Эмили Дикинсон

Все стихотворения Э. Дикинсон печатаются с соблюдением авторской орфографии и пунктуации по авторитетному изданию: *The Poems of Emily Dickinson*. 3 Vol., Ed. by Thomas H. Johnson. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1955.

Так как практически все стихи Э. Дикинсон не датированы, редактору этого издания Томасу Джонсону пришлось проделать огромную работу по датировке более чем полутора тысяч стихотворений. На основании датированных писем и других косвенных источников (в частности, водяных знаков на бумаге) он изучил эволюцию почерка поэтессы по годам, и затем уже, по почерку и характеру бумаги, на которой написано стихотворение, датировал каждое произведение с точностью до года. Лишь стихи, переписанные чужой рукой (автограф которых утерян), остались без датировки. На с. L—

LIX первого тома издания Джонсона дана единственная в своем роде таблица малейших изменений в характере почерка Дикинсон за тридцать семь лет ее поэтической деятельности — с 1850 г. по 1886 г. Все датировки даются нами по изданию Т. Джонсона.

Русские переводы печатаются по изданию: Г. Лонгфелло. Песнь о Гайавате.—У. Уитмен. Стихотворения и поэмы.—Э. Дикинсон. Стихотворения. М., 1976, серия «Библиотека всемирной литературы» («БВЛ»).

“TO VENERATE THE SIMPLE DAYS...”
«ЧТОБ СВЯТО ЧТИТЬ ОБЫЧНЫЕ ДНИ...»

Написано около 1858 г. Впервые напечатано в сборнике Э. Дикинсон *Poems* (1890). Перевод В. Марковой этого и последующих стихотворений опубликован в 1976 г.

“IF I SHOULDN'T BE ALIVE...”
«ЕСЛИ МЕНЯ НЕ ЗАСТАНЕТ...»

Написано около 1860 г., опубликовано в сборнике *Poems* (1890).

Стихотворение также переводил И. Кашкин: перевод опубликован в кн.: И. Кашкин. Слышу, поэт Америка. Поэты США. М., 1960.

“I'M NOBODY! WHO ARE YOU?...”
«Я—НИКТО. А ТЫ—ТЫ КТО?...»

Написано около 1861 г. Впервые опубликовано в журнале *Life* от 5 марта 1891 г.

Одно из программных стихотворений Э. Дикинсон, объясняющее, почему она не печатала своих стихов и осталась совершенно не известной современникам как поэт.

“THE SOUL SELECTS HER OWN SOCIETY...”
«ДУША ИЗБЕРЕТ САМА СВОЕ ОБЩЕСТВО...»

Написано около 1862 г., опубликовано в 1890 г. (*Poems*). Стихотворение также переводил И. Лихачев («Простор», 1971, № 7).

“THIS IS MY LETTER TO THE WORLD...”

«ЭТО — ПИСЬМО МОЕ МИРУ...»

Написано в начале 1862 г., опубликовано в журнале *Christian Union* от 25 сентября 1890 г. Стихотворение также переведил Э. Гольдернесс (Э. Гольдернесс. Искры. Тб., 1971).

“THIS WAS A POET...”

«ОН БЫЛ ПОЭТ...»

Написано около 1862 г., опубликовано впервые в сборнике *Further Poems of Emily Dickinson* (1929).

“I DIED FOR BEAUTY—BUT WAS SCARCE...”

«Я ПРИНЯЛ СМЕРТЬ — ЧТОБ ЖИЛА КРАСОТА...»

Написано около 1862 г., опубликовано в журнале *Christian Union* от 25 сентября 1890 г.

Стихотворение также переведил и М. Зенкевич — впервые напечатан перевод в его книге «Американские поэты», М., 1969.

В стихотворении чувствуются отголоски «Оды к греческой вазе» Дж. Китса (ср. строку Китса “Beauty is truth, truth beauty...”).

“I ENVY SEAS, WHEREON HE RIDES...”

«ЗАВИДУЮ ВОЛНАМ — НЕСУЩИМ ТЕБЯ...»

Написано около 1862 г., опубликовано в сборнике Э. Дикинсон *Poems. Third Series* (1896).

Pizarro — Франсиско Писарро (1470/1475—1541) — испанский конкистадор, разграбивший богатейшее государство инков в Южной Америке

Gabriel — архангел Гавриил в христианской традиции связывается не только с благовещением, но и с концом мира: звук его трубы должен возвестить конец времен и начало Страшного суда

“I WOULD NOT PAINT—A PICTURE...”

«МНЕ — НАПИСАТЬ КАРТИНУ?...»

Написано в начале 1862 г., опубликовано впервые в сборнике не издававшихся ранее стихотворений Э. Дикинсон,

названном по последней строке этого стихотворения — *Bolts of Melody* (1945).

“LIFE, AND DEATH, AND GIANTS...”
«ЖИЗНЬ—И СМЕРТЬ—ГИГАНТЫ...»

Написано около 1863 г., опубликовано впервые в 1896 г. в сборнике Э. Дикинсон *Poems. Third Series* (1896).

“PUBLICATION—IS THE AUCTION...”
«ПУБЛИКАЦИЯ ПОСТЫДНА...»

Написано около 1863 г., впервые опубликовано в 1929 г. в сборнике *Further Poems of Emily Dickinson*.

В этом стихотворении, как и в более раннем *I'm Nobody! Who are you?* (см. коммент. выше), поэтесса обосновывает свое нежелание вступить на путь профессионала-литератора.

“BECAUSE I COULD NOT STOP FOR DEATH...”
«РАЗ К СМЕРТИ Я НЕ ШЛА—ОНА...»

Написано около 1863 г., опубликовано впервые в сборнике Э. Дикинсон *Poems* (1890).

Перевод И. Лихачева опубликован в 1976 г. («БВЛ»).

Одно из наиболее известных стихотворений поэтессы. Смерть не страшна, ибо этот учтивый возница, думая, что везет нас к могиле (“a Swelling of the Ground”), на самом деле везет нас в вечность, так как рядом с ним в экипаже сидит Бессмертие:

“ALTER! WHEN THE HILLS DO—”
«ИЗМЕНИТЬСЯ! СНАЧАЛА—ХОЛМЫ...»

Написано около 1863 г., опубликовано впервые в сборнике Э. Дикинсон *Poems* (1929).

В последних двух строках подразумевается опущенный глагол “surfeit”.

“DRAMA'S VITALLEST EXPRESSION IS THE COMMON DAY...”
«ПРАВДИВЕЙШАЯ ИЗ ТРАГЕДИЙ...»

Написано около 1863 г., опубликовано впервые в сборнике *Further Poems of Emily Dickinson* (1929).

“THE ROBIN IS THE ONE...”

«МАЛИНОВКА МОЯ!..»

Написано около 1864 г., опубликовано впервые в журнале *The Atlantic Monthly* в октябре 1891 г.

Смысл последней строфы: после появления птенцов малиновка перестает петь, святость гнезда и семьи выше песен.

“IF I CAN STOP ONE HEART FROM BREAKING...”

«ЕСЛИ СЕРДЦУ — ХОТЬ ОДНОМУ...»

Написано около 1864 г., опубликовано впервые в сборнике Э. Дикинсон *Poems* (1890).

“I NEVER SAW A MOOR...”

«Я НЕ ВИДЕЛА ВЕРЕСКОВЫХ ПОЛЯН...»

Написано около 1865 г., опубликовано впервые в журнале *Christian Union* от 25 сентября 1890 г.

Стихотворение перевел также И. Кашкин (перевод напечатан в статье И. Кашкина «Эмили Дикинсон». См.: И. Кашкин. Для читателя-современника. Статьи и исследования. М., 1968).

“THE SKY IS LOW—THE CLOUDS ARE MEAN...”

«НЕБО НИЗМЕННО — ТУЧА ЖАДНА...»

Написано около 1866 г., опубликовано впервые в сборнике Э. Дикинсон *Poems* (1890).

Стихотворение переводил также И. Кашкин (см. сб.: Слышу, поэт Америка. Поэты США. М., 1960).

“TELL ALL THE TRUTH BUT TELL IT SLANT...”

«ВСЮ ПРАВДУ СКАЖИ — НО СКАЖИ ЕЕ ВКОСЬ...»

Написано около 1868 г., опубликовано впервые в сборнике Э. Дикинсон *Bolts of Melody* (1945).

“WE NEVER KNOW HOW HIGH WE ARE...”

«МЫ НЕ ЗНАЕМ — КАК ВЫСОКИ...»

Написано около 1870 г., опубликовано впервые в сборнике Э. Дикинсон *Poems. Third Series* (1896).

Стихотворение также переводил и М. Зенкевич (см. книгу его переводов «Американские поэты», М., 1969).

Cubit— локоть (мера длины, равная 45 см). Здесь— в значении «рост», «размер».

“THERE IS NO FRIGATE LIKE A BOOK...”
«НЕТ ЛУЧШЕ ФРЕГАТА— ЧЕМ КНИГА...»

Написано около 1873 г., опубликовано впервые в 1894 г. в томе писем поэтессы (E. Dickinson. *Letters*. Vol. 1, Ed. by M. L. Todd, Boston, 1894).

“MY LIFE CLOSED TWICE BEFORE ITS CLOSE...”
«ДВАЖДЫ ЖИЗНЬ МОЯ КОНЧИЛАСЬ— РАНЬШЕ КОНЦА...»

Т. Джонсон не смог датировать это стихотворение, поскольку его автограф не сохранился. Впервые опубликовано в сборнике Э. Дикинсон *Poems. Third Series* (1896).

О каких событиях идет речь в первой строфе, не установлено. «Пока не будет найден автограф, всякие предположения об автобиографической основе стихотворения остаются тщетными»,— пишет Т. Джонсон (*Poems of Emily Dickinson*. Ed. by T. Johnson, Cambridge, 1955, Vol. III, p. 1166). Что касается афористической концовки, то она может быть понята и несколько иначе, чем в переводе В. Марковой. Смысл этих двух строк можно передать так: «Разлука— вот все, что мы знаем о небе, и все, что нам нужно от ада». То есть опыт расставания с самым дорогим и любимым дает нам уже здесь, на земле, представление о рае (состояние до разлуки) и аде (после разлуки).

“TO MAKE A PRAIRIE IT TAKES A CLOVER...”
«ИЗ ЧЕГО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРЕРИЮ?...»

Т. Джонсон не смог датировать это стихотворение, поскольку утрачен его автограф. Впервые опубликовано в сборнике Э. Дикинсон *Poems. Third Series* (1896).

Edwin Arlington Robinson. Эдвин Арлингтон
Робинсон

CLIFF KLINGENHAGEN. КЛИФФ КЛИНГЕНХАГЕН

Опубликовано впервые в 1897 г. в сборнике стихов Робинсона *The Children of the Night*. Перевод А. Сергеева напечатан в 1971 г. (в кн.: Э. А. Робинсон. Тильбюри-таун. Стихотворения и поэмы. М., 1971).

Клифф Клингенхаген как бы открывает робинсоновскую галерею неудачников и чудаков: он приучил себя пить настойку из полыни (wormwood) и, может быть, даже получает удовольствие от ее убийственной горечи. Так философ-стоик приучает себя к несчастьям и потрясениям жизни,—и даже испытывает от них своеобразное удовлетворение.

LUKE HAVERGAL. ЛЮК ХЭВЕРГОЛ

Опубликовано впервые в сборнике стихов Робинсона *The Torrent and the Night Before* (1896).

Эта таинственная баллада может быть понята как монолог умершей возлюбленной героя, монолог, который он слышит в своей душе, как заклинание и повеление последовать за ней. Причем в первой строфе она говорит о себе в третьем лице ("she will call"), в третьей строфе — от первого лица ("I come to tell you...") и в последней, четвертой строфе снова от третьего лица ("she will call").

Смысл ее просьбы ("Go to the western gate, Luke Havergal") станет ясным, если мы сможем понять символику запада и востока в этом стихотворении. Ключ к такому пониманию дан во второй строфе: восток символизирует начало нового дня и рождение надежды на новую жизнь. Голос уверяет Люка Хэвергола:

No, there is not a dawn in eastern skies
To rift the fiery night that's in your eyes.

Тогда остается одно — пойти самому навстречу закату (западу):

But there, where western glooms are gathering
The dark will end the dark...

Таким образом, приглашение к западным воротам — это приглашение к смерти. Сам Робинсон назвал свою балладу “a piece of deliberate degeneration”. Президент США Теодор Рузвельт, покровительствовавший Робинсону, сказал об этом стихотворении так: “I am not sure that I understand ‘Luke Havergal’, but I am entirely sure that I like it.” («Не уверен, что понял «Люка Хэвергола», но уверен, что он мне понравился»).

Слова “hell is more than half of paradise”, очевидно, означают, что область страданий не равна области счастья (половина ада больше половины рая).

Перевод А. Сергеева опубликован в кн.: Э. А. Робинсон. Тильбюри-таун, М., 1971. Стихотворение переводил также М. Зенкевич (в кн.: М. Зенкевич и И. Кашкин. Поэты Америки. XX век. М., 1939, а также в сб.: Американские поэты. В пер. М. Зенкевича, М., 1969).

MINIVER CHEEVY. МИНИВЕР ЧИВИ

Опубликовано впервые в мартовском номере журнала *Scribner's Magazine* за 1907 г. Вошло в сборник стихов Робинсона *The Town Down the River*. (1910).

Самое удивительное в этом сатирическом портрете героя, презирающего свое время (“child of scorn”) и живущего в средних веках,—его автобиографическая подоснова и своего рода пророческий характер. Всю вторую половину своей жизни Робинсон перелагал в стихи обширные средневековые эпические циклы: «Мерлин» (1917), «Ланселот» (1920), «Тристан» (1927).

Стихотворение поражает своим упругим ритмом: каждая строфа начинается с имени героя, как бы подчеркивая его эгоцентризм, а заканчивается усеченной короткой строкой, снижающей пафос его мечтаний.

Перевод И. Кашкина опубликован впервые в «Литературной газете» от 15 июня 1935 г. и вошел затем в кн.: М. Зенкевич и И. Кашкин. Поэты Америки. XX век. М., 1939. Перевод А. Сергеева опубликован впервые в кн.: Э. А. Робинсон. Тильбюри-таун. Стихотворения и поэмы. М., 1971.

Camelot—место, где находился двор короля Артура. Наиболее полный свод кельтских сказаний о короле бриттов

Артуре и рыцарях «Круглого стола» дал Т. Мэлори (ок. 1415—1471) в своей эпопее «Смерть Артура» (*Morte d'Arthur*, опублик. в 1485 г.).

Thebes — Фивы, древнегреческий город к северо-западу от Афин, столица Беотии. Играет большую роль в греческой мифологии. Так называемый «фиванский цикл» включает, в частности, мифы об Эдипе и его дочери Антигоне, его сыновьях Этеокле и Полинике и походе «семерых против Фив».

RICHARD CORY. РИЧАРД КОРИ

Опубликовано впервые в 1897 г. в сборнике стихов Робинсона *The Children of the Night*.

Одно из хрестоматийных стихотворений о хрупкости материального успеха, ненадежности комфорта и благополучия. Ричард Кори героически скрывал от окружающих свои заботы и проблемы. Автор ничего не говорит о причинах его неожиданного для посторонних самоубийства, но сам выбор слов в описании героя проливает некоторый свет на корни трагедии. Бросается в глаза обилие англицизмов в стихотворении о жителе американской провинции: “from sole to crown” (американец бы сказал “from head to foot”), “pavement” (вместо американского “sidewalk”), “clean-favored” (вместо “shapely”) и т. д. В Ричарде Кори было что-то от старомодного английского аристократа. Он был не только “richer than a king” (опять скорее английское сравнение!), но и “was always human when he talked”. Таким людям не выдержать того нечеловеческого напряжения, которого требует борьба за место под солнцем в обществе «равных возможностей».

Есть у этого очень американского стихотворения и более широкий аспект: никто не достоин зависти, каждый человек достоин только жалости. Можно рассматривать это стихотворение и как иллюстрацию русской пословицы «чужая душа — потемки».

Перевод И. Кашкина опубликован впервые в кн.: М. Зенкевич и И. Кашкин. Поэты Америки. XX век, М., 1939. Перевод А. Сергеева опубликован в кн.: Э. А. Робинсон. Тильбюри-таун. Стихотворения и поэмы, М., 1971.

EROS TURANNOS

Опубликовано впервые в журнале *Poetry* (March 1914), затем вошло в сборник стихов Робинсона *The Man Against the Sky* (1916).

Образец подлинно сложного психологического стихотворения. В русской традиции женщина рассказывает о несчастном браке обычно по одной схеме: «богатый выбрал, да постылый». У американского поэта все наоборот. Богата она, а не он, она должна поступиться своей гордостью и снизойти до него, и она это делает, ослепленная страстью. Отрезвление приходит сразу после брака (четвертая строфа). Жители городка не могут понять ее затворничества и считают ее не совсем нормальной, дополняя домыслами скудные сведения об этой супружеской чете. Ей же, попавшей в ловушку могучего бога Эроса, остается только стоически покориться судьбе, похожей на участь ослепленных рабов (последняя строфа), которых гонят к обрыву, чтобы сбросить в море.

Стихотворение четко делится на две половины: первые три строфы, когда страсть и боязнь одинокой старости побеждают ее колебания и сомнения: “she secures him”, то есть выходит за него замуж. Последние три строфы описывают катастрофу брака. Образ воды проходит через все стихотворение (уже в первой строфе старость без него представляется ей, как запруда без пены — “foamless weirs”).

Перевод А. Сергеева опубликован в кн.: Поэзия США. М., 1982.

Eros Turannos — греческое название стихотворения восходит к названию знаменитой трагедии Софокла “Oidipus Turannos”, то есть «Эдип царь». Его можно перевести как «Владыка Эрос» или «Царь Эрос». Возможно, Робинсон учитывал и более позднее значение слова “turannos” — «тиран».

MR. FLOOD'S PARTY. ВЕЧЕРИНКА МИСТЕРА ФЛАДА

Опубликовано впервые в журнале *Nation* от 24 ноября 1920 г.

Вечеринка без гостей, где хозяин пьет и разговаривает сам с собой, устраивается Фладом уже не первый год. Старые друзья его умерли, а новое поколение Тильбюри-тауна не

хочет его знать. Мистер Флад по-старомодному остроумен и достаточно начитан: он цитирует Омара Хайяма в переводе Э. Фитцджеральда и сравнивает себя с героем «Песни о Роланде», трубившем в рог о помощи. Но Флад, конечно, знает, что помощь Роланду опоздала. Ему же и вовсе неоткуда и не от кого ждать помощи и утешения.

Стихотворение переводилось на русский язык трижды: пер. М. Зенкевича опубликован впервые в «Литературной газете» от 24 декабря 1944 г.; пер. И. Кашкина в кн.: Слышу, поэт Америка. Поэты США. М., 1960; пер. А. Сергеева опубликован в кн.: Э. А. Робинсон. Тильбюри-таун. Стихотворения и поэмы. М., 1971.

Tilbury Town—вымышленный город, в котором живут герои многих стихотворений Робинсона. Прототипом его считается городок Гардинер (штат Мэн), где поэт провел молодость.

The bird is on the wing—цитата из классического перевода «Рубайат» Омара Хайяма, выполненного английским поэтом Э. Фитцджеральдом (E. Fitzgerald, 1809-1883). Переводчик превратил рубаи Хайяма в связную поэму из 101 четверостишия. Цитируемое место находится в седьмом четверостишии: The Bird of Time has but a little way/To flutter—and the Bird is on the Wing. Перевод Фитцджеральда обычно включается в антологии английской поэзии.

Auld lang syne (*шотл.*)=old long since—старые времена, минувшие дни (название и часть припева шотландской народной песни). Слова восходят к Роберту Бернсу, но он сам признавался, что записал припев от одного старика.

Vachel Lindsay. Вэчел Линдсей

АБРАНАМ ЛИНКОЛН WALKS AT MIDNIGHT АВРААМ ЛИНКОЛЬН БРОДИТ В ПОЛНОЧЬ

Опубликовано впервые в сентябре 1914 г. в журнале *Independent*; через месяц после вторжения немецких войск в Бельгию. Вошло в сборник стихов В. Линдсея *The Congo and Other Poems*, вышедший в конце 1914 г.

А. Линкольн начинал свою политическую деятельность в родном городе Линдсея — Спрингфилде, здесь же он и похоронен. В стихотворении Линдсея тень Линкольна бродит по Спрингфилду с начала мировой войны в Европе. Как когда-то ему не давал покоя раздор между штатами страны, теперь ему не дает уснуть раздор среди народов Европы.

Перевод М. Зенкевича появился впервые в кн.: «Поэты XX века. Стихи зарубежных поэтов в переводе М. Зенкевича». М., 1965 (переиздан в сб.: Американские поэты. В переводах М. Зенкевича. М., 1969). Это стихотворение переводил также И. Кашкин (Слышу, поет Америка. Поэты США. Составил и перевел И. Кашкин. М., 1960).

White peace — мир, достигнутый без кровопролития

Edgar Lee Masters. Эдгар Ли Мастерс

Публикуемые стихотворения «Холм», «Люсинда Мэтлок», «Энн Ратледж», «Редактор Уэдон» входят в цикл «Антология Спун-Ривер» (*Spoon River Anthology*), который печатался в газете *Reedy's Mirror* с 25 мая 1914 г. по 15 января 1915 г. В 1915 г. цикл вышел отдельной книгой и произвел в литературной Америке сенсацию (подробнее см. Предисловие к наст. антологии, с. 31). Всего в книгу вошло 245 эпитафий и пролог «Холм». «Холм» и «Редактор Уэдон» публикуются в переводе И. Кашкина по кн.: М. Зенкевич и И. Кашкин. Поэты Америки. XX век. М., 1939. «Люсинда Мэтлок» и «Энн Ратледж» — в переводе Э. Ананиашвили по кн.: Поэзия США. М., 1982. Там же содержатся его переводы стихотворений «Холм» и «Редактор Уэдон». «Люсинду Мэтлок» также переводил и М. Зенкевич (см. антологию «Поэты Америки. XX век»).

ANNE RUTLEDGE. ЭНН РАТЛЕДЖ

Anne Rutledge — Энн Ратледж (1813? — 1835), одно из немногих исторических лиц в книге Мастерса. Эта девушка долго считалась первой возлюбленной и невестой Линкольна. Последующие разыскания выяснили, что Энн Ратледж была невестой друга Линкольна — Джона Макнамары.

“**With malice..., with charity...**” — подлинные слова Линкольна из речи при вступлении на второй срок президентства 4 марта 1865 г. (Second Inaugural Address)

Carl Sandburg. Карл Сэндберг

CHICAGO. ЧИКАГО

Написано в 1913 г., опубликовано в 1916 г. в первом сборнике стихов поэта *Chicago Poems*.

Первый русский перевод стихотворения принадлежит Г. Петникову («Красная газета», вечерний выпуск от 25 апреля 1927 г.). В том же году появился и перевод И. Кашкина (в кн.: Революционная поэзия современного Запада. М., 1927). Стихотворение переводил также М. Кудинов («Москва», 1959, № 12). Мы печатаем перевод И. Кашкина по изданию: К. Сэндберг. Стихи разных лет. М., 1959.

LIMITED. ЛЮКС

Опубликовано в 1916 г. в сборнике *Chicago Poems*.

Перевод И. Кашкина опубликован впервые в 1936 г. («Интернациональная литература», № 8). Печатается по изданию: К. Сэндберг. Стихи разных лет. М., 1959.

PRAYERS OF STEEL. МОЛИТВА СТАЛИ

Опубликовано в 1918 г. во втором сборнике стихов Сэндберга *Cornhuskers*. Перевод И. Кашкина опубликован в 1939 г. (М. Зенкевич и И. Кашкин. Поэты Америки. XX век. М., 1939).

GRASS. ТРАВА

Опубликовано в 1918 г. в сборнике стихов Сэндберга *Cornhuskers*. Перевод И. Кашкина опубликован впервые в 1927 г. в антологии «Революционная поэзия современного Запада». М., 1927. Мы печатаем его по изданию: К. Сэндберг. Стихи разных лет. М., 1959. Стихотворение переводили также Г. Петников («Красная газета», вечерний выпуск от 25 апреля 1927 г.), Д. Выгодский («Звезда», 1935,

№ 3) и И. Озерова (в кн.: К. Сэндберг. Избранное. М., 1981).

Gettysburg—город в штате Пенсильвания, близ которого в июле 1863 г. произошло крупное сражение во время Гражданской войны в США

Ypres—город в Бельгии, место ожесточенных сражений с применением ядовитых газов во время первой мировой войны (отсюда — название газа «иприт»)

THREES. ТРИ СЛОВА

Стихотворение печатается по кн.: *The Oxford Book of American Verse*. Ed. by F. Matthiesen (1950).

Перевод М. Зенкевича опубликован в кн.: Поэты XX века. Стихи зарубежных поэтов в пер. М. Зенкевича. М., 1965. Стихотворение также переводил И. Кашкин. Его перевод был опубликован еще в 1927 г. в антологии «Революционная поэзия современного Запада» и переиздан под названием «Троесловья» в кн.: К. Сэндберг. Стихи разных лет. М., 1959.

JAZZ FANTASIA. ДЖАЗ-ФАНТАЗИЯ

Вошло в сборник стихов К. Сэндберга *Smoke and Steel* (1920).

Перевод М. Зенкевича опубликован впервые в 1965 г. (Поэты XX века. Стихи зарубежных поэтов в переводе М. Зенкевича. М., 1965). Перепечатан в сб.: Американские поэты. В переводе М. Зенкевича. М., 1969.

ANECDOTE OF HEMLOCK FOR TWO ATHENIANS АНЕКДОТ О ЦИКУТЕ ДЛЯ ДВУХ АФИНЯН

Одно из поздних стихотворений Сэндберга, вошедшее в последнюю его книгу *Honey and Salt* (1963).

Перевод А. Сергеева опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

В стихотворении речь идет о Фокионе (402—318 гг. до н. э.), ученике Платона, афинском политике, известном своей неподкупной честностью.

Robert Frost. Роберт Фрост

THE PASTURE. ПАСТБИЩЕ

Опубликовано впервые во втором сборнике Фроста — *North of Boston* (1914). Поэт печатал его на первой странице собрания своих стихов в качестве некоего эпитафия и приглашения войти в его поэзию. Фрост нашел два емких образа для характеристики труда фермера: очистка родника и помощь новорожденному теленку. Этот теленок тоже своего рода источник, родник будущей жизни.

Перевод И. Кашкина опубликован впервые в 1960 г. (Слышу, поэт Америка. Поэты США. М., 1960). В переводе есть одно лишнее слово: «любуюсь»; Фрост предлагает только взглянуть на родник и теленка, не предопределяя заранее реакцию читателя-зрителя.

MENDING WALL. ПОЧИНКА СТЕНЫ

Опубликовано впервые в сборнике *North of Boston* (1914).

Каменные ограды характерны для фермерских участков Новой Англии, но у Фроста ограда приобретает метафорический смысл: это все, что отдаляет человека от человека, все барьеры, разделяющие людей, культуры, страны.

Перевод М. Зенкевича опубликован впервые в 1936 г. («Интернациональная литература», 1936, № 4). Неоднократно переиздавался (в частности, в сб.: Р. Фрост. Из девяти книг. М., 1963).

THE DEATH OF THE HIRED MAN. СМЕРТЬ БАТРАКА

Опубликовано в сборнике *North of Boston* (1914).

Одна из центральных проблем, затронутых в стихотворении, — соотношение между справедливостью и милосердием. Справедливость не хочет милосердия, а милосердие может жить, только потеснив справедливость. Сайлас виноват перед Уорреном и Мэри. Уоррен ищет справедливости. Мэри просит о милосердии. Сайлас перед смертью возвращается не к богатому родному брату, а к Уоррену и Мэри, потому что воспоминания о работе у них, быть может, лучшее, что у него осталось в жизни. В стихотворении даются два ставших

знаменитыми определения родного дома: "Home is the place where, when you have to go there,/They have to take you in"—говорит Уоррен. Определение Мэри несколько иное: "I should have called it/Something you somehow haven't to deserve,"—то есть, в буквальном переводе: «Я бы скорее сказала, что это нечто, чего не надо заслуживать». М. Зенкевич, в целом успешно справившийся в «Смерти батрака» с переводческой задачей, видимо, не понял этих строк и перевел их так: «Я применила не так, как ты хотел бы, это слово». Получается, что Мэри только выражает несогласие с Уорреном, но своего определения дома не дает. В конце стихотворения переводчиком допущена еще одна неточность: Уоррен не «пожал ей руку», а только взял ее руку в свою.

Из последних строк видно не только единство и полное понимание между мужем и женой—они поистине «одна плоть»,—но и то, что Уоррен, в сущности, внутренне тоже простил Сайласа, но только как человек гордый и упрямый не решался признаться в этом себе и своей жене.

Перевод М. Зенкевича был опубликован впервые в 1936 г. («Интернациональная литература», 1936, № 4). Печатается по кн.: Р. Фрост. Из девяти книг. М., 1963.

AFTER APPLE-PICKING. ПОСЛЕ СБОРА ЯБЛОК

Опубликовано впервые в сборнике *North of Boston* (1914).

Сбор яблок становится в стихотворении символом самой жизни с ее заботами и усталостью. Что будет после сбора яблок? Будет сон: One can see what will trouble/The sleep of mine, whatever sleep it is.

Эти строки Фроста вызывают в памяти слова Гамлета из его знаменитого монолога "To be, or not to be" (Act III, Sc. 1): To sleep! perchance to dream! ay, there's the rub;/For in that sleep of death what dreams may come...

Фрост, однако, снимает серьезность размышлений образом спящего сурка.

Перевод М. Зенкевича опубликован впервые в 1946 г. (М. Зенкевич. Из американских поэтов. М., 1946).

BIRCHES. БЕРЕЗЫ

Опубликовано в третьем сборнике стихов Фроста *Mountain Interval* (1916).

Только в гармоничном сочетании жизни духа (путь к небу) и жизни материальной, жизни тела (путь к земле)—полнота человеческого бытия. Жить только духом, забыв о повседневности, как живут монахи и отшельники, так же невозможно для поэта, как и целиком отдаться будничным заботам этого мира.

Перевод А. Сергеева опубликован впервые в 1960 г. («Новый мир», 1960, № 6). Печатается по кн.: Р. Фрост. Из девяти книг. М., 1963.

FIRE AND ICE. ОГОНЬ И ЛЕД

Опубликовано впервые в журнале *Harper's Magazine* (Dec. 1920) и затем вошло в сборник Фроста *New Hampshire* (1923).

Поэт на своем собственном опыте знает, что такое жар страсти (желания) и холод ненависти. Таким образом, причины, которые могут погубить мир, находятся, по Фросту, в душе человека, в его способности безгранично желать и безгранично ненавидеть. В переводе М. Зенкевича слова “desire” и “hate” оказались опущенными, остались только «огонь» и «лед», и поэтому стихотворение приобрело более отвлеченный характер.

Перевод М. Зенкевича опубликован впервые в 1936 г. («Интернациональная литература», 1936, № 4). Печатается по кн.: Р. Фрост. Из девяти книг. М., 1963.

STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING
ГЛЯДЯ НА ЛЕС СНЕЖНЫМ ВЕЧЕРОМ

Опубликовано впервые в журнале *New Republic* (March 7, 1923) и вошло затем в сборник стихов Фроста *New Hampshire* (1923).

Ясность и простота этого знаменитого стихотворения могут даже помешать сразу заметить чрезвычайно сложную и изощренную систему рифмовки (схема эта такова: aaba bbcb ccdd dddd).

Есть два высказывания Фроста об этом стихотворении. Он сказал как-то, что хотел бы видеть его напечатанным с сорока страницами примечаний к нему. В другой раз он заметил, что это стихотворение содержит все, что он когда-либо знал (оба высказывания см. в статье: R. Cook. *R. Frost's Asides on his Poetry*—*American Literature*, Jan. 1948, pp. 355-357)

Прежде всего стихотворение можно рассматривать как поэтическую зарисовку на тему о красоте зимнего леса. При более внимательном взгляде можно увидеть в нем борьбу между тягой к созерцанию красоты и чувством долга, то есть противостояние эстетики и этики. Однако, вдумавшись в странную фразу: "The woods are lovely, deep and dark", мы заметим в манящей притягательной силе лесов другую силу, которая искушает и втягивает в себя рано или поздно все живое. Таким образом, стихотворение Фроста переключается со знаменитым гетевским „Über allen Gipfeln", которое известно в России в переводе Лермонтова («Горные вершины»). Но если Гете обещает путнику покой небытия как близкую и желанную цель ("balde ruhest du auch")— «скоро обретешь покой и ты»), то Фрост не может и не хочет отдаться зову темного и глубокого леса, даже в самый темный из вечеров года. Еще не все земное совершено, еще рано на покой, как бы говорит он, и эта мысль будет развита в более позднем стихотворении *Come In* («Войди!»— см. ниже). Интересно, что у Фроста зов смерти есть в то же время зов красоты; такое острое чувство греховности и гибельности красоты—особенность пуританского сознания и совсем не свойственно пантеисту Гете.

Перевод И. Кашкина был опубликован впервые в 1960 г. (сб.: Слышу, поет Америка. Поэты США. Составил и перевел И. Кашкин, М., 1960, под названием «Глядя на лес снежным вечером»). Печатается по кн.: Р. Фрост. Из девяти книг. М., 1963.

COME IN. ВОЙДИ!

Опубликовано впервые в журнале *The Atlantic Monthly* (Feb. 1941), вошло в сборник стихов Фроста *A Witness Tree* (1942).

По своему смыслу стихотворение примыкает к знаменитому *Stopping by Woods on a Snowy Evening* (см. выше).

Перевод И. Кашкина опубликован впервые в газете «Литература и жизнь» от 16 марта 1960 г. Печатается по кн.: Р. Фрост. Из девяти книг. М., 1963.

DIRECTIVE. УКАЗАНИЕ

Написано на исходе второй мировой войны, опубликовано в сборнике стихов Фроста *Steeple Bush* (1947).

Это уже поздний Фрост, который хочет уйти от безрадостного настоящего—хотя бы в воображении—к своим истокам, и тем самым обрести себя. Для этого надо пройти назад весь жизненный путь с его каменистыми пейзажами и ледниковым холодом. В стихотворении ощутима переключка с вышедшими незадолго до этого «Четырьмя квартетами» Т. С. Элиота. Один из эпиграфов к первому квартету—«Бёрнт Нортон»—мог бы стать и эпиграфом к «Указанию»: «Путь вверх и путь вниз—один и тот же путь» (Гераклит). Особенно близки стихотворению Фроста отдельные строки части I «Бёрнт Нортон» и части I «Литл Гиддинга».

Перевод А. Сергеева опубликован впервые в журнале «Новый мир», 1960, № 6.

Grail—Грааль, сосуд, в который, по преданию, Иосиф Аримафейский, один из учеников Христа, собрал капли его крови. На поиск Грааля отправлялись многие рыцари Круглого стола (см. также коммент. на с. 603—604). Здесь Грааль—символ сокрытой святости, обретение которой дает спасение.

as Saint Mark says—имеются в виду следующие слова из Евангелия от Марка: «Своими ушами слышат, и не разумеют; да не обратятся и прощены будут им грехи» (5:12)—в смысле: не разумеют, пока не обратятся и пока не будут прощены им грехи

William Carlos Williams
Уильям Карлос Уильямс

APOLOGY. АПОЛОГИЯ

Опубликовано в чикагском журнале *Poetry* (Nov. 1916).

Слово «апология» в названии означает не восхваление и не извинение, а скорее самооправдание, разъяснение своих це-

лей—стихотворение представляет собой краткую поэтику раннего Уильямса.

Перевод В. Британишского опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

SPRING AND ALL. ВЕСНА И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ

Опубликовано в сборнике стихов Уильямса того же названия в 1923 г. Нередко стихотворение печатается без названия.

Перевод В. Британишского опубликован в кн.: Поэзия США. М., 1982.

PROLETARIAN PORTRAIT. ПРОЛЕТАРСКИЙ ПОРТРЕТ

Впервые опубликовано в коллективном сборнике *Galaxy*. An Anthology. Compiled by R. Reynolds a.o. Ridgewood, 1934, под названием *Study for a Figure Representing Modern Culture*. Под современным названием впервые опубликовано в журнале *Direction* (Apr.-June, 1935).

Перевод В. Британишского опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

Robinson Jeffers. Робинсон Джефферс

DIVINELY SUPERFLUOUS BEAUTY БОЖЕСТВЕННЫЙ ИЗБЫТОК КРАСОТЫ

Опубликовано в 1924 г. в сборнике стихов Р. Джефферса *Tamar and Other Poems*.

Перевод М. Зенкевича опубликован в кн.: Американские поэты. В переводах М. Зенкевича, М., 1969.

TO THE ROCK THAT WILL BE A CORNERSTONE OF THE HOUSE
УТЕСУ, КОТОРЫЙ СТАНЕТ КРАЕУГОЛЬНЫМ КАМНЕМ ДОМА

Опубликовано в 1924 г. в сборнике стихов Р. Джефферса *Tamar and Other Poems*.

Джефферс своими руками построил себе дом на берегу Тихого океана из прибрежных гранитных валунов.

Перевод М. Зенкевича опубликован впервые в кн.: М. Зенкевич и И. Кашкин. Поэты Америки. XX век, М., 1939, под названием: «Скале, которая станет краеугольным

камнем дома». Позже М. Зенкевич заменил первое слово в названии на «утесу» (см.: Американские поэты. В переводах М. Зенкевича, М., 1969).

CONTINENT'S END. НА КРАЮ КОНТИНЕНТА

Опубликовано в 1924 г. в сборнике стихов Р. Джефферса *Tamar and Other Poems*. Перевод М. Зенкевича— в кн.: Поэты Америки. XX век. М., 1939.

CASSANDRA. КАССАНДРА

Опубликовано в сборнике Р. Джефферса *The Double Axe and Other Poems* (1948).

Кассандра— дочь троянского царя Приама, наделенная даром пророчества и предсказавшая гибель Трои. Правдивым пророчествам Кассандры, однако, никто не верил— так наказал ее Аполлон за то, что она отвергла его любовь.

Перевод А. Сергеева «Кассандры»— как и его переводы вошедших в нашу антологию «Чудес мира», «Глубокой раны» и «Выбираю себе могилу»— опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

THE WORLD'S WONDERS. ЧУДЕСА МИРА

Опубликовано в сборнике Р. Джефферса *Hungerfield and Other Poems* (1954).

Tortured Jew— имеется в виду Иисус Христос

THE GREAT WOUND. ГЛУБОКАЯ РАНА

Одно из поздних стихотворений Джефферса, опубликовано в посмертном сборнике *The Beginning and the End and Other Poems* (1963).

MY BURIAL PLACE. ВЫБИРАЮ СЕБЕ МОГИЛУ

Одно из поздних стихотворений Р. Джефферса, опубликовано в посмертном сборнике *The Beginning and the End and Other Poems* (1963).

Hart Crane. Харт Крейн

SNAPLINESQUE. ЧАПЛИНЕСКА

Опубликовано в сборнике стихов Х. Крейна *White Buildings* (1926). Навеяно фильмом Ч. Чаплина «Малыш», герой которого, бродяга, подбирает на улице замерзающего котенка. Для Х. Крейна герой Чаплина символизирует поэта—хранителя человечности в холодном деловом мире. Лунный свет преображает мусорный ящик в священный сосуд—Грааль (см. коммент. к стихотворению Фроста «Указание»), лицезреть который могут лишь немногие посвященные, праведники.

Перевод В. Топорова опубликован в кн.: Поэзия США. М., 1982.

AT MELVILLE'S TOMB. НА МОГИЛЕ МЕЛВИЛЛА

Стихотворение памяти выдающегося американского писателя Германа Мелвилла (1819—1891) опубликовано в сборнике *White Buildings* (1926).

К этому стихотворению существует авторский комментарий, который мы хотим предложить читателю. Обычно поэты не любят разъяснять смысл своих образов и метафор, инстинктивно чувствуя, что такое разъяснение неизбежно обедняет смысловое богатство и смысловую неисчерпаемость поэзии.

Летом 1926 г. Х. Крейн послал это стихотворение в редакцию известного чикагского журнала *Poetry* на имя главного редактора Гарриэт Монро. Стихотворение показалось Гарриэт Монро непонятным, несмотря на немалый опыт в чтении современной поэзии (она уже 14 лет была редактором журнала *Poetry*). Она обратилась к автору с таким письмом:

«Сочтите меня за тупого, лишённого воображения непоэтического читателя и ответьте мне, как «кости» могут «завещать послание» (или что бы то ни было другое) и как «чаша» («щедрот смерти» или чего-нибудь другого) может возвращать «разрозненную главу, туманные письма» и как, если она все-таки возвращает, это «предзнаменование» может быть «ввинчено в коридоры» (раковин или чего-нибудь другого).

И далее. Я нахожу Ваш образ замороженных очей, возводящих алтари, очень трудным для наглядного представ-

ления. Точно так же компас, квадрант и секстант не «затевают» приливы, они лишь регистрируют их, насколько я знаю.

Все это может показаться неуместным и дерзким, но мною руководят совсем другие намерения. Ваши идеи и ритмика интересуют меня, и мне хотелось бы знать, путем каких рассуждений можно обосновать последовательность этих запутанных метафор...».

Процитируем только ту часть ответа Х. Крейна, где он отвечает на вопросы Г. Монро (и стихотворение, и переписку с поэтом она опубликовала в октябрьском номере журнала *Poetry* за 1926 г.):

«Я перехожу к объяснениям, которые Вы попросили к стихотворению о Мелвилле.

Двойные шестерки человеческих костей. Ими завещанные... Кости завещают послание в том смысле (и только в этом смысле, конечно), что они выброшены на берег в форме маленьких кубиков, на которых стоят только номера, но нет дальнейшей идентификации. Это кости умерших людей, которые никогда не закончат свое путешествие, поэтому правомерно сослаться на них как на единственных свидетелей неких недоставленных сообщений, посланий, немых свидетелей некоторых вещей, а именно — тех переживаний, которые могли бы привезти с собой умершие моряки. Одновременно подразумевается и элемент случайностей и игры обстоятельств, связанный с игральными костями.

Щедрая чаша смерти выплескивала и т. д. Эта чаша в двойном ироническом смысле подразумевает и рог изобилия, и воронку, образованную тонущим кораблем. Как только вода сомкнулась над кораблем, эта воронка выбросила отдельные перекладыны, балки и т. д., которые можно назвать «туманными письменами», образующими в совокупности «разрозненную главу» из полного повествования о корабле и его команде. В сущности, из этого можно составить столь же смутное представление о происшедшем, как от прослушивания шума крови в своих собственных венах, который легко услышать (вы никогда не пробовали сделать это?), приложив к уху раковину.

Замороженные очи возводили... алтари — эта строка просто

выражает убеждение, что человек, не имеющий веры в определенного бога, но наделенный естественным благоговением перед божественным,—такой человек в той или иной форме естественно постулирует существование божества, а алтарь этого божества поднимается вверх самим действием ищущих глаз.

Секстанты, квадрант и компас не затевают большие приливы. Разве не случалось, что инструменты, первоначально изобретенные для регистрации и счета, потом расширяли представление о явлении, которое они должны были измерять (концепции пространства и т. д.) в сознании и воображении тех, кто их применял? Таким образом, можно метафорически сказать о том, что они расширили первоначальные границы измеряемого явления. Эта небольшая доза «относительности» не должна изгоняться из поэзии, особенно в наши дни, когда ученые измеряют вселенную на основе принципов чистого «рацио» — в сущности такого же метафорического понятия...».

Перед нашими глазами разыгралась как бы небольшая драма на тему понимания поэзии: недоумение читателя и ответ поэта. Но при всей показательности и ценности ответов Харта Крейна, они все же не дают целостной концепции стихотворения. В них действительно содержатся ключи к отдельным метафорам, но не ко всему произведению в целом. Главная мысль стихотворения выражена в его названии — «У могилы Мелвилла». Мелвилл, певец моря, умер обычной смертью, в преклонном возрасте и похоронен на суше. Тем не менее в стихотворении речь идет только о море. Харт Крейн утверждает, что могила Мелвилла вовсе не там, где все считают, а здесь, в океане.

Харт Крейн рассказывает, как при жизни Мелвилл любил стоять у моря и смотреть на зримые следы неравной борьбы человека с водной стихией, на следы поражения человека в этой борьбе — обломки кораблекрушений. Мелвилл задумывался о тех, кто остался лежать на дне, о том, какому богу они теперь поклоняются. А сейчас и для самого Мелвилла перестало существовать морское пространство («секстанты, квадрант и компас...»). Но его дух, его душа остались здесь, где он был духовно всю свою жизнь.

Перевод В. Топорова печатается впервые.

ПРОЕМ: ТО BROOKLYN BRIDGE. К БРУКЛИНСКОМУ МОСТУ

Мы печатаем только Пролог к главному произведению Х. Крейна — поэме «Мост» (*The Bridge*), которая вышла отдельным изданием в 1930 г.

Х. Крейн захотел полвека спустя после Уитмена еще раз воспеть Америку во всем ее многообразии. «Пролог», как и вся поэма, чрезвычайно сложен по языку и образной системе, поэтому мы позволили себе дать нечто вроде краткого перифраза «Пролога».

Он открывается образом чайки, летающей над статуей Свободы и своим полетом воплощающей свободу для тех, кто склоняется над страницами конторских счетов (“page of figures”) и иногда, замечтавшись, может увидеть на этих страницах паруса яхты. Эти конторские служащие после работы устремляются к экранам кинотеатров (третья строфа). Затем следует прямое обращение к Бруклинскому мосту (“And Thee...”), который кажется поэту синтезом движения и покоя, неким застывшим напряженным шагом (“some motion ever unspent in thy stride”). Взгляд поэта видит маленького человечка на мосту (наверное, ненормального — “bedlamite”), который делает попытку покончить с собой, прыгнув в воду под взглядами идущего мимо равнодушного потока людей (пятая строфа). Полуденное солнце, как пламя ацетиленового сварочного аппарата, заливает ущелье Уолл Стрита (“Wall”), а тросы моста еще дышат свежестью Атлантического океана (шестая строфа). Далее мост сравнивается с радугой Завета между Ноем и богом («Бытие», 9:13), и сам становится символом современного божества, созданного трудом тысяч безымянных рабочих (седьмая строфа). Мост одновременно и хвала (“harp” — арфа, как инструмент хвалебных песнопений), и алтарь, требующий жертвы. Один только физический труд не смог бы создать этот хор струн (тросы и переплетения конструкций моста), здесь участвовали и молитва парии, и крик любовника (восьмая строфа). Крейн хочет сказать, что такое сооружение стало воплощением самой Америки. Пролог заканчивается обращением — молитвой к мосту, чтобы он своей мощью и красотой, своим «кривизнейшеством» (“curveship”, по типу “Lordship”) помог создать новый миф, новый путь к абсолюту.

Действительность оказалась предельно жестокой по отношению к лучезарным видениям Харта Крейна. В апреле 1932 г., в возрасте 33 лет, запутавшийся в личных и литературных неурядицах, поэт покончил жизнь самоубийством, прыгнув с борта парохода, направлявшегося из Мексики в Америку. Его смерть во многом совпадает со смертью Мартина Идена, героя одноименного романа Джека Лондона.

Перевод В. Топорова опубликован в кн.: Поэзия США. М., 1982. Стихотворение переводил также В. Широков — «Бруклинскому мосту» («Памир», 1978, № 11).

Wallace Stevens. Уоллес Стивенс

TRIRTEEN WAYS OF LOOKING AT A BLACKBIRD ТРИНАДЦАТЬ СПОСОБОВ ВИДЕТЬ ЧЕРНОГО ДРОЗДА

Опубликовано впервые в журнале *Others* (special number, Dec., 1917) и вошло затем в первый сборник стихов Стивенса *Harmonium* (1923).

Давать подробное разъяснение каждого из 13 углов зрения, под которым можно смотреть на дрозда, вряд ли так уж необходимо, потому что контекст высказываний Стивенса слишком широк и допускает различные интерпретации. Ограничимся лишь более сложными номерами:

IV. Мужчина не полон без женщины, они лишь вместе дают представление о полном человеке, так же неполно будет представление о человеке и без всего того живого, что его окружает (включая дрозда) и делает именно человеком, а не птицей или рыбой.

V. Что предпочесть: ощущение, непосредственное восприятие пения или представление (воспоминание) о нем.

VI. Черный дрозд как вестник несчастья или гибели.

VII. Рядовой американец может мечтать о золотых птицах, не думая о том, что черный дрозд у его ног — тоже настоящее чудо. В одном из писем Стивенс так объяснил выбор города Хаддама (реальный город в штате Коннектикут): «Худые жители Хаддама целиком вымышлены, хотя несколько лет назад один из жителей этого города спросил меня в письме, что я хотел сказать. Мне просто понравилось название. Это

старинный китобойный город, насколько я знаю. Во всяком случае, в городе с таким названием должны жить настоящие янки».

XI. Некто едет в вычурно искусственной стеклянной карете. Поэтому встреча с реальными черными птицами должна внушать ему страх.

XII. Если река течет, то дрозд должен лететь: это способы их существования. Но в последнем, отрывке XIII, наоборот: движется время вечера, идет (и будет идти) снег, только черный дрозд сидит неподвижно и тем самым как бы приобретает неумолимость рока или, может быть, смерти.

В одном из своих афоризмов ("Adagia") Стивенс сказал: "Poetry must resist the intelligence almost successfully." («Поэзия должна сопротивляться интеллекту почти успешно»). Некоторые из «Тринадцати способов» сопротивляются ему не почти, а вполне успешно.

Перевод В. Британишского опубликован впервые в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

THE IDEA OF ORDER AT KEY WEST ИДЕЯ ПОРЯДКА В КИ-УЭСТ

Опубликовано впервые в журнале *Alcestis* (Oct. 1934) и вошло затем в сборник стихов Стивенса *Ideas of Order* (1935).

По теме это весьма характерное для Стивенса стихотворение напоминает «Одинокую жницу» (*Solitary Reaper*) Вордсворта. Сопоставляя пение моря и пение женщины, Стивенс показывает, как искусство вносит принцип порядка в хаос и бесформенность стихии. Художник не только упорядочивает и гармонизирует мир для себя и нас, он порождает в своей аудитории эту страсть к гармонии. После пения женщины ее слушатели увидели знакомый пейзаж по-новому.

Перевод В. Британишского опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

Key West — Ки-Уэст, курортный городок на острове того же названия к юго-западу от полуострова Флорида

Ramon Fernandes — Рамон Фернандес (1894—1944), французский литературный критик. Объясняя это место, Стивенс писал: «Я назвал два самых обычных имени собственных. Как

и следовало ожидать, они оказались именем и фамилией реального человека». Возможно, поэт здесь лукавит, потому что к этому времени (1934) несколько книг Р. Фернандеса уже были переведены на английский язык и изданы в США. Не исключено также, что Стивенс мог читать их и по-французски.

OF MODERN POETRY. О СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

Впервые опубликовано в журнале *Hika* (May 1940) и вошло затем в сборник стихов Стивенса *Parts of a World* (1942).

Поэзия прошлого, как характеризует ее Стивенс, изображала устойчивое бытие ("the scene was set") и пользовалась традиционными литературными приемами ("repeated what was in the script"). Но потом, в XX в., жизнь резко изменилась ("the theatre was changed"). Далее излагается программа новой поэзии, обращенной к современности, в том числе и войне, которая уже началась в Европе. Поэт сравнивается с метафизиком во тьме, потому что у него нет готового мировоззрения, его тоже нужно обрести, как и умение передавать поэзию современной жизни.

Перевод В. Британишского опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

THE POEMS OF OUR CLIMATE СТИХОТВОРЕНИЯ НАШЕГО КЛИМАТА

Впервые опубликовано в журнале *Southern Review* (1938, No. 2) и затем вошло в сборник стихов Стивенса *Parts of a World* (1942).

В «нашем климате» хаоса, необязательности и перемен нельзя брать за образец недостижимое совершенство живых гвоздик. Наша отрада — в контакте с несовершенным, в попытках с помощью неточных слов создать подобие «нашего климата».

Перевод В. Британишского публикуется впервые.

THE PLANET ON THE TABLE. ПЛАНЕТА НА СТОЛЕ

Опубликовано в журнале *Accent* (Summer, 1953), затем вошло в сборник стихов Стивенса *Collected Poems* (1954).

В этом стихотворении, написанном за два года до смерти, поэт подводит итоги своей работы. Перед нами скромный

«Памятник» американского поэта, совсем не похожий на «Памятники» Горация или Пушкина.

Перевод В. Британишского опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

Thomas Stearns Eliot. Томас Стернз Элиот

THE LOVE SONG OF J. ALFRED PRUFROCK ЛЮБОВНАЯ ПЕСНЬ ДЖ. АЛЬФРЕДА ПРУФРОКА

Стихотворение начато в 1910 г., когда Элиот был студентом Гарвардского университета, и закончено в Европе в 1911 г. Напечатано четыре года спустя в журнале *Poetry* (June 1915). Вошло затем в первую книгу стихов Элиота *Prufrock and Other Observations* (1917).

Название стихотворения являет собой образец многослойной иронии. Слова «любовная песня» настраивают на определенный лирический лад, но следующее за ними имя Дж. Альфред Пруфрок своей официальностью иронически снимает создавшееся было настроение. Эпиграф взят из «Божественной комедии» Данте: «Если бы я полагал, что отвечаю тому, кто может возвратиться в мир, это пламя не дрожало бы; но если правда, что никто никогда не возвращался живым из этих глубин, я отвечу тебе, не опасаясь позора» («Ад», песнь XXVII, ст. 61—66). Смысл его примерно таков: если бы герой был уверен, что его услышит тот, кто потом вернется к людям и расскажет об услышанном, он не стал бы говорить. Значит, любовная песнь элиотовского героя не будет пропета во всеуслышание. Дочитав стихотворение до конца, мы понимаем, что Пруфрок, пожалуй, и не любит никого,—во всяком случае, никого из тех женщин, которых он упоминает в своем монологе. Такова современная любовная песнь интеллектуального молодого человека, как бы хочет сказать Элиот. Таков нынешний вариант признания в любви, да и сама любовь, если можно назвать это любовью.

Не имея возможности вскрыть многочисленные литературные аллюзии и скрытые цитаты «Любовной песни...» (это сделано в примечаниях В. Муравьева к кн.: Т. С. Элиот.

Бесплодная земля. М., 1971, и в нашей работе «Проблема герметизма и поэзия Т. С. Элиота» в сб. «Писатель и жизнь», М. 1981), мы остановимся только на одном, самом важном источнике Элиота — стихотворении английского поэта Эндрю Марвелла (1621—1678) «К своей робкой возлюбленной» (*To His Coy Mistress*), которое представляет собой как бы антипод «Любовной песни...». Герой Марвелла страстно убеждает свою возлюбленную отбросить застенчивость: “Let us roll all our strength and all/Our sweetness into one ball.”

Пруфрок, напротив, осторожен и нерешителен, ему кажется, что от его любовного предложения может рухнуть вселенная. Стоит ли тревожить мироздание, если тебя все равно не услышат или не поймут? Даже если бы ты, подобно воскресшему из мертвых евангельскому Лазарю, захотел сказать что-то очень важное о жизни и смерти, тебя не станут слушать: каждую из этих дам интересует только то, что она сама хотела сказать. Тогда рождается желание стать морским крабом, который не мучается никакими сомнениями и мощными клешнями хватает то, что ему нужно.

Невозможность любви — так можно определить тему «Любовной песни...». А от невозможности любить не так уж далеко и до невозможности жить. Поэтому стихотворение заканчивается словами “we drown” (русалки символизируют недоступную и гибельную для Пруфрока женскую прелесть).

В поэме «Полые люди» (см. коммент. ниже) мы услышим уже целый хор пруфроков, сетующих на свою участь и ждущих какого-нибудь — все равно какого — обновления. Еще через два года Элиот покинет стан «полых людей» и перейдет в лоно англиканской церкви, о чем и заявит во всеуслышание в 1928 г. Насколько трудным был этот период, рассказывает стихотворение «Паломничество волхвов» (см. коммент. ниже).

Перевод А. Сергеева опубликован в кн.: Т. С. Элиот. Бесплодная земля. М., 1971. Ранее стихотворение переводил И. Кашкин (в кн.: Антология новой английской поэзии. М., 1937).

The eternal Footman — букв. вечный лакей; имеется в виду, по-видимому, смерть, которая всегда держит наготове последнее одеяние человека — саван

WHISPERS OF IMMORTALITY. ШЕПОТКИ БЕССМЕРТИЯ

Опубликовано во втором сборнике стихов Элиота *Poems* (1920). Его название пародирует название хрестоматийного стихотворения У. Вордсворта *Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood* (1807).

В стихотворении Элиота сопоставляются два способа восприятия мира: «классический», который для него олицетворяют драматург Джон Уэбстер (1580—1625) и поэт Джон Донн (1572—1631), и нынешний, которым приходится довольствоваться поэту первой четверти XX в. Для Уэбстера и Донна даже чувственная сторона жизни была средством интеллектуальных прозрений, чувственное и интеллектуальное восприятие составляли одно целое. Их мысль питалась чувственностью, а чувственность усиливалась мыслью: "...thought clings round dead limbs,/Tightening its lusts and luxuries." Но теперь мысль отделилась от чувственного опыта. Плоть по-прежнему процветает, хотя в более вульгарной форме. Гришкина — одна из многих эмигранток, оказавшихся после первой мировой войны и Октябрьской революции в Англии. В ее описании Элиот опирается на описание Кармен в стихотворении Т. Готье «Кармен». У Элиота: "Grishkin is nice." У Готье: "Carmen est maigre," то есть «Кармен худа...» и т. д. (стихотворение Готье переводил В. Брюсов). Это же стихотворение дает ключ и к загадочным строкам: "And even the abstract entities/Circumambulate her charm." О Кармен у Готье говорится: «Есть слух, что мессу пел Толедский архиепископ перед ней». То есть даже чисто духовные власти и авторитеты признают силу плоти и поклоняются ей.

Но современные поэты вдохновляются отнюдь не чувственным опытом, а воспоминаниями о поэзии и философии прошлого ("dry ribs"). Слово "lot" имеет несколько значений, но, к счастью, сам Элиот указал, что словосочетание "our lot" он употребляет в смысле «наш брат», «подобные нам», а не в смысле «наша судьба», «наша участь».

Метафизика Донна и Уэбстера была живой и теплой, потому что опиралась на полнокровную чувственную жизнь личности. Метафизика современных поэтов суха и холодна, потому что питается выкладками чистого разума. Поэтому

основная метафизическая идея—идея бессмертия души—теперь доходит до поэтов только как еле слышный робкий шепот.

В своей статье «Метафизические поэты» (*Metaphysical Poets*, 1921) Элиот указал на опасный разрыв между мыслью и чувством как на определяющую черту сознания современного поэта—“dissociation of sensibility”, то есть раздвоение в восприятии мира (важный термин, получивший широкое распространение в англо-американской критике).

Перевод А. Сергеева опубликован впервые в кн.: Т. С. Элиот. Бесплодная земля. М., 1971.

THE HOLLOW MEN. ПОЛЫЕ ЛЮДИ

Поэма впервые опубликована полностью в 1925 г. в сборнике стихов Элиота *Poems 1909-1925*. Однако до этого четыре части из пяти публиковались как отдельные стихотворения (например, части II и IV появились в подборке *Three Poems* в журнале *Criterion*, Jan. 1925).

Трудности, связанные с толкованием поэмы, отчасти объясняются тем, что Элиот объединил в одно целое куски, которые ранее мыслились им как самостоятельные.

«Полыми людьми» поэт называет европейских интеллигентов, у которых в результате утраты веры образовался вакуум в душе, заполняемый трухой различных мнений, сведений, оценок, сохраняющих свою необязательность и случайность. Таким образом, эти люди одновременно и полые (hollow), и набитые трухой (stuffed).

Первый эпиграф к поэме—из повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы» (*The Heart of Darkness*, 1902)—связан с темой утраты веры. “Mistah Kurz—he dead”—так на плохом английском языке слуга-негр сообщает о смерти белого мистера Курца, которому одно из племен бельгийского Конго поклонялось как богу. Если он умер, значит, он вовсе не был богом.

Второй эпиграф связан со старой английской традицией—каждый год 5 ноября сжигать чучело Гая Фокса, одного из участников т. н. «порохового заговора», собиравшихся в 1605 г. взорвать английский парламент. Накануне 5 ноября дети ходят с чучелами Фокса по дворам и просят “a penny for the Old Guy”. Потом чучела сжигают и устраивают яркий фейерверк. Парал-

лель между «полыми людьми» и чучелами Гая Фокса вполне ясна, а просьба о пенни для большого костра выражает тоску по очистительному огню для полых людей-чучел, которые больше ни на что не годятся.

Основные смысловые трудности поэмы связаны с понятием царства смерти (*death's kingdom*). Это понятие употребляется в поэме в нескольких разновидностях.

Поскольку утрата веры обязательно включает в себя утрату веры в бессмертие, можно сказать, что мир, в котором живут полые люди—это “*death's kingdom*”. Но в этом земном царстве смерти люди все-таки мечтают и видят сны, перемещаясь в “*death's dream kingdom*”. Полые люди в основном и живут в этом нереальном земном царстве. Но некоторые из них уже готовы покинуть его и перейти в другой, загробный мир, пройдя необходимое для этого очищение и искупление. Эти люди находятся в сумеречном царстве смерти (нечто подобное чистилищу)—“*death's twilight kingdom*”. Таковы три разновидности земного царства смерти. Загробное же царство смерти Элиот называет, в отличие от земного, “*death's other kingdom*”, то есть другое царство смерти. И, наконец, чтобы выделить из этого другого царства местопребывание праведников, рай, Элиот пишет слово “*Kingdom*” с большой буквы—“*death's other Kingdom*”. Такова замысловатая иерархия пяти царств смерти в поэме.

Следующий камень преткновения для читателя—образ глаз. Глаза появляются уже во второй части, и герой одновременно и хочет их увидеть, и боится их. Он согласен даже стать огородным пугалом, чтобы эти глаза не узнали и не нашли его (“*rat's coat*”, “*crowskin*”, “*crossed staves*”—все это атрибуты обычного английского садового пугала). Этот образ Элиот заимствовал у Данте (см. «Чистилище», песнь XXXI). Не встретив (и не выдержав) укоряющего взгляда Беатриче, нельзя покинуть чистилище и перейти в рай (“*that final meeting/ In the twilight kingdom*”).

Третий сложный образ поэмы—Тень, падающая между замыслом и свершением, между мыслью и действием. Элиот сам признавался, что эта Тень заимствована им из одного стихотворения Э. Даусона (русский перевод этого стихотворения—«Кинара»—см. в кн.: Антология новой английской

поэзии. Л., 1937). Тень—символизирует безволие и нерешительность, парализующие полых людей. В предпоследней строфе поэмы эта Тень как бы скрывает всю правую половину фраз, обесмысливая их.

Слова "For Thine is the Kingdom" взяты из молитвы «Отче наш»: «Яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков». Слова "Life is very long"—цитата из повести Д. Конрада—«Изгнанник островов» (*An Outcast of the Islands*, 1896). Здесь они означают пружфрокковское "there will be time", то есть отсрочку принятия решения.

Предпоследняя, четвертая часть как бы переносит нас на берег дантевского Ахерона («Ад», песнь III): "Gathered on this beach of the tumid river."

Зрение могут вернуть полым людям только глаза любви, глаза Беатриче. Они—путеводная звезда и мистическая роза этого сумеречного царства (многолепестковую розу, состоящую из святых и праведников, видит в раю Данте—см. «Рай», песни XXX—XXXIII).

Перевод А. Сергеева опубликован в кн.: Т. С. Элиот. Бесплодная земля. М., 1971. Ранее поэму переводил И. Кашкин (в кн.: Антология новой английской поэзии. Л., 1937).

Here we go round the prickly pear—пародия на детскую песенку "Here we go round the mulberry bush on a cold frosty morning". Кактус символизирует бесплодную сухую землю.

This is a way the world ends—знаменитый финал «Полых людей», является двойной пародией: тут и детская песенка *This is the Way we Clap our Hands* и концовка слов, которые англикане произносят после молитвы «Отче наш»—"world without end." Даже конец современной цивилизации будет не величественным, а жалким.

JOURNEY OF THE MAGI. ПАЛОМНИЧЕСТВО ВОЛХВОВ

Стихотворение было опубликовано впервые в 1927 г. в виде текста на рождественской почтовой открытке издательства "Faber and Faber". В том же году Т. С. Элиот стал британским подданным и принял англиканство. Избрав традиционный евангельский сюжет поклонения восточных волхвов (магов) новорожденному младенцу Христу (Евангелие от Мат-

фея, 2:1-12), Элиот, однако, с первых же строк повернул его по-своему. Достаточно сказать, что он ни разу не упомянул про путеводную рождественскую звезду, которая вела волхвов к дому младенца. Ничего не говорится ни о дарах, ни о радости волхвов. Элиота интересуют только трудности перехода, трудности пути к новому откровению и новой вере. Повествование идет от лица одного из волхвов, который вспоминает о паломничестве много лет спустя. Оказывается, в дороге волхвов мучили сомнения,— может быть, “this was all folly”. Но и после возвращения на родину жизнь повествователя не стала легче. Это рождество словно требовало смерти от него, смерти всего, чему он поклонялся раньше, и лишь после этой смерти возможно будет второе рождение.

На диалектике рождения и смерти, мучительности смерти старых богов и рождения новой веры построено все стихотворение. Рассказчик не до конца принял новую веру, он хочет умереть, чтобы хоть таким образом освободиться от сомнений и неприязни окружающих его людей, которые продолжают поклоняться старым богам. Стихотворение показывает, насколько нелегким был для самого Элиота переход в англиканство.

Перевод А. Сергеева опубликован впервые в кн.: Т. С. Элиот. Бесплодная земля. М., 1971 г.

“A cold coming we had of it...” — весь отрывок, взятый в кавычки, является переложением описания из рождественской проповеди англиканского епископа Ланселота Эндрюса (Lancelot Andrews, 1555-1626)

...**Three trees on the low sky** — эти три дерева предвещают три креста на Голгофе, где был распят Христос между двух разбойников

...**white horse galloped away...** — белый конь («конь блед») упоминается в Апокалипсисе: «...И вот конь белый и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует...» (Откровение св. Иоанна, 19:11)

six hands at an open door dicing for pieces of silver... — эти слова предвещают и метание жребия о ризах Христа (Евангелие от Луки, 23:34), и тридцать сребреников, полученных Иудой за предательство

Edna St Vincent Millay
Эдна Сент-Винсент Миллей

Включенные в настоящую антологию сонеты Э. С.-В. Миллей созданы в последние годы жизни поэтессы и вошли в посмертный сборник *Collected Poems* (1956).

Переводы М. Алигер опубликованы в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

Marianne Moore. Марианна Мур

POETRY. ПОЭЗИЯ

Впервые стихотворение появилось в журнале *Others* (July, 1919). Тогда в нем было всего 13 строк. В настоящем своем виде появилось в 1935 г. в сборнике *Selected Poems*. В этом программном стихотворении находятся два парадоксальных выражения, которые потом стали крылатыми. Первое — “literalists of imagination” — так М. Мур называет подлинных поэтов, потому что они передают воображаемое с такой же тщательностью и точностью, с какой буквалист воспроизводит нечто реально существующее. Второе выражение — определение поэзии: “imaginary gardens with real toads in them” (воображаемые сады с настоящими жабами в них) — опять-таки старается вскрыть соотношение реального (даваемого фактами жизни) и воображаемого.

Перевод А. Парина публикуется впервые. Ранее стихотворение не переводилось.

“business documents and school books” — эти слова М. Мур заимствовала из английского перевода дневников Л. Н. Толстого. В контексте все место звучит так: “Poetry is verse: prose is not verse. Or else poetry is everything with the exception of business documents and school books.” (*The Diaries of Leo Tolstoy*, transl. by C. J. Hogarth and A. Sirnis, N.Y., 1917, p. 94).

“literalists of imagination” — М. Мур слегка изменила цитату из очерка английского поэта У. Б. Йейтса, который писал о другом английском поэте — Уильяме Блейке: “He was a too literal realist of imagination, as others are of nature”, то есть «Он

был слишком буквальным реалистом воображения, как другие бывают реалистами природы». (W. B. Yeats. *Ideas of Good and Evil*, L., 1903, p. 182). М. Мур переделала “literal realist of imagination” в “literalist of imagination”.

SPENSER'S IRELAND. ИРЛАНДИЯ СПЕНСЕРА

Опубликовано в сборнике стихов М. Мур *What Are Years?* (1941).

В 1595 г. английский поэт Эдмунд Спенсер опубликовал книгу *A View of the Present State of Ireland*, где размышлял над особенностями национального характера ирландцев. Эта книга стала одним из источников стихотворения Мур, а другим — большой путевой очерк об Ирландии, опубликованный в журнале *National Geographic Magazine* (March, 1927). Но Мур, черпая нужные ей детали из разных источников, рассматривает в этом стихотворении вполне определенную проблему — соотношение между своеволием и дисциплиной. “You are not free until you've been made captive by supreme belief” — считает она. Лучшее, что могут делать ирландцы, полагает Мур, дано им дисциплиной и терпением — в качестве примера поэтесса приводит искусное изготовление сложнейших наживок для рыбной ловли и выделку камковой ткани такой плотности, что она не пропускает воду. Если же ирландцы намерены упорствовать, продолжает Мур, то не лучше ли им, как и герою их сказаний, Джеральду, графу Килдарскому, превратиться во что-то другое. Но в последних строках анализ других органично переходит в анализ собственных проблем. “I'm Irish”, — заявляет поэтесса, и ее предки действительно были ирландцами.

Каждая из шести строф стихотворения имеет чрезвычайно сложную силлабическую ритмику, а именно: в первой строке шесть слогов, во второй и третьей — по восемь, в четвертой — шесть, в пятой — девять, в седьмой — одиннадцать, в восьмой — четыре, в девятой и десятой — по пять, и в последней, одиннадцатой — двенадцать слогов. Такая сложная организация характерна для поэзии Мур в целом, что ставит нелегкие задачи перед переводчиками — как известно, русское стихосложение отказалось от силлабики уже во второй трети XVIII в.

Перевод А. Парина публикуется впервые.

WHAT ARE YEARS? ЧТО ЕСТЬ ГОДЫ

Опубликовано в одноименном сборнике в 1941 г.

Как пленная птица, когда она целиком отдается пению, преодолевает несвободу клетки и становится свободной и гордой (“steels his form straight up”), так и человек может и должен научиться преодолевать свою хрупкость и бренность. На вопрос «Что такое годы?» поэтесса отвечает: это даваемая нам возможность превратить бренность (“mortality”) в вечность, и несвободу — в свободу.

Перевод П. Грушко печатается впервые. Стихотворение переводил также Г. Симанович (в сб.: Поэзия США. М., 1982).

Edward Estlin Cummings. Эдвард Эстлин Каммингс

“ANYONE LIVED IN A PRETTY HOW TOWN...”
«КТО-ТО ЖИЛ В СЛАВНОМ СЧИТАЙ ГОРОДКЕ...»

Опубликовано в 1940 г. в сборнике стихов Э. Каммингса *50 Poems*.

Это стихотворение может показаться некоторым читателям чисто формалистическим экспериментом. Но при внимательном чтении мы найдем в нем трогательную и грустную историю жизни, любви и смерти двух людей — Его (Anyone) и Ее (Noone), показанную на двойном фоне: природно-космическом (вечном — “sun moon stars rain”, “spring summer autumn winter”, “with so many bells floating up and down”, — выпрямляем инверсию Каммингса) и бытовом (преходящем — “someones and everyones”, “women and men”, “children”). Он (Anyone) и Она (Noone) живут совсем иначе, чем другие жители городка.

Каммингс умеет добывать поэзию, видоизменяя орфографию и синтаксис самых обычных слов и фраз. По существу это разновидность остранения, на котором основано многое и в искусстве прошлого. Поясним лишь некоторые строки:

“He sang his didn’t he danced his did” — Когда Ему что-то не удавалось, Он утешался песней, а когда удавалось, Он плясал от радости (Если Он “danced his did”, то “someones” — другие жители городка — “did their dance”, то есть даже танцевали так, словно делали какую-то серьезную и скупную

работу). Из этого примера видно, насколько виртуозно Каммингс пользуется простейшими словосочетаниями.

“They sowed their isn’t they reaped their same”.— О других жителях городка говорится, что они сеяли то, чего у них не было (то есть переживали свои нехватки?) и пожинали то же самое, то есть ничего. В последней строфе сообщается, что они **“went their same”**, то есть уходили туда откуда пришли, или, вернее, уходили так же, как приходили.

“Anyone’s any was all to her”— Ей было дорого в Нем все (или: все, что было дорого Ему, было дорого и Ей).

Композиция стихотворения строго продумана: в первой строфе характеризуется Он, во второй— другие жители городка, в третьей— дети, в четвертой— Она, в пятой— снова другие жители, в шестой— снова дети (которые под звон колоколов взрослеют и забывают, какими они были раньше), в седьмой и восьмой— в последний раз Он и Она, в девятой— жизнь городка после смерти Его и Ее.

Перевод В. Британишского опубликован в сб.: Поэзия США. М., 1982.

“PLATO TOLD...”. «ПЛАТОН ГОВОРИЛ...»

Опубликовано в сборнике стихов Э. Каммингса «1×1» (*One Times One*), вышедшем в 1944 г. На первый взгляд— это только забавное стихотворение, в действительности же грустная история американского солдата, которому ничего не говорили учения Платона, Лао Цзы и Христа, но зато убедительнее всех мыслителей и философов сказал ему о добре и зле “a nipponized bit of the old Sixth avenue el”, то есть «японизированный кусок надземки Шестой авеню» (в 30-х годах надземная дорога на Шестой авеню в Нью-Йорке была продана японцам на металлолом; после Пирл Харбора этот металл полетел в виде снарядов на головы американских солдат).

Перевод В. Британишского опубликован впервые в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

Sherman— американский генерал Уильям Шерман (1820—1891); прославился своей жестокостью и беспощадностью во время Гражданской войны 1861—1865 гг.

“PITY THIS BUSY MONSTER, MANUNKIND...”
«НЕ СОСТРАДАЙ БОЛЬНОМУ БИЗНЕСМОНСТРУ...»

Опубликовано в сборнике стихов Э. Каммингса «1×1» (*One Times One*), вышедшем в 1944 г.

Поэт называет человечество “manunkind”, а не “mankind”, потому что человек стал не добрым к ближнему (“man unkind”). Бритва фотографируется через электронный микроскоп, и потом эти фотографии используются для рекламы бритв: на них лезвие выглядит неровным как горная гряда. Линзы телескопа вперяются в искривленное пространство— время (“curving wherewhen”— букв. «кривляющееся где-когда»), но если раньше люди, глядя на звезды, загадывали желания, то теперь телескоп простирает сквозь пространство— время «нежелание» (“unwish”) безразличных людей, которое возвращается назад к их “unself”. Сострадания заслуживают деревья, звезды и даже камни, но не их сверхвадыка, переставший быть человеком.

Перевод В. Британишского опубликован в кн.: Поэзия США. М., 1982.

Стихотворение также переводил А. Сергеев (Современная американская поэзия. М., 1975).

“RAIN OR HAIL...”. «ДОЖДЬ ЛИ ГРАД...»

Опубликовано в сборнике стихов Каммингса «1×1» (*One Times One*).

Перевод В. Британишского был впервые опубликован в журнале «Иностранная литература», 1978, № 7.

Sam— реальное лицо, так звали соседа Каммингса по ферме

Archibald MacLeish. Арчибальд Маклиш

YOU, ANDREW MARVELL. ВАМ, ЭНДРЬЮ МАРВЕЛЛ

Опубликовано в сборнике стихов Маклиша *New Found Land* (1930), но написано еще в 1926 г. Обращено к известному английскому поэту «метафизической школы» Эндрию Марвеллу (1621—1678), в стихах которого прозвучала тема неумолимости бега времени. Строки Марвелла (из стихотворения «К

своей робкой возлюбленной» (*To His Coy Mistress*) стали крылатыми: *But at my back I always hear/ Time's winged chariot hurrying near*. Сам Маклиш позже пояснял, что герой стихотворения находится на пляже на берегу озера Мичиган под ярким полуденным солнцем. Усилием воображения он представляет, как с востока к Америке движется тень будущего вечера и ночи. Маклиш тщательно описывает маршрут этого движения; имена современных городов перемешаны с именами разрушенных центров древних восточных цивилизаций. Первым назван город Экбатан—столица давно погибшего Мидийского царства (сейчас на этом месте иранский город Хамадан), затем современные города Керманшах (Иран), Багдад (Ирак) и тут же древний разрушенный город Пальмира (Сирия). Затем идут целые страны или острова: Ливан, Крит, Сицилия, Испания.

Стихотворение можно воспринимать в трех планах: как обычный рассказ о наступлении сумрака над планетой; как рассказ о приближении вечера жизни (старости) и, наконец, как ощущение неумолимого бега времени, не щадящего ни людей, ни целых культур.

Перевод И. Кашкина опубликован впервые в журнале «Знамя», 1936, № 8, и вошел затем в кн.: М. Зенкевич и И. Кашкин. Поэты Америки. XX век. М., 1939. Стихотворение также переводил Э. Шустер («Ты, Эндрю Марвелл». Поэзия США. М., 1982).

EMPIRE BUILDERS. СТРОИТЕЛИ ИМПЕРИИ

Стихотворение является пятой главой цикла *Frescoes for Mr. Rockefeller's City*, опубликованного в 1933 г.

Незадолго до этого со стен нью-йоркского Рокфеллер-Центра были удалены шесть фресок мексиканского художника Диего Риверы (1886—1957), в которых слишком дерзко и неприглядно был изображен мир капитала с его алчностью и войнами. Маклиш предлагает свои шесть стихотворений в качестве словесных фресок, которые могли бы заменить фреске Риверы.

Первым в сатирической галерее «строителей» американской империи назван Эдвард Генри Гарриман (1848—1909), владе-

лец крупнейших железных дорог «Юнион Пасифик» и «Санта Фе». За ним следует другой железнодорожный магнат — Корнелиус Вандербильт (1794—1877), прозванный коммодором (так называют капитана, управляющего несколькими кораблями; Вандербильт руководил сразу несколькими компаниями). Имена других «строителей» — крупнейшего финансового магната Дж. П. Моргана-отца (1837—1913) и Э. У. Меллона (1855—1937) достаточно известны. Рядом с ними названо имя «короля зубной пасты» Бруса Бартона. Во второй части стихотворения им противопоставлены те, кто действительно открывал новые земли — личный секретарь президента Джефферсона Мериветер Льюис (1774—1809), возглавивший знаменитую экспедицию Льюиса и Кларка, пересекающую весь североамериканский континент (1803—1806).

Перевод М. Зенкевича опубликован впервые в кн.: М. Зенкевич и И. Кашкин. Поэты Америки. XX век. М., 1939.

John Crowe Ransom. Джон Кроу Рэнсом

BLUE GIRLS. ГОЛУБЫЕ ДЕВУШКИ

Опубликовано в сборнике стихов Д. К. Рэнсома *Chills and Fever* (1924).

Традиционная тема быстротечности молодости и красоты (горациевское “*carpe diem*” — «лови мгновение») решается на типичном для американской «академической» поэзии пространстве колледжа (семинарии). Возможно, монолог произносит женщина, которая в последней строфе описывает себя.

Перевод П. Грушко опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

THE EQUILIBRISTS. КАНАТОХОДЦЫ

Опубликовано в сборнике стихов Д. К. Рэнсома *Two Gentlemen in Bonds* (1927).

Рэнсом дает патетическую и в то же время ироническую картину двух пуритан в браке: прекрасная женщина и сильный мужчина стараются охладить и уравновесить свою страсть

соображениями чести и благопристойности. Образы «Песни песней» вступают в конфликт с образами «Новой жизни» Данте. Рэнсом, сам южанин, не скрывает иронического отношения к характерному для старого Юга феодально-рыцарскому взгляду на женщину.

Перевод П. Грушко опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

Allen Tate. Аллен Тейт

THE MEDITERRANEAN. СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Написано в 1932 г. Опубликовано в сборнике стихов А. Тейта *The Mediterranean and Other Poems* (1936).

Летом 1932 г. Тейт с женой в обществе английского писателя Форда Медокса Форда посетил местечко Касси на юге Франции недалеко от Марселя. В память о поездке на лодке по Средиземному морю и написано стихотворение. Но тема стихотворения отнюдь не туристическая, а историософская. Средиземноморье — колыбель европейской цивилизации. Через все стихотворение проходит переключка с «Энеидой» Вергилия. После падения Трои Эней с группой троянцев прибыл к пустынным берегам Средиземного моря, чтобы основать здесь новое царство — будущую великую Римскую империю. Ранее одна из рассерженных гарпий предсказала троянцам, что они не смогут основать город на новой земле, пока их не постигнет такой голод, что им придется есть даже то, на чем подают еду. У Вергилия стоит слово “mensae” — «столы». Тейт заменяет его словами “plate”, “dish”, “bowl”. Пророчание сбывается в кн. VII, ст. 111—129, когда троянцы съедают не только всю пищу, но и хлебные подставки, которые заменяли им столы. Тогда их осеняет, что они находятся в той земле, где им предстоит основать новый город и новое государство. Тейт трижды возвращается к этому мотиву: “...devoured the very Plates Aeneas bore”, “What prophesy of eaten plates could landless wanderers fulfill by the ancient sea?”, “...Eat dish and bowl to take their sweet land in.” Во время трапезы поэт спрашивает себя и своих спутников, какое же новое государство предстоит основать им? И отвечает на этот

вопрос, не без иронии прослеживая путь из Средиземного моря через Гибралтар на запад, к берегам Америки.

Перевод П. Грушко опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

Quem das finem, rex magne, dolorum (лат.)— Какой дашь конец, великий царь, скорбям? Тейт изменил одно слово в этой строке Вергилия («Энеида», кн. I, ст. 241), поставив вместо “labogum” (трусам) “dologum” (скорбям). С этими словами обращается к Юпитеру мать Энея, богиня Венера, спрашивая, когда же кончатся испытания ее сына. В переводе А. Фета эта строка звучит так: «Где ставишь конец трудам ты, великий владыка?». В переводе В. Брюсова: «Какой же предел, царь великий, ты дашь их несчастьям?». Брюсов, как и Тейт, понимает “labogum” — труды — как “dologum” — скорби. Сам А. Тейт так объяснял свою подстановку: «Я сожалею, что неточно процитировал Вергилия в эпиграфе. Я цитировал по памяти и невольно изменил цитату, чтобы выразить то, что я хотел» (*Poet's Choice*. Ed. by P. Engle a.o., N.Y., 1962, p. 41).

ODE TO THE CONFEDERATE DEAD ОДА ПАВШИМ КОНФЕДЕРАТАМ

Над этим стихотворением А. Тейт работал с 1926 по 1936 г. Первый вариант «Оды...» появился в 1927 г. в ежегоднике *The American Caravan*, окончательный текст — в сборнике стихов А. Тейта *Selected Poems* (1936).

Южанин А. Тейт решил воспеть солдат Конфедерации южных штатов, боровшихся против Союза американских штатов в Гражданской войне 1861—1865 гг., но получилось нечто совсем иное. Сам поэт считал главной темой «Оды...» солипсизм, который определял как «философскую доктрину, которая утверждает, что мы создаем мир в процессе его восприятия». Это относится не к солдатам Конфедерации, которые для Тейта были и остаются героями, а к повествователю, лирическому герою «Оды», который выступает символом современного человека, живущего только абстрактными размышлениями, не способного к целенаправленному и, тем более, героическому действию. Этот «умозрительный человек»

уподобляется сначала слепому крабу, а затем ягуару, прыгающему в пруд за собственным отражением.

Суть стихотворения вкратце такова: лирический герой Тейта стоит на кладбище, где похоронены солдаты Конфедерации, и пытается представить, какими они были, что вело их в бой и пр., но вместо этого его сознание фиксирует лишь видимые следы разрушительной работы времени: полустертые надгробные надписи, отбитые конечности гипсовых ангелов и т. д. Все его попытки увидать за сухими листьями, кружащимися на осеннем ветру, пехотинцев Конфедерации кончаются неудачей. Желтые листья, холодный ветер, заброшенное кладбище — единственная доступная его восприятию реальность. Виновато в этом "...mute speculation, the patient curse/That stones the eyes", то есть «немое» абстрактное умствование, тяготеющее над ним тяжелым проклятием и лишающее его возможности преодолеть «видимости» — прах и тление. Заканчивается стихотворение образом змеи, символизирующей всепримиряющее и всепоглощающее время. Таким образом, вместо торжественно-патетической оды героям Конфедерации получилось грустное размышление о современном человеке, не способном не только на героический поступок, но даже не умеющем внутренне сродниться с теми, кого чтит умом.

Перевод В. Топорова печатается впервые. Ранее стихотворение не переводилось.

Zeno and Parmenides — Зенон (ок. 490—430 до н. э.) и Парменид (ок. 540—470 до н. э.), древнегреческие философы, отрицавшие, в противовес Гераклиту, движение и перемены. Их мир Тейт сравнивает с застывшим холодным прудом (the cold pool).

Shiloh, Antietam, Malvern Hill, Bull Run — эти географические названия связаны с самыми известными и кровопролитными сражениями Гражданской войны. Эпоху этих сражений Тейт сравнивает с рассветом и восходом солнца (orient of the thick and fast) и противопоставляет ей современность как "the setting sun".

Stonewall — имеется в виду генерал южан Томас Джексон, прозванный Каменной Стеной; см. также коммент. к стихотворению Дж. Уитгера «Барбара Фритчи»

LAST DAYS OF ALICE. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АЛИСЫ

Вошло в сборник стихов А. Тейта *Poems 1922-1947* (1948).

Изображая героиню книги Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», Тейт дает нам понять, что она сама загипнотизировала себя в искусственном, созданном ее разумом мире (“incest of spirit” — «кровосмешение духа», — так Тейт называет созданное только духом, без участия действительности). Бездушная шахматная логика Зазеркалья набросила «математический саван» (“a mathematical shroud”) на мир. Абсурдный и в то же время логический мир Зазеркалья становится моделью современного западного мира. Лучше вернуться к прежнему, грешному и менее рациональному миру. Название придает стихотворению пророческое апокалиптическое звучание.

Перевод П. Грушко опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

Robert Penn Warren. Роберт Пенн Уоррен

THE CHILD NEXT DOOR. СОСЕДСКИЙ РЕБЕНОК

Опубликовано в сборнике стихов Уоррена *Promises. Poems 1954-1956* (1957).

Перевод О. Чухонцева напечатан в кн.: Поэзия США. М., 1982.

MULTIPLICATION TABLE. ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ

Опубликовано в сборнике Р. П. Уоррена *Tales of Time. Poems 1960-1966* (1967).

Перевод П. Грушко напечатан в кн.: Р. П. Уоррен. Избранное. М., 1982.

Rockefeller Center — группа из четырнадцати зданий, построенных в 1931—1939 гг. в центре Нью-Йорка; там размещены образовательные и развлекательные заведения — т. н. Радио-Сити. См. также коммент. к стихотворению А. Маклиша «Строители империи».

Coney Island — Кони-Айленд, часть Бруклина, развлекательный центр Нью-Йорка

THE WORLD IS A PARABLE. МИР—ЭТО ПРИТЧА

Опубликовано в сборнике Р. П. Уоррена *Incarnations. Poems 1966-1968* (1969) как часть цикла *Wounds of a Soul*.

Перевод О. Чухонцева напечатан в кн.: Поэзия США. М., 1982.

ORIGINAL SIN: A SHORT STORY
ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ В КРАТКОМ ПЕРЕСКАЗЕ

Вошло в книгу Р. П. Уоррена *Selected Poems 1923-1943* (1944).

Первородный грех, изначальное несовершенство человека, его предрасположенность ко злу, наследие Адама и Евы, ослушавшихся божественного запрета (Бытие, 3:3—19). В стихотворении Р. П. Уоррена первородный грех ("it") изображен как личный невроз, как комплекс, преследующий героя на протяжении всей его жизни—ср. с образом Недотыкомки в романе «Мелкий бес» и в стихах русского писателя Ф. Сологуба.

Словосочетание «в кратком изложении» скорее всего следует понимать в ироническом смысле: история взаимоотношения героя с "it" длится всю его жизнь и окончится, судя по всему, только с его смертью.

Перевод П. Грушко опубликован в кн.: Р. П. Уоррен. Избранное. М., 1982.

the abstract Jew—очевидно, имеется в виду Агасфер, герой средневековых сказаний, обреченный на вечные скитания по земле

Walter Lowenfels. Уолтер Лоуэнфелс

"WHEN THE SPACE-TRACKERS IN TEXAS..."
«КОГДА НА СТАНЦИИ СЛЕЖЕНИЯ В ТЕХАСЕ...»

Стихотворение вошло в книгу Лоуэнфелса *The Portable Walter* (1965).

Перевод А. Сергеева впервые опубликован в «Литературной газете» от 20 июля 1973 г. Ранее стихотворение переводил В. Рогов «Иностранная литература», 1961, № 9, под названием

«Новый полет Леонардо». Стихотворение посвящено полету Ю. Гагарина.

I BELONG. ПРИЧАСТНОСТЬ

Стихотворение вошло в книгу У. Лоуэнфелса *The Portable Walter* (1965).

Перевод В. Рогова опубликован в качестве пролога к кн.: У. Лоуэнфелс. Стихи и публицистика. М., 1977.

MESSAGE FROM BERT BRECHT. УРОК БРЕХТА

Стихотворение вошло в книгу У. Лоуэнфелса *The Portable Walter* (1965).

Перевод В. Рогова опубликован в кн.: У. Лоуэнфелс. Стихи и публицистика. М., 1977.

Langston Hughes. Ленгстон Хьюз

BRASS SPITTOONS. МЕДНЫЕ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ

Впервые опубликовано в журнале *New Masses* (Dec. 1926). Вошло в сборник стихов Л. Хьюза *Fine Clothes to the Jew* (1927).

Стихотворение переводили Ю. Анисимов («Интернациональная литература», 1934, № 5; Р. Магидов (в кн.: Антология негритянской поэзии. Сост. и пер. Р. Магидов. М., 1936); Е. Клузов («Московский комсомолец» от 4 февраля 1960 г.).

Перевод М. Зенкевича опубликован впервые в кн.: М. Зенкевич и И. Кашкин. Поэты Америки. XX век. М., 1939.

Palm Beach — модный курорт в штате Флорида

PORTER. ПОРТЬЕ

Опубликовано впервые в сборнике стихов Л. Хьюза *Fine Clothes to the Jew*, N.Y., 1927.

Перевод М. Зенкевича опубликован впервые в кн.: М. Зенкевич и И. Кашкин. Поэты Америки. XX век. М., 1939. Другие переводы: Ю. Анисимова (в кн.: Л. Хьюз.

Здравствуй, революция. М., 1933, под названием «Коридорный»); В. Васильева (в кн.: Л. Хьюз. Избранные стихи. М., 1960, и в кн.: Л. Хьюз. Избранные стихи. М., 1964, под названием «Позвольте, сэр»).

LIFE IS FINE. ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

Опубликовано впервые в сборнике стихов Л. Хьюза *One Way Ticket* (N.Y., 1949).

Перевод В. Британишского опубликован впервые в журнале «Иностранная литература», 1956, № 10.

Ogden Nash. Огден Нэш

Публикуемые здесь переводы четырех стихотворений О. Нэша И. Комаровой впервые напечатаны в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

PORTRAIT OF THE ARTIST AS A PREMATURELY OLD MAN ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СТАРОСТИ

Стихотворение вошло в сборник стихов О. Нэша *Verses from 1929 On* (1959). Название пародирует название романа Дж. Джойса *A Portrait of the Artist as a Young Man* (1916).

Billy Sunday — Уильям Эшли Санди (1863—1935), американский бейсболист, ставший потом популярным религиозным проповедником.

NATURE KNOWS BEST. ПРИРОДЕ ВИДНЕЕ

Стихотворение вошло в сборник *Verses from 1929 On*.

Rip van Winkle — Рип ван Винкль, герой одноименной новеллы американского писателя Вашингтона Ирвинга, проспавший около двадцати лет

DON'T GRIN, OR YOU'LL HAVE TO BEAR IT НЕ УХМЫЛЯЙСЯ — СЕБЕ ДОРОЖЕ!

Стихотворение вошло в сборник *Verses from 1929 On*.

INTER-OFFICE MEMORANDUM
МЕМОРАНДУМ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Стихотворение вошло в сборник *Verses from 1929 On.*

Wystan Hugh Auden. Уистан Хью Оден

“O WHERE ARE YOU GOING...”. «КУДА ТЫ...»

Опубликовано в сборнике стихов Одена *The Orators* (1932).

Даже неискушенный читатель заметит в нем продолжение традиций Льюиса Кэрролла. Оден составил в 1930 г. антологию *The Oxford Book of Light Verse*, где под номером 209 мы найдем стихотворение *The Cutty Wren*, начинающееся так: “O where are you going, says Milder to Malder...”. Оно и послужило основой для данного стихотворения. Virtuозная игра аллитераций не должна отвлечь внимания от основной идеи: если отправляешься в путь—в прямом и переносном смысле—надо оставлять страхи и сомнения дома. В сущности это диалог с самим собой, потому что каждый “rider” в других обстоятельствах—“reader”, а в каждом «путешественнике» (“fager”) скрывается порой и “feager” («тот, кто боится»—неологизм Одена). В последней строфе этот единый в трех своих ипостасях—“rider”, “fager”, “heager”—герой решительно отвечает одолевающим его сомнениям и покидает дом страха.

Перевод В. Топорова печатается впервые. Стихотворение переводила также А. Михальская в кн.: Г. Э. Йонкис. Английская поэзия XX века. М., 1980.

WHO'S WHO. КТО ЕСТЬ КТО

Опубликовано в сборнике стихов Одена *Look, Stranger* (1936).

Who's Who—так называются ежегодные биографические справочники, выпускаемые в Англии и США. Здесь заглавие надо понимать в смысле краткой биографии знаменитости. В стихотворении противопоставлены знаменитая личность и простой человек, обыкновенная женщина, которую герой стихотворения любил всю жизнь. Симпатии Одена на стороне этой ничем не прославившей себя женщины.

Перевод П. Грушко впервые был напечатан в «Литературной газете» от 22 декабря 1982 г. за подписью Г. Павлов.

MUSÉE DES BEAUX ARTS
В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Впервые опубликовано в журнале *New Writing* (Spring, 1939), затем вошло в сборник стихов Одена *Another Time* (1940).

Зиму 1938 г. Оден провел в Брюсселе, где посещал Королевский музей изобразительных искусств. Французское название музея и стало заголовком стихотворения. В первой половине его описываются детали картин Брейгеля «Перепись в Вифлееме» и «Избиение младенцев», вторая посвящена картине Брейгеля «Падение Икара». Разглядывая картины Брейгеля, поэт стремится понять причины безразличия людей к страданиям ближних. Но так как ближний в данном случае Икар, дерзнувший подняться на скрепленных воском крыльях к солнцу, то стихотворение обретает второй смысл — безразличие окружающих к творческой личности.

Перевод П. Грушко опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

LULLABY. КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Опубликовано в сборнике стихов Одена *Another Time* (1940).

Тема стихотворения — хрупкость и незащищенность любви и не только от внешних причин. Уже во второй строке поэт называет свою руку, на которой покоится спящая возлюбленная, «предать готовой». Требуется комментария и вторая строфа. Ее смысл: неразделимость, родственность наслаждений тела и восторгов духа. Любовникам Венера посылает видение всеобщей любви и надежды, а святые отшельники среди скал переживают экстаз, сравнимый с воодушевлением влюбленных.

Перевод П. Грушко печатается впервые. Ранее стихотворение не переводилось.

IN MEMORY OF W. B. YEATS. ПАМЯТИ У. Б. ЙЕЙТСА

Опубликовано в журнале *New Republic* (March 8, 1939), затем вошло в сборник *Another Time* (1940).

Элегия памяти крупнейшего ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса (1865—1939) уже давно стала одним из самых хрестоматийных произведений Одена. В первом разделе этого своеобразного триптиха Оден стремится отделить брэнную, смертную «часть» поэта от нетленной и бессмертной — его стихов, которые начинают независимую от творца жизнь в сознании и душах читателей. Последний третий раздел ритмически восходит к частям V и VI одного из последних стихотворений Йейтса *Under Ben Bulbin*. Оден дает выразительную характеристику атмосферы в Европе накануне второй мировой войны, начавшейся спустя семь месяцев после кончины Йейтса. В последних трех строфах Оден выражает свои мысли о назначении поэта и поэзии.

Перевод А. Эппеля опубликован в кн.: Западноевропейская поэзия XX века. М., 1977.

Paul Claudel — Поль Клодель (1868—1955), французский католический драматург и поэт. Наряду с Киплингом упоминается как представитель консервативных взглядов.

THE UNKNOWN CITIZEN. НЕИЗВЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН

Опубликовано впервые в журнале *Listener* (Aug. 3, 1939) и вошло затем в сборник стихов Одена *Another Time* (1940).

По аналогии с памятниками Неизвестному солдату Оден создает сатирический портрет-памятник среднестатистического гражданина «общества потребления». Вместо имени гражданин имеет сложный кодовый номер из букв и цифр.

Перевод П. Грушко опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

SEPTEMBER 1, 1939. 1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА

Опубликовано впервые в журнале *New Republic* (Oct. 18, 1939) и вошло затем в сборник стихов Одена *Another Time* (1940).

Поэт, живший в это время в Америке, размышляет над причинами второй мировой войны, которая началась 1 сен-

тября 1939 г. нападением Германии на Польшу. Часть ответственности за путь, по которому пошла Германия, Оден возлагает на отца немецкой Реформации Мартина Лютера, который, напоминая он, упразднил авторитет духовных властей и поднял роль государства и его светских владык, будущих неограниченных диктаторов. В австрийском городе Линце прошло детство Гитлера, и в этом городе в марте 1938 г. было принято соглашение о присоединении Австрии к Германии («Аншлюс»).

Критикуя западные демократии за неспособность дать отпор фашизму, поэт напоминает о критике демократии, которую дал в своей «Истории» (кн. III, гл. 82—83) греческий историк Фукидид (см.: Фукидид. История. Л., «Наука», 1981, с. 147—149). Поэт предсказывает, что Америка, страна, в которой он находится (“this neutral air”), под любыми предложениями будет откладывать свое прямое участие в войне (“each language pours its vain competitive excuse”). Поэт чувствует свою личную ответственность за судьбу Европы и воспринимает случившееся как личную трагедию. Предпоследняя строфа стихотворения кончается строкой, которая получила огромную известность: “We must love each other or die.” Тем не менее уже в 1945 г., готовя собрание своих стихов *Collected Poems*, Оден выбросил всю эту строфу. Вот как он сам объяснял свое решение: «Перечитывая свое стихотворение «1 сентября 1939 года», я дошел до строки «Мы должны любить друг друга или умереть» и сказал себе: «Но это явная ложь! Мы должны умереть в любом случае». Поэтому в следующем издании я переделал эту строку: “We must love each other and die.” Но и это было не то, и пришлось вычеркнуть строфу целиком. Все равно нехорошо. Я понял, что все стихотворение заражено неизлечимой нечестностью и должно быть выброшено». (См. предисловие Одена к кн.: В. Bloomfield. *W. H. Auden: a Bibliography*. N.Y., 1964, р. VIII). Так Оден отказался от одного из самых, пожалуй, известных своих стихотворений, исключив его даже из наиболее полного собрания *Collected Shorter Poems* (N.Y., 1967). Тем не менее оно продолжает переиздаваться в десятках антологий английской и американской поэзии. Его уже невозможно вычеркнуть из литературного процесса и из истории англоязычной поэзии XX в.

Перевод А. Сергеева опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

imago— так врачи-психоаналитики называют подсознательный детский образ родителя или другого носителя авторитета, который продолжает жить во взрослом человеке, деформируя его психику

What mad Nijinsky wrote...— имеются в виду следующие слова из «Дневника» русского балетного танцовщика Вацлава Нижинского (1889—1950): «Некоторые политические деятели—такие же лицемеры, как Дягилев, который не хочет всеобщей любви, а хочет, чтобы любили только его одного». (*Diary of Vaslav Nijinsky*. N.Y., 1936, p. 27). Вторую половину жизни Нижинский был психически болен (отсюда: “mad Nijinsky”).

IN PRAISE OF LIMESTONE. ХВАЛА ИЗВЕСТНЯКУ

Опубликовано впервые в журнале *Horizon* (July, 1948) и вошло в сборник стихов Одена *Nones* (1951).

Размышление о соотношении между пейзажем и характером человека: граниту соответствуют непреклонные святые, гальке и глине—диктаторы и их подданные, морской стихии—отчаянные смельчаки, известняку же соответствуют простодушные и влюбленные: вода делает с известняком все, что хочет. Напрашивается сопоставление «Хвалы известняку» с «Грифельной одой» О. Мандельштама.

Перевод А. Сергеева впервые опубликован в кн.: Западно-европейская поэзия XX века. М., 1977.

THE SHIELD OF ACHILLES. ЩИТ АХИЛЛА

Опубликовано впервые в журнале *Poetry* (Oct., 1952) и вошло затем в сборник стихов Одена, названный по этому стихотворению: *The Shield of Achilles* (1955).

Т. С. Элиот создал технику показа и критики современности через сопоставление ее с античными мифологическими или историческими образами («Суини среди соловьев»— *Sweeney among the Nightingales*, 1918; «Бесплодная земля»— *The Waste Land*, 1922). У. Х. Оден свободно пользуется этой техникой в своем стихотворении. Подробное описание изготовления Ге-

фестом щита для Ахилла находится в песне XVIII «Илиады» Гомера. У Одена Гефест тоже кует щит для Ахилла, но богиня Фетида, мать Ахилла, которая стоит рядом и смотрит через плечо бога-кузнеца на его работу, видит, к своему ужасу и возмущению, совсем не те картины, которых она ждет. Гефест изображает на щите Ахилла не античный, а современный западный мир: армию XX в., концлагерь, в котором казнят узников (через детали казни проступает символика распятия: три столба напоминают о трех крестах Голгофы), и, наконец, вместо атлетов-дискоболов — несовершеннолетние преступники. А в виде иронического утешения поэт сообщает, что этот щит будет не долго хранить жизнь Ахилла.

Перевод В. Топорова печатается впервые. Перевод П. Грушко впервые опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

John Berryman. Джон Берримен

Переводы В. Британишского опубликованы в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

SEPTEMBER 1, 1939. 1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА

Опубликовано в сборнике Дж. Берримена *Poems* (1942).

Вторую мировую войну, начавшуюся нападением Германии на Польшу, поэт представляет иносказательно как борьбу геральдических зверей. Медведь (герб Берлина) символизирует Германию, Орел (польский герб) — Польшу, а звери — остальные государства Западной Европы, в частности, Англию и Францию, пытавшихся задобрить «медведя» в Мюнхене.

SONNET 17. СОНЕТ 17

Опубликован в сборнике *Berryman's Sonnets* (1967).

DREAM SONG 125. ПЕСНЯ-ФАНТАЗИЯ 125

DREAM SONG 203. ПЕСНЯ-ФАНТАЗИЯ 203

Опубликованы в сборнике Дж. Берримена *His Toy, His Dream, His Rest. 308 Dream Songs* (1968).

Randall Jarrell. Рэндалл Джаррелл

LOSSES. ПОТЕРИ

Опубликовано впервые в сборнике стихов Р. Джаррелла *Little Friend, Little Friend* (1945) и дало название следующему сборнику его стихов *Losses* (1948), куда тоже было включено.

Довольно сложное для понимания стихотворение о невозможности ощутить смерть, как подлинно твою, за тобой пришедшую. Курсанты, товарищи рассказчика, гибли еще до боевых действий, во время тренировочных полетов. Но ведь эти смерти нельзя было воспринимать как настоящую смерть: настоящая смерть — в бою, на войне. Наконец, подразделение посылают на фронт, и летчики гибнут уже в небе над Европой. Все равно рассказчика не покидает ощущение, что это нелепые несчастные случаи, а не настоящая боевая смерть. Наконец, когда к нему приходит его собственная смерть, он слышит во сне голоса городов, которые он сжигал дотла, и впервые начинает понимать, что предстоящая ему смерть заслужена им. Города говорят о себе в единственном числе: “but why did I die”, потому что каждый город неповторим, как человек.

Перевод А. Сергеева опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

The wrong page of the Almanac — имеется в виду *The Air Almanac* — справочник по звездной аэронавигации (до появления радаров летчики ориентировались по звездам, и ошибка в вычислениях могла привести к гибели)

THE DEATH OF THE BALL TURRET GUNNER
СМЕРТЬ СТРЕЛКА-РАДИСТА

Опубликовано в сборнике стихов Р. Джаррелла *Little Friend, Little Friend* (1945).

Это знаменитое стихотворение сжимает до пяти строк историю жизни и смерти летчика-стрелка. Каждая строка содержит метафору. По форме это эпитафия, подобная тем, которые составили «Антологию Спун-Ривер» Э. Ли Мастерса, но как отличаются образные системы двух поэтов! Герой Джаррелла не просто рождается на свет: из материнского лона

он выпадает в лоно государства с определенными законами и порядками. Он съживается в этом холодном лоне, но все равно замерзает. Вся жизнь до армии, до последнего предсмертного полета, сравнивается со сном во чреве государства. Пробуждение приходит на высоте шести миль, когда по его самолету бьют вражеские зенитки и бомбардировщики. После смерти, поскольку командир все-таки посадил самолет, следы крови стрелка-радиста смывают в пулеметной башне (турели) шлангом. Шланг напоминает по форме пуповину, и это возвращает нас к образам начала стихотворения, к материнскому лону.

В примечании (в сб. *Selected Poems*. N.Y., 1964) Джаррелл сообщает, что сферические турели устанавливались на бомбардировщиках Б-17 и Б-24 ("A ball turret was a plexiglass sphere set into the belly of B-17 or B-24").

Перевод Р. Сефа опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

THE ORIENT EXPRESS. ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

Опубликовано в сборнике стихов Р. Джаррелла *The Seven-League Crutches* (1951).

Перевод Р. Сефа опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

Robert Lowell. Роберт Лоуэлл

THE QUAKER GRAVEYARD IN NANTUCKET КВАКЕРСКОЕ КЛАДБИЩЕ В НАНТАКЕТЕ

Опубликовано в сборнике стихов Р. Лоуэлла *Lord Weary's Castle* (1946).

В январе 1944 г. во время взрыва на эскадренном миноносце *Turner* в районе пролива Лонг-Айленд погиб двоюродный брат Лоуэлла лейтенант Уоррен Уинслоу. Тело его не было найдено, но южнее Бостона на квакерском кладбище на острове Нантакет лейтенанту Уинслоу был поставлен кенотаф (cenotaph), то есть символический надгробный памятник, без захоронения тела.

Остров Нантакет в американской культуре связан с романом Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит» (1851). Именно оттуда отправился на ловлю белого кита капитан Ахав (Ahab) на корабле «Пекод» (*Pequod*). И Ахав и «Пекод» не раз будут упомянуты Лоуэллом.

Уточним географию стихотворения. Южнее Бостона далеко выступает в Атлантический океан полуостров Кейп Код («Мыс трески»). На юго-западе этого полуострова находится город Вудс Хоул (Woods Hole), упоминаемый в пятой части стихотворения. Южнее полуострова Кейп Код лежат два острова — Мартас Виньярд (Martha's Vineyard — букв. Виноградник Марфы) и Нантакет. На острове Нантакет расположены два города, упоминаемых Лоуэллом — Мадакет (Madaket) и Сконсет (точнее, Сайасконсет — Siasconset). Теперь, зная географию стихотворения, обратимся к его истории. Остров Нантакет издавна был центром китобойного промысла. Квакеры — противники войн — были однако неутомимыми истребителями китов. Оправдание они находили, может быть, в словах Библии, избранных Лоуэллом в качестве эпиграфа к стихотворению (Бытие, 1:26): «сам Господь поставил человека владыкой над рыбами морскими и птицами небесными». И последнее предварительное замечание: два больших отрывка стихотворения (первые 12 строк и почти вся шестая часть — *Our Lady of Walsingham*) являются переложением в стихи двух прозаических текстов других авторов — начало представляет собой поэтический перифраз из первой главы книги Генри Торо *Cape Cod*, а пятая часть перефразирует несколько абзацев из книги Э. Уоткина «Католическое искусство и культура» (E. Watkin. *Catholic Art and Culture*. L., 1942).

Стихотворение сложно по языку. Лоуэлл охотно использует в нем редкие и малоупотребительные слова. Но не менее сложно стихотворение по композиции и по мысли.

Начнем с названия. Уоррен Уинслоу не был квакером и оказался на их кладбище случайно: его корабль взорвался недалеко от острова Нантакет. Но Лоуэлл воспользовался этим случайным обстоятельством и построил стихотворение на сопоставлении двух преступлений человека, а именно: истребление китов квакерами и истребление цивилизованными народами друг друга в мировых войнах (сам Лоуэлл отказался

участвовать во второй мировой войне, так как, по его мнению, американские летчики бомбили гражданское население Европы. За отказ от призыва он отбыл тюремный срок. Разумеется, оправдать этот поступок Лоуэлла невозможно: мы не имеем права забывать, что шла война с фашизмом. Впоследствии и сам поэт будет сожалеть о своей пацифистской позиции тех лет). И в истреблении китов, и в истреблении людей Лоуэлл видит проявление одного и того же духа капиталистической наживы (Лоуэлл разделял теорию немецкого социолога Макса Вебера (1864—1920), согласно которой капитализм является порождением протестантской этики. Сам поэт родился и вырос в протестантской (кальвинистской) семье, но в 1940 г. перешел в католицизм. В период написания «Квакерского кладбища» он был ревностным католиком, однако в начале 50-х годов отошел и от католицизма.

В первой части стихотворения Лоуэлл пытается представить, как тело его погибшего кузена было выловлено, снабжено грузом и затем снова отправлено назад, на съедение акулам. Лира Орфея не вернет его с того света, только хриплый военный салют почтит эту бессмысленную смерть. Во второй части дается картина беспокойного бурного моря и оплакивание природой погибших людей (эта часть, пожалуй, единственная, сближающая «Квакерское кладбище» с традиционными элегиями типа «Лисидаса» Д. Мильтона или «Адонаиса» П. Б. Шелли). В третьей части всякая смерть на море осмысливается, как возмездие. Китобой-квакеры отождествляли житейский успех (богатство) с благоволением божьим и богоизбранностью и поэтому даже в момент гибели не могли понять причин божьего гнева. Четвертая и пятая части тематически связаны с образами «Моби Дика» Мелвилла, но охота на кита переосмысливается, как охота на бога и разрушение установленного им миропорядка. Пятая часть, пожалуй, самая выразительная: это картина гибели мира, залитого разлагающимися внутренностями китов. Гарпун капитана Ахава сливается в одно с копьем, пронзившим распятого Христа. Слова "hide our steel, Jonas Messias, in Thy Side" представляют образец сложного языка Лоуэлла. Смысл их ясен: это обращение к Христу с молитвой взять на себя грехи людей, но откуда это странное сочетание Jonas Messias? Пророк Иона находился три дня и

три ночи во чреве кита. Столько же времени прошло между распятием и воскресением Христа (Евангелие от Матфея, 12:40): «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи».) Таким образом, Jonas Messias—это одновременно и убиваемый кит, и распинаемый бог.

Шестая часть резко отличается от всех остальных по своему умиротворенному тону. Но трудно связать храм богоматери в английском местечке Уолсингем (графство Норфолк) и судьбы американских китобоев-квакеров. Для Лоуэлла безмятежность и всепонимание богоматери—единственная альтернатива неистовствам человека. И, наконец, в последней части мы переносимся к кенотафу Уоррена Уинслоу и одновременно видим весь Атлантический океан как огромное кладбище затонувших китобоев и моряков. Последняя строка требует особого внимания. Буквально она означает: «Господь переживет радугу своего завета».

Лоуэлл имеет в виду библейский рассказ (Бытие, 9:11—17) о том, как в знак окончания всемирного потопа бог возвел радугу на небе: «Поставлю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли».

Таким образом, последняя строка стихотворения означает, что бог может отменить, упразднить радугу завета, и всемирный потоп снова зальет мир, и снова спасутся только немногие. Таким суровым и беспощадным предсказанием заканчивает Лоуэлл свое стихотворение.

Оно воскрешает в нашей памяти некогда знаменитую поэму Майкла Уиглсворта (1631—1705) «День Страшного суда» (см. о ней в Предисловии, с. 24). Правда, обычно финал «Квакерского кладбища» толкуется более смягченно: Господь не оставит людей даже тогда, когда упразднит радугу своего завета с ними (в русле такого толкования сделан и перевод А. Парина).

В стилистическом отношении поэма Лоуэлла—результат его учебы у двух признанных мастеров затрудненного поэтического языка—Аллена Тейта, автора «Оды павшим конфедератам» и Джона Кроу Рэнсома, автора «Канатоходцев». Но ученик превзошел учителей.

И последнее: в стихотворении католика Лоуэлла нет милосердия и жалости ни к своему кузену У. Уинслоу, ни, тем более, к квакерам-китобоям. Наоборот, стихотворение, как это ни парадоксально, проникнуто духом кальвинистской (пуританской) суровости и нетерпимости. Безжалостной элегией можно назвать «Квакерское кладбище», законченное весной 1945 г. и предрекающее новый «всемирный потоп» за несколько месяцев до первых атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Знакомство с этим одним из самых известных антивоенных произведений Лоуэлла будет иметь определенную познавательную ценность для наших читателей.

Перевод А. Парина опубликован в кн.: Р. Лоуэлл. Избранное. М., 1982.

IS—это загадочное слово скорее всего третье лицо единственного числа от глагола *to be*, в смысле обобщенного живого бытия; слова “*the whited monster*” относятся к белому киту Моби Дику.

Clamavimus (*лат.*)—взываем (*ср.* “*De profundis clamavi ad te Domini*”—«Из глубины взываю к тебе, Господи», начало 129 псалма)

Mast-lashed master of Leviathan—в этом образе слились воедино гарпунщик Тэштиго из «Моби Дика» Мелвилла, привязанный к мачте Одиссей, слушающий сирен, и распятый на кресте Христос

Jehoshaphat—место Страшного суда (в кн. Пророка Иоила, гл. III, ст. 12: «Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду»)

Jonas Messias—здесь слиты воедино кит, проглотивший Пророка Иону (кн. Пророка Ионы, гл. II, ст. I—II), сам Иона и Христос (см. коммент. выше).

Shiloah—Силоам, святилище в Палестине, в котором находился ковчег завета

Sion—холм, на котором стоял Иерусалимский храм; позже—синоним всего города Иерусалима

Non est species, neque decor (лат.)— «Нет в нем ни вида, ни величия» — слова пророка Исайи о грядущем господе (кн. Пророка Исайи, 52:2)

SKUNK HOUR. ЧАС СКУНСА

Стихотворение начато в середине августа и закончено в середине сентября 1957 г. Опубликовано в сборнике стихов Р. Лоуэлла *Life Studies* (1957). Посвящено известной американской поэтессе Элизабет Бишоп (род. 1911).

Все вплоть до малейших деталей в этом стихотворении строго обдуманно и взвешено, все подчинено одной цели: показать деградацию маленького приморского поселка (деревни). Сначала даются характеристики трех обитателей поселка (кстати, все они одиноки), затем повествователь говорит о себе, и в последних двух строфах появляется мамаша-скунс с целым выводком маленьких скунсов.

Разберем, как строит Лоуэлл портрет первого персонажа — пожилой «наследницы-отшельницы». Уже в этих двух словах есть ироническое противоречие: отшельник не может и не должен что-либо получать в наследство. Она имеет руку и в духовной (сын — епископ) и в мирской сфере (ее арендатор — большая шишка в поселке), она по-старомодному разводит овец и живет в скромном спартанском домике, но все это ничего не значит, потому что «отшельница» уже впала в детство, то есть выжила из ума. Далее рассказывается, что она скупает окрестные постройки, которые мешают ей, как соринки в глазу, и велит сносить.

Был другой местный богач, похожий на ходячий манекен-каталог фирмы Л. Л. Бина, торгующей спортивными и курортными товарами, но его больше нет. Третий же обитатель, по профессии декоратор, создает из рыболовных сетей и сапожно-го инвентаря никому не нужные композиции. Затем рассказчик переходит к себе, и выясняется, что он не совсем «в порядке». Он выслеживает любовные парочки и наблюдает за ними. И тут появляются скунсы — хоть что-то не свихнувшееся, не болезненное; скунс — довольно обычный зверек в Новой Англии. Только скунсы с их естественными инстинктами (утоление голода, продолжение рода и т. д.), бесстрашные и сплоченные, дают лирическому герою этого стихотворения

силы жить дальше. Час скурса — глубокая ночь, и в то же время для рассказчика это час прозрения первичных ценностей и потребностей жизни.

Перевод В. Британишского опубликован в кн.: Р. Лоуэлл. Избранное. М., 1982. Ранее стихотворение перевела Т. Глушкова в кн.: Современная поэзия США. М., 1975.

one dark night — эти слова, по мысли Лоуэлла, должны вызвать у читателя ассоциацию с названием известного стихотворения испанского поэта и философа-мистика Сан Хуан де ла Крус (1542—1591) «Темная ночь души»

Tudor Ford — шутовое название автомобиля с двумя дверцами (two-door Ford)

I myself am hell — слова Сатаны из «Потерянного рая» Мильтона (кн. IV, ст. 75): “Which way I fly is hell; myself am hell.”

JULY IN WASHINGTON. ИЮЛЬ В ВАШИНГТОНЕ

Опубликовано в сборнике стихов Р. Лоуэлла *For the Union Dead* (1964).

Поэт находится в столице, на берегу реки Потомак, может быть, в день главного праздника американцев — 4 июля (день подписания Декларации независимости в 1776 г.). Город Вашингтон по планировке своих улиц похож на расходящиеся круги, перерезанные спицами: острия этих спиц касаются больных мест земли (имеются в виду развивающиеся и колониальные страны). Зелень кажется первым предвестием будущих зарослей, которые поглотят когда-нибудь столицу (“equatorial backland that will inherit the globe” — снова мысли о развивающихся экваториальных странах и их будущем величии). Кольца городских улиц вызывают ассоциации с кругами ада (отсюда и “sulphurous wave” в Потомаке: сера по традиции связывается с представлением об аде). За этими кругами поэт хочет увидеть горные кряжи, то есть пейзаж дантевского чистилища.

Перевод А. Сергеева опубликован впервые в журнале «Иностранная литература», 1967, № 3. Стихотворение переводил также М. Зенкевич (в кн.: Американские поэты. В переводах М. Зенкевича. М., 1969).

THE LESSON. УРОКИ

Опубликовано в сборнике стихов Р. Лоуэлла *For the Union Dead* (1964).

Перевод А. Вознесенского был впервые опубликован в журнале «Иностранная литература», 1970, № 3. В 1978 г. в сборнике стихов А. Вознесенского «Соблазн» было опубликовано его стихотворение «Частное кладбище», посвященное памяти Р. Лоуэлла, скончавшегося в 1977 г. Приводим это стихотворение.

ЧАСТНОЕ КЛАДБИЩЕ

Памяти Р. Лоуэлла

Ты проходил переделкинскую калиткой,
голову набок, щекою прижавшись к плечу —
как прижимал недоступную зрению скрипку.
Скрипка пропала. Слушать хочу!

В домик Петра ты вступал близоруко.
Там на двух метрах зарубка, как от топора.
Встал ты примериться под зарубку —
встал в пустоту, что осталась от роста Петра.

Ах, как звенит пустота вместо бывшего тела!
Новая тень под зарубкой стоит.
Клены на кладбище облетели.
И недоступная скрипка кричит.

В чаще затеряно частное кладбище.
Мать и отец твои. Где же здесь ты?..
Будто из книги вынули вкладыши,
и невозможно страничку найти.

Как тебе, Роберт, в новой пустыне?
Частное кладбище носим в себе.
Пестик тоски в мировой пустоте,
мчащийся мимо, как тебе имя?
Прежнее имя, как платье, лежит на плите.

Вот ты и вырвался из лабиринта.
Что тебе тень под зарубкой в избе?
Я принесу пастернаковскую рябину.
Но и она не поможет тебе.

FOR THE UNION DEAD. ПАВШИМ ЗА СОЮЗ

Опубликовано в сборнике стихов Р. Лоуэлла *Life Studies* (1959), а затем дало название следующему сборнику стихов Лоуэлла *For the Union Dead* (1964), куда тоже включено. В обоих сборниках это стихотворение поставлено последним, в качестве своеобразного эпилога.

Название восходит к знаменитому стихотворению А. Тейта *Ode to the Confederate Dead*. Лоуэлл как бы противопоставляет оде павшим за Конфедерацию свою оду павшим за Союз (о Конфедерации и Союзе см. также выше, коммент. к стихотворению Уиттьера «Барбара Фритчи»).

Бостон — не только родной город Лоуэлла и столица штата Новой Англии — Массачусетса. Бостон — старейший культурный центр страны; в пригороде Бостона находится Гарвардский университет. Показывая упадок и деградацию Бостона, Лоуэлл скорбит об утрате всего лучшего, что было в стране.

Стихотворение открывается картиной заброшенного аквариума с выбитыми стеклами: жизнь рыб никого не интересует теперь. Бронзовая треска-флюгер потеряла половину своей чешуи (изображение трески — официальная эмблема штата Массачусетс). Памятник полковнику Шоу и его солдатам торчит, как рыба кость, в горле города. Аквариум опустел, но зато по улицам скользят похожие на гигантских рыб (акул) автомобили. Наиболее зловещий образ — похожие на динозавров хрюкающие экскаваторы, которые роют новый подземный гараж для все тех же акул-автомобилей и подкапываются под памятник полковнику Шоу. Рассказ о полковнике и его солдатах занимает центральное место в стихотворении. В 1863 г., в разгар Гражданской войны, решено было создать первый в истории Америки негритянский полк. Правда, командовали им белые офицеры во главе с 25-летним полковником Шоу. В первом же бою почти половина солдат и две трети офицеров, включая Шоу, погибли. Спустя тридцать с

лишним лет, в 1897 г. в Бостоне был открыт бронзовый памятник полковнику Шоу и его солдатам работы известного скульптора Огастеса Сент-Годенса (1848—1907). На открытии памятника выступил с речью известный философ Уильям Джеймс. От истории Лоуэлл переходит к современности: почему-то в Бостоне нет памятников американцам, погибшим во второй мировой войне. Зато в витринах можно увидеть рекламу сейфов фирмы Мослер, на которой сейф изображен невредимым на фоне атомного взрыва в Хиросиме: если деньги в хорошем сейфе, им не страшна даже атомная бомба,—внушает фотография, своеобразный «памятник» второй мировой войне и Хиросиме. Изможденные лица негритянских детей, показываемых по телевидению, возвращают нас к полковнику Шоу и его солдатам: прошло почти сто лет после Гражданской войны, а расовая проблема так и не решена. Вместо служения республике (*Servare Rem Publicam*—из латинского эпитафия к стихотворению) теперь царит сервильность (*servility*).

Перевод В. Топорова опубликован в кн.: Р. Лоуэлл. Избранное. М., 1982. Ранее стихотворение переводил М. Зенкевич (в кн.: Современная американская поэзия, М., 1975).

Relinquunt Omnia Servare Rem Publicam (*лат.*)—Оставили все, чтобы отдать себя служению республике (надпись на памятнике полковнику Шоу, слегка измененная Лоуэллом: на памятнике глагол стоит в единственном числе: *Reliquit omnia*, т. е. «Оставил все...»—Лоуэлл не хочет отрывать Шоу от его солдат)

Theodore Roethke. Теодор Ретке

DOLOR. ПЕЧАЛЬ

Опубликовано в сборнике стихов Т. Ретке *The Lost Son and Other Poems* (1948).

Испанское слово “*dolor*” означает не только «печаль», «скорбь», но и «боль». Это стихотворение о скуке и томительности бытия. Центральный образ—мельчайшая, как мука, пыль, которая лежит и накапливается на всем, даже на человеческих лицах.

Перевод Р. Сефа опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

МУ PAPA'S WALTZ. ВАЛЬС МОЕГО ПАПЫ

Опубликовано впервые в сборнике стихов Т. Ретке *The Lost Son and Other Poems* (1948).

Перевод Ю. Мориц опубликован в сб.: Современная американская поэзия. М., 1975.

THE SMALL. МЕЛЬЧАЙШЕЕ

Вошло в сборник стихов Т. Ретке *Words for the Wind* (1958).

Перевод Ю. Мориц опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

THE WAKING. ПРОБУЖДЕНИЕ

Опубликовано в сборнике стихов Т. Ретке *Words for the Wind* (1957) в разделе "Short Poems 1951-1953", что позволяет сравнительно точно определить время его создания.

Перевод Р. Сефа опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

Gwendolyn Brooks. Гвендолин Брукс

THE CHICAGO DEFENDER SENDS A MAN TO LITTLE ROCK «ЧИКАГО ДИФЕНДЕР» ПОСЫЛАЕТ СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЛ-РОК

Вошло в сборник стихов Г. Брукс *The Bean Eaters* (1960). Осенью 1957 г. в Литл-Роке, столице штата Арканзас, вспыхнули расовые волнения, поводом к которым послужила попытка негров реально воспользоваться правом на совместное обучение. Чтобы сломить сопротивление расистов и восстановить порядок, президент Эйзенхауэр вынужден был послать в Литл-Рок федеральные войска. Человеком, посланным в это же время в Литл-Рок чикагской газетой «Дифендер», была сама Г. Брукс.

Перевод В. Британишского напечатан в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

THE BEAN EATERS. ЕДОКИ БОБОВ

Опубликовано в сборнике стихов Г. Брукс *The Bean Eaters* (1960). Возможно, его название навеяно картиной В. Ван Гога «Едоки картофеля».

Перевод В. Британишского опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

Richard Wilbur. Ричард Уилбер

AN EVENT. СОБЫТИЕ

Опубликовано в сборнике стихов Р. Уилбера *Things of This World* (1956).

Философское стихотворение о природе реальности и о роли человеческого сознания (воображения) в формировании реальности. Ср. «Тринадцать способов видеть черного дрозда» У. Стивенса (см. выше в нашей антологии).

Перевод А. Сергеева опубликован впервые в журнале «Иностранная литература», 1966, № 9.

LAMARCK ELABORATED. РАЗВИВАЯ ЛАМАРКА

Опубликовано в сборнике стихов Р. Уилбера *Things of This World* (1956).

Жан Батист Ламарк (1744—1829)—французский естествоиспытатель. Одно из главных положений его концепции эволюции Уилбер вынес в эпиграф к этому стихотворению.

Перевод А. Сергеева опубликован впервые в журнале «Иностранная литература», 1966, № 9.

A BAROQUE WALL-FOUNTAIN IN THE VILLA SCIARRA
БАРОЧНЫЙ ФОНТАН НА ВИЛЛЕ ШАРРА

Опубликовано в сборнике стихов Р. Уилбера *Things of This World* (1956).

Два римских фонтана—ниспадающий пышный фонтан на

вилле Шарра и бьющий вверх более скромный фонтан, построенный итальянским архитектором Карло Мадерна (1556—1629) перед собором св. Петра, символизируют для Уилбера два противоположных идеала жизни: стекающий вниз барочный фонтан воплощает идеалы языческого наслаждения жизнью, а фонтан Мадерны — трудное аскетическое восхождение к нравственному совершенству. Но размышления о Франциске Ассизском (1181/82—1226) помогают поэту примирить оба идеала и даже включить первый идеал во второй в качестве составной части мечты о полной гармонии.

Перевод П. Грушко опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

ADVICE TO A PROPHEET. СОВЕТ ПРОРОКУ

Опубликовано в одноименном сборнике стихов Р. Уилбера (1961).

Перевод П. Грушко опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

Allen Ginsberg. Аллен Гинсберг

A SUPERMARKET IN CALIFORNIA СУПЕРМАРКЕТ В КАЛИФОРНИИ

Вошло в первый сборник стихов А. Гинсберга *Howl and Other Poems* (1956).

Перевод А. Сергеева опубликован впервые в журнале «Иностранная литература», 1961, № 8, под названием «Рынок в Калифорнии». Печатается по кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

Charon — Харон перевозил тени умерших через Стикс и Ахерон, а не через Лету (неточность А. Гинсберга)

SUNFLOWER SUTRA. СУТРА ПОДСОЛНУХА

Опубликовано в первом сборнике стихов А. Гинсберга *Howl and Other Poems* (1956).

Перевод А. Сергеева опубликован впервые в журнале «Иностранная литература», 1966, № 9, и позже вошел в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

Sutra (*санскр.*)—букв. «нить», сборник притч и наставлений. В виде сутр излагались религиозно-философские учения древней Индии.

Jack Kerouac—Джек Керуак (1922—1969), американский писатель, один из лидеров движения «битников» в конце 50-х—начале 60-х гг.

Sylvia Plath. Сильвия Плат

MORNING SONG. УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ

Вошло в посмертный сборник стихов С. Плат *Ariel* (1965).

Перевод А. Сергеева опубликован впервые в журнале «Новый мир», 1973, № 10, и вошел затем в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

TULIPS. ТЮЛЬПАНЫ

Вошло в посмертный сборник стихов С. Плат *Ariel* (1965).

Перевод А. Сергеева опубликован впервые в журнале «Иностранная литература», 1974, № 1, и вошел затем в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

LADY LAZARUS. ВОССТАЮЩАЯ ИЗ МЕРТВЫХ

Вошло в посмертный сборник стихов С. Плат *Ariel* (1965).

Опираясь на предание о воскресении Лазаря (Евангелие от Иоанна, 11:4—44), Сильвия Плат, которой в это время было 30 лет, повествует о том, что каждые десять лет в ней как бы умирает ее прежнее «я» и рождается новый человек. Будучи немкой по отцу, С. Плат чувствовала ответственность за миллионы жертв второй мировой войны и отождествляет себя с ними.

Перевод В. Топорова публикуется впервые.

POPPIES IN OCTOBER. МАКИ В ОКТЯБРЕ

Стихотворение вошло в посмертный сборник стихов С. Плат *Ariel* (1965).

Перевод А. Парина публикуется впервые.

Denise Levertov. Дениза Леверттов

MERRITT PARKWAY. МЕРРИТ-АЛЛЕЯ

Опубликовано в сборнике стихов Д. Леверттов *Overland to the Islands* (1958).

Перевод А. Сергеева впервые опубликован в журнале «Иностранная литература», 1966, № 9.

A SOLITUDE. ОДИНОЧЕСТВО

Опубликовано в сборнике стихов Д. Леверттов *The Jacob's Ladder* (1961).

Перевод А. Сергеева опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

CITY PSALM. ГОРОДСКОЙ ПСАЛОМ

Опубликовано в сборнике стихов Д. Леверттов *The Sorrow Dance* (1967).

Перевод П. Грушко печатается впервые.

WHAT WERE THEY LIKE? КАКИМИ ОНИ БЫЛИ

Опубликовано в сборнике стихов Д. Леверттов *The Sorrow Dance* (1967).

Перевод П. Грушко печатается впервые.

THE RAINWALKERS. ПОД ДОЖДЕМ

Опубликовано в сборнике стихов Д. Леверттов *The Sorrow Dance* (1967).

Перевод А. Сергеева опубликован в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

James Dickey. Джеймс Дикки

Переводы Е. Евтушенко опубликованы в кн.: Современная американская поэзия. М., 1975.

BUMS, ON WAKING. ПРОБУЖДЕНИЕ ПЬЯНЧУГ

Опубликовано в сборнике стихов Дж. Дикки *The Helmets* (1964)

potter's field — *букв.* «поле горшечника»; имеется в виду евангельский рассказ об употреблении тридцати сребреников, полученных за предательство Иудой и оставшихся после того, как он покончил с собой: «купили на них землю горшечника для погребения странников» (Евангелие от Матфея, 27:7,8).

THE HEAVEN OF ANIMALS. РАЙ ЗВЕРЕЙ

Опубликовано в сборнике стихов Дж. Дикки *The Helms* (1964)

Станислав Джимбинов

**АМЕРИКАНСКАЯ ПОЭЗИЯ
В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ**

(На английском и русском языках)

Сборник

Составитель ДЖИМБИНОВ Станислав Бемович

ИБ № 149

Издательский редактор В. Я. Бонаф
Художник В. В. Ерёмин
Художественный редактор Т. В. Иващенко
Технический редактор Е. Р. Черепова
Корректоры Л. В. Данинбург и Е. В. Солнцева

Сдано в набор 29.03.82. Подписано в печать 11.02.83. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага
офсетная. Гарнитура баскервиль. Печать офсетная. Услови. печ. л. 39,06.
Уч.-изд. л. 29,07. Тираж 100.000 экз. Заказ № 97. Цена 2 р. 70 к. Изд. № 32829

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, 119021, Зубовский бульвар, 17

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28.

Издательство «Радуга»

Готовится к печати:

**Американская романтическая проза
XIX века: Сборник. На англ. яз. с парал-
лельным русским текстом.**

В сборник включены новеллы и повести В. Ирвинга, Э. По, Г. Мелвилла и других наиболее известных представителей американского романтизма XIX века. Параллельный русский текст дает наглядное представление о развитии русской и советской школ художественного перевода американской прозы.

Издание включает вступительную статью, комментарии и справки об авторах и переводчиках.

**Издательство
«Радуга»**

Готовится к печати

Американский юмор XX века: Сборник.

Сборник знакомит читателя с лучшими образцами творчества американских юмористов и сатириков XX века, которые объектами своего внимания избирают различные стороны жизни. Но их творчество объединяет одно — критическое отношение к современной американской действительности.

Издание включает справки об авторах и комментарии к текстам.

**Издательство
«Радуга»**

Готовится к печати

ШЕКСПИР У. Сонеты.— На англ. яз. с параллельным русским текстом.

В издании представлены сонеты Уильяма Шекспира (1564—1616) на языке оригинала с параллельным русским переводом известного советского поэта и переводчика С. Маршака.

В приложение включены варианты переводов, сделанные Б. Пастернаком и другими.